

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО



РУССКИЕ
САТИРИЧЕСКИЕ
ЖУРНАЛЫ
XVIII *века*

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

СОСТАВИЛ Л. Б. ЛЕХТБЛАУ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. Н. К. РУДЗИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРКОМПРОСА РСФСР

Москва

1940

ОТ РЕДАКТОРА

Печатаемые в настоящем пособии избранные статьи и заметки из русских сатирических журналов XVIII века, представляют большой интерес как для учащихся высшей школы, так и для самого широкого круга читателей. Материалы из сатирических журналов неоднократно перепечатывались, то в виде сплошных переизданий журналов (например „Трутень“, „Живописец“, „Всякая всячина“ и др.), то в виде отдельных извлечений и сокращенных изданий (например в „Русской классической библиотеке“ А. Н. Чудинова). Статьи из этих журналов вошли также в многочисленные хрестоматии по русской литературе XVIII века. Однако до сих пор не было специального комплексного пособия, где были бы собраны важнейшие статьи из сатирических журналов, воспроизводящих более или менее последовательно картину развития русской сатирической публицистики XVIII века. Настоящая работа представляет собой первый опыт создания такого рода комплексного пособия. Разумеется, как размер пособия, так и цель его создания заставляли соблюдать принцип отбора материалов, учитывая, во-первых, качество самих журналов, их место и роль в процессе развития сатирической публицистики, и, во-вторых, ценность помещенных в них статей.

Цельный ряд статей воспроизводится в настоящем сборнике впервые. Таковы статьи из „Смеси“, „И то и се“, „Ни то ни се“, „Адской почты“.

Все тексты сверены по первым изданиям журналов.

При редакции текста сохранены главным образом фонетические и морфологические особенности языка XVIII века. Пунктуация сохранена лишь в той мере, в какой это казалось необходимым для передачи интонаций языка подлинника. Подновлению подверглась в соответствии с современными правилами и орфография журналов.

Все примечания к настоящему сборнику составлены Д. И. Гинзбургом.



РУССКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА XVIII ВЕКА.

I.

В 1769 г., в Петербурге начинает выходить около десяти различных сатирических журналов. Вслед за официальной „Всякой всячиной“, которую негласно редактировала сама Екатерина II, в том же 1769 г. появились: „И то и сѣ“ М. Д. Чулкова, „Ни то ни сѣ“ В. Г. Рубана, „Адская почта“ Ф. А. Эмина, „Поденщина“ В. Тузова, „Смесь“ Ф. Эмина и Н. И. Новикова, „Трутень“ Новикова.

Внешним поводом к этому одновременному началу издания сатирических журналов послужил призыв Екатерины II, после неудачного исхода работ созванной ею еще в 1767 г. Комиссии нового уложения, начать, хотя и в сильно ограниченном виде, обсуждение в печати некоторых социальных вопросов. „Всякая всячина“—печатный орган самой императрицы—хвастливо считала поэтому журналы своим потомством. „Дадим приметить читателю,—говорится в этом издании,—что со времени размножения у нас земляных яблок (т. е. картофеля), еще не было ничего так плодovitого, как потомство „Всякия всячины“¹.

Однако плодovитым это потомство оказалось отнюдь не пожеланию „Всякой всячины“, а даже вопреки ему. Сатирические журналы были вызваны к жизни причинами более существенными, чем пожелания правительства. Во второй половине XVIII в. в России назрел ряд серьезных, требовавших безотложного разрешения, социальных вопросов. Известно, что просветительские и либеральные обещания Екатерины II, торжественно провозглашенные ею в „Наказе“ (1767 г.), остались невыполненными. Более того, можно определенно сказать, что напыщенная фразеология екатерининских манифестов прикрывала самые реакционные мероприятия в области социальной политики и практики. Можно конкретно указать ряд почти одновременно с „Наказом“ и созывом Комиссии нового уложения изданных законов, которые резко ухудшили положение народа, особенно крестьянства. Помещичий

¹ „Всякая всячина“, стр. 105.

произвол принимает самый разнузданный характер, особенно после закона 22 августа 1767 г., запрещавшего крестьянам под страхом жестоких телесных наказаний и каторги жаловаться на злодейские притеснения крепостников. Законом 1771 г. была легализована торговля крепостными душами. Из-за прямого попустительства властей стали возможны различные злоупотребления рекрутчиной. Все эти явления не могли не вызвать глубокого недовольства народных масс. Восстание Пугачева 1772—1774 гг.—достаточно яркий показатель обострившихся к тому времени классовых противоречий. Эти противоречия главным образом и вызвали расцвет сатирической публицистики. Сатирические журналы выходят в годы, предшествующие крестьянскому восстанию и в известной мере отражают рост народного возмущения и стихийного протеста. Положение крестьянства становится предметом внимания передовых людей и общественности. Это объясняет, почему, например, журналы Новикова уделяют столь большое место критике крепостничества и дворянского произвола.

Серьезную борьбу должна была вести сатирическая публицистика и с другими недостатками общественного уклада. Темные суеверия, взяточничество и плутовство подьячих, самодурство вельмож, галломания и еще целый ряд порочных явлений в жизни и в быту дополняли и без того безрадостную картину тогдашней действительности. И эти условия, в свою очередь, немало благоприятствовали развитию критицизма в публицистике. Вряд ли можно было найти более подходящее оружие в борьбе с общественными пороками, чем грозный, бичующий смех сатиры.

Появление сатирических журналов знаменует собой важный этап идеологического развития русского общества XVIII в. За четыре десятилетия со времени смерти Петра I, пока наверху, в период дворцовых переворотов, один за другим свергались неудачливые монархи, в недрах общества совершался мощный культурно-исторический поступательный процесс. Перед ним оказались бессильны палачи розыскных застенков тайной экспедиции. Его не сломили ни произвол царских вельмож, ни церковная реакция. Его не могли заглушить даже годы свирепого господства иноземных авантюристов, Бирона и других. Исподволь, втайне зрела великая сила гражданского самосознания. Временами на поверхности общественной жизни вставали талантливые одиночки. Их деятельность и творчество служили выражением происходившего культурно-исторического процесса. Эпоха Петра выдвигает такого большой силы писателя-сатирика, как Кантемир. Плодотворной была деятельность ученого и писателя Тредиаковского. Ярким солнцем заблестал могучий гений Ломоносова. Писателем большой культуры был Сумароков. В его творчестве находим многое, что предвосхитило тематику передовой сатирической публицистики конца 60-х и начала 70-х годов. В 1759 г. Сумароков сам издавал сатирический журнал „Трудолюбивая пчела“, в котором едко высмеивал дворянское „чужебесие“, преклонение перед иностранными модами и резко критиковал нравы приказных и подьячих. Недаром некоторые

притчи Сумарокова послужили эпитафиями для новиковского „Трута“.

Широкая популярность сатирических журналов, их остроумное содержание и едкая критика социальных пороков, свидетельствуют о том, что русское общество второй половины XVIII в. достигло значительной степени идейно-политической и культурной зрелости. Выросло и окрепло талантливое поколение писателей. Появился новый широкий круг читателей из народа. Нужен был только внешний повод, в виде хотя бы незначительного правительственного поощрения, как долго сдерживаемая общественная энергия забила мощным, неиссякаемым ключом.

II.

Расцвет сатирического направления в публицистике и художественной литературе во второй половине века обусловлен и еще рядом других причин. К тому времени на русскую общественную мысль оказывает уже серьезное влияние французская просветительная философия. Идеи Монтескье, Вольтера, Руссо находят себе широкий круг горячих сторонников и почитателей. Частыми становятся переводы их произведений. В 1762 г. издан сокращенный перевод статей из французской энциклопедии „Энциклопедия, или собрание нравоучительных мыслей“. В 1763 г. в журнале „Невинное упражнение“ напечатан перевод ряда глав из книги Гельвеция „Об уме“, в 1762—1769 гг. появляются переводы повестей Вольтера „Кандид“, „Задиг“, „Микромегас“ и др. Все более усваивается обоснованное просветительной философией учение о воспитании нравов, о благотворном влиянии „духа“ совершенных законов, о „мудрости на троне“ и т. п.

Добролюбов указывает, что в ту эпоху русское общество испытывало „страшное влияние Вольтера“¹. Характерно, что в одной из заметок во „Всякой всячине“ автор вызывает на спор поклонников Вольтера и Гельвеция: „А вы листа по полтора там и сям прочетшие, господа, кончающиеся на -сты, то-есть, Вольтеристы, Гельведисты и прочие, извольте со мною спорить обо всем, о чем вы хотите“². Очевидно, тогда уже стали обычными споры между сторонниками просветительной философии и консерваторами.

Для известной части дворянского общества бравоирование идеями просветительной философии становится даже очередной модой, как и французский парик, кафтан и пряжки. Сама Екатерина завязывает переписку с Вольтером, Дидро и др. и называет себя „ученицей Вольтера“. Ее „Наказ“ наполнен цитатами из Монтескье. В сопроводительном письме к д'Аламберу при отсылке „Наказа“ Екатерина пишет ему: „Вы сами увидите, как я для блага государства обокрала президента Монтескье. Книга его—мой тревник“³.

¹ „Русская сатира в век Екатерины II“, Собр. соч., Гослитиздат, 1935, т. II, стр. 160.

² „Всякая всячина“, стр. 119.

³ А. Рамбо, Имп. Екатерина II в переписке с иностранцами, „Русский архив“, 1877, № 7, стр. 286.

Проникновение идей просветительной философии в литературу усиливает в ней общественные начала. Литература становится средством борьбы с конкретными пороками общества, его недостатками и неполадками. По-новому зазвучали в ней правоучительные, дидактические нотки. Литература не ограничивается уже характерным для классицизма безучастным, холодным анализом действительности. Используя совершенно конкретные явления жизни, бытовой уклад, писатель старается теперь воздействовать на восприятия и чувства читателей непосредственным изображением самого жизненного факта, не прибегая к сопроводительному логистическому комментированию и абстрактному морализаторству. Жизнь реальная и требовательная вторгается в доселе нарочито отрешенную от действительности литературу. Наступает ломка общепризнанных классицистских традиций литературного творчества. Холодному рационалистическому отчуждению от жизни приходит на смену стремление показать жизнь, дать ее правдивое отражение. Все европейские литературы проделали эту эволюцию с помощью сатирической публицистики. Сатирические журналы прокладывали путь новой литературе, являясь как бы ее ударным тараном, которым пробивались зияющие бреши в окаменелой, застылой громадине классицистского искусства. „Во всех европейских литературах,—указывает Н. С. Тихонравов,—отрешение от ложноклассической теории и возвращение словесности к вопросам общественной жизни и развитию народных начал сопровождалось в XVIII в. правоучительно-сатирическими журналами по типу Стиля и Аддисона. То же было и у нас“¹.

Действительно, сатирические журналы 60—70-х и даже конца 80-х годов выполняют такую же функцию в отношении русской литературы. Не случайно английские сатирические журналы „Зритель“ и „Болтун“ Стиля и Аддисона послужили в известной мере, в одних случаях больше, в других меньше, литературным образцом всех наших сатирических изданий XVIII в.

III.

Официальная программа сатиры излагалась во „Всеякой всеячине“. Программа эта дает определенное представление об условиях, в каких развивалась радикальная сатира. „Всеякая всеячина“ не допускала открытой, резкой критики общественных пороков. Перед сатирой ставились следующие требования: никогда не называть слабости пороком; хранить во всех случаях человеколюбие; не думать, что можно найти людей совершенных; просить бога, чтобы всегда вселял в людей дух кротости и снисхождения². Совершенно запрещалось „делить на особ“, в частности на „высокопоставленных, знатных бояр“, т. е. называть конкретных виновников зла.

Не мудрено, что при таких принципах сатира „Всеякой всеячины“ выглядела весьма убого. Журнал много издевался над странными

¹ Н. С. Тихонравов, Соч., т. III, ч. I, стр. 259.

² „Всеякая всеячина“, стр. 141—142.

модами петиметров и шеголих, над суевериями и мелочностью частного домашнего быта, над семейными дрызгами, но вся эта сатира носила слишком обобщенный, неконкретный характер. Что касается критики общественных зол, крепостнического варварства, неправо-судия и бюрократизма, то ее „*Всякая всячина*“ попросту отвергала. С первой же страницы редакция предупреждала, что будет печатать только такие материалы, которые ее „не введут в тяжбу с благо-чином“¹. К статьям и письмам, в которых даже в самой безобид-ной форме затрагивались такие вопросы, неизменно следовала при-писка редакции, что это-де не нашего ума дело, что это-де относится не к „нашему департаменту“, а к „существу правления“.

К письму некоего Малолюдина о злоупотреблениях рекрутчиной следовала приписка: „Содержание письма г. Малолюдина о наборе рекрут и малопоместных не до нас принадлежит, и рецепты не мож-ем предписать, пока он сам не перестанет жаловаться“². К дру-гой корреспонденции, некоего г. Благодать, о мерах, нужных для предотвращения издевательств дворян над слугами, сделана при-писка в чисто бюрократическом стиле: „Секретарь нашего приказа пометил над оным: бить челом и представлять где надлежит“³.

Редакция не сочла возможным напечатать письмо г. А., од-нако поместила свой пространный ответ, в котором советовала корреспонденту беречь письмо свое до той поры, когда будет со-ставляться лексикон всех человеческих слабостей и недостатков. „Большая часть материй, в его длинном письме включенных,—гов-орится далее,—не есть нашего департамента; сверх того, мы не лю-бим меланхолических писем“⁴.

Редакция по разным причинам отказывалась печатать и много других корреспонденций. „Письма, одно господина И. С. от 15 дня июня, другое господина Начертая Предметова не будут печатаны для того, что в обоих видно стремление целить на особы“. „Письмо, присланное с подписью Библиев, напечатано не будет, ибо оно выше нашего понятия; а как люди о других судят по себе, то ду-маем, что читатели оное почли бы за несообразную бредню“⁵.

Вместо критики действительности „*Всякая всячина*“ занималась реабилитацией и лакировкой действительности. Когда другие сати-рические журналы особенно усиленно начали критиковать недо-статки тогдашнего судопроизводства, „*Всякая всячина*“ заняла явно охранительную позицию и стала проповедывать демагогические отвлеченно-моральные рецепты.

„Долг наш, как христиан и как сограждан,—читаем в связи с этим в журнале,—велит иметь поверенность и почтение к установ-ленным для нашего блага правительствам и не поносить их такими поступками и несправедливыми жалобами, кои, право, я еще не видал, чтоб с умысла случались... Нигде больше несправедливости

¹ „*Всякая всячина*“, стр. 1—2.

² Там же, стр. 464.

³ Там же, стр. 248.

⁴ Там же, стр. 139—140.

⁵ Там же, стр. 200—288.

и неправосудия нет, как в нас самих. Любезные сограждане! перестанем быть злыми, не будем иметь причины жаловаться на неправосудие!“

Таким образом вопрос о таком вопиющем социальном зле, как неправосудие, переносился в какую-то неопределенную область личной совести и чувства.

„Бабушка“, как называли тогда „Всякую всячину“, была чрезвычайно недовольна критикой судебного бюрократизма. „Некоторые дурные шмели,—жалуется журнал,—прожужжали мне уши своими разговорами о мнимом неправосудии судебных мест“¹.

Здесь был явный намек на „Трутень“ Новикова.

„Всякая всячина“ постепенно теряла даже остатки своей художочной сатиры. „Барышок Всякой всячины“, вышедший с начала 1770 г.—уже в полном смысле охранительный журнал. Он сплошь заполнен приторно-скучными нравоучениями. Заголовки статей состояют из сентенций и афоризмов: „Говорить меньше, а больше слушать“. „Каким образом заслужить милость государя и знатных особ“, „Краткое увещание лихоимцам“ и т. п.

„Всякая всячина“ очень часто прибегала к окрикам и угрозам против сатириков, осмелившихся выступить слишком прямолинейно. Вскоре после выхода журналов в сатирической публицистике образовалось два враждебных лагеря. В одном находилась „Всякая всячина“, в другом—почти все остальные сатирические издания. Между ними завязалась горячая полемика, далеко вышедшая за пределы литературного спора. Публикуемые нами в настоящем сборнике материалы с достаточной полнотой дают представление о характере и тоне этой полемики.

В журналах то и дело можно встретить язвительные намеки на старческое бессилие „бабушки“, на ее самодовольство и спесь. Журналы в один голос высмеивают стремление „бабушки“ взять под свою „родительскую“ опеку пестрое „племя“ сатирических изданий. Самая полемика зачастую ведется, разумеется, как литературная условность, в форме „семейных“ пререканий между родственниками.

Родственники—„внучата и племянники“—все поднимают такие каверзные вопросы, как, например, отчего у „бабушки“ „происходит желание причитаться в родню“, способна ли „бабушка“ к деторождению, не выжила ли она из ума... и пр.² Ироническим обращением к госпоже „Всякой всячине“ начинается издание журнала „Адская почта“. Издатель (Ф. Эмин) спешит выразить свое почтение „г. Всякой всячине“, потому что „от всех двенадцати иудейских древних колен в столь краткое время не произошло столько племен, сколько родилось от ее“. Однако издатель не хочет внять увещаниям „Всякой всячины“ об изменении заглавия своего журнала. Он считает, что бесы, чью переписку он публикует, „не будут противны, когда от ее племени происходит; такое родство

¹ „Всякая всячина“, стр. 279—280.

² „Смесь“, лист 11.

непригожество их имени украсить может¹. В последнем выражении нельзя не видеть скрытой насмешки сатирика. Уже через месяц издатель „Адской почты“ должен был весьма активно выступить против „Всякой всячины“. Программа беззубой, пресной сатиры, которую предложил на страницах „Всякой всячины“ некий Тихон Добросоветов, не могла быть принята Эминым. „Вижу, Добросоветов,—пишет Эмин,—что ты таким своим правоучием всем правиться хочешь; но поверь мне, что придет время, в которое будешь подобен безобразному лицу, белилами и румянами некстати украшающемуся. Знай, что от всеиснадающего времени ничто укрыться не может. Оно когда-нибудь пожрет и твою слабую политику. Когда твои политические белила и румяна сойдут, тогда настоящее бытие твоих мыслей всем видным сделается“².

Резкий тон полемики сказывается и в других сатирических журналах, занимавших более примирительную позицию. Даже сравнительно безобидный журнальчик В. Рубана „Ни то ни сё“ был задет грубыми, оскорбительными окриками „Всякой всячины“. Отвечая на письма Курмамета и Фалалея, в которых подвергся критике „Ни то ни сё“, Рубан или кто-либо другой из сотрудников журнала, скрывшись под псевдонимом „Неспускалов“, указывал: „Что ж до бабушки принадлежит, то она изынительна потому, что выжила уже из лет, и много забывается“³. Вслед за этим, письмо уже непосредственно от лица редакции заканчивалось следующим образом: „Мы, бабушка, тебе хотя и внучки, однако уже на возрасте“⁴.

Особо в этой полемике нужно отметить роль журнала „И то и сё“ М. Д. Чулкова. Журнал занял явно половинчатую позицию. Фамильярность и бесдеремонность, с какою „И то и сё“ наименовал своею родною сестрою „Всякую всячину“, показывает, что это признание родства сделано далеко не от чистого сердца. Не случайно вслед за пространном, почти торжественным обращением ко „Всякой всячине“ издатель „И то и сё“ принужден признать, „что он не имеет в себе высоких замыслов“⁵. „Что же касается до того, что я наименовал себе сестрою госпожу „Всякую всячину“,—говорит далее Чулков, обращаясь к читателю,—в том ответа давать тебе не обязуюсь, ежели ты будешь от меня силою требовать“; Чулков ссылается на недосуг и предлагает читателю самому толковать, сколько достоверности и вранья в его обращении. „Хлопот полон рот, а время короткое, да оно же и несчастливое“⁶. Нельзя не согласиться, что это сетованье на несчастливое время как-то не вяжется с восторженным признанием родства „Всякой всячины“, которое якобы осчастливило издателя „И то и сё“.

Если учесть, что все издатели сатирических журналов были

¹ „Адская почта“, месяц июль.

² Там же, месяц август.

³ „Ни то ни сё“, лист 5.

⁴ Там же.

⁵ „И то и сё“, январь, 3-я неделя.

⁶ Там же, 28-я неделя.

несомненно хорошо осведомлены, что „Всякой всячиной“ руководит сама Екатерина II, то их критику этого издания нельзя не признать смелой. Таким образом журнальная полемика определенно показывала, что в стране образовался значительный круг общественных деятелей, публицистов, способных упорно и мужественно бороться за свои идеи и интересы.

Полемика осложнялась враждой и склоками между некоторыми журналами. Чулков крайне враждебно относился к Новикову. Вот, к примеру, один из отзывов о Новикове и его журнале „Трутень“: „Сей человек оказался мне,—говорит Чулков,—что он объявил себя неприятеlem рода человеческого. Тут, кроме язвительных браней и ругательства, я не нашел ничего доброго... грубость и злонаравие блистали в совершенстве; его ведомости соплетены были из ругательства и поношения, и если б ему верить, то бы надлежало возыметь совершенное от всех людей отвращение“.

„Трутень“, правда, тоже не остался в долгу. В ответ на нападки Чулкова Новиков поместил в своем журнале стихотворение „Задача“ (Лист 14, см. ниже, на стр. 112—113), в котором весьма недвусмысленно выбранил Чулкова.

В „И то и сѣ“ имеются также нападки на „Поденщину“ Тузова и другие журналы.

Характерно, что даже сами журналы вынуждены были печатать многочисленные письма читателей с настойчивыми просьбами о прекращении брани. Передряги между журналами принимали иногда совершенно неприличный характер¹. Все это крайне отрицательно отражалось на всем процессе развития у нас сатирической публицистики.

IV.

Первым после „Всякой всячины“ появился журнал М. Д. Чулкова „И то и сѣ“. Главным сотрудником журнала был сам Чулков. „Во всем моем издании трудился я один без всякой себе помощи,—писал он в одной из статей,—выключая некоторое весьма малое, которое и по слогу узнает читатель, что оно не мое, а принесено ко мне роком“².

В „И то и сѣ“ Чулков помещал статьи самого различного характера. Тут можно встретить описание обычаев славян, народные сказки, пословицы, словарь переведенных иностранных слов и т. п. В журнале напечатаны также стихи Чулкова „На качели“, „На семяк“ и др. Из других сотрудников „И то и сѣ“ достоверно можно назвать А. П. Сумарокова и М. И. Попова.

„И то и сѣ“ можно только условно назвать сатирическим журналом. Сатирический элемент, если он в нем и встречается, очень слаб и бесцветен. В журнале, однако, можно найти отзвук просветительных идей. В статье „О всегдашней равности в продаже то-

¹ См. А. Н. Афанасьев, Русские сатирические журналы 1769—1774 гг., изд. 2-е, Казань (1917).

² „И то и сѣ“, июль, 28-я неделя.

варов“ указывается, что „добрый и отличный человек достоин почтения, без различия, россиянин ли он, француз ли, или татарин, а клоп французский перед татарским никакого не имеет преимущества“¹. Статья эта написана А. П. Сумароковым².

В 1770 г. Чулков издавал другой журнал—„Парнасский шепетильник“. Сатирических статей в нем также почти нет, если не считать некоторых невинных шуток и нападок на комедии В. И. Лукина. Журнал заполнялся всякого рода переводами античных авторов, описаниями городов, агрономическими и кулинарными советами, например: „Описание города Солуня“, „Правоучительные надписи на разные видимые в свете вещи“, „О разности между любовью и дружеством“, „Экономические примечания о пользе огородных кореньев, к поварне принадлежащих“ и т. п.

Незначителен сатирический элемент и в журнале „Ни то ни сё“ В. Рубана. Последний, как издатель этого журнала, назван еще Н. И. Новиковым в его „Опыте исторического словаря о российских писателях“ (1772). Журнал ничем не примечателен. Некоторые листы на протяжении многих недель почти сплошь заполнялись переводами из Сенеки, длиннейшими стихотворениями и пр. Сотрудником „Ни то ни сё“, а возможно и соиздателем был С. Башилов.

В 1771 г. В. Рубан издавал еще журнал „Трудолюбивый муравей“. Он мало чем отличается от „Ни то ни сё“.

Совершенно иное впечатление, чем эти журналы, производит издававшийся в 1769 г. журнал „Смесь“. Его сатира остроумна, метка и актуальна. Журнал боролся с невежественными нравами тогдашнего высшего общества и едко высмеивал сословную спесь дворянства. Под различными выдуманными или заимствованными из античной и западноевропейской сатирической литературы именами—Тимант, Лисип, Валер, Критон и проч.—изобличались порочные представители господствующего дворянского класса. Это „праздные люди“, бездельники, которые, „кажется, для того рождены, чтоб им ничего не делать, но только называться людьми и проводить свой век в праздности и невежестве... как будто бы жизнь была определена на одни забавы“³. Ярким образцом идейного направления сатиры „Смеси“ являются „Речь о существе простого народа“. Автор „Речи“, удачно используя обычную в то время аргументацию сторонников сословного предрассудка о ничтожестве людей так называемого простого, низкого происхождения, обращает затем эту же аргументацию против благородной знати и спесивых дворян. Автор разбирает подробно, не без иронической улыбки сатирика, доводы за и против наличия „разума в простом народе“. Он прибегает даже к помощи анатома. Но последний, рассмотрев голову крестьянина и голову благородного, нашел „в крестьянской голове все составы, жилы и прочее, способствующие к составлению

¹ „Ни то ни сё“, 6-я неделя.

² В. П. Семеновиков, Русские сатирические журналы 1769—1774 гг., СПб 1914, стр. 19.

³ „Смесь“, лист 2.

понятия, и через свой микроскоп увидел, что крестьянин умел мыслить основательно о многих полезных вещах"¹. В голове же знатного были найдены „весьма неосновательные размышления“ и всякий вздор.

В „Смеси“ встречается острая критика духовенства. Одна из статей о попах привлекла даже к себе внимание правительства и синода и послужила поводом к установлению строгой цензуры всех сатирических изданий тех лет².

Вопрос об издателях „Смеси“ долго являлся историко-литературной загадкой. В последнее время, благодаря успешным разысканиям В. П. Семенникова, можно считать установленным, что в издании „Смеси“ руководящую роль играли Ф. Эмин и Н. И. Новиков³.

„Смесь“, как это показывают архивные данные, издавалась на средства книгоиздателя купца Арефья Круглова. Укажем кстати, что издателями журналов купцы являлись тогда нередко. Так, упомянутый выше журнал „Трудолюбивый муравей“ издавался на средства купца Михаила Сидельникова. Последний намеревался издавать также в 1771 г. журнал „Демокрит“. В 1773 г. издавался „вольными немецкими переплетчиками“ Белке, Вебером и Шелем журналчик „Мешанина катоноскароническая“—ничтожное и вздорное издание.

Явление это показывает, что сатирические журналы усиленно привлекали к себе внимание нашего „третьего сословия“. Однако нельзя упускать из виду и чисто коммерческой стороны дела. Интерес к журналам со стороны самых широких кругов тогдашнего общества делал их издание выгодным и прибыльным. Отсюда возникает та издательская предприимчивость, которую проявляют купцы-книгоиздатели.

Одним из лучших сатирических журналов периода 1769—1774 гг. является „Адская почта“ Ф. Эмина. Журнал составлен из писем „двух бесов: кривого и хромонокого“. В этих письмах и „вестях из тартара“ Эмин подверг обстоятельной критике пороки феодально-крепостнического общества. Плутни приказных, крепостническое хищничество, мотовство дворянских щеголей и многие другие социальные язвы того времени нашли свое осуждение в переписке бесов.

Сатира Эмина имела определенную социально-политическую окраску. Защита народных интересов была основной ее задачей. Не случайно, что в разгоревшейся между журналами полемике Эмин не побоялся прямо перевести на политический язык цели и задачи сатиры, заговорив о „политических румянах и белилах“, которыми стремилась покрыть сатиру охранительная „Всякая всячина“.

¹ „Смесь“, лист 25.

² В. П. Семенников, Русские сатирические журналы 1769—1774 гг., стр. 7.

³ Там же, стр. 27—37.

Эмин был незаурядным писателем, автором ряда романов и смог поэтому облечь свою сатиру в удачную литературную форму. По форме, а в значительной степени и по содержанию „Адская почта“—прямая предшественница издававшегося много лет спустя журнала Крылова „Почта духов“.

„Адская почта“, повидимому, подверглась репрессиям. Эмин в заключительном письме бесов дает ключ к выяснению причин закрытия его журнала. „Знатных и в правлении великие места имеющих людей,—пишут бесы,—мы никогда в лицо не трогали нашими критическими рассуждениями. Но мы сие сделали не для ласкательств, но для того, что опасаемся, чтоб, переправляя такие столбы, на которых огромное опирается строение, целому зданию не причинить вреда, однакож многие и в такой неосторожности нас несправедливо укоряли...“

Понятно, что после таких обвинений в „потрясении основ“ журнал Ф. Эмина вынужден был прекратить свое существование.

Расцвет сатирической публицистики был вообще недолговечен. Он длился буквально несколько месяцев. Уже к началу 1770 г. большинство изданий или прекращается или теряет свою сатирическую остроту. Стеснительные рамки, какими феодально-крепостнический режим ограничивает сатирическую публицистику, не могли обеспечить ей многолетнего существования.

Правительство Екатерины не хотело больше мириться с публичной критикой существующего строя. В стране и без того была достаточно напряженная обстановка. Уже несколько лет велась изнурительная война с Турцией. Свирепствовали эпидемии. Со всех концов приходили тревожные вести. Волновались казаки и население окраин. Готовилось восстание Пугачева. Против сатирических журналов были пушены в ход полицейские меры. В первую очередь самоликвидировалась казенная „Всякая всячина“, а по смерти „бабушки“ стало чахнуть и умирать ее многочисленное потомство...

V.

Среди сатирических изданий 1769—1774 гг. наиболее выдающимися являются журналы Новикова.

Первый из них — „Трутень“ — начал выходить со 2 мая 1769 г. Издание имело большой успех. Спустя два месяца, в июле, понадобилось новым тиражом издать вышедшие за это время 10 листов журнала. Успех его объясняется значительностью содержания и остроумным литературным оформлением. Давно уже в русской литературе, еще со времен Кантемира, не слышно было такого меткого и сурового слова порицания общественных зол и пороков, какое мы находим в „Трутне“.

В „Трутне“, как установил В. П. Семенников, сотрудничали Ф. А. Эмин, А. Л. Леонтьев, М. Попов и А. Аблесимов. Новиков также был активным, плодовитым автором в своем журнале.

Хорошо знавший его Карамзин писал в 1787 г. к Лафатеру: „14 лет тому назад господин Новиков прославился своими остроумными сочинениями, но теперь он более ничего не хочет писать“¹.

Сатира Новикова, как и вся его деятельность того периода, имела определенную социально-политическую окраску. На первом плане стояла здесь борьба против феодально-крепостнического строя. Красноречиво говорит об этом эпитафия, который предпослан первой части „Трутня“: „Они работают, а вы их труд идите“. Эти слова заимствованы из притчи Сумарокова. Такой эпитафия весьма подходил и к названию журнала: трутень—паразит, бездельник.

Словами эпитафия Новиков лаконично сформулировал свое представление о сущности отношений общественных классов России той эпохи. Все содержание первой части „Трутня“ имело целью изобличить вопиющую несправедливость тунеядства господствующего класса дворян за счет поработанного, трудящегося народа. Новиков ввел в свой журнал как раз такой материал, которого тщательно избегала „Всякая всячина“. Он первый поднял вопрос об ужасах крепостнического рабства. Как талантливый сатирик, он сумел с исключительной, почти документальной правдивостью показать действительное положение крепостной деревни. В сатирических образах помещиков—Безрассуда, Вертяева, Скудоума и других одичавших в знатности бездельников—мастерски обнажено истинное лицо феодального барства.

Помещик Недоум „желает, чтобы на всем земном шаре не было других тварей, кроме благородных, и чтоб простой народ совсем был истреблен; о чем неоднократно подавал он проекты...“².

Дворянин Змеян убежден, что всякий помещик должен быть „тираном своим служителям, чтоб не прощал им ни малейшей слабости, чтоб они и взора его боялись; чтоб они были голодны, наги и босы, и чтоб одна жестокость содержала сих зверей в порядке и послушании“³.

В „Ведомостях“ остро высмеиваются тупоголовые дворянчики: „Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже совершенным свиньею; желающие смотреть, могут его видеть безденежно по многим улицам сего города“⁴.

Резко критиковал „Трутень“ бюрократизм, взяточничество и неправосудие. В нескольких коротеньких „ведомостях“ красочно вырисовывались нравы царской администрации: „В некоторое судебное место потребно правосудия 10 пуд.; желающие в поставке оного подрядиться, могут явиться в оном месте“⁵.

„Недавно пожалованный воевода отъезжает в порученное ему

¹ „Переписка Карамзина с Лафатером“, СПб 1893, стр. 20 (письмо от 20 апреля).

² „Трутень“, 1769, лист XXIII.

³ Там же, лист VI.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

место и для облегчения в пути продает свою совесть; желающие купить могут его сыскать в здешнем городе¹.

Такое направление сатиры вовсе не укладывалось в программу „Всякой всячины“. Неладья с журналом Екатерины II началась у „Трутня“ уже со второго листа, после того как в нем была напечатана заметка о взятничестве и злоупотреблениях приказных. В пятом листе „Трутня“, в одной из корреспонденций издателю, читаем: „Второй ваш лист написан не по правилам вашей прабабки“. По поводу указанной заметки „Всякая всячина“ разразилась бурей упреков и ругани. У издателя были найдены: „черные пары и желчь“, „меланхолия“, „дурное сердце“, „ум тупой“ и прочие „добродетели“.

Новиков, однако, не прекратил своей деятельности. На страницах „Трутня“ попрежнему продолжалась критика общественных зол, что вызывало недовольство официальных кругов. В журнале, в письме некоего Чистосердова, говорится, что многие высокопоставленные лица недовольны „Трутнем“. „Дело то в том состоит, — пишет Чистосердов, — что в вашем зеркале, названном „Трутень“, видят себя и многие знатные бояре“. Чистосердов приводит разговор придворного об издателе „Трутня“: „Не в свои-де этот автор садится сани. Он-де zaczynaет писать сатиры на придворных господ, знатных бояр, дам, судей именитых и на всех. Такая-де смелость не что иное есть, как дерзновение. Полно-де его недавно отпряла „Всякая всячина“ очень хорошо; да это еще ничего, в старые времена послали бы-де его потрудиться для пользы государственной описывать нравы какого ни на есть царства русского владения“². Здесь скрывалась явная угроза Сибирию.

„Трутень“ очень смело отвечал на нападки „Всякой всячины“. Корреспондент Правдулюбов, за которым стояла редакция, писал: „Госпожа „Всякая Всячина“ на нас прогневалась и наши правоучительные рассуждения называет ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина состоит в том, что на русском языке изъясняться не умеет и русских писаний обстоятельно разуместь не может... Видно, что госпожа „Всякая Всячина“ так похвалами избалована, что теперь и то почитается за преступление, если кто ее не похвалит. Не знаю, почему она мое письмо называет ругательством? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная; но в моем прежнем письме, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нет ни кнутов, ни виселиц, ни прочих слуху противных речей, которые в издании ее находятся...“³.

„Трутень“ считал нужным дать и свою положительную программу сатирического творчества. „Я сам того мнения — говорит в другом месте Правдулюбов, — что слабости человеческие сожаления достойны, однакож не похвал, и никогда того не подумаю, чтоб на сей раз не покривила своей мыслию и душею госпожа ваша

¹ „Трутень“, 1769, лист VI.

² Там же, лист VIII.

³ Там же.

прабабка, дав знать... что похвальнее снисходить порокам, нежели исправлять оные. Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия... По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, который оным снисходит, или (сказать по-русски) потакает... Еще не понравилось мне первое правило упомянутой госпожи, то-есть, чтоб отнюдь не называть слабости пороком, будто Иоани и Иван не все одно... Я как в слабости, так и в пороке не вижу ни добра, ни различия"¹.

Аналогичные заявления встречаются и в других журналах. В „Адской почте“ Эмина полемика вокруг вопросов судопроизводства изложена в одном из писем „хромонового беса“.

„На сих днях,—пишет бес,—был я в доме Т..., где случилось два спорщика. Один из них говорил, что многие страдают от несправедливости, а другой утверждал, что судьи виноваты быть не могут, поелику во всем свете много есть таких, как здесь судей, и что больше виноваты истцы, нежели судьи... Один из них винил не то, что надобно, а другой извинял судей напрасно, и видно, что он от них никаких бед над собою не испытал... Прекрасно некто написал, что будьте незлобивы, судьи не будут виноваты. Речь его весьма хороша, и видно, что произошла от доброго сердца; но дело невозможное; никто, думаю, не захочет быть обиженным и разоренным единственно для того, чтоб идти в суд. Весьма было бы хорошо, если бы весь свет всегда пребывал в пределах добродетели; но когда родилось в свете зло и много в нем есть обидчиков, то что осталось делать обиженным, когда некоторые правоучители им не велят жалобами своими беспокоить судей и искать справедливости?“².

В письме к издателю журнала „Смесь“ читаем следующее: „Сия же старушка советует, чтобы не таскаться по приказным крючкам, то должно мириться и разделяться добровольно; всякий сие знает, и конечно по-пустому тягаться не сыщется охотников. Верно, если бы все были совестны и наблюдали законы, то не надобно бы было и судов и приказов, и подьячим бы не шло государево жалованье. Но когда сие необходимо, то для чего ей защищать подьячих?.. Стыдно будет вам, господин издатель, иметь такую родню: пожалуйста, откажитесь от бабушки, которая ныне сказывает простые сказки и тем изображает слабость своего разума, ибо более того не ведает, что слыхала в старину“...³

Все эти заявления показывают, насколько глубок был разрыв между насущными потребностями гражданского устройства тогдашнего общества и официальными мерами, какие предлагало осуществить правительство Екатерины II.

Долго придерживаться принятого курса „Трутень“, однако, не смог. Новиков находит нужным изменить даже эпитафию. Ко

¹ „Трутень“, 1769, лист V.

² „Адская почта“, письмо 60.

³ „Смесь“, лист 11.

второй части „Трутня“ уже предпослан другой, тоже позаимствованный из притчи Сумарокова, эпиграф: „Опасно наставление строго, где зверства и безумства много“. Действительно, „Трутень“ в 1770 г. прекращает свои „строгие наставления“. Сатирический элемент становится все слабее. Его заменяет голая правоучительность, отвлеченные рассуждения, любовные песенки. Новиков лавировал, приспособлялся, посвящал журнал высокопоставленным, влиятельным персонам, помещал торжественные религии о всяких дворцовых торжествах, но печатать что-либо в прежнем духе не решался. Он отказывается печатать письма господина Правдулюбова, так как автор задевает „Всякую всячину“¹.

В журнале печатаются письма читателей, в которых слышатся жалобы на то, что „Трутень“ 1770 года нерадивее „Трутня“ 1769 года“². Один из читателей бесцеремонно спрашивает: „Господин „Трутень“! Кой чорт! Что тебе сделалось? Ты совсем стал не тот... Послушай, ныне тебя не бранят, но говорят, что нынешний „Трутень“ прошлогоднему не годится и в слуги“³.

Но вскоре за этими письмами последовали сообщения о моровом поветрии на издателей, о скоростигной кончине „Всякой всячины“ и других журналов. Наконец, в апреле 1770 г. появилось объявление: „Трутень“ с превеликой печали, по кончине своих современников, и сам умирает. Надлежит заметить, что поколение еженедельных 1769 года сочинений с ним пресекается“⁴.

„Трутень“ прекратил свое существование.

Любопытно сопоставить цифры тиражей правительственной „Всякой всячины“ и „Трутня“ Новикова. В. П. Семенников на основании документальных изысканий приводит следующие данные. Первый лист „Всякой всячины“ вышел в количестве 1692 экземпляров; 12 следующих листов по 1500 экз.; 51 лист—1000 экз.; последние 6 листов—по 500 экз. I—VIII листы „Трутня“ (1-я часть) вышли в количестве 626 экз.; IX лист—826 экз.; начиная с XIII листа до XXVI, то-есть до конца 1769 г., по 1240 экз.⁵

Эти красноречивые цифры показывают, как реагировало общество на политическую полемику между журналами. Нельзя забывать и того обстоятельства, что „Всякая всячина“ издавалась на средства от правительственной субсидии, и ее тираж не зависел от подписки, в то время как тираж „Трутня“ определялся исключительно подпиской и, следовательно, достоверно отражал характер политических симпатий общества.

С июня 1770 г. Новиков пытался через подставного издателя, некоего маклера Фока, начать издание другого сатирического журнала—„Пустомеля“. Однако ряд не вполне еще выясненных обстоятельств заставил его вскоре прекратить этот журнал. Всего

¹ „Трутень“, 1770, лист VI.

² Там же, лист XIII.

³ Там же, лист XIV.

⁴ Там же, лист XVII.

⁵ В. П. Семенников, Русские сатирические журналы 1769—1774 гг. Разыскания об издателях и их сотрудниках, СПб 1914, стр. 80—81.

вышло два номера „Пустомели“. Помещенные в них материалы не обладают какой-либо особой социальной заостренностью. Сатирический элемент в виде нескольких „портретов“ дан не без оговорок и осторожности. В „Пустомеле“ напечатано, — правда, анонимно — известное „Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке“ Д. Фонвизина.

VI.

Через два года Новиков опять выступает как издатель нового сатирического журнала „Живописец“. Чтобы обезопасить себя, он посвятил этот журнал „неизвестному сочинителю комедии „О, время!“, т. е. Екатерине II. Он не пожалел восторженных слов и комплиментов комедиографу и, между прочим, вновь изложил свою программу сатирического творчества. „Вы первый сочинили комедию точно в наших нравах,—говорит Новиков в своем посвящении,—вы первый с таким искусством и острою заставили слушать едкость сатиры с приятностию и удовольствием; вы первый с такой благородною смелостию напали на пороки, в России господствовавшие... Продолжайте, государь мой, к славе России, к чести своего имени и к великому удовольствию разумных единоземцев ваших... Взгляните беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые худые обычаи, злоупотребления и на все развратные наши поступки... Истребите из сердца своего всякое пристрастие; не взирайте на лица: порочный человек во всяком звании равного достоин презрения. Низкостепенный порочный человек, видя осмеиваема себя купно с превосходительным, не будет иметь причины роптать, что пороки в бедности только одной пером вашим угнетаются. А превосходительство, удрученное пороками, в первый раз в жизни своей восчувствует равенство с низкостепенными. Вы первый достойны показать, что дарованная вольность умам российским употребляется в пользу отечества“¹.

„Сочинитель комедии“, попрежнему скрывая свое имя, ответил, что он далеко не преследовал таких целей, какие ему приписывает издатель „Живописца“. Он указывает, что не брал своих „умоначертаний ни откуда, кроме собственной семьи, не выходя из дому“, что он не имеет никаких требований и желаний, и пишет единственно „для собственной своей забавы“². Это был не слишком хорошо скрытый намек на необходимость сатирику остерегаться вмешательства в дела, лежащие вне тесного домашнего круга, в дела общественные.

В статье „Автор к самому себе“ Новиков указывает, что он принимает название „Живописца“, „но не такого, который пишет кистью, а живописца пером, изображающего наискровеннейшие в сердцах человеческих пороки“.

Страшно неблагоприятен такой труд и тяжела участь, которой подвергает себя изобличитель пороков. На этом поприще нельзя

¹ „Живописец“, 1772, стр. 3—5.

² Там же, лист 7.

расставаться с „прекрасной женщиной, имя которой Осторожность“. Но, несмотря на эти предостережения, Новиков с прежним бичующим пылом начал критику пороков и социальной язвы того времени—крепостничества. Разоблачению крепостников посвящены уже статьи первых листов нового журнала. Новиков показал тип свирепого рабовладельца в лице помещика Худовоспитанника. Безграмотный офицер, живя в отставке в своей деревне, тиранствует над подневольными ему крестьянами. Последних он не отличает от иноземных неприятелей, против которых когда-то воевал. „Там рубил неверных, а здесь сечет и мучит правоверных. Там не имел он никаких жалости, нет у него и здесь никому и никакой пощады; и если бы можно ему было с крестьянами своими поступать в силу военного устава, то не отказался бы он их аркибузировать“ (т. е. расстрелять)¹.

В „Живописце“ за 1772 г. напечатаны между прочим: известная антикрепостническая статья „Отрывок путешествия в *** И *** Т***“, автором которой почти несомненно был Радищев и „Письма к Фалалею“, принадлежавшие, как предполагают, перу Фонвизина. В этих и еще других произведениях дана резкая критика дворянского произвола и безрадостная картина народного горя.

Критика Новикова снова вызвала сильное недовольство. Особенно много толков вызвал „Отрывок путешествия в *** И *** Т***“. „Дворяне пятым листом [здесь напечатано начало „Отрывка“] недовольны,—говорится в статье „Английская прогулка“,—...некоторые думают, что будто сей листок огорчает целый дворянский корпус“². В другом месте приводится случай, когда невежественная дворянка в припадке злобы сожгла двадцать листов „Живописца“³.

Новиков ухитрялся помещать сатирические статьи между разного рода торжественными словами и одами. Во второй части „Живописца“, как и некогда в „Трутне“, сатирический элемент постепенно сходит на-нет. В июне 1773 г. журнал прекратился. В 1774 г. Новиков издавал еще журнал „Кошелек“. Его тематика посвящена была главным образом прославлению древних русских добродетелей и критике галломании. В журнале было больше дидактизма, нежели сатиры. После грозных событий пугачевского восстания Новиков окончательно прекращает свою деятельность издателя сатирических журналов.

VII.

Сатира журналов Новикова имела громадное значение с точки зрения ее идейно-политического содержания и литературно-эстетических принципов. Екатерина II считала Новикова, как указывает ее секретарь Храповицкий, „умным и опасным человеком“⁴.

В своих сатирических журналах Новиков выступает одним

¹ „Живописец“, 1772, лист 3.

² Там же, лист 13.

³ Там же, лист 25.

⁴ Храповицкий, Дневник, СПб 1874, стр. 430.

из выразителей идеологии нашего „третьего сословия“¹. Сам он происходил из небогатой, незнатной, мелкодворянской семьи. На военной службе он не смог из-за этого значительно продвинуться в чинах. В 1768 г. он принимает участие в работах „Комиссии нового уложения“ и ведет здесь „дневную записку“—журнал заседаний подкомиссии „о среднем роде людей“. Затем, опять безрадостная лямка мелкого канцеляриста. Сам человек малообеспеченный, почти разночинец Новиков смог хорошо изведать на себе жестокую силу тогдашних сословных предрассудков и ограничений.

Новиков решительно восстал против сословного принципа и угнетающего душу несправедливого деления людей на „благородных“ и „подлых“. „Подлыми людьми по справедливости называться должны те, — говорит он, — которые худые делают дела; но у нас, не ведаю по какому предрассуждению, вкралось мнение почитать подлыми людьми тех, кои находятся в низком состоянии“².

В жестоком споре эпохи: что выше — достоинство или порода, Новиков полностью стоит на стороне первого. Личное достоинство человека „низкого состояния“ прямо противопоставляется им знатному туеядству. В „Трутне“ по поводу этого читаем: „Мнится, что похвальнее бедным быть дворянином или мещанином и полезным государству членом, нежели знатной породы туеядцем, известным только по глупости, дому, экипажам и ливрее“³.

С большой симпатией описывает Новиков мещан и простых людей. В „Трутне“, в статье „Ведомости из некоторого приказа“, сообщается о соискании тремя лицами судейского места. Первый из них знатный дворянин. Новиков не жалеет черных красок, чтобы обрисовать этого бездельника. „Душ за ним две тысячи; но сам он без души“. К службе относится халатно. Чины достает посредством, „предстательства“ и взятки. Второй соискатель тоже дворянин, но более или менее „человек порядочный“. „Исполняет должность свою с прилежностью; знает человеческое; крестьян своих не грабит; купцов не обманывает...“ Зато третий соискатель — мещанин, человек простой. Новиков дает ему хвалебную характеристику:

„Третий проситель места, по наречию некоторых глухих дворян, есть человек подлый, ибо он от добродетельных и честных родился мещан. Природный его разум, соединенный с долговре-

¹ В литературе о Новикове и его сатирических журналах имеются и иные оценки его деятельности. Так, Г. В. Плеханов считает Новикова выразителем идеологии „среднего“ дворянства. Новиков, по мнению Плеханова, только горячо сочувствовал разночинцам и „мещанству“ и ставил себе очень ограниченные цели, не защищая никаких мыслей о необходимости серьезных общественных преобразований (Плеханов, Соч., М. 1925, т. XXII). К этой точке зрения примыкает в известной мере и Г. А. Гукowski. Он утверждает, что журналам Новикова 1769—1772 гг. были только свойственны ноты сочувствия к „третьему сословию“ и что мировоззрение Новикова носило дворянский характер (Г. А. Гукowski, Русская литература XVIII века, учебник для высших учебных заведений, Учгедгиз, М. 1939, глава VII).

² „Живописец“, 1773, лист 5.

³ „Трутень“, 1769, лист XXIII.

менным и в России и в чужих краях ученем, учинили его мужем совершенным. Мало таких наук, которых бы он не знал или о которых бы он не имел понятия; защитник истины, помощатель бедности, ненавистник злых нравов и роскоши, любитель человечества, честности, наук, достоинства и отечества; верный друг, благоразумный отец, безмятежный сосед, рассматрительный и беспристрастный судья. Во всех местах, куда он от правительства был определяем, оставлял примеры разумного своего поведения; благополучны были те люди, которыми он повелевал; неустрашими были те солдаты, которыми он предводительствовал, и неприятель всегда разбит, с которым он сражался. Покрытый ранами и держа себя одним жалованием, никогда не негодовал на свою скудость, но носил оную без роптания; словом, он показал собою, что не порода, но добродетели делают человека достойным почтения честных людей. Не просил бы он и упомянутого выше места, ежели бы здоровье его позволяло долее служить в армии или ежели бы он не был в состоянии подвластных сему месту учинить благополучными и восстановить их от разорения, в которое приведены были бывшим судьбою¹.

Новиков заканчивает свою статью загадкой: „Читатель! Угадай: глупость ли, подкрепляемая родством с боярами, или заслуги с добродетелию награждаются?“ Сам по себе ясен был ответ, кому из этих трех просителей по праву надлежит занять судейское кресло.

Обычными в сатирических журналах Новикова являются характеризующие эпитеты: „старый разумный мещанин“, „мещанин ученый“. Показательны также „изобразительные“ фамилии. Вот некоторые фамилии дворян: „Стозмей“, „Глузомысл“, „Змеян“, „Забыл-Честь“, „Злорад“, „его превосходительство г. Недоум“, „г-жа Бранюкова“, „г-жа Пазойлова“ и т. п. Совсем иное впечатление производят фамилии мещан: „Правдин“, „Чистосердов“, „Любомудров“, „Правдулюбов“, „Остромысл“ и т. д.

Успех сатирических журналов и многих изданий Новикова в преобладающей степени обусловлен удовлетворением запросов „третьесловных“ читателей. „Будучи о дарованиях своих весьма умеренного мнения, — пишет о себе Новиков в третьем издании „Живописца“ в 1775 г., — лучше соглашаюсь верить тому, что сие сочинение попало на вкус мещан наших; ибо у нас те только книги третьими, четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые сим простосердечным людям, по незнанию их чужестранных языков, нравятся... Напротив того, книги, на вкус наших мещан не попавшие, весьма спокойно лежат в хранилищах, почти вечною для них темницею назначенных“².

Аналогичное указание находим и в письме „дворянина с одною душою“, в котором он уверяет издателя „Живописца“, что „читатели, кои из мещанства и купечества, не отрекутся и впредь

¹ „Трутень“, 1769, лист IV.

² „Живописец“, изд. 7-е, под ред. П. А. Ефремова, СПб 1864, стр. XI—XII.

платить дань (т. е. покупать журнал), за описание глупостей и пороков нынешнего века“¹.

VIII.

Эстетические принципы новиковской сатиры тесно связаны с его социально-политической позицией. Положительная программа сатирического творчества, которую Новиков выставил в полемике со „Всякой всячиной“, носила в себе определенные реалистические тенденции. Порок предлагалось называть пороком, и изобличать его нужно было сатирику с беспощадной прямоотой и доподлинной правдивостью. Эта точка зрения нашла свое развитие во многих статьях „Трутня“ и „Живописца“, посвященных проблемам сатирического мастерства. В одной из статей Правдулюбова выставлено требование, чтобы сатира была конкретной, чтобы пороки личности изобличались в „подлинниках“. Автор отвергает манеру классицистских писателей схематизованно обобщать людские страсти и пороки. Критика на лицо более действенна, чем критика на общий порок.

„Я много раз видал, — говорит Правдулюбов, — что когда представляют на театре *Скупого*, тогда почти всякий скупой старик в театр смотреть ездит. Для чего же? Для того, что он думает тогда в каком ни на есть другом скупяге; а себя, наверное, тогда не вспомнит. Когда представляют *Лихоимца*, тогда кажется, что не все скупые на *Кашел* смотреть будут“². Автор утверждает, что мольеровский *Гарпагон* писан на конкретные лица и ни в коем случае не на общий порок. Аналогичные всему этому мысли высказаны и в письме Азезеза Азезезова³.

Развернутую литературную программу Новиков изложил в „Живописце“. В статье „Автор к самому себе“ подробно разобраны все актуальные вопросы тогдашней литературной действительности. Новиков зло бичует дерзких литературных Кривотолоковых, сухих правоучителей, скучных составителей трагедий, вызывающих смех, и комедий без смысла. Едко осмеяна классицистская слащавая пастораль, идиллическое прикрашивание жестокой крепостнической действительности.

Пастораль была излюбленным жанром классицизма. Процеженная сквозь рационалистическую схему действительность приобретала в ней раз навсегда заданный вид. Трафарет губил жизнь. Реальность превращалась в абстракцию, критерий красоты — в шаблон, осуждение человеческих пороков — в поэтический панегирик. Для идиллиста природа существовала преимущественно как весенний, вакхический праздник, но никогда как грозная стихия, способная причинять бедствия. Крестьяне существовали только в образе пастушков. В пасторали жизнь поселян представлялась

¹ „Живописец“ 1772, лист 25.

² „Трутень“ 1769, лист XXV.

³ Там же, лист XXIX. Азезез Азезезов — псевдоним А. Аблесимова. См. Г. Геннади, Справочный словарь о русских писателях, Берлин 1876, стр. 2.

безмятежным праздником невинных детей природы, среди которых царствовал золотой век. Все тут было наивно, мирно, счастливо.

„Мне еще встречается писатель,—говорит Новиков:—он сочиняет пастушеские сочинения и на нежной своей лире воспевает золотой век... *Блаженство* в виде пастуха сидит при источнике, прикрытом от солнечных лучей густою тенью того дуба, который слишком три тысячи лет зеленым одевается лиственным. Пастух на нежной свирели воспевает свою любовь... Сама *Добродетель* в виде прелестной пастушки одета в белом платье и увенчанная цветами, тихонько подкрадывается, вдруг перед ним показывается, пастух кидает свирель, бросается в объятия своей любовницы и говорит: дари всего света, вы завидуете нашему блаженству! Г. автор восхищается, что двум смертным такое мог дать блаженство: и как хотя мысленным не восхищаться блаженством; жаль только, что оно никогда не существовало в природе!.. Бедный автор, ты других и себя обманываешь!“¹.

Новиков отлично знал, чего стоят эти смехотворные образы ревящихся пастухов и пастушек классицистской идилии.

В „Живописце“ так же решительно, как и прежде в „Трутне“, провозглашается принцип правдивого изображения жизни, беспристрастия в изобличении пороков „не зирая на лица“. Эти положения красной нитью проходят сквозь лучшие, наиболее социально заостренные статьи журналов.

Такого рода произведения в сатирических журналах Новикова не являются чем-то случайным. Они создаются закономерно, благодаря сознательному отказу от шаблонов, рационалистической неопределенности классицизма и стремлению с максимально возможной правдивостью изображать жизнь. Так создаются блестящие по своему реализму и исключительные в литературе XVIII века произведения, как „Письма к Фалалею“, „Отрывок путешествия в *** И *** Т ***“, „Копия с помещицей отписки“ и многие другие. Характерно, между прочим, что автор „Отрывка путешествия“, как бы в подтверждение своего принципа реалистической рисовки действительности, прямо заявляет: „Истина пером моим руководствует“. Во всех этих произведениях находим стремление в известной мере типизировать события и лица, дать им объяснение на фоне окружающей обстановки, сообщить им известную психологическую подвижность. Эти особенности в эстетическом отношении существенно отличают перечисленные произведения от господствующего направления литературы того времени.

Чрезвычайно важно, что сатира Новикова оригинальна и, по сравнению с другими журналами, особенно „Всякой величины“, минимально следует иностранным образцам. Не случайно, в одном из писем Чистосердова, явно инспирированном редактором „Трутня“, читаем следующее: „Пишите сатиры на дворян, на мещан, на приказных, на судей, совесть свою продавших, и на всех порочных

¹ „Живописец“ 1772, лист 2.

людей; осмеивайте худые обычаи городских и деревенских жителей; истребляйте закоренелые предрассуждения и угнетайте слабости и пороки, да только не в знатных, тогда в сатирах ваших и соли находить будут больше. Здесь аглинской соли употребление знают не многие; так употребляйте в ваши сатиры русскую соль, к ней уже привыкли¹.

Письмо это имеет прямое отношение к упомянутой журнальной полемике. Под „аглинской солью“ подразумевается, конечно, непомерное подражание английским сатирическим журналам Стиля и Аддисона. Эти подражания носили самый общий характер и, не затрагивая ничего частного, определенного, выхолащивали самую сущность сатиры. Призыв к употреблению „русской соли“ означал конкретизацию сатиры, сообщение ей отечественного, русского колорита и использование ее в борьбе с определенными общественными и личными пороками. Такова была программная установка сатиры Новикова.

Важно значение сатирических журналов Новикова и в истории русского литературного языка. В них запечатлелся практический разговорный русский язык XVIII в., не обезображенный и не ослабленный чужими влияниями. После Ломоносова никто другой, как Новиков, начал осуществлять решительное сближение разговорного и книжно-литературного языков, синтезирование их в органически единое целое. Н. С. Тихонравов говорит, что „Письма русского путешественника“ Карамзина „писались языком, который выработался в школе Новикова. Здесь начался новый литературный язык, создание которого относят обыкновенно к одному Карамзину, тогда как сам он воспитывался в обществе переводчиков Новикова“².

Первый период радикальной сатиры XVIII в., новиковский, имел исключительное общественно-воспитательное значение. Его достижения были затем развиты на новом этапе Крыловым.

IX.

После пугачевского восстания 1772—1774 гг., в господствующем дворянском классе произошла существенная идеологическая перегруппировка. Кровавое подавление крестьянской революции еще не означало разрешения социальных вопросов крепостнического хозяйства. Победа не могла внушать победителям особо радужных надежд. Глухое брожение закрепощенных крестьянских „низов“ не прекращалось даже после жесточайшего террора против участников восстания. Под напором этих событий намечается известная консолидация сил дворянства. Вершителем судеб России становится фаворит Екатерины II — Потемкин. Под его руководством был осуществлен разгром либерально-дворянской оппозиционной фронды, группы Никиты Панина. Правительство терро-

¹ „Трутень“, 1769, лист VIII.

² Н. С. Тихонравов, Соч., т. III, ч. I, стр. 156.

ризировало общественное мнение в стране. Часть дворян ищет ухода от действительности в мистике и чертовщине. Появляются различного оттенка душеспасительные учения о самоусовершенствовании и смиренномудрии. Возникают всякого рода масонские ложи и братства. В масонство уходит и Новиков и становится издателем религиозно-мистических журналов. В этом „падении“ „русского Рабенера“, как называли Новикова, было много трагического.

Под ударами административных гонений и запретов почти совсем умолкает сатирическая публицистика. Вплоть до конца 80-х годов не выходит ни один сатирический журнал.

В 1788 г. попытка издавать сатирический журнал „Друг честных людей, или Стародум“ была сделана Д. И. Фонвизиним. Однако это намерение не было осуществлено из-за цензурного запрета. Сохранился ряд статей, которые должны были войти в предполагавшийся журнал. Они были опубликованы только в XIX в. Из них видно, что Фонвизин стремился возродить традицию „Трутня“ и „Живописца“, сохранив даже во многом излюбленный в этих журналах эпистолярный стиль. Автор „Недоросля“, используя некоторые действующие лица из своих комедий, пытался вновь выступить против крепостнических нравов, невежества дворянства и даже придворных обычаев. Такие статьи как „Письмо Тараса Скотинина“, „Всеобщая придворная грамматика“, „Разговор у княгини Халдиной“, являются лучшими образцами нашей радикально-политической сатиры XVIII в. В письмах Стародума Фонвизин думал изложить свою систему философских и политических взглядов. Он выступает активным поборником просвещения. В одном из писем выставляется даже прямое требование установления парламентаризма. Причины отсутствия в России ораторских талантов Стародум находит в том, что „мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пусто похваляют, но претурою, архондиями и консульствами награждается“. Вполне очевидно, что вопрос об ораторах—только повод для выставления этого важнейшего в то время политического требования.

Несмотря на цензурный запрет, статьи из журнала „Стародум“ распространялись в большом числе рукописных экземпляров. У современников можно найти разного рода ссылки на них. В частности о „Всеобщей придворной грамматике“ упоминает Радищев в своем „Путешествии из Петербурга в Москву“.

Большим событием явилось издание в 1789 г. сатирического журнала И. А. Крылова „Почта духов“, в котором Крылов был, очевидно, единоличным автором.

Сатирической публицистикой Крылов занялся после ряда своих литературных опытов на драматургическом поприще.

В 1788 г. Крылов принимал участие в журнале известного вольтерьянца И. Г. Рахманинова—„Утренние часы“. В начале 1789 г., Крылов выступил как издатель самостоятельного журнала.

„Почта духов“ содержит „ученую, нравственную и критическую“

переписку арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами...“.

Выбор Крыловым такого необычного названия для журнала не должен удивлять современного читателя. В ту эпоху издатели журналов нередко прибегали к маскировке и загадочности. Выше уже говорилось о журнале Ф. Эмина — „Адская почта, или переписка хромоногого беса с кривым“. В 1792 г. издается журнал „Переписка двух адских вельмож Алгабека и Алгамека, находящихся по разным должностям в старом и новом свете, содержащая в себе сатирические, критические, забавные происшествия, повести и проч., переведенные из арапоеврейского языка греко-японским переводчиком в 1791000 году“.

Эти странные названия шли по традиции от „плутовского“ романа Запада, в частности от известного романа Лесажа „Хромой бес“.

Крылов также использовал эту традицию сатирической публицистики. Маскировка являлась весьма удобным прикрытием сатирических аллегорий и намеков. Причины, побудившие Крылова дать своему журналу название „Почта духов“, находят себе объяснение в объявлении об открытии подписки на журнал, напечатанном в „Московских ведомостях“ в конце 1788 г. Судя по стилю, объявление это несомненно составлено самим Крыловым. Он говорит здесь, что „духи“, чьи письма войдут в журнал, „бывают так дерзки, что посещают иногда в самые критические часы комнаты щеголих, присутствуют в кабинетах вельмож, снимают очень безбожно маски с лицемерных...“. Такая бесцеремонность и возможность невидимого проникания всюду „жителей Плутонова царства“ позволила им в своих письмах обнажить самую сердцевину жизни, рассказывать о скрытых пороках общества. Сильфы, гномы и ондины не что иное, как сатирическая аллегория, с помощью которой „секретарь“ волшебника Маликульмулька — Крылов смог осветить актуальнейшие вопросы окружавшей его действительности.

О степени остроты и актуальности сатиры Крылова можно судить, кстати, и по следующему обстоятельству. Царская цензура даже в 40-х годах XIX в., в пору всяческих монарших милостей к Крылову, все же запретила значительную часть писем „Почты духов“ при издании полного собрания сочинений Крылова в 1847 г.¹.

X.

„Почта духов“ — энциклопедия нравов и жизни русского общества конца XVIII в. Трудно дать перечень тем, затронутых крыловской сатирой. Помещичий произвол, лицемерие и разврат вельмож, взяточничество, несправедливое дворянское судопроизводство, религиозное ханжество, масонская чертовщина — все это далеко не исчерпывает того, что подвергалось критике в журнале. Острая ирония, богатый ум, лукавое талантливое озор-

¹ Я. К. Грот, Труды, т. III, стр. 268.

ство светятся в каждой строке юного сатирика (Крылову едва было тогда 20 лет).

„Почта духов“ несомненно связана с традицией лучших сатирических журналов—„Трутня“ и „Живописца“ Новикова. Крылов использует многие приемы новиковской сатиры. Можно указать, например, совпадение „изобразительных“ имен, избочливающих знатных распутников и мотов: „Змея“, „Промот“ и пр. По этому же типу самостоятельно образует Крылов такие сопроводительные к титулам имена: его превосходительство господин Пустолоб, граф Припрыжкин, графиня Беспутова, господин Скотонрав, госпожа Безумолкова, его сиятельство господин Дурындиц, капитан Хватов, толстый Безмозглов и другие. Так, для передачи особенностей языка щеголей и щеголих Крылов часто пользуется новиковским „Опытном модного словаря щегольского наречия“, помещенным в „Живописце“. На Крылова оказала несомненное влияние стилизаторская манера новиковских журналов. Несколько прекраско стилизованных по языку писем в „Почте духов“ напоминают небыизвестные „Письма уездного дворянина к сыну своему Фадилею“ из „Живописца“. Укажем, например, письмо взяточника Евстрата Хапкина (письмо 32), письмо к сыну Авдея Частобралова (письмо 36).

К сатире Новикова близок Крылов и по идейно-классовой направленности своего творчества. Как и Новиков, Крылов резко осуждает сословную спесь, хищнические нравы феодального барства, недопустимое деление людей по одному лишь социальному признаку на „благородных“ и „подлых“. Не случайным является то, что сюжет первой антикрепостнической оперы Крылова „Корфейница“ заимствован им из „Живописца“.

Как в свое время и Новиков, Крылов намеренно противопоставляет „мещан добродетельных“ и „честных крестьян“ родовитому дворянству. „Мещанин добродетельный и честный крестьянин, преисполненные добросердечием, для меня,—говорит он,—во сто раз драгоценнее дворянина, исчисляющего в своем роде до 30 дворянских колен, но не имеющего никаких достоинств, кроме того счастья, что родился от благородных родителей, которые так же, может быть, не более его принесли пользы своему отечеству, как только умножали число бесплодных ветвей своего родословного дерева“¹.

Крылов, как и Новиков, доказывает, что только мещане читают серьезные книги, а ничтожная знать пустыми выдумками симулирует высшее духовное бытие. В одном из писем гнома Буристона приводится такой разговор с писателем: „Кто же у вас читает Платоновы сочинения о должностях, наставление политикам, о состоянии земледельцев и о звании вельмож?“—„Купцы и мещане,—отвечал автор,—а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шуточные басни“².

¹ „Почта духов“, письмо XXXVII.

² Там же, письмо XXVI.

Крылов решительно осуждает крепостническое хищничество. В „Почте духов“ многое в этом отношении напоминает антикрепостнические статьи „Трутня“ и „Живописца“.

С исключительным сарказмом показан Крыловым крепостнический грабёж. Невежественный модный балагур помещик Промет укоряет неверную любовницу, что из-за нее он разорил своих крестьян. Показывая ей правую руку, усеянную перстнями, ошалелый петиметр восклицает: „Но знай, бесчеловечная, что на этих пальцах сидит мое село Остатково; на ногах ношу я две деревни, Безжитову и Грабленную; в этих дорогих часах ты видишь любимое мое село Частодавано; карета моя и четверня лошадей напоминает мне прекрасную мою мызу Пустышку; словом, я не могу теперь взглянуть ни на один мой кафтан и ни на одну мою ливрею, которые бы не приводили мне на память заложного села, или деревни, или нескольких душ проданных в рекруты дворовых“¹.

Крылов далеко не ограничивается только такими острыми карикатурами. Пользуясь бытовыми примерами, он старается показать паразитизм и гниль крепостнической экономики. В этих его строках сатирическая шутка превращается в серьезную обобщенную хозяйственно-статистическую выкладку о причинах дороговизны и роста преступности в условиях крепостнического рабства. „Например, его сиятельство г. Припрыжкин вздумал жениться — говорится в одном из писем, — ему неотменно надобно к свадьбе множество мелочей; деньги на них он должен брать со своих 4000 душ крестьян; в одну минуту посылает он приказ, собрать с них к будущему 80 000 рублей. Мужики, получив такое строгое повеление и не надеясь одним хлебопашеством доставить своему господину такую сумму, оставляют свои селения и бредут в города... Город, вместо того чтобы получить от них хлеб, должен бывает сам их кормить, а сверх того еще платить им деньги. От таких-то гостей становится все дорого. Мужики стараются вымещать это на ремесленниках, ремесленники на купцах, купцы — на господах, а господа опять принимают за своих крестьян. К концу года крестьяне возвращаются в свои жилища с деньгами, отдают 80 000 господину, а на остальные 10 000 рублей посылают в город купить себе хлеба, которого им становится мало до будущего года. Итак, города терпят недостаток, деревни — голод, граждане дороговизну, а его сиятельство остается при новомодных галантерейных вещах и празднует несколько дней великолично свадьбу со своею почтенною невестою, которая с своей стороны щегольством такую же приносит пользу государству“².

Хищническое непродуманное растрачивание национального дохода ярко показано в другом письме.

„Здешний житель, который почитает себя важным в большом свете, — пишет гном Зор, — желая сохранить сию важность, несет свой годовой доход, состоящий из 3000 рублей, в лавки,

¹ „Почта духов“, письмо XXIII.

² Там же, письмо XVII.

плата 600 руб. за кузов, в котором протаскают его не более одного года; 1200 руб. отдает за хорошие аглинские и французские материи на платье; на 900 руб. покупает пряжек, цепочек и других подобных сим необходимостей, а последние 300 руб. отдает парикмахеру французу и, не оставя денег на стол, жалуется, что хлеб дорог, и ищет обедов у своих приятелей.

Таким-то образом богатый помещик преобразует свой хлеб и своих крестьян в модные товары, а французы имеют искусство делать сии товары такими, чтобы преобращались они через месяц в ничто. Итак, мудрено ли, что здесь недостаток в хлебе, ибо надобно по крайней мере четыре кули муки, чтобы преобразить их в посредственную аглинскую шляпу, и надобно 10 кулей, чтобы иметь простые серебряные на ногах пряжки¹.

Сатира Крылова имела зачастую весьма конкретный характер. Она „делит в особы“, изобличает реальные пороки, бьет по фактам действительности. В „Почте духов“ Крылов неоднократно полемизирует со своим литературным врагом, драматургом Княжнинным. Здесь же содержатся язвительные нападки на директора театров Соймонова, не принимавшего к постановке пьес Крылова. В „Почте духов“ имеются довольно прозрачные намеки на развратные нравы и фаворитизм при дворе Екатерины II. В одном из писем Гном Зор пишет: „Я принял вид молодого и пригожего человека, потому что цветущая молодость, приятность и красота в нынешнее время также в весьма немалом уважении и при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса...“. Кому не известны были эти „случаи“, благодаря которым любовники императрицы становились негласными владыками страны!

Любопытно, что Крылов прибегает иногда к маскировке каламбуром, к сатирически-изощренной игре слов. В одном из писем художник Трудолюбов говорит: „Я вместо того, чтобы защищать выгоды своего звания в моем отечестве, при первом же случае постараюсь из оного удалиться и возвратиться в Англию, где знают лучше цену моего художества и где за оное получал я во сто раз больше, нежели здесь, хотя я никакой не примечаю разности в моем искусстве, а сие меня столько опечалило, что, не размышляя нимало, предался я пьянству; знаю, что разумному человеку сие непростительно, но что уже делать, когда о том я *скоро думав*, сделался теперь совершенным пьяницею...“. Предполагается, что это рассказ об участии художника Г. И. Скородумова, жившего в Англии до 1782 г., затем спившегося по возвращении в Россию².

Крыловская сатира была несомненно более радикальной, чем новиковская. Сильно сказывалось различие условий и обстоятельств, в которых складывались та и другая. Русское общество конца 80-х годов очень многим отличалось от общества 60-х годов. Новиков выступил в пору расцвета всяких либеральных иллюзий и заман-

¹ „Почта духов“, письмо XXXIX.

² Г. А. Гук овский и, Очерки русской литературы XVIII в., Л. 1938, стр. 103.

чивых надежд на мудрое законоустройство. Крылов выступил в пору крушения этих надежд. К концу 80-х годов вместо ожидавшегося облегчения крепостнический произвол достиг своих крайних пределов. Вместо обещанных реформ наступила мрачная реакция Потемкина, Зубова и других фаворитов. Вместо искоренения взяточничества подкуп государственного аппарата принял самые циничные формы. Росло резкое недовольство в народе. С Запада, из Франции, сильно тогда связанной с Россией, уже неслись громовые раскаты революционного предгрозовья. Все это должно было радикализировать сатиру Крылова, расширить ее идеологический диапазон, заострить ее социально-политические тенденции. Крылов, как и Новиков, был выразителем чаяний „третьего сословия“, но в других условиях, на более зрелом этапе развития этого сословия в частности и общественных отношений вообще.

Сатирическая публицистика Крылова и в эстетическом отношении стояла выше предыдущей, передовой для своего времени, новиковской. К моменту выхода журнала Крылова сильно изменилось общее направление русской литературы. Сентиментализм уже успел завоевать себе прочные позиции. В эти годы Карамзин ознакомил русскую читающую публику с рядом переводов и собственных оригинальных произведений сентиментального направления. Появились первые произведения Радищева. Повысился удельный вес и реалистических элементов в литературном творчестве. Важно указать, что сатира Крылова носит определенный обобщающий характер, она не ограничивается только описанием зол и пороков, но старается установить также их причины. Крылов пытается в известной мере художественно типизировать события, воплощать их в яркие и выпуклые образы. Всего этого не было или это было слабо заметно в сатире начала 70-х годов.

„Почта духов“ прекратилась в августе 1789 г. Ликвидация журнала, следует думать, вызвана была другими причинами, а не отсутствием, как предполагалось, нужного количества подписчиков. Крайняя реакция, наступившая в России после революционных событий во Франции, тяжелым ударом обрушилась в первую очередь на публицистику. Немудрено, что журнал Крылова, наполненный крамольными мыслями и нападками на феодально-крепостнический строй, должен был прекратить свое существование именно после польского штурма парижским народом Бастилии. Крылов умолкает и некоторое время не выступает в печати. В 1790 г., в похвальной оде Екатерине II в связи с заключением мира со Шведией, Крылов считает нужным в чем-то оправдываться, замалчивать совершенные им прегрешения. Повидимому, были какие-то обстоятельства, вызывавшие необходимость такого рода оправданий.

XI.

В 1792 г. начал выходить новый сатирический журнал „Зритель“. Его издавал „Крылов с товарищи“—писателем А. И. Клушиным и актерами-драматургами П. А. Плавильщиковым и И. А. Дмитриевским. Они составили своеобразное акционерное

общество и на паевые вклады завели собственную типографию, где и печатался „Зритель“. Непосредственными редакторами журнала были, вероятно, Крылов и Клушин. На них, должно быть, лежала вся редакционно-техническая работа по изданию.

Клушин был близким другом и единомышленником Крылова. По своему происхождению это тоже выходец из служилой „разночинной“ среды. А. Т. Болотов в своих мемуарах называет его „подьяческим сыном“. Клушин был оппозиционно настроен по отношению к тогдашним порядкам. Болотов следующим образом характеризует его: „Умен, хороший писатель, но... сердце имел скверное: величайший безбожник, атеист, ругатель христианского закона; нельзя быть с ним: даже сквернословит и ругает, и особливо всех духовных и святых“¹.

Эта характеристика несомненно несколько преувеличена. Богобоязненный и благонамеренный помещик Болотов считал и Державина чуть ли не атеистом и крамольником. Но факт известного вольномыслия Клушина едва ли подлежит сомнению. И это сблизало его с Крыловым.

„Зритель“ по своему содержанию и жанровому составу разнообразнее „Почты духов“. В журнале попрежнему провозглашается „право писателя представлять порок во всей его гнусности, дабы всяк получил к нему отвращение“. Авторы недружелюбно относятся к Карамзину и его наполненному беспринципной, сентиментально-слащавой беллетристикой „Московскому журналу“. Однако в „Зрителе“ дает себя сильно знать общее влияние сентиментального направления. Наряду с сатирическими произведениями в журнале печатаются чувствительные стихи, сентиментальные очерки и рассказы, например „Стих к розе“ Чернявского, „Роза и лилей“ и „Гимн Венере“ А. Бухарского, „Милонова птичка“ — идиллия Хованского и другие. Здесь мы встречаем перевод поэмы Захарие „Четыре возраста женщины“, переводы оспановских поэм „Дартула“, „Ойна Моруль“, подражания идиллиям Геснера („Утренняя песнь“), элегиям Грея („Долина“ И. Варакина) и другие.

В „Зрителе“ вновь зазвучали былые мотивы социальной сатиры „Почты духов“. Значительное влияние на сатиру Крылова и Клушина оказал патетический стиль радищевского „Путешествия из Петербурга в Москву“.

Темой осуждения крепостнической эксплуатации проникнуты сатирические статьи Клушина. В ярко иронических тонах рисует он портрет господина Растачилова: „Сей просвещенный муж 300 пахотных мужиков сделал преполозными гражданами отечества, то-есть преобразил их в певцов, актеров, тансеров и музыкантов...; за две своры гончих собак отдал он с величайшим хладнокровием пять семей крестьян“².

Перед читателем проходит длинная вереница дворян-щеголей,

¹ А. Т. Болотов, Памятник протекших времен, М. 1875, стр. 117.

² „Зритель“, апрель, „Портреты“, стр. 214.

хищнически, безалаберно тратящих свое достояние и силы подневольного им народа,—Двудушины, Вертушкины, Ветрогоновы и пр. Клушин называет этих дворян „гибельными сынами отечества“. Их „именные, нажитые трудами праотцев, отдается селениями в французские и английские магазины; крестьяне сих гибельных сынов отечества стонут от поборов; человек влечется во узах и становится в меру¹ для исполнения безумных желаний его властителя: для соделания модного фрака, жилета; для шегольской кареты, ливреи; для стола, на котором установлены сладострастные блюда“...².

Высшего совершенства достигает в „Зрителе“ сатирическое мастерство Крылова. Внимание, которое он уделяет теперь таким темам, как „личность“, „обида“, заставляют еще более определенно думать, что прекращение предпринятого журнала („Почты духов“) было связано с какими-то неприятными обстоятельствами. Это заставляло Крылова еще раз продумать задачи и предмет своего сатирического творчества.

Уже в „Предисловии“ к „Зрителю“ говорится, что журнал, изобличая пороки, будет это делать, однако, „не дерзая ни мало касаться личности“. Статья Крылова „Ночи“ в значительной степени посвящена этой проблеме, сильно, повидимому, волновавшей сатирика. Здесь приводятся настоячивые советы таинственной женщины, навестившей сидевшего ночью за столом писателя-сатирика, погруженного в тяжелое раздумье. „Печатай все, что увидишь,—говорит ночная гостья,—но берегись личности. Пиши так, чтобы всякий улыбался, читая твои описания, иные бы краснели, но чтоб на тебя не сердился никто“.

Такого рода советы не могут, конечно, удовлетворить, писателя—изобличителя общественного зла и порока.

„Милостливая сударыня, сатира есть камень,—говорит он,—которым бросают в кучу безумных; а вы знаете, что, бросая камень в многолюдную толпу дураков, нельзя остережться, чтобы в кого не попасть. Итак, если кто осердится...“

„...Если кто осердится,—категорически заявляет гостья,—то ты виноват. Должно, чтоб никто не сердился, и сие-то есть искусство сатиры“. Эти слова звучат как окончательный, безапелляционный приговор. Сатирику волею-неволею приходится подчиниться. Опыт предыдущей сатирической деятельности, очевидно, убеждал Крылова, что весьма неблагоприятны последствия, „если кто осердится“ за смелую критику своих деяний. Ночная гостья это та же прекрасная женщина „Осторожность“, с которой некогда советовали не расставаться Новикову.

Приходилось соблюдать осторожность и Крылову. Его сатира становится изощренной. Маскировка, намеки, иносказание делаются еще более, чем в „Почте духов“, ее непременной принад-

¹ „Становится в меру“—термин, применявшийся при рекрутских наборах. Клушин имеет здесь в виду злоупотребления помещиков во время рекрутчины.

² „Зритель“, апрель, „Портреты“, стр. 218.

лежностью. Крылов создает непревзойденные образцы сатирической пародии и замысловатого гротеска. Его нападки на крепостничество и тогдашний социально-экономический уклад приобретают повышенно-торжественный тон. Это сказывается в замечательной „Похвальной речи в память моему дедушке, говоренной его другом в присутствии его приятелей за чашею пуншу“, в „Речи, говоренной повесою в собрании дураков“, в трактате „Мысли философа по моде“, в „восточной“ повести „Каиб“. Эти формы пародий были отчасти и в предшествующей сатирической публицистике. Так, в журнале „Праздное время, в пользу употребленное“ (1759 г.) помещена была пародийная „Печальная речь, говоренная вдвоем на смерть жены своей в собрании печальных мужей“. В „Живописце“ 1772 г. помещена „выпись“ из бумаг, найденных после смерти „деда моего“ (лист 9).

Крылов проявил себя как искусный мастер пародийной сатиры. Написанная в форме канонического поминального слова „Похвальная речь моему дедушке“ является, в сущности, резчайшим обвинением крепостническому строю.

В форме пародирования солидного академического трактата составлена статья „Мысли философа по моде“. Она начинается сострастным рассуждением о ненадобности философских наук и умственного образования. Жизнь, по мнению глубокомысленного философа, опутана ядовитой метафизической паутиной. Весь смысл науки состоит только в том, чтобы помнить свою дворянскую родословную. Дворянину не положено заниматься низменными материями, как вопросы хозяйства, положение крестьян и пр. Первое правило этой философии бездельников гласит:

„С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человек, что ты дворянин, и следственно, что ты родился только поесть тот хлеб, который посеяли твои крестьяне; словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у коего не обгрызают крыльев; и что деды твои только для того думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать“.

Язвительной сатирой на абсолютистско-монархический строй является пародийная повесть „Каиб“. Под восточным декорумом повести нетрудно разглядеть очертания реальных объектов сатирической аллегории. Дворец Каиба сильно напоминает дворец Екатерины II. Как и при дворце Екатерины, при дворце Каиба имеется большой штат одописцев, чтобы по любому случаю расточать лесть монарху и его вельможам; от них не отступают ученые академисты (вероятно, намек на Академию Российскую); настоящие ученые во дворце не допускаются, зато их портреты украшают его стены. Календарь Каибова дворца составлен из одних праздников, и будни там „реже нежели именины Касьянов“ (т. е. один раз в четыре года).

Злой карикатурой является изображение системы управления государством калифа Каиба. Оно осуществляется через посредство дивана (совета) визирей, среди которых главенствуют визири Ослашид, Дурсан и Грабилей.

Пародированной в „Каибе“ оказалась и современная Крылову дворянская слащаво-сентиментальная идиллия.

В свое время Новиков достаточно метко выщучивал классицистскую пастораль. Новое сентименталистское направление, расцветавшее, как указывалось, в годы журнальной деятельности Крылова, широко пользовалось в своих целях этим жанром. Карамзин и его ученики, стремившиеся идеализировать жизнь крестьян, весьма охотно прибегали к литературным атрибутам своих предшественников-классицистов. Пастораль являлась для карамзинистов готовой литературной формой, в которую можно было облечь свои идеи вечного пира жизни. Действительность подменялась мечтой. Сладкие слезы чувствительных душ были лучшим критерием совершенства мысли человеческой. Правда, здесь признавалось, что „и крестьянки любить умеют“, что есть добродетельные люди и в „низком состоянии“, что все люди должны быть добрыми, справедливыми. В подтверждение такого розового утопизма, сентименталисты и сам Карамзин заполняли свои произведения идиллическими картинами счастливой жизни „славных“ помещиков и „добрых“ крестьян, „справедливых“ господ и „добродетельных“ слуг. Но дальше этого карамзинисты ни шагу не сделали.

Не случайно Карамзин даже в годы французской революции, даже после издания своих „Писем русского путешественника“, содержавших несомненно прогрессивные, просветительские идеи, призывал поэтов—„питомцев муз“ воспевать только нежные чувства любви и дружбы, избегая изображать великие и бурные события в обществе и природе.

„Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен природы,—пишет он,—но в живости мыслей и чувств... Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар природы и прочее в сем роде. Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенить стихотворца и служить доказательством дарований его: напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону“¹.

Крылов, хорошо знавший крепостническую действительность, понимал жалкую наивность пассивного карамзинистского лиризма. С необычайной меткостью развенчал Крылов в „Каибе“ идиллические побасенки сентименталистов.

В „Зрителе“ помещены без подписи две сатирические статьи: „Сон, найденный в старых бумагах моего дедушки“ и переписка хлыповских купцов без заглавия (статья начинается словами: „Будучи на рынке или гостиним дворе...“). Первая статья является замечательной сатирической аллегорией. „Дедушке“ снится, что он очутился на неведомом сказочном острове Иоа. У населяющих остров иоайцев много нелепых обычаев, понятий и привычек. Высмеивая их, рассказчик незаметно рисует острую карикатуру на петербургское дворянское общество.

¹ „Аониды, или собрание новых стихотворений“, 1797, ч. II, стр. V.

Вторая статья является прекрасной стилизацией купеческого языка. Здесь чувствуется несомненное влияние стерновской манеры. Так, переписка купцов обнаружена автором на бумаге, в которую завернута была покупка из магазинов. По своей идейной направленности, сатирической остроте и стилизационной манере эти статьи могут принадлежать только Крылову.

ХП.

В годы, когда издавался „Зритель“, стремительно развивались революционные события во Франции. В 1792 г. якобинское движение положило конец монархии и власти аристократии. Революционные массы настойчиво требовали гильотины для короля.

Мировая реакция неистовствовала. Правительство Екатерины совместно с коалицией Австрии, Пруссии и др. спешно готовило вооруженную интервенцию против революции. Внутри страны свирепствовал жестокий террор. Сурово осужден был Радищев за его „Путешествие из Петербурга в Москву“. Екатерине II всюду мерещились заговоры и убийцы. В одном из писем (4 апреля 1792 г.) она всерьез уверяла барона Мельхиора Гримма, будто „якобинцы разглашают, что они ее убьют. Три или четыре человека отправлены ими для этой цели“.

В 1792 г. был заточен в Шлиссельбург Новиков. Рукою палача было сожжено около 20 000 книг, изданных им. При этом в костер был брошен даже карамзинский перевод трагедии Шекспира „Юлий Цезарь“, признанной крамольной. Под наблюдение полиции взята была деятельность издателей „Зрителя“.

В мае 1792 г. по приказанию Екатерины полиция нагрянула и в редакцию журнала „Зритель“. Дело не обошлось, повидимому, без чьего-либо предварительного доноса, так как специально разыскивалась и была взята из набора повесть Крылова „Мои горячки“; полиция искала также поэму Клушина „Горлицы“ и другие „вредные“ сочинения, но безрезультатно. Крылов впоследствии рассказывал своему биографу М. Е. Лобанову: „Одну из моих повестей, которую уже набирали в типографии, потребовала к себе императрица Екатерина; рукопись не воротилась назад, да так и пропала“.

Полицией был произведен в типографии „Крылова с товарищи“ тщательный обыск и учинен допрос многих лиц. Однако ничего „вредного“ найдено не было, и для Крылова и Клушина это дело не повлекло за собой пока никаких неприятностей. В обществе пошли всякие толки и пересуды. Даже спустя несколько месяцев, 3 января 1793 г., Карамзин запрашивал Дмитриева: „Мне сказывали, будто издателей „Зрителя“ брали под караул; правда ли это? и за что?“.

Предполагается, что в конце 1792 г. у Крылова произошел еще какой-то неприятный инцидент с полицией. „Зритель“ был скомпрометирован и дальше выходить не мог. Крылов едва дотянул издание до конца года.

В 1793 г. Крылов и Клушин начали издавать новый журнал

1793 „С.-Петербургский Меркурий“. Обращает на себя внимание позднее начало издания журнала. Объявление о подписке и выходе журнала появилось в „С.-Петербургских ведомостях“ только 15 февраля 1793 г. Текст объявления начинался явным анахронизмом: „Крылов и Клушин будут иметь честь выдавать с Генваря месяца нынешнего 1793 года новое периодическое издание под названием: „Санкт-Петербургский Меркурий“. В нем поместятся стихотворные и прозаические сочинения...“ и проч.¹

Неизвестно, какие обстоятельства задерживали выход журнала. Возможно, что здесь влияли и полицейские препятствия. Характерен и провозглашенный издателями журнала нарочитый отказ от анонимности, столь обычной в периодической печати XVIII в.

„Сочинения в стихах и прозе, подражания и переводы издатель,—говорится в предисловии к „С.-Петербургскому Меркурию“,—будут печататься с их именами. Какая нужда скромничать именем, ежели цель сочинения не противна благонравию и не нарушает ничьего спокойствия?“ Эти соображения показывают, что издателям приходилось теперь демонстративно подчеркивать свое „благонравие“.

Состав сотрудников „С.-Петербургского Меркурия“ по сравнению со „Зрителем“ несколько изменился. Отошли Дмитревский и Плавильщиков. Появились новые люди: Карабанов, Николев, Мартынов и др.

XIII.

„С.-Петербургский Меркурий“, собственно, уже не сатирический журнал. Сентиментальное направление становится в нем едва ли не преобладающим. Здесь чрезвычайно много стихов о розе, соловье, к Клое, очерки „Прогулки“ и пр. Укажу к примеру такие произведения: „Имя Клеанта“ И. Мартынова; „Куда от бурь, Лиза, скрыться“, „К Клое“, „Послание к моей бывшей любовнице“ А. Бухарского; „К зяблику“ Г. П. А., песня „Полно, сизенький, кружиться“ Николаева; „Утренняя прогулка“, „Почная прогулка“ Яновского и т. п. В журнале напечатана сентиментальная повесть Клушина в духе „Вертера“ Гете—„Несчастный М-в“. Имеются переводы из Геснера („Гвоздика“, „Обещание“) и Геллера („Дориса“).

Сатирическое направление „С.-Петербургского Меркурия“ представлено двумя статьями Крылова. Это попрежнему пародийные похвальные речи: „Похвальная речь науке убивать время, говоренная в новый год“ и „Похвальная речь Ермалафиду, говоренная в собрании молодых писателей“. Первая написана в стиле научного реферата, как карикатура на претенциозное академическое изыскание. Это меткая пародия „высокого слога“, выпященного „плетения словес“, столь характерного для риторического языка того времени. „Оратор“ сам указывает, что он „намерен соплести

¹ А. Н. Неустроев, Историческое розыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1713—1802 гг., СПб 1895, стр. 742.

достойную похвалу завидной науке убивать время". Эта наука полезна и нужна только благородным людям „большого света“, дворянским щеголям и мотам, посвятившим себя „блестящей службе 4-х мастей“, бездельникам, „кто проирыгал и прошаркал 366 дней“; неучам, „которые с таким же просвещением входят в могилу, с каким вошли в колыбель“. В этой убийственной сатире Крылова слышатся нотки руссоистского скепсиса в отношении к успехам цивилизации и наук.

Вторая „Похвальная речь“ также написана в стиле пародийного академического торжественного слова. „Оратор“ дерзает „соплести венец достойный хвалы“ писателю и герою Ермалафиду.

„Похвальная речь Ермалафиду“ направлена, по общему мнению, против карамзинской школы. Подразумевается, что под глумливым псевдонимом Ермалафида выведен лично Карамзин. Нам представляется несколько спорным такое безоговорочное определение мишени данной крыловской сатиры. В тексте речи имеются несомненные выпады против Карамзина. Крылов нападает на весьма обильное многописание и непрестанное „плодословие“ писателя. „Кто, кроме нашего бесценного Ермалафида,— говорит он,— так много раз и в столь разных порядках может раскладывать наши тридцать две литеры на бумаге? Конечно, никто! Он один только в состоянии с такою легкостью кетати о Гомере напомнить, что дрова дороги, и, хваля Юнговы ноши, заметить, что немцы одеваются щеголеватее французов; он один только может с таким плодословием волочить надежду читателя через триста листов и на последней странице удивить его приятною печальностью подписав: „Конец“!..“

В другом месте Крылов говорит об издании Ермалафидом журнала. Все это, конечно, может подойти к деятельности Карамзина. Он переводил Юнговы „Ночи“, издавал „Московский журнал“, чрезмерно хвалил в „Письмах русского путешественника“ добропорядочность немцев. В своем памфлете Крылов несколько раз пародирует специфические термины карамзинского сентиментализма: „море забвения“, „символ спокойствия“, „судно воображения“ и пр. Издание журнала Ермалафида приурочено к „новолуниям“, с несомненной целью подчеркнуть постоянное наличие образа луны в нежно-меланхолической лирике Карамзина.

Близко напоминают по звуковому сочетанию имя Ермалафида различные шаржированные прозвища Карамзина в пародийно-сатирической литературе начала XIX в.—„Мирлифор“, „Мирлофор“ и др.¹

Однако в памфлете Крылова встречаются указания, которые не могут быть отнесены за счет Карамзина. Крылов говорит, что Ермалафид начал „знаменитые свои подвиги“ тем, что написал трагедию, которая вместо слез и стонаний вызывала у публики

¹ См. „Эпиграмма и сатира“, под ред. Вл. Орлова, „Academia“, 1931.

„неудержанный“ хохот. Затем Ермалафид решил попробовать свой талант на поприще комедии. „Давно уже грозился он,— говорит Крылов,—прибрать комедию к своим рукам“. Комедии Ермалафиды вывели на сцену „целый парад в лаптях, в зипунах и в шапках с заломом; в парадизе¹ раздались радостные восклицания; сапожники, разносчики, каменщики—все узнавали на сцене своих земляков. Тогда-то всеобщее веселье разлилось по театру; на сцене появились фляжки и ендовы²; в парадизе зазвенели стаканы. На сцене заплясали—и весь парадиз начал прищелкивать; казалось, что сцена и парадиз составляют одно семейство“. Эти нападки можно отнести отчасти либо за счет Княжнина, либо, и скорее всего, за счет Плавильщикова. Хорошо известна вражда Крылова к Княжнину. С Плавильщиковым к тому времени у Крылова тоже могли сложиться неприязненные отношения. Не случайно произошло самоустранение Плавильщикова от общих дел типографии и издания „С.-Петербургского Меркурия“. Да и намеки Крылова больше всего относятся здесь к деятельности Плавильщикова. Первым его литературным „подвигом“ была слабая трагедия „Рюрик“. Затем последовали комедии: „Бобль“ (1780) и „Мельник и сбитенщик—соперники“, в которых изображался простой люд. Последняя комедия могла тем более служить предметом насмешек Крылова, что она была составлена из произведений, отличавшихся фальшивой, маскарадной народностью: из „Мельника“ Аблесимова и „Сбитенщика“ Княжнина.

Во всяком случае несомненно то, что Ермалафид—сборный сатирический образ, посредством которого Крылов мог разделаться со своими литературными противниками как Карамзиным, так и Княжниным и Плавильщиковым.

„Похвальная речь Ермалафиду“—последний сатирический памфлет Крылова. Им заканчивается знаменательный период журнальной деятельности великого сатирика. Позже, спустя несколько лет, Крылов вновь станет известен русской читающей публике, но уже как „дедушка Крылов“, как баснописец. Его сатирическая деятельность и басенное творчество органически связаны между собой. В былое время делались попытки изолировать Крылова-сатирика от Крылова-баснописца. П. А. Плетнев утверждал, что Крылов для русской литературы „родился только в 40 лет“. Нам понятна теперь подоплека этих утверждений. Социальное бунтарство сатирика, нападки на крепостничество и дворян—эксплоататоров народа были камнем преткновения, мешавшим представить Крылова в ореоле верноподданничества и благонамеренности. Отсюда стремление перечеркнуть предшествовавшее басням журнально-сатирическое творчество Крылова, игнорирование преемственной связи между этими обоими творческими этапами писателя. Баснописание Крылова неотделимо от его сатиры в „Почте духов“, „Зрителе“ и „С.-Петербургском Меркурии“. Басни во многом

¹ Галерея в театре.

² Чаша, ковш для питья.

повторяют мотивы и тематику сатиры. В басенном жанре „вполоткрыта“, своеобразно, воплотилось идейное содержание крыловской сатиры.

XIV.

Несмотря на благонамеренный и преимущественно аполитичный характер содержания „С.-Петербургского Меркурия“, журнал все же не избег полицейских репрессий. Казнь Людовика XVI, торжество якобинской диктатуры, решительная ликвидация феодализма и остатков абсолютистского строя—еще более чем в предыдущие этапы революции переполошили русскую реакцию. Правительство Екатерины II почти полностью прекращает экономические и политические отношения с Францией. В печати строго запрещено упоминать о революционных событиях. Полиция зорко следит за малейшим проявлением свободной общественной мысли. Взятая еще в прошлом под подозрение журнальная деятельность Крылова и Клушина делается в таких условиях почти невозможной. „С.-Петербургский Меркурий“, не без официального, повидимому, вмешательства, фактически ускользает из их рук. С середины 1793 г. журнал начинает печататься в типографии Академии наук. Ведущим редактором становится И. Мартынов. К концу года Крылов и Клушин вынуждены были покинуть Петербург. Клушин получил командировку в „чужие края“, Крылов уехал в деревню. Какими обстоятельствами вызвана была высылка писателей, можно догадаться из позднейшего разговора Крылова со своим сослуживцем по Публичной библиотеке Быстрым. Как-то раз Быстров, заведя речь об оде „К счастью“, помещенной Крыловым в „С.-Петербургском Меркурии“, спросил автора: „Иван Андреевич! за что это вы ценяете на фортуна, когда она так милостива к вам?“—„Ах, мой милый,—ответил Крылов,—со мною был случай, о котором теперь смешно говорить, но тогда... я скорбел и не раз плакал, как дитя... Журналу не повезло; полиция... и еще одно обстоятельство...“¹ (под последним имелась в виду неудача в любви).

Таким образом прекращение Крыловым своей журнальной деятельности произошло в результате какого-то репрессивного полицейского акта.

Так закончился второй период русской радикальной сатирической публицистики XVIII в.

Сатирическая публицистика является важнейшим фактором литературного процесса XVIII в. Она неразрывно связана с общим развитием нашей художественной литературы. Публицистика и литература взаимно дополняют друг друга. На многочисленных конкретных примерах можно убедиться, как сатирические журналы успешно используют опыт сатирического творчества Кантемира, комедий Фонвизина и др. Однако нетрудно убедиться, что, в свою очередь, творческий опыт сатирических журналов—

¹ „Северная пчела“ 1845, № 203.

умелая рисовка образов, правдивое изображение быта, разнообразие форм прозы, удачная простота языка—широко используются в художественной литературе. Журналы оставались живым фактом литературы даже спустя много лет после их издания. Можно без преувеличения сказать, что ни один крупный писатель XVIII в. не мог пройти мимо творческих традиций сатирических журналов. Прямые отзвуки мотивов и содержания журналов находим в „Недоросле“ Фонвизина, в „Путешествии из Петербурга в Москву“ Радищева. Сам Крылов, как уже говорилось, широко использовал опыт своей сатиры в баснях.

Сатирические журналы сыграли значительную роль в смысле приближения литературы к реализму.

Сатирическая публицистика имела большое значение в истории нашей общественной мысли. Исключительно богато отобразено в журналах социально-экономическое состояние страны. Политическая острота сатиры XVIII в. показывает, что русская литература того времени могла быстро откликаться на самые злободневные вопросы. Критика сатирическими журналами крепостнического строя, бюрократизма, быта и нравов дворянства несомненно содействовала росту общественного сознания, будила и поднимала лучших людей на борьбу за переустройство жизни.

Сатира Новикова и Крылова создала почву для дальнейшего расцвета русского сатирического творчества, вплоть до щедринской сатиры—этого высшего выражения передовой критической мысли русского общества второй половины XIX в.

Л. Лезтблау





ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

Сим листом бью челом;
а следующий впредь изволь покупать.

1769 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ.

Тысяча семьсот шестьдесят девятый год отменно счастливо начинаем (если бы не предстояла война¹, но даром: на начинающего ведь бог). Всякая Всячина всегда с нами пребывала, но ни который год не мог похвалиться иметь оную напечатанную. До сих пор она была в действиях, во словах, в мыслях, и везде оказывалась; но ныне она положена на бумагу и увидит свет. О коль сей год отличен от прошедших! Происхождения были во свете все те же; нового ничего нет; но ныне оные можно будет читать. День, гонимый днем, уже с собою в вечное забытие не вовлечет здесь записанных достопамятных происшествий. Достойны быть поздравлены все те, кои дожили до сего отличного дня, в который они, может статься, увидят себя не только снаружи в зеркале, но еще и внутренние свои достоинства, начертанные пером. О коль счастливо самолюбие ваше в сей день, когда ему новый способ приискался смеяться над пороками других и любоваться собою.

О год, которому прошедшие и будущие будут завидовать, если чувства имеют! Каждая неделя увидит лист; каждый день готовится оный. Но что я говорю? мой дух восхищен до третьего неба: я вижу будущее. Я вижу бесконечное племя Всякия Всячины. Я вижу, что за нею последуют законные и незаконные дети; будут и уроды ее место со временем заступать. Но вижу сквозь облака добрый вкус и здравое рассуждение, кои одною рукою прогоняют дурачество и вздоры, а другою доброе поколение Всякия Всячины за руку ведут. Но пора мне проснуться. Я сам себя поздравляю, что мне судьбина определила говорить с вами,

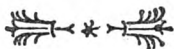
¹ Подразумевается русско-турецкая война 1768—1774 гг. Русские войска начали военные действия весной 1769 г.

любезные мои сограждане, целый год. Но как всякая вещь должна быть взаимна, и я свою работу не почитаю вам быть эпитимьею или наказанием, то и вас поздравляю, что вы со мною будете иметь дело; а для чего? Вы увидите из моего сочинения. Я давно читал, что весьма прилично писателям, не все прописывая, оставлять кое-что на острую догадку читателям; и для того прощайте на сей случай.

КО ЧИТАТЕЛЮ.

Любезный читатель, предпринял я сообщить вам все то, что мне заблагорассудится, безо всякого порядка. Иногда дам вам полезные наставления; иногда будете смеяться. Будут и такие времена, в которые ожидаю от вас удивления, также и попреканий; но на сии последние во истину не буду глядеть. И подобно как редкая плотина может остановить быстрое течение большой реки, так то никакая препона не может меня отворотить от великого сего моего предприятия. Мне сказали мама и няня, как я был шести лет, что я умен; у меня есть ласкатели, кои то же ныне подтверждают; ибо не у одних князей и бар, да у двора, найти сих животных можно. Сверх ума моего я заподлинно из опытов уверен, что у меня сердце доброе. Итак, надейтесь, господин читатель, что, купя мой труд, вы не вовсе потеряете свои деньги. Не вздумайте же впрямь, что мне нужда в ваших деньгах: я право дважды в день сыт, и еще остается столько, что и вас накормить можно. Я знаю, что все сие отправляется на чужой счет: ибо доход мой есть дань, мною наложенная на людей, кои более меня работают в поте лица своего; а я то проживаю без толикого труда и часто без благодарности к ним, в чем уже друзья мои часто мне попрекали, говоря, что стыдно в том быть не признательну и что я равных себе мало уважаю, хотя во мне спесь и не велика. Я сей свой порок приписываю дурному воспитанию и хулительному тех людей, с коими обращаюся, примеру, а отнюдь не своей гордости.

Прощай, господин читатель; чрез сии строки мы довольно спозналися. Каково жить будем вместе, время скажет; все сие зависит ото права так, как и в женитьбе.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

26.

Многие родители не столько любят и милуют детей родных, как своих внучат. Я о сем намерен был когда ни на есть написать долгую диссертацию. (Не замай сие слово переведут порусски, тогда и я на чужом языке не напишу, а самому придумывать смысла не стало: но постой, я вспомнил; диссертация по-

русски бишь рассуждение.) Из опыта теперь знаю, каковы милы внучата. Лишь *Ни То ни Се* узрело свет, я взял оное в свои объятия, но руки, и радовался над ним, приговаривая по обыкновению барских барынь¹: дитя умное, дитя милое, разумное дитя, и проч. Господин читатель, радость не знает меры. Если от сих повторений у кого ни на есть еще заболит голова или сделается обморок, то боюсь, что все племя наше, наконец, будет опасно здоровью множества нежных и, смело скажу, слишком нежных людей. Паки обращаю к любезному своему внучку *Ни То ни Се*. Больше он мне, статья может, потому был мил, что перво-рожденный сын² так мало благодарен родительнице своей, что он ее называет без всякого почтения большою сестрицею, не упоминая о прочих многих его поступках противу матери. Но о сей семейной ссоре нечего здесь упоминать. Одним словом, кончим тем, что смолода он не обещал много соответствовать надежде о нем родительской. Внучек же, напротив того, со дня рождения показался почтителен и ласков и тем утвердил искреннюю к нему любовь прародительницы, коя взирает на него как на подпору рода ее и утешение во старости. Бабушке ведь жить один год, следовательно, она уже близко четвертой доли века прожила в нарочитом к ней от общества благоволении; о сем судит так один разумный человек по числу листов, кои с рук сходят. Но как бы то ни было, обыкновенно после радости бывает печаль. На свете нет ничего совершенного. Следующие два письма поразили печалью чувствительное сердце бабушкино.

1

Господин сочинитель!

Ежели вы во Всякую Всячину письмо моего земляка Аришлая Шуши³ приняли, то надеюсь и моего не бросите, которое есть следующего содержания:

Родился я в Сибири близ реки Иртыша; предки мои тамошние татары: так по ним и я стал не русак; однако с малых лет, как только начал людей знать, увидел в себе особливую склонность учиться русскому языку, чего вскорее и достиг; начал по порядку, перво выучился читать и писать, после говорить, а потом появилась неслезанная охота к словесным наукам и чтению книг, и так прилежен был, что чрез короткое время с помощью тамошних латинщиков (коих не менее почти здешнего) стал знати вкус во книгах, и больше любил читать хороших стихотворцев: в пример, на русском покойного Ломоносова и господина Сумарокова, как первых российского Парнаса светильников (да и впредь на русском языке буду читать, ежели будут им подобные); но

¹ Барская барыня—приближенная к барам ключница.

² Подразумевается журнал „И то и се“.

³ Семенников считает, что под псевдонимом Аришлай Шуши, как и под псевдонимами А. Ш., писал близкий к Екатерине II граф А. П. Шувалов (1744—1789). См. Семенников, Сатирические журналы, стр. 15.

судьба не дала хорошенько выправить мне крылья во словесных науках, или, лучше сказать, сделаться самому автором, и повела меня по другой дороге, да еще разлучила со своей стороной. Итак, я время от времени, то в путешествии по всей Руси, иногда за болезнью, либо поленившись, совсем было потерял охоту читать книги; но вдруг лишь только нынешний год со Всякою Всячиною изволили прибыть, и госпожа Всякая Всячина в публике дала о себе знать, то, как обыкновенно всякий человек до новых вестей охотник, начал и я читать с первой пятницы, и теперь всякую читаю с великим удовольствием, и искренно вам признаюсь, господин сочинитель, что появилась во мне нечувствительно попрежнему охота к чтению книг, и вам обязан моею благодарностию до тех пор, покуда опять не заражуся прежним пороком, от чего боже избави!

Продолжая мое упражнение во чтении книг, попалось между прочим в прошедшую субботу нововыпечатанное сочинение во стихах и прозе, называемое Ни То ни Се. Читавши в оном стихи, и от частого произношения одних речей, зачала у меня побаливать голова. Когда это видя, надобно бы мне перестать, но я поупрямился, еще не могу забыть обычая своих одноземцев, которые хотя и грубы, однако совестны, захотел увидеть конец; а как дочитал, то от частых, да еще и на других языках, Ни То ни Се, Ни то ни Се... с русским что, что, что... сделался обморок, который так силен был, что и теперь не могу в натуральный прийти порядок; да и то слава богу, теперь есть полегче ото Всякой Всячины; а только на автора я не сержусь, потому, может быть, он не с умысла написал; в таком случае осмеливаюсь вас просить дать от такого моего припадка к избавлению средство, чего с нетерпеливостию ожидать буду; и я через сие вас потрудил, смотря на госпожу Хрипухину¹.

Ваш почитатель
Ибрагим Курмамет.

2.

Господин сочинитель!

Читая каждую пятницу листы вашего сочинения, с удовольствием нахожу в оных, с какою благосклонностию вы всем, требующим от вас помощи, даете свои благоразумные средства и оставляете тех в совершенном удовольствии, как видно из их к вам ответов.

¹ „Госпожа Хрипухина“, на которую ссылается Ибрагим Курмамет,— автор писем, напечатанных в листах 5 и 16 „Всякой всячины“. Ответы на них редакции были напечатаны сразу, вместе с письмами. Под псевдонимом г-жи Хрипухиной, по мнению В. Семенникова, писал А. В. Храповицкий (1749—1801), впоследствии статс-секретарь, автор нескольких посредственных идиллий, басен и трагедий. Известностью пользуется его дневник („Памятные записки“), насыщенный большим фактическим материалом из эпохи Екатерины II.

Я, будучи в обстоятельствах, требующих от вас помощи, принимаю смелость просить вас об оной; болен я бредом, и брежу все наяву; а бред мой состоит в том, что браню худых сочинителей, и которые не одумавшись принимаются писать против сил своих и пишут вздор. Например, Зятя и Тестя и Разумного вертопраха¹ и тому подобных, исключая славных Синава, Хорева² и прочих, которые ясно показывают великость духа сочинителя. На сих днях стало мне полегче; или лучше сказать, совсем было выздоровел, как вдруг опять занемог от нововышедшего сочинения ежесубботного. Господа сочинители Ни Того ни Сего, как видно, не будучи достаточны в хороших материях и наполняя враньем свой листок, находились в затруднении, как бы окончить оный, но не нашед более ничего, вранье свое окончили повторением на разных языках названий своего вздора. Пожалуйте, господин сочинитель, пособите мне в сей болезни и предпишите рецепт к облегчению. Признаюсь, что и сам ничего не знаю, для того то, думаю я, и сожалительнее, что сам ничего не зная, таким бредом трогаю и совершенно знающих людей. Вы можете из сего письма узнать, что пишу вам самую правду, критикуя разные сочинения, уверяю вас о полноте моей болезни. Впрочем я есмь тот покорный и верный вам

В С Я К А Я
В С Я Ч И Н А .

Симъ листомъ быю челомъ; а слѣдующий впрעדъ извольте почитать.

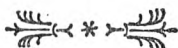
Титульный лист журнала
„Всякая Всячина“.

Фалалей,
который много написал, а толку нет.

¹ „Зять и Тестя“ и „Разумный вертопрах“—так назывались в „вольных переводах“ Лукина комедии французских писателей: „Dupuis et Desronais“ Шарля Колле (1709—1783) и „Le Sage Etourdi“ Луи Буасси (1694—1758). Фалалей, „брани“, „сочинителей“ этих комедий, имеет в виду, конечно, Лукина, особенности его стиля, языка и т. д. Лукин осмеивался и в „Смеси“, „Трутне“ и других журналах того времени.

² Герои трагедий Сумарокова „Синав и Трувор“ и „Хорев“.

Сим письмам в ответ скажу, однако не с сердцов: в болезни лучше нет лекарства, как терпение. Слушай, *То и Се*, и ты, *Ни То ни Се*; если не побережемся, наши корреспонденты нас поссорят. Но для пользы племени есть средство. Не замай они пишут; а мы браниться не станем. Итак будут без удачи те, кои, по французской пословице, между коркой и деревом пальцы положили.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

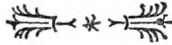
35.

Господин сочинитель!

Будучи охотник до издаваемых в нынешнем годе разных сочинений и покупая их с самого начала, с великим удовольствием читал оные, и могу сказать по справедливости, что находил в них разум, вкус и полезность; но ныне увидел в них сверх чаяния моего совсем неприличную таким сочинениям междоусобную ссору, которая в нас от приятного чтения оных великое произвела отвращение, и она-то самая принудила меня к вам, господин сочинитель, писать, чтоб вы, как первый производитель нашего еженедельно приятного удовольствия, постарались согласить их, предписав им за правило хранить между собою ненарушимую дружбу и вечное согласие.

Ваш почитатель
Аристарх Аристархов сын
Примирителей.

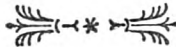
Мы должны признаться, что сей выговор Всякой Всячине и племени ее весьма справедлив. Итак, от сего дня объявляем нашим корреспондентам добровольно, непринужденно, в удовольствие публике, что ни единое такое письмо, ни сочинение не будет более места иметь во Всякой Всячине, из которого бы могли родиться ссоры и брани с прочими издаваемыми листами; советуя притом, по праву старшинства, и поколению Всякия Всячины отложить все домашние распри и только единственно упражняться довольствовати читателей приятными и полезными задатками.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

52.

Писатель письма от 26 марта 1769 года, подписанного *ваш покорнейший и усердный слуга А.*, узнал, что его письмо не будет напечатано. Мы советуем ему оное беречь до тех пор, пока не будет сделан лексикон всех слабостей человеческих и всех недостатков разных во свете государств. Тогда сие письмо может служить реестром ко вспоможению памяти сочинителю; а до тех пор просим господина А. сколько возможно упражняться во чтении книг таких, посредством которых мог бы он человеколюбие и кротость присвокупить к прочим своим знаниям; ибо нам кажется, что любовь его к ближнему более простирается на исправление, нежели на снисхождение и человеколюбие; а кто только видит пороки, не имев любви, тот не способен подавать наставления другому. Мы и о том умолчать не можем, что большая часть материй, в его длинном письме включенных, не есть нашего департамента. Итак, просим господина А. впредь подобными присылками не трудиться; наш полет по земле, а не на воздухе, еще же менее до небеси; сверх того мы не любим меланхолических писем.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

53.

Государь мой!

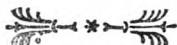
Я весьма веселого нрава и много смеюсь; признаться должно, что часто смеюсь и пустому; насмешником же никогда не бывал. Я почитаю, что насмешки суть степень дурносердечия; я, напротив того, думаю, что имею сердце доброе и люблю род человеческий. Итак, не извольте ошибиться в моем нраве, когда говорю, что я смешлив; но выслушайте, чему я намясь¹ смеялся так, что и теперь еще бока болят. Был я в беседе, где нашел человека, который для того, что он более думал о своих качествах, нежели прочие люди, возмечтал, что свет не так стоит; люди все не так делают; его не чтут, как ему хочется; он бы все делать мог, но его не так определяют, как бы он желал; сего он хотя и не выговаривает, но из его речей легко то понять можно. Везде он видел тут пороки, где другие, не имев таких, как он, побудительных причин, на силу приглядеть могли сла-

¹ Т. е. на этих днях.

бости, и слабости, весьма обыкновенные человечеству. Ибо все разумные люди признавать должны, что один бог только совершен; люди же смертные без слабостей никогда не были, не суть и не будут. Но ворчливое самолюбие сего человека изливало желчь на все то, что его окружало. Для чего же? Для того, что он стыдился выговорить свои собственные огорчения: и так клал все насчет превратного будто света, которого, он сказывал, что ненавидит; да сие и приметить можно было из его речей. Один тут случившийся молодец удалый, долго слушая, терпеливо и молча, поношения смертных, наконец потерял терпение и сказал ему: государь мой, вы весьма ненавидите ближнего своего; тиран Калигула в своем сумасбродстве говаривал, что ему жаль, что весь род человеческий не имеет одной головы, дабы ее отрубить разом; не того ли и вы мнения? Наш рассказчик сим вопросом был приведен во превеликий стыд, и чувствуя, что он страстями своими был приведен к показанию толикой ненависти к людям, что подал причину вспомнить Калигулу, вскочил со стула, покраснел, потом пальцы грыз, бегая по комнате, напоследок выбежал и уехал, знатно от угрызения совести. А мы во весь вечер смеялись людской слабости. Но после, размышляя о сем происшествии с большим примечанием, расстались обещав друг другу: 1) Никогда не называть слабости пороком. 2) Хранить во всех случаях человеколюбие. 3) Не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) просить бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения. Я нашел сие положение столь хорошо, что принужденным себя нахожу вас просить дать ему место во Всякой Всячине. Я же есмь

ваш покорный слуга
Афиноген Перочинов.

P. S. Я хочу завтра предложить пятое правило, а именно, чтобы впредь о том никому не рассуждать, чего кто не смыслит; и шестое, чтоб никому не думать, что он один весь свет может исправить.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

60.

Господин сочинитель!

Думаю, что у такого автора, как вы в сочинении Всякия Всячины ежедневно упражняетесь, надлежит быть великой вивлио-теке, из которой вы толь пространные и разные материи на листах ваших изображаете.

Прошу потрудиться и выписать для меня из оной, буде найдется, такой эксперимент, коим бы можно перевести подъячих, которые до третьего градуса привели меня во изнеможение.

Я старался и тем от них избавиться способом, которым переводят клопов, блох и всех кровососных насекомых, однако ничем не мог оборониться; но истоща весь свой дом на то, и ныне стражду от сих кровососов.

Вычитал было я у Полибия¹ таковую махину, которая по тысяче и больше в день неприятелей побивала, но недостаток мой оную построить не дозволил; и для того ища легчайшего способа, к вам с прощением о том прибегаю и, прося вашей помощи и ответа, с почтением пребываю

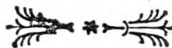
ваш усердный слуга
Занапрасно Ободранный.

Ежели ж вашей помощи не получу, то больше не останется способа, как петь только по книжному:

*Ты, господи, сохраниши ны и соблюдеши ны от рода сего и во век*².

* * *

Подъячих не можно и не должно перевести. Не подъячие и их должности суть вредны; но статья может, что тот или другой из них бессовестен. Они менее других исключены из половицы, которая говорит, что нет рода без урода, для того, что они более многих подвержены искушению. Подлежит еще и то вопросу: если бы менее было около них искушателей, не умалилася ли бы тогда и на них жалоба. Но чтоб удовлетворять писателя вышеоставленной грамоты в его требовании, как перевести обычай, чтоб подъячие не приводили никого в изнеможение, в ответ ему скажу, что сие весьма легко. Не обижайте никого; кто же вас обижает, с тем полюбовно миритесь без подъячих, сдерживайте слово и избегайте всякого рода хлопот.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

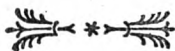
66.

На ругательства, напечатанные в Трутне под пятым отделением, мы ответствовать не хотим, уничтожая оные; а только наскоро дадим приметить, что господин Правдулюбов нас называет криводушниками и потатчиками пороков для того, что мы сказали, что имеем человеколюбие и снисхождение к человеческим слабо-

¹ Полибий (родился между 212 и 205 гг., умер между 130 и 123 гг. до н. э.)—известный древнегреческий историк, автор „Всеобщей истории“.

² Это выражение позаимствовано из Псалтири.

стям, и что есть разница между пороками и слабостями. Господин Правдулюбов не догадался, что, исключая списхождение, он истребляет милосердие. Но добросердечие его не понимает, чтобы где ни на есть быть могло списхождение; а может статься, что и ум его не достижает до подобного правоучения. Думать надобно, что ему бы хотелось за все да про все кнутом сечь. Как бы то ни было, отдавая его публике на суд, мы советуем ему лечиться, дабы черные пары и желчь не оказывались даже и на бумаге, до коей он дотрогивается. Нам его меланхолия не досадна; но ему несносно и то, что мы лучше любим смеяться, нежели плакать. Еслиб он писал трагедии, то бы ему нужно было в людях слезливое расположение; но когда его трагедии еще света не узрели, то какая ему нужда заставляти плакать людей или гневаться на зубоскалов.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

68.

Господа сочинители
„Всякия Всячины“!

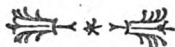
Боюсь писать, чтоб и мне не попасть в такие, которые говорят: из Голландии в Лондон ездил верхом; орел так высоко летает, что от солнца крылья загораются; однако не прогневайтесь, государи мои, я у поэзии в гостях не бывал, да и не знаю, кто она такова, а про риторику и не спрашивайте; только читывал в книжках, будто они девицы, да и сестры. Притом же мне, как я еще был маленькое деревцо, да и теперь весьма не велико, сказывали: кто-де с ними познакомится, то сделается великий забияка, да такой, что чуть ли и в могиле не станет браниться, в чем я более всего уверен близ меня живущим соседом, который с ними в тесной дружбе пребывает, летами же старее Ладожского озера; однако несмотря на то, такой сердитый, что меры нет. Лишь только кто придет к нему, да хоть чуть не поглянется, так тотчас пришлет что-то такое прочесть, от чего чуший заезаается. Да и много таких забияк: для того-то и знаться с ними не хочу; боюсь, чтоб и мне не сделаться таким же; а разве только так познакомиться, как меж собой петиметры дружатся. Притом же кажется такие люди и вредны; а годились бы они тогда, когда вместо пушечной и ружейной драки дрались перьями, да чернилами; да и то, чтоб их было не много; а как будет много, так делают междоусобную чернилопролитную драку, от которой никому покоя не будет. Хорошо, как бы это так было. Тут-то посмотреть было бы чего, да и не страшно; не так как... Вместо грома слышен бы был треск перьев; вместо летящих ядер и пуль

летели бы картечи чернильные. Далеко я ушел от начала. Быть так; уж не воротись. Для того-то я вам никакого приветствия сделать и не умею; а понудило меня к вам написать письмо не что иное, как любовь к ближнему и ко Всякой Всячине; а к какой, можно догадаться. На вас негодуют иные старики и близорукие за то только, что мелко печатаете так, что надобно в очках читать; да притом же они говорят: и книга де будет тонка. Я думаю достанется тоже и тому, кто пишет И То и Се. Этаких много любителей толстых книг; и я знаю одного молодца, который сам для того только переписывал печатные книги, чтоб были толсты. Я думаю и вашу Всякую Всячину начал уже он переписывать. Вот какого вы наделали труда. Он, бедный, от переписки, по любви к толстым книгам, почти ослеп; только он этому радуется, потому что слышит о себе рекущих, будто он от чтения книг получил такую слепоту. Он рад будет, ежели и с ума сойдет; да и так немножко попридуривает, коли станут только говорить, что он учен. Вот, господа петиметры, самый легкий способ для вас сделаться ученым, подражайте только сему молодцу. Итак, государи мои, что я знал, то и писал. А будете ли вы оное печатать или нет? Как хотите, да и мне в том нужды мало. Врал бы и больше, да голова заболела.

Остаюсь ваш,
вы догадайтесь кто?

* * *

Мы замечаем, что сей год отменное число слов свету предъявляет. Мы боимся, не мы ли к тому подали пример или причину. Но однако, как бы то ни было, не можем оставить, чтоб нашим корреспондентам вообще не дать знать, что ни от чего не должно столько остерегаться, когда имеешь в виду угодить публике сочинением, как от словохотия. Ибо не всегда та резвость ума, коя заставила писать и коею веселится сочинитель, нравится публике. Сие также нам самим будет служить правилом.



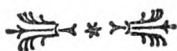
ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

81.

Из письма, писанного к господину сочинителю Трутню от Тихона Добросоветова, а к нам по несыскании его присланного для напечатания чрез его приятеля, не подписавшего имени, мы здесь только издаем во свет правило, в оном предписанное всем сочинителям, которое гласит тако: *добросердечный сочинитель, во всех*

намерениях, поступках и делах которого блистает красота души добродетельного и непорочного человека, изредка касается к порокам, чтобы тем под примером каким не оскорбити человечества; но располагая свои другим наставления, поставляет пример в лице человека, украшенного различными совершенствами, то-есть добротами и справедливостью, описывает твердого блюстителя веры и закона, хвалит сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю и обществу, избражает миролюбивого гражданина, искреннего друга, верного хранителя тайны и данного слова; присовокупляет к тому пользы, из того проистекающие, и сладкое сие удовольствие, какое чувствует хранящий добродетель в том, что ни раскаяние, ни угрызение совести в сердце такового человека места не имеют. Вот славный способ исправляти слабости человечества! При чтении такового сочинения каждый чувствует внутреннее восхищение, прилепляется к добродетели, не имея ни к себе, ни к сочинителю отвращения; сам без обличителя оуждает пороки, которым следовал от безрассудности. Злоправного же человека есть предмет изо всего составляти ближним поощрение, к порокам их присовокупляти свои собственные, бранити всех, и услаждаться, других уязвляя.

Мы и сами сему правилу будем стараться последовать и других к тому, почитая оное весьма справедливым, приглашаем. Что же касается до остального содержания того письма, то или писатель оного, или приятель его могут к господину сочинителю Трунья идти, который, думаем, укажет, где его найти можно, и поступит с оным по своему произволению.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

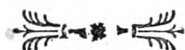
86.

Господин писатель!

Напишите что-нибудь в наставление тем матерям и бабкам, кои детей и внучат, начинающих лишь только говорить, учат, чтоб отцов и других людей бранили; и когда младенцы от неразумия своего сие делают, то матери тем чрезвычайно веселятся. Из листов ваших не приметил я, чтобы вы нисходящему роду своему, теперь уже до пятого колена простирающемуся, такое преподавали где-либо учение, однако некоторые из пишущих и издающих недельные сочинения показывают в сем ремесле удивительные успехи

и нас оными забавляти стараются, не ведая того, что благоразумный человек и в детях сию шалость с крайним слышит сожалением; кольми паче негодовать он должен на сочинителей, в храм вечности и славы продающихся, видя вместо полезных поучений рассеиваемые ими и примером их одобряемые такие плевелы.

Ваш покорный слуга
Герасим Курилов¹.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

108.

Господин сочинитель!

Случалось мне слышать от одной части моих сограждан изречение такое: правосудия нет. Сие родило во мне любопытство узнать, отчего бы такой вред к нам вкрался? и справедливы ли жалобы о неправосудии? наипаче тогда, когда всякий честный согражданин признаться должен, что, может быть, никогда и нигде, какое бы то ни было правление, не имело более попечения о своих подданных, как ныне царствующая над нами монархия имеет о нас, в чем ей, сколько нам известно, и из самых опытов доказывается, стараются подражать и главные правительства вообще. Мы все сомневаться не можем, что ей, великой государыне, приятно правосудие, что она сама справедлива и что желает в самом деле видеть справедливость и правосудие в действии во всей ее обширной области. О том многие изданные манифесты свидетельствуют, а наипаче наказ комиссии уложения, где упомянуто в 520 отделении, что никакой народ не может процветать, если не есть справедлив². Где же теперь болячка, на которую жалуются, то-есть,

¹ Под псевдонимом Герасима Курилова, как и под целым рядом других, начинающихся буквами Г. К., по мнению Семенникова, писал Г. В. Козицкий (ум. в 1775 г.), секретарь Екатерины II, ученый, автор переводов с древних и новых языков.

Перечисывал и исправлял произведения Екатерины II, плохо знавшей русский язык. Был редактором „Всякой всячины“. См. Семенников, стр. 11—13.

² В статье 520 „Наказа“ Екатерина II пишет: „...Мы думаем и за славу себе вмеем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны. Ибо, боже сохрани! чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле; намерение законов наших было бы не исполнено: несчастие, до которого я дожить не желаю!“ Цитируем по изд. Пантелеева, СПб 1893, стр. 168—169.

что правосудия нет? Станем искать. 1. В законах ли? 2. В судьях ли? 3. В нас ли самих?

Законы у нас запутаны; о том сомнения нет. Сию неудобность мы имеем вообще со всей Европой; но перед ней имеем мы выгоду ту, что ее величеством созвана вся нация для составления нового проекта узаконений; следовательно, питаемся надеждой о поправлении тогда, когда Европа вся не видит конца конфузии. А между тем, пока новые законы поспеют, будем жить, как отцы наши жили, с тем барышом против них, что мы ощущаем более от вышней власти человеколюбия, нежели они. Но я скажу и то, что справедливостью распутывать можно и весьма запутанные, да и самые противоречущие законы. Итак, неправосудие не в самих законах.

Судьи у нас, как и везде, всякие. У нас их определяют обыкновенно из военнослужащих или из приказных людей без великого знания. Во многих европейских землях, а наипаче во Франции, покупают за деньги судейские места друг у друга, как товар. Итак у кого есть деньги, тот судья, хотя бы он никакого знания не имел. Почему в сем случае наши обычаи немного разнятся от обычаев других народов нашего шара. Но врождена ли справедливость во всех судьях так, чтоб могла наградить недостаток знаний? того никак утвердить не можно. Следовательно, жалоба на неправосудие отчасти падает на судей и на нравы.

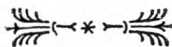
Что же касается до третьего моего предложения: неправосудие не в нас ли самих? на сие ответствую, что во всяком деле одна сторона права, а другая неправа. Если неправую сторону обвинят судьи, то она кричит и шумит о неправосудии, и стало, сама несправедливо судит. Да как ей и не таковой быть? Она из четырех следующих в одном положении: 1) или проведена страстию, 2) или стряпчим, 3) или ябедою, 4) или надеялась, авось-либо удастся. Итак стало, что всегда половина тяжущихся суть недовольны судьями правосуднейшими для того, что сами они не суть справедливы. Если б были справедливы, то дела несправедливого не начинали бы; ибо начинание несправедливого дела уже само собой есть неправда. Не всякому дано себя самого и свои поступки судить без пощады, так, как бы он судил поступки ближнего своего. Но желательно бы было, чтобы мы всегда свои дела судили сами по истине; и тогда бы ябеда и прихоти исчезли; следовательно, меньше бы жалоб было на неправосудие. Прямая же жалоба на неправосудие только та может быть, когда справедливая сторона осуждена. Но чтоб подобных дел много могло проходить сквозь строгое рассматривание трех апелляций, и в присутствии тяжущихся, тому верить не можно. Ибо немного таких людей, которые бы захотели лихо творить в лице почти целого света и оставить на бумаге писанные свидетельства своего плутовства, за которое подобные им получили возмездие по достоинству своему. Однако сие доказательство слабо. Но долг наш, как христиан и как сограждан, велит иметь уверенность и почтение к установленным для нашего блага правительствам и не поносить их такими поступками и несправедливыми жалобами, кои,

право; я еще не видал, чтоб с умысла случались. Впрочем, я не судья и век не буду, а рассудил за нужно сие к вам написать для того, что некоторые дурные шмели¹ на сих днях нажужжали мне уши своими разговорами о мнимом неправосудии судебных мест. Но наконец я догадался, для чего они так жужжат. Промотались, и не осталось у них кроме прихотей, на которые по справедливости следует отказ. Они, чувствуя, что много ожидать им нечего, уже наперед начали кричать о неправосудии и поносили людей таких, у коих, судя по одним качествам души, они недостойны разрешити ремень сапогов их. Колико же правы вообще требуют исправления, о том всякому отдаю испытание на совесть. Не замай всяк спросит сам у себя, более ли он вчерась или сегодня сделал справедливых или несправедливых заключений? Из всего сказанного выходит, что нигде больше несправедливости и неправосудия нет, как в нас самих. Любезные сограждане! перестанем быть злыми, не будем иметь причины жаловаться на неправосудие.

Напечатайте сие письмо, если вам угодно будет.

Патрикий Правдомыслов.

Я собираюсь прислать к вам еще письмецо с описанием прихотей наших.



ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

111.

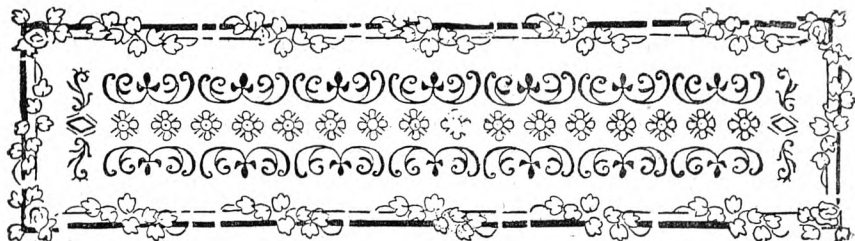
Нельзя на всех угодить.

Во истину удивительная вещь! Есть люди, кои бранят наше сочинение. Но как неволи нет читать оное, то просим покинуть. А если продолжают и за сим чтение и брань, то уже известно будет, для чего бранят. Здесь объявляется: знатно где ни на есть нашли себя описанных; а как сами себе не прелестны показались, то вздумали отомстить нам ругательством. Но сие не льнет; ибо лишь бы мы не ошиблись в правилах правоучения, все прочее для нас не важно. Если же бы в сих мы имели несчастье обмануться, то бы мы имели причину просити прощения у тех, коих бы мы своими правилами провели. Скажут, что не мы правила выдумали. О сем и спора нет. Скажут, что мы переводы списываем. Признаемся, что и сие бывает: легко узнать оные можно; осмеливаемся сказать, что почти все переводы, здесь внесенные, слабее настоящих сочинений.

¹ Под „шмелями“, очевидно, подразумевается „Трутень“, резко критиковавший судейские порядки и нравы.

Не смеем же ласкать себя, чтобы тот, кто более нас поносит, нам завидовал. Если же паче чаяния оно так, то сие нам не малую честь делает, хотя бы сам ругатель в том и не признался. Но как бы то ни было, мы отдаемся на беспристрастное рассуждение публики, не беспокоясь нисколько о разных об нас бреднях и показав тем самым, в каком холодная кровь выигрываете бывает над кипящею; и для того продолжаем со всегдашней бесперерывною охотою.





И ТО И СЁ.

Строками служу, бумагой бью челом,
а обое вообще извольте покупать,
купив же считайте за подарок, для
того что не большего оно стоит.

1769 г.

ЯНВАРЬ. ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ.

Тысяча семьсот шестьдесят осмой год был не крепостной, по вольный, он прошел по своему желанию, и никто не осмелился его остановить, следовательно, мы поклонились и домой воротились; будет с нас и того.

Господин читатель! как тебе кажется это начало, хорошо ль я заговорил или дурно? но ты молчишь и мне не отвечаешь; так я тебя больше и спрашивать не стану; а буду один упражняться в моем намерении во удовольствие твое по пословице: *свой ум царь в голове*; я же голову имею собственную; следовательно, и разум в ней не купленный.

Имею я уста пространные, голос громкий и произношение речей весьма твердое, природу обыкновенную, а тело тяжелое, да и такое, которое не могут поднять ветры, итак пушу я голос мой во все концы пространная России и поздравлю всех моих одноземцев с тем торжественным днем, в который начался новый тысяча семьсот шестьдесят девятый год, и в который сменила девятая цифра осмую. Чего ж я пожелаю при сем моем поздравлении? благополучия; кажется, что не ошибся; да и нельзя, ибо еще с малых лет научился я быть разумен и политичен. Хотя это и неправда, а походит на очевидную ложь; однако надеюсь, что для такой радости простят мне сию погрешность. Разве для того только она извинения недостойна, что в самом начале

года прихватил я на душу такую небылицу и прибавил к старым моим грехам золотника два-три походу. Может быть, иной забавник рассмеется, видя такое мое несчастье, и подумает, что мне полюбилось дурачество; однако знай, всякая вещь свою имеет цену, я солгал с намерением, чтоб ты, видя гнусность сего порока, никогда не держался такой замашки. Сим маленьким правучением в торжественный день нового года я тебя подарил. Подарок сей невеликой цены, но твое большое великодушие увеличить его может, ты мне отплати за сие, да знаешь ли чем? твоею благосклонностию за все за то, что ты услышишь от меня в целый наступивший год, итак похвалят нас за это обеих. Меня за то, что я служу тебе со всяким усердием, а тебя за другое, что ты услуги мои принимаешь с благодарностию.

Не погневайся, господин читатель, что я некрасноречиво говорю, но это зависит от тебя, если ты мне сделаешь ободрение, каким бы то образом ни было, то я тебе наскожу и то и се, по пословице: *От избытку уста глаголют*. Не подумай же, чтоб я просил у тебя денег, однако если ты мне оных дашь, то я, право, не отрекусь; ибо я человек такой, что от хорошего отговариваться не стану, да сверх же того еще не заплачено за мои труды; а за какие, этого я тебе не открою, для того, что я вельми и вельми скромн, если кого не увижу, то уже, конечно, не открою вверенной мне тайности. Такой добродетели учился сто лет и двадцать; однако до сих пор в этой школе находюсь последним учеником, а тебе не советую и одной минуты упражняться в сей науке, для того, что честному человеку она непонятна.

Всякий де спляшет, да не как скоморох.

Когда случаются у простолюдинов шурушки, то они имеют обыкновение слишком потчевать своих гостей, я думаю для того, чтоб меньше они ели, или, может, для той причины, чтоб усерднее нагружали пищею и вином желудки, о чем я у них не спрашивал, и когда потчуют они женщину, то она по благоразумному своему обыкновению отвечает тогда пословицею: и так уже батюшко *копной передо мной*. Сердце мне предвещает, что и господин читатель скажет сию пословицу тогда, когда увидит перед собой побасенок с пятьдесят. Болтать я охотник, только не имею дару смешить людей благоразумно, а это происходит от того, что я не столько умен, как другие; однако человек добрый обещался поучить меня несколько, и дело теперь остановилось только за тем, чтоб порядиться с ним, сколько он возьмет на месяц за ученье. Человек он взрослый и весьма искусный парикмахер, он без всякой ошибки расчесывает волосы и говорит, что имеет к тому природное дарование, уверял меня некогда, что словесные науки гораздо меньше стоят, нежели волосоподвивательное искусство. Сперва было я тому не верил, но он убедил меня весьма сильными доказательствами, которых никак опорочить не можно: сказывая, что азбуку, часослов и псалтырь выучил он в полгода, а подвивать волосы учился невступно двенадцать лет, но и теперь ставит не весьма завидные кудри.

Итак, заняв у него несколько высокой его премудрости, чувствую я по моему телу, что несколько поисправлюсь и буду продолжать начатое мною дело с хорошим успехом. Впрочем, господин читатель, не ожидай ты от меня высоких и важных замыслов; ибо я и сам человек неважный, и когда правду тебе сказать, не утруждая совести, то состоянием моим похожу на самое сокращенное животное. Я предприял увеселять тебя и шутить перед тобою сколько силы мои позволят, единственно для той причины, чтоб заслужить твою благосклонность и довести тебя до того, чтобы имел ты обо мне хорошие мысли.

Охота смертная, да участь горькая. Сей лист или сие первое издание сочинял я три года с половиною, и истратил для переписок на одну только бумагу все оставшееся мне после покойного отца моего имение, прибавил еще к тому годовое мне жалование, однако и того не достало, итак, чтоб в последний раз переписать его набело, занял я листок у искреннего моего друга и сущего приятеля, который, конечно, не оставляет меня в таких нуждах, и, думаю, хотя попрошу я и полдести, так он мне поверит, только под расписку, ибо он держится сей пословицы: *денежка де всегда счет любит.*

По сему описанию, кажется мне, будто бы я похожу на изрядного простофилю и как будто уже во мне нет никакой надежды к продолжению принятого мною намерения; однако, господин читатель, уверяю тебя, что ты получишь в следующую неделю другой листок и в целый год все по порядку, ежели не станешь жалеть денег, а мы люди непричудливые, не гонимся за золотом и серебром, примем от тебя и медью и докажем тебе, что мы благосклонны в то время, когда нам дают деньги.

Зачал я за здравие, а свел за упокой, чем и доказал ясно, что я пишу и *то и се*, итак, примолвим одну пословицу и останемся до времени с покоем. *Первый блин всегда бывает комом.*

И Т О и С Ю

Спроками служу, бумагой бьючеломъ,
а обое вообще извольте поку-
пать, купивъ же считайте
за подарокъ, для пово, что
нс большева онос спю-
ипѣ.

Титульный лист журнала „И то и се“.



И ТО И СЕ.

ЯНВАРЬ. ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ.

Кто хорошо начал, тот половину дела сделал; что это такое, загадка ли, пословица или нравоучение, по природному моему чистосердечию открываюсь, что заподлинно и сам не знаю или в этот только случай не угадал возможного; некогда и весьма трудную задачу решил я очень скоро. Спросили у меня, будет ли когда-нибудь февраль месяц состоять из тридцати дней, на что отвечал без всякой трусости и недожашим голосом: нет, чем и удивил все собрание, которое за сие почитает меня ныне больше, нежели пономаря приходской нашей церкви. Можно сказать опять и то, что разум во мне не совершен; следовательно, всего в свете познать невозможно, ибо рассуждению нашему положен негде предел.

Предпринимая писать И То и Сё, должен я непременно говорить обо всем, то-есть о том, о чем мне возможно и о чем имею я действительное сведение, хотя не вдруг; однако каждое за каждым по порядку. В начале о хорошем, потом о посредственном, а наконец и о худом, для того что и из худа выходит иногда изрядное дело. Под именем худа разумею я малые вещи, а кто их презирает, тот о больших никогда понятия иметь не может. Не бывши учеником, учителем не будешь.

Тот половину сделал, кто хорошо начал: сие нравоучение поставит у уметь; но в начале первого листа позабыл ему последовать. Итак, вижу, что начал я недовольно хорошо, что ж делать: *На всякого мудреца довольно простоты*. Однако знаю опять и это, признание погрешения половина исправления: *А повинную голову и меч не сечет*. Я намерен извиниться и оказать мое почтение, а кому и для чего, о том моими устами и моими мыслями, по моему желанию и приказанию, изъяснится и То и Се обстоятельно; и каким порядком, извольте слушать, оно уже начинается.

Государыня моя, госпожа Всякая Всячина! не погневайся на меня, что я наименоваю тебя родною моею сестрою, и сестрою еще большею или старшею, для того что прежде ты вышла на свет из природные утробы, и прошу в том извинения, что я причитаюся к тебе роднею. Ты родилась на Парнасе, да и я неподалеку оттуда, тебя производила Муза, да и меня, я думаю, так же: следовательно, близки мы так друг к другу, как солнце к огню, которые греют и освещают, и ежели люди пренебрегать их станут, то они вредны; а ежели с рачением присматривают за ними, то больше всего на свете полезны.

Я не из числа тех людей, у которых прибиты шапки к голове алтынными гвоздями, и которые, увидев на дороге человека почтенного и достойного всякой чести, охотнее обойдут три улицы и еще несколько переулков, единственно только для того, чтоб не встретиться с ним и не помять головной своей покрывки, хотя она ниже сотой доли не составляет его имения. Некото-

рых принуждает к тому зависть, для чего он не на такой степени как тот; других гордость, а иных глупость, и кажется мне, что сей род глупости помягче несколько совершенного дурачества. Сие уменьшаю я для того, что я от природы человек снисходительный и смиренный и предпочитаю неважный мир славному сравнению. Потому не называю никого в глаза глупым, без которых, как мне кажется, обойтись невозможно, я видал их в домах, на улицах и в поле; однако исправлять их не берусь и титул народного учителя принять на себя не отваживаюсь, потому что я недостоин и сверх же того учить людей не умею для той причины, что я и сам середка на половине. Итак, чтоб от того мне удалиться, то я в защищение себя скажу сию пословицу: *Исправил горбатого могила, а глупого случай; ибо он только один дурацкий учитель.*



М. Д. Чулков.

Итак, государыня моя сестрица, госпожа Всякая Всячина, извини меня в том, что я позабыл мой долг и в первом листе не сделал тебе почтения; впрочем, сама ты ведаешь, что конь о четырех ногах; однако и тот спотыкается! Начинать учиться и каяться в преступлениях никогда не поздно и это-то мне делает ободрение и подает великую надежду к получению от тебя прощения. Я снисходителен, а ты, может быть, еще и больше меня, что не порок, то добродетель, а добродетель неоцененное сокровище на свете. Я следовал тебе и следовать буду, за что, я чаю, гневаться ты на меня не будешь, и сие мое усердие сочтешь знаком моей к тебе преданности, которая останется во мне до конца моей жизни.

Прости, государыня моя сестрица, впредь до свидания.

Ваш покорный брат и слуга.

Ежели мало И То и Сё, так изволь принять меня за все.

Господин читатель! каково это приветствие? Мне кажется, что оно не имеет в себе высоких замыслов, да как думается мне, то они и не нужны; ибо между роднею лишние учтивости совсем некстати. Мог бы я говорить покудреватее в угодность твою, но от трехлетнего ребенка требовать того не можно; а лета сочинения моего считаю я понеделньо, так как и должно.

Что ж касается до того, что я наименовал себе сестрою госпожу Всякую Всячину, в том ответа давать тебе не обязуюсь, ежели ты будешь от меня силою требовать; а если попросишь учтиво, ибо я стою несколько твоей учтивости, то я с такой радости, что люди меня почитают, выйду из границ сочинительской должности и напишу родословие наше на тысяче листах александрийской бумаги и в твою угодность склею их всех вместе, которыми можешь ты покрыть деревеньки две-три чухонских. Впрочем, без остановки не верь моим словам; ибо я великий человек в двух невоображаемых делах, то-есть великий мастер и охотник лгать, говорю иногда и правду, однако поневоле или собственно по моему произволению, изволь это толковать сам, а мне, право, теперь недосужно: *Хлопот полон рот*, а время короткое, да оно же и несчастливое.



И ТО И СЁ.

ФЕВРАЛЬ. ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ.

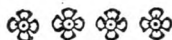
Государь мой А. В.!

Напечатано ваше письмо во Всякой Всячине, которое вы прислали под именем девицы¹. Склад сего письма делает вам честь, ибо те, которые вкус хороший и знание имеют, должны ваше письмо и по содержанию и по изображениям похвалить. На сие ваше письмо ответствовано вам то, что легче критиковать, нежели сочинять, но мне кажется, что труднее со вкусом и со справедливою критиковать, нежели без вкуса и несправедливо сочинять. Что у нас науки в худом еще положении, это кажется мне неосновательно, ибо и Феофановы проповеди и Ломоносова покойной государыне Панегирик и некоторые его строфы, так же проповеди Псковского и Тверского архиреев и Троицкого архимандрита², парнасского младенчества в России не показы-

¹ В листе 15 „Всякой всячины“ некая „любительница Всякой всячины“ резко высмеивала переводы Лукина (см. прим. на стр. 45). В редакционном примечании к этому письму издатели „Всякой всячины“ писали: „Для сочинительницы сего письма мы почитаем за нужно перевести французскую поговорку: *критика легка, но искусство или ремесло не легко*. В теперешнем положении наук у нас, мы думаем, что гораздо нужнее поощрение сочинителям, переводчикам и молодым людям, кои посвящают себя наукам, нежели строгая критика“.

² Псковской архирей—псковской епископ Стефан, Тверской—архиепископ тверской Гавриил, Троицкий архимандрит—потом архиепископ тверской и митрополит московский Платон. Все—известные проповедники XVIII в.

вают. Ободрения молодым людям, худо пишущим, не надобно; дабы в сие заблуждение и другие молодые люди войти не могли. Вы же, может быть, сами вдвое моложе сочинителя Софьи Менандровны¹. Погрешности в сей комедии не мелкие, но самые крупные и непростительные. Я радуюся, видя в вас достойного питомца муз, и желаю, чтобы вы вкуса своего не испортили никогда. Следуйте своему вкусу и хорошим писателям, чем вы родителям своим учините радование, себе честь, отечеству услуги; ибо перо ваше достойно похвалы. Дай боже, чтобы таковых начинателей почитать муз было больше, а таковых комедий, какова Софья Менандровна, было меньше; а еще бы лучше было, если бы к чести нашего века не было и ни единой. Я не касаюсь и не коснуся чести авторовой, но здесь дело не о нем, но о его комедии.



И ТО И СЕ.

ИЮЛЬ. НЕДЕЛЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Господин сочинитель и Того и Сего!

Вы, я думаю, извините меня великодушно, что я, не будучи вам знаком, осмелился к вам адресоваться. Несколько дней рассуждал я, у которого бы из сочинителей испросить позволение к переписке в таком намерении, что если в праздное время случится попасться в такой мысли, которая польза или удовольствие обществу принести может, не пропустить напрасно. Не познав же склонности, искать знакомства казалось мне делом безрассудным; для чего прошедшую неделю, собрав все листки, еженедельно издаваемые и ежемесячно обещанные, и прилагал всевозможное старание по свойству сочинений составить хотя малое понятие о качествах сочинителей наших. Признаюсь вам чистосердечно, что прежде нежели прочел сочинение каждого, не на вас упал мой жребий. Древность почитать всем нам свойственно; вот почему Всякая Всячина, как праматерь, овладела было моим желанием, но забыл, что старость имеет свои слабости и что с уменьшением телесных сил ослабевают вместе и душевные дарования. Приведа сие на мысль, рассудил я прежде прочесть последний листок ее сочинений. Но как я удивился, увидя ее начинающею учиться лягушачья языка! с крайним сожалением сердца познав сие ее состояние, боже мой! сказал я тогда с внутренним соболезнованием, вот как тебе угодно было в свет произвести человека. Через несколько лет и я Всякой Всячине подобен буду, потерявши то, что укра-

¹ Под „сочинителем Софьи Менандровны“ подразумевается Лукин, у которого в комедии „Тесть и зять“ героиня неоднократно именуется Софьей Менандровной.

пшат человечество, возненавижу, может быть, и я также людей, как она возненавидела, и буду стараться искать тех совершенств в презренных тварях, которые тебе угодно было дать избраннейшей. Сего уже довольно было переменить моё намерение и от старости ослабевающий разум оставить в покое.

Потом попалось мне в руки сочинение господина Трутня. Сей человек показался мне, что он объявил себя неприятелем всего рода человеческого. Тут, кроме язвительных браней и ругательства, я не нашел ничего доброго; для чего послал я к одному моему приятелю попросить еще несколько листов его же журнала; но что я увидел тут? грубость и злонаравие в наивысочайшем блистали совершенстве; его ведомости соплетены были из ругательства и поношения ближним, и еслиб ему верить, то бы надлежало возыметь совершенное от всех людей отвращение; но я подумал, что и он человек же и что, может быть, пороки, которыми язвит других, ему еще более всех свойственны; и как он описал себя весьма праздным, то сие наипаче утвердило меня в сем мнении, поколику праздность есть кормилица пороков, в нежных которой объятиях созревают сии благословенные плоды весьма поспешней, нежели под тернием трудолюбия; то сие рассуждение принудило меня возыметь противное мыслям его о нем заключение. Будучи же всегдашний друг общества, в числе которых полагая и самого себя, не мог согласиться с им, чтобы улажаться других поношением. Адская почта хотя наименованием своим меня и не устрашает, но как она весьма нова и имеет некоторые еще невразумительные намерения, почему о ней никакого заключения сделать не возможно; притом же я с самого младенчества к духам адским толкое получил омерзение, что не только переписки с ними, но и получение писем чрез курьера сего рода мне не нравится, и для того ее оставляю.

Наконец, читая издание ваше, удовольствовал мое желание. Оно показалось мне самым невинным упражнением, приносящим иногда пользу, иногда увеселение. Я не приметил в нем ни грубости, ни невежества, ни также язвительной критики. Сие привело меня возыметь к вам особое почтение и просить позволения о переписке с вами, хотя вам переписка с неученым и не принесет великой славы, но вы можете из сего оставить некоторую себе честь, подавши способ рассуждать человеку, исправляя его погрешности, а наипаче умножите возимевшее к вам почтение

Искреннего Вашего слуги Д. П.

ОТВЕТ.

Иметь с вами переписку от всего моего сердца желаю, но притом прошу иметь к нам снисхождение, ибо мы не Цицероны, но и в том находятся погрешности, следовательно, извинения гашего мы недостойны.

Аз
Не без глаз,
Смотрети я умею
И что на пользу мне, конечно, разумею.
Болван и дерево единыя природы
И вышли уж они давно у нас из моды,
А прежде им во храмах поклонялись
И их боялись.
Невежи в старину почтение имели,
Писати не умели.
Однако за сукном за красным те сидели,
И все дела решили, как хотели;
Но ныне уж не так!
Мы видим издали, кто глуп и кто дурак.
На чем стоит земля, мы это разумеем.
И много ли на ней
Людей,
Хотя пересчитать сего мы не умеем,
Однако положить число мы оным смеем.
А сколько дураков,
Вопрос таков,
И я один рещу,
И против формы в том ничуть не погрещу.
А как?
Вот так.

Кто думает, что он умнее всех людей,
Затем что выше всех взбивает лишь тупей,
Дурак.

Кто думает о том, чтоб модно нарядиться,
И в платье так, как бес пред завтренею, вертится,
Дурак.

Кто от роду нигде лентясь не работает,
Но только живучи на свете сем мотает,
Дурак.

Кто льстит другим в глаза, а за очи бранит
И ближнему сплести погибель норовит,
Дурак.

Кто праотцев своих сатирами поносит
И похвалы себе от всех за это просит,
Дурак.

Кто дыфров не учил, по летописи строит
И Волгою берега Санктпетербургски моет,
Дурак.

Кто взялся написать историю без смысла
И ставит тут Неву, где протекает Висла,
Дурак.

Кто об Египтянах нам тщится предлагать,
А сам он о себе не знает, как сказать,
Дурак.

Кто умным никогда писателям не верит,
И думает, сама в них правда лицемерит,
Дурак.

Кто взапуски писать примается с Волтером
И думает тому в письме он быть примером,
Дурак.

Кто думает себя хвалою превознести
За то, что он умел романа с три сплести,
Дурак.

Кто разума в себе ни смысла не имеет,
По важные писать истории он смеет,
Дурак.

Кто глупости своей дает и злости волю,
Зоилову во всем наследовал он долю,
Дурак.

Кто всех без выбору согражданов ругает,
И только одного себя лишь почитает,
Дурак.

Кто много чересчур, иль слишком написал;
Однак ругать людей нигде не пропускал,
Дурак.

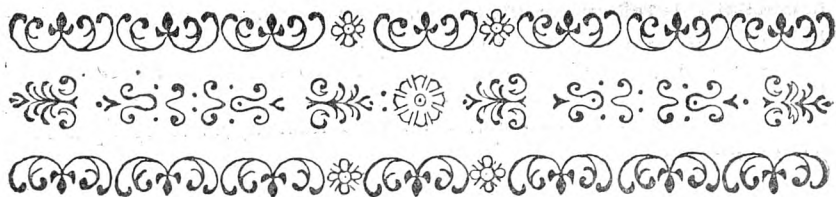
Кто мертвым и живым покоя не дает,
И думает, пред ним виновен весь сей свет,
Дурак.

Кто мир и тишину и дружбу ненавидит
И без причины он других людей обидит,
Дурак.

Кто ближнего злодей и враг себе, конечно,
Безмозглый человек, скажу чистосердечно,
Дурак.

Конечно, так,
То подтвердит и всяк,
А я еще к тому вдобавок прибавляю,
Что глупости в осле не столько обретаю,
Колико в сих людях, именованных мною,
Которы не дают в сей жизни нам покою.





НИ ТО НИ СЁ.

в прозе и стихах.
Ежесубботное издание

на 1769 год.

ЛИСТ ПЕРВЫЙ. 21 ФЕВРАЛЯ.

Нет такого в свете добра, в котором бы злость не нашла себе пищи, и нет такого зла, из которого бы добродетель не извлекла себе и другим удовольствия и пользы. Земля есть мать всех своих произрастений; но пчела из ее соков составляет сот, а паук яд. В сем рассуждении и мы выпускаем сии листки: если кто станет в них искать удовольствия и пользы, тот может быть оные здесь найдет. Если же бы мы, боясь в читателях больше найти пауков, нежели пчел, оставили сии листки в их небытии, то бы худо были предуверены о роде человеческого и оказались бы недостойными оного членами. Притом самолюбие есть такая страсть в людях, которую преодолеть, нашпаче в нынешние времена, почитать может выше человечества. Едва не оно ли было главною пружиною и в тех славных людях, которые победением оного выше других вознестись старались. Сия страсть будучи сопровождается еще охотою показаться грамотными и желанием услужить публике, сделала издание сих листков необходимым. Итак, три только обстоятельства остались, о которых нам несколько позаботиться надобно, а именно: сочинение наше покажется читателям или полезно, или бесполезно, или ни то ни другое. Что до первого принадлежит, то мы обещаемся понести великодушные, если кто наше *Ни То ни Сё* захочет превратить в *Печто*. Что ж касается до второго, то мы не обязуемся ответствовать за тех читателей, которые из сего нашего затору произведут неприятную чувствам кислоту. А если случится третье, то мы уже будем не первые отягощать свет бесполезными сочинениями: между множеством ослов и мы вислоухими быть не покраснеем. Ведь мы не вдвое против других человеки, чтоб нам стыдиться быть под-

верженными такой же судьбине, какую знатная часть подобных нам животных несет без стенания, а может быть, и без тягости. Нас в сем случае будет веселить то, что мы чрез сие окажемся честными и справедливыми людьми, сдержав свое слово пред публикою; то-есть, что выйдет из сего настоящее и беспримесное *Ни То ни Сё*.



НИ ТО НИ СЁ.

ЛИСТ ПЯТЫЙ. 21 МАРТА.

Господа сочинители Ни Того ни Сего!

Мне очень досадно, что ваше сочинение хулят. Я боюсь, чтоб хула сия не отняла у вас охоты продолжать оные. Однако не подумайте, что я в ваше сочинение влюбился. Нет; я беспристрастный всех сочинений читатель, и скажу вам правду, что от вашего сочинения не кидало меня ни в обморок, ни в восторг; а что я желаю видеть их продолжение, то сие для того только, что надеюсь найти в них сверх увеселения несколько и пользы, потому что вы, как я вижу, и новостями не гнушаетесь, и старины держитесь, а я, да и многие со мной одношерстные, и до того и до другого охотники. Итак, очень мне хочется защитить вас, да не знаю как. По моему мнению, и бабушка¹ ваша не очень права и корреспонденты ее не гораздо надежны; а виноватее всех вы сами. Скажите, для чего бы и вам не иметь осторожности в издании получаемых будто вами писем, плесть себе такие же похвалы, какими бабушка ваша всем уши прожужжала? Не имеет ли она права быть вами недовольной, что вы от нее ума не набираетесь и ее примеру не следуете? Разве вы не знаете, сколь зорки тогда бывают читатели, когда им пущецо будет в глаза несколько горстей такой пыли? Им тогда и на грязи цветы покажутся. А хотя бы бабушка ваша, по старости, в чем-нибудь и не слишком прозорливо поступила, то для чего бы и вам ей в том не сотовариществовать, когда вы и вислоухими быть не отрицались? В этом вас оправдать никак не могу. Что ж до бабушки принадлежит, то она извинительна потому, что выжила уже из лет и много забывается: сие вы можете видеть из того, что она пишучи к вам поучение в лице бабушки сказала, *взяла, а не взяла* себе на руки внучка. А когда она и роду и полу своего не помнит, то можно ль пенять, что она не умела отличить в своих корреспондентах критики от ругательства? Курмамет и Фалалей², ее корреспонденты, потому ненадежны, что один из

¹ Т. е. „*Всякая всячина*“.

² См. стр. 43—45.

них неверный, а другой бестолков: как сам пишет. Первому пусть отаукивается тот, кого он кликнул, а с другим поговорю я. Господин Фалалей! мне очень жаль, что вы блистание вашего разума помрачили именем бестолкового. Не думайте, чтоб я был столь прост, чтоб, уверясь на одном имени, упустил рассмотреть кроющияся под ним достоинства. Ах боже мой, как вы хитры! вы

глубокое свое проицание, показывающее вам новые и весьма скрытые откровения, назвали бредом! Кто тому поверит? Неужто все люди глупы? Как! Вы чрез четыре недели, а может быть, и по четырехдесятикратном размышлении узнали, что последние две строчки первого листа *Ни Того ни Сего* написаны только для дополнения пустого места; а ведь это такая глубокая тайна, что всяк, кроме вас при первом проходе ногою за нее зацепиться мог. А той обширности вашего разума, с какой вы из двух слов провидели вздорность всего сочинения, которого, может быть, еще ни сотая часть на свете не вышла, я, скудоумный, и меры положить не могу; однако смело поручусь, что когда вам, по такой своей проицательности в прошедшем, можно прослыть не ошибчивым и в прорицании будущего, то вероятно, что и кроты сделаются когда-нибудь славными в свете астрономами.

Вот еще какие между людьми водятся удалцы! Однако, господа сочинители, я не советую вам трусить. Неразумно будет бояться ходить гулять и пользоваться приятностями природы для того только, чтоб не случилось найти на такое место, которого запах может оскорбить обоняние. Пусть пишут сколько хотят, если им за мухою с обутом гоняться не стыдно; вам не о чем плакать, хотя и каждые ваши две строчки будут мне доставлять хлопот на целый лист. Пусть наводят читателям скуку несмачною своею критикою; ведь всяк знает, что зывательность происходить не может от доброго сердца. Продолжайте, как начали: не бранитесь с бабушкою, которая, миловавши вас, хотя и укусила, но по старости зубов не больно, да она же после и рану зализала. Докажите, сколь бесстыдно со-

НИ ТО НИ СЮ

ВЪ прозѣ и стихахъ,

Ежесубботное изданіе

на

1769 годѣ.

Напечатано вторымъ тисненіемъ съ
исправленіемъ противъ
прежняго.

1771 года.

Maxima de Nihilō nascitur historia. Propertius.

Превеликая изъ ничего родится повесть.
Пролерцій.

Титульный лист второго издания
журнала „Ни То ни Се“.

врал тот, который уверяет публику, что вы в хороших сочинениях не недостаточны; и сколь не зорок тот, кто из двух слов провидел вздорность сочинения, которого еще почти и в свете нет.

Ваш покорный слуга
Неспускалов.

Р. С. Не зная, вступится ли кто за стихи, или нет, склонил я в запас к сему моего приятеля, который и прислал ко мне следующую эпиграмму.

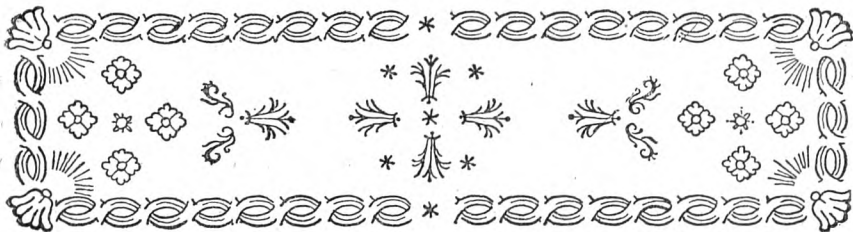
К КУРМАМЕТУ.

Рецепта просишь ты в болезни, Курмамет;
Но исцелить тебя надежды вовсе нет:
Ты видно уж ослеп обоими глазами,
Или смотрел тогда трегранными очками,
Когда последни чел стихи Ни Сё ни То;
Там вместо двух тебе явились трое что.
Ты в обморок упал, зачем же не скончался?
Надгробный стих тебе свахлять бы я потщался,
Сказал бы: «здесь лежит татарин Курмамет,
Что от Ни То ни Сё оставил здешний свет.
Прохожий, плюнь на прах неверна Курмамета,
Который спит теперь на лоне Магомета».

* * *

Любезная бабушка! вы правду сказали, что нас корреспонденты поссорят: вы видите, что есть на свете смельчаки, которые и против вас без раболепства говорить дерзают. Мы бы сего письма не приняли; но мы не смели оказаться неучтивыми, оставив ваш вызов без ответа, и устыдился не последовать хотя однажды вашему примеру в принятии такого рода писем. Впрочем, и вас и читателей мы уверяем, что впредь такие письма в наши листы не завернутся; если же вы заблагорассудите и впредь одолжать нас подобными поучениями, то по крайней мере не взыскивайте на нас, что мы за недосугами оставим их без ответа, а может быть, и без исполнения. Мы, бабушка, тебе хотя и внучки, однако уже на возраст.





СМЕСЬ.

Новое еженедельное издание.

1769 г.

ЛИСТ 2.

ПРАЗДНЫЕ ЛЮДИ.

Не помню, где-то я читал, что один молодчик, пришед поздравить с праздником знатного господина, сказал ему: «Милостивый государь, я пришел отдать вам низжайший мой поклон; на что знатный господин отвечал ему: Ну, так поклонись. Равным образом, если спросить у некоторых людей, зачем они живут на свете? то им по справедливости должно отвечать: Мы де живем. Кажется, что они для того рождены, чтоб им ничего не делать, но только называться людьми и проводить свой век в праздности и невежестве. Не зная, на что употребить время, выдумали сей смешной вопрос: Чем забавляетесь? Как будто бы жизнь была определена на одни забавы, а не на полезные упражнения.

Г. де-ла-Брюер¹ пишет: „Тимант родился, дабы умножить число счастливых ленивцев. Знатная природа, отличив его от простых невеж, произвела в хорошие чины. В теперешнем его состоянии он может знать, что будет делать во всю свою жизнь, хотя бы жил Мафусаиловы веки². Сегодня он ест, пьет, говорит, играет, спит, бьет слуг и бранит подчиненных. Когда пройдет и двадцать лет, то так же будет есть, пить, говорить, играть, спать, бить и бранить; разве только не в те самые часы.

Аттикус почти не знает, что он такое на свете. Чувствует, что он есть нечто живое, но точно о себе не ведает. Он только считает себя подобным некоторым созданиям, имеющим голову, ту-

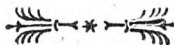
¹ Лабрюйер Жан (1645—1696)—знаменитый французский писатель, автор книги „Характеры“, из которой тут и приведена цитата.

² Мафусаил—библейский патриарх, живший будто бы 969 лет. „Мафусаиловы веки“—символ долголетия.

ловище, руки и ноги; когда они с ним говорят, то он им отвечает. Он каждый день спит спокойно часов по десяти, пробудясь, часа два пролежит на постеле, а в остальное время убирается, ест и пьет. Не имеет никаких мыслей, и, конечно, душа его иного свойства, нежели других людей; одним словом, Аттикус подобен кукле, сделанной на пружинах, которая ходит, сидит, смеется, говорит, но понятия не имеет.

Дамон, развываясь в креслах, слушает мало, а говорит много, но без всякого размышления. Он никогда ни о чем не думает, и лишь растворит рот, то можно отгадать, что станет глупо говорить; однако его речи похваляют, затем, что глупость знатного и богатого человека не называют глупостью¹.

Можно бы сыскать много таких примеров, но не все люди любят правду и не всякому понравятся такие описания.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 3.

РАЗГОВОР ЛЕАНДРА С МИЗАНТРОПОМ¹.

Леандр. Государь мой, дайте мне совет, каким образом сделать свое счастье?

Мизантроп. Не очень, сударь, легко сделать свое счастье, и я почти не знаю к тому честных способов.

Л. Мне ваши слова непонятны.

М. Так разве вы не знаете, что если захочешь скоро быть счастливым, то должно быть негодяем.

Л. Как, сударь! Хотя я и не дворянин, но имею несколько природного разума и учился наукам; итак получа чин, могу быть при делах какого-нибудь знатного человека.

М. Правда, что вы тогда не будете негодяем, но затем-то и не сделаете своего счастья. Мало, сударь, вы знаете знатных: иной знатный скорее наградит своего камердинера, нежели вас, хотя бы вы день и ночь сидели за его делами, нажили чахотку и ослепли, он все будет говорить, что вы то делаете по своей должности и для того имеете чин.

Л. Возможно ли, чтоб человек, имевший хорошее воспитание, сведение, благородные мысли...

М. Ах, сударь, право, вас не наградят за ваши благородные мысли и за все ваши науки; худо вы знаете находить свое счастье.

¹ Этот „Разговор“—почти дословный перевод из сатирического журнала „Мизантроп“, издававшегося в 1711—1712 гг. на французском языке голландцем Вап-Эффеном (1684—1735). См. статью Солнцева, „Смесь“, сатирический журнал 1769 г., в журн. „Библиограф“ 1893, № 1, стр. 31—32.

Но скажите мне, умеете ли вы искусно управлять гребнем или бритвой? Умеете ли со вкусом ставить пукли? Скоро ли вы и чисто ли бреете бороду?

Л. Подумайте, что вы говорите, мог ли я упражняться в таких малостях?

М. Тем, сударь, хуже, такие малости очень полезны: вас бы взял к себе знатный господин, у коего бы прослужа года четыре, сделались камердинером, собирали бы пошлину без его ведения с проходящих к нему за нуждами и, понажившись от такого ремесла, получили бы чин управителя, с которым дается и привилегия разорять своего господина.

Л. Правда, я слышал, что во Франции один знатный господин, быв при смерти, советовал своему сыну идти в управители к такому человеку, который, был прежде его управителем, и в конце его разорил; так чтоб сын, обокрав сего разорителя, получил отцовское наследство. Но что до меня касается, то я ни камердинером, ни управителем быть не хочу.

М. Я бы вам советовал проситься в приказные служители, но ныне взятки вывелись из моды. Притом же мне кажется, что вы философствуете и предпочитаете умеренную и спокойную жизнь всем светским пышностям.

Л. Без сомнения.

М. Я не думал, чтоб вы, будучи еще молоды, так здраво рассуждали. Неужели вы не променяете малого своего домика на огромные палаты, которых почти каждый камень омочен слезами разоренных крестьян?

Л. Конечно, когда бы я имел малый достаток, то, верно, бы не искал никаких чинов, но служил бы моему отечеству всем, чем могу.

М. Когда вы имеете разум, который украсили науками, то перевели бы или сочинили какую-нибудь полезную книгу; но нет, и за то не получите награды. Скажите, не смешны ли вам кажутся светские обращения? и не предпочитаете ли вы честного и бедного человека негодяю, наряженному в богатое платье?

Л. Наши, сударь, мысли очень сходны; правда, что я вижу много смешного на свете.

М. Когда же вы такого мнения, то проситесь в актеры.

Л. Как! Если не быть негодем, то должно быть актером; и нет другого честного способа, дабы сделать свое счастье?

М. Не спешите, сударь, под именем актера я разумею такого, который сведущ, понимает авторские мысли, входит в страсти, представляет их живо и сам может быть сочинителем; одним словом, такого, который, следуя стопам Мольера и Доминика¹, заслуживает всеобщия похвалы.

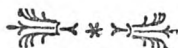
Л. Я верю, что сим можно прославиться; но потребна к тому способность.

¹ Доминик Пьер-Франсуа (1680—1734)—известный французский актер и комедиограф.

М. Правда, я не лестно скажу, что в нашем первом актере¹ мы видим достойного современника Гарику и Лекену². Но поверьте мне, что разумный человек может быть хорошим актером; глухой же не в состоянии осмеивать пороки и не в силах живо представить то, чего он не понимает. Сколь приятно показать на театре глупость таких людей, которые почтенны чинами и коим нужда велит кланяться! И сколь велико удовольствие быть похваленным от них самих за то, что осмеял их пороки! Пожалуйста, проситесь в актеры.

Л. Я знаю, что достоинства везде почитаемы и что лучше быть хотя посредственным актером, нежели худым автором; но не все люди одинакого мнения о актерах.

М. Одни только невежи, надутые гордостью, имеют противное сему мнение; но все разумные люди со мною согласны. Прости, сударь, и подумай о сем хорошенько.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 6.

Недавно принесли мне сие письмо, которое здесь включаю.

Господин издатель!

Искренно благодарю вас, да верно надеюсь, что и все, имеющие участие в науках, тоже вам благодарение приносят за изъяснение участи ученых в третьем вашем листе, разговором Ландра с Мизантропом; ибо самая это правда, что все учившиеся природные россияне, находящиеся при высокородных, гораздо несчастливы перед неучью, да еще и ненавидимы бывают за свои науки и за свое знание, а причины тому разные. Но сожалею, что вы утверждаете преимущество одних только камердинеров, из коих происходят, по вашему, разорители домовые (управители); потому что во многих домах ничего не знающие, а умеющие хорошо писать (то есть конисты), называющиеся секретарями, пользуются теми доходами, коими вы клевете камердинеров; они-то в долги вводят своих господ, и доходы с крестьян делятся по частям, господину секретарю и управителю с прибором; а бедный ученый человек в презрении и без награждения за свои многотрудные подвиги, не кажущиеся важными по той причине, что ученых не по-много в одном месте бывает, и изъяснить их дел

¹ Под „нашим первым актером“, вероятно, подразумевается замечательный русский актер XVIII века Иван Афанасьевич Дмитриевский (1734—1821).

² Лекен Анри Луи (1728—1778)—замечательный французский трагик. Гаррик Давид (1716—1779)—замечательный английский актер, преобразователь английского сценического искусства.

партизанов не находится. Следственно, я не советую третьего рода россиянам, тратить свои молодые лета на науки; а лучше упражняться в первых трех художествах, а хотя и в последних, чем лучше прокормятся, нежели наукою. Впрочем пребуду,

17 $\frac{VI}{20}$ 69

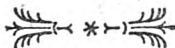
Monsieur,
Votre très affectionné serviteur
B. W.¹

Г. сочинителю сего письма я скажу в ответ, что хотя ученые люди не всегда счастливы бывают, однако сим не можно доказать бесполезность наук, которых польза видна из сей строфы г. Ломоносова, коей мысль взята из Цицерона.

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха,

И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.

Что же секретари разоряют господ, то сие не всегда случается: не у всякого есть секретарь, а управитель у всякого.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 11.

Господин издатель!

Объявите мне, от чего происходит желание причитаться в родню? Затем что я вижу в городе такую бабушку, которая всех писателей журналов включает в свое племя и всегда на них ворчит хотя сквозь зубы; из чего заключаю, что они не от нее происходят, а она сама на них клевет. Но почто же называться роднею? Или она уже выжила из ума? Сомнение мое час от часу умножается: я рассматривал ее труды и после сличал с ее потомством, однако не находил нимальх следов, чтоб она была способна к такому детородию; ибо последние ее внучата поразумнее бабушки, в них я не вижу таких противуречий, в каких она запуталась. Бабушка в добрый час намеряется исправлять пороки, а в блажный дает им послабление: она говорит, что подьячих искушают, и для того они берут взятки; а это так на правду походит, как то, что чорт искушает людей и велит им делать злое. Право, подьячие без всякого искушения, сами просят за работу. Сия же старушка советует, чтобы не таскаться по приказным крючкам, то должно мириться и разделяться добровольно; вся-

¹ Сударь, Ваш покорный слуга В. W.

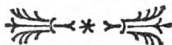
кий сие знает и, конечно, попустому тягаться не сыщется охотников. Верно, если бы все были совестны и наблюдали законы, то не надобно бы было и судов и приказов, и подьячим бы не шло государево жалованье. Но когда сие необходимо, то для чего ей защищать подьячих? Знать, что они-то истинное ее поколение. Стыдно будет вам, господин издатель, иметь такую родню; пожалуйте, откажитесь от бабушки, которая ныне рассказывает простые сказки и тем изображает слабость своего разума; ибо более того не ведает, что слыхала в старину, и только то печатает, что к ней пришлют из милости, как будто в подаяние бедной старушке. Ожидая напечатания сего письма и вашего ответа, остаюсь

Ваш покорный слуга

М****

1769. Июня 2.

Издатель человек миролюбивый, и опасается не только приказных, но и всяких привязок; почему и не может сказать господину М****, для чего причитаются в родню, когда о том не просят.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 12.

Господин сочинитель!

Пора вам, господа внучата и племянники известной здесь старушки, попросить вашу бабушку, чтоб в листках своих получше наблюдала постоянство, старости ее лет приличное; а то она поныне как молодое пиво бродит и на одном основании мыслей своих остановить не может. Прежде божилась она, что только будет исправлять пороки и никакого автора не тронет; но после, будучи в том крепко уверена, что мертвые на критики не отвечают, так было привязалась к Тилемахиде, что едва сию ворчливую старушку от Тилемахиды отогнал кто-то такой, ей своим письмом доказавший, что автор сей книги древнюю и всю огромную римскую историю и много иных обществу полезных книг переведший¹,

¹ В листах 5, 9, 15 и др. „Всякой всячины“ были осмеяны труды Тредиаковского, его „Тилемахида“ и „Аргенида“, которые сравнивались со снотворным и т. п. (О причине нападок Екатерины II на „Тилемахиду“ акад. А. С. Орлова. См. статью „Тилемахида“ В. К. Тредиаковского в сборн. „XVIII век“, изд. Академии наук, М.—Л. 1935.) Эти тенденциозные нападки на Тредиаковского вызвали возмущение некоего анонима, который в письме, помещенном в 40-м листке „Всякой всячины“, писал: „...до выхода Тилемахиды на свет не было у нас еще ни одной строфы без вирши; что ж она не полюбилась госпоже любительнице Всякой всячины [так

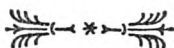
листочками Всякой Всячины поврежден быть не может. После завела она многие ссоры между своими внучатами; а наконец вступила в брань и с посторонними писателями.

Знаете ли вы, почему она увенчана толикими похвалами, в листках ее видными? Я вам скажу. Во-первых, потому, что многие похвалы она сама себе сплетает, потом по причине той, что разгласила, будто в ее собрании многие знатные господа находятся; итак некоторые, может статься, думая хвалением их сочинений войти в их милость, засыпали похвалами Всякую Всячину. Но правда ли то или нет, нам того знать не нужно, и мы судить должны то, что видим. Если и великий Могол¹ напишет, что снег черен, а уголь бел, то я тому не поверю. Посоветуйте, господа чернильные ее сродственники (ибо я знаю, что не по крови вы ей внучата), родне вашей с соперниками своими замириться; а то нам скучно за чужие брани платить деньги.

Ваш доброжелатель и слуга
Н. Замиряев.

10 июня 1769 г.

Господина Замиряева совет хорош, но редко оный принимают старушки, а особливо ворчливые.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 16².

Еще мне вздумалось описать поступки некоторых людей: посмотрите на сего молодчика, он хорошо одевается, везде бывает, многих знает и его многие знают. Это Валер. Он знатной породы, богат, недурен собою, и чтоб быть счастливым, ему только надлежит уметь употреблять счастье в свою пользу. Но, быв воспитан в неге и в праздности, он никогда не старался употреблять сво-

подписалась одна из насмешниц над Тредиаковским в листе 15], то осмелюсь ей сказать, что у всех почти разные вкусы; итак, что одному хорошо, то худо другому, почему на всех и угодить трудно. Ежели же скучна Тилемахида, то можно сему еще помочь, читаячи книги, вышедшие из перевода древней и Римской истории; а их, право, довольно будет для разогнания скуки“. Это письмо и имеет в виду „Смесь“ и солидаризируется с ним, выступая, таким образом, как и в полемике между „Всякой всячиной“ и „Трутнем“, против первой.

¹ Великими моголами называли императоров Индии тюркской династии. Здесь—аллегорическое обозначение великого и могущественного государя.

² Эта статья—механическое соединение почти дословных переводов отрывков из упоминавшегося уже „Мизантропа“ Ван-Эффена. См. статью Солнцева в журн. „Библиограф“ 1893 г., № 1, стр. 37—38.

его разума; теперь ему двадцать лет, однако же в нем еще не видны все душевные действия, и не можно сказать, чтоб Валер имел жизнь, свойственную человеку, затем что не имеет мыслей. Валер только то чувствует, что он в тягость самому себе и должен искать общества с подобными себе молодцами. Вчера поутру хотел ехать в гости в такой дом, где они обыкновенно собирались, но по несчастию никого там не было. Валер не знал, как проводить день, состоящий из множества минут, которые казались ему часами: поехал в кофейный дом, но и там не нашел никого из своих товарищей; после того переездил все улицы и перебивал во всех трактирах, в коих как нарочно к умножению его несчастия биллары¹ были заняты незнакомыми ему людьми. Во всем городе не осталось более убежища несчастному Валеру, ибо в тот день не бывают и театральные зрелища. Будучи болезнен сам себе и несносен всем разумным людям, принужден, отобедав один в трактире, ужинать в знатном доме у своей родни, и те минуты были ему злейшим мучением, затем что не мог играть ни в карты, ни на билляре. Приходит ночь, и он ложится спать, радуясь, что может часов десять не быть в тягость самому себе.

Молодой Эраст, получа великое наследство после покойного своего отца, которому ежеминутно желал переселиться на тот свет, неусынное прилагает попечение, чтоб промотать свое богатство, кое собирали по крайней мере два или три поколения. Он, думаю, скоро исполнит свое намерение, затем что волокитство, карты и роскошь соединенными силами стараются ему в том помогать. Вся его жизнь проходит в разных веселиях и забавах, которые не дают ему время приметить, что он благородным образом разоряется и спешит в магистрат² по дороге, усыпанной приятными цветами.

Старый Архилос так влюблен в свои деньги, что беспрестанно на них смотрит и в том полагает все свое веселие. Можно подумать, что он не знает, как деньги употребляются; ибо довольствуется одними деревенскими припасами, носит платье, доставшееся ему после смерти его предков, и не только что не покупает ничего нового, но и старого своего дома не починивает; у коего кровля сгнила и скоро упадет.

Критон, будучи весьма труслив, хочет прослыть храбрым человеком. Он всем рассказывает о своем неизмеримом геройстве и старается в том уверить всеми ложными доказательствами. Если кто начнет ему верить или для смеха потакать, то Критон так бывает весел, как победоносный герой, разоривший города своих противников и ведущий за собою множество окованных пленников.

У Мемнона бывает музыка и играют лучшие музыканты. В то время Мемнон сидит в креслах, и кажется, что слушает со вниманием; однако же он не разумеет музыки, и все его удоволь-

¹ Биллярд.

² Т. е. в долговую тюрьму, находившуюся в XVIII веке в ведении магистрата.

ствие в том только состоит, что другие думают о нем как о славном музыканте. Мемнон верно бы скучил, слушая музыку, если б, сидя, не шептал поминутно: *я веселюсь.*

Поликрат столько надут гордостью, что не может веселиться с равными себе. Он лучше согласится стоять целый день перед знатными и не вымолвить ни слова, нежели иметь беседу с друзьями. Побывав в знатном доме, где делал всякие подлые услуги, гордится пред равными себе и презирает тех, кои его ниже. Хотя он чувствует, что сносил смертельную скуку, раболепствуя знатным, но все то забывает, когда может сказать: *я был сегодня в знатном доме.*

Лисип при всяком случае старается оказать свою щедрость. Помогает своим друзьям, платит за них долги, а иногда старается одолжить и незнакомого ему человека. Все его хвалят, выключая заимодавцев, которым он никогда не платит. Не трудно отгадать, для чего Лисип так поступает: он считает щедрость за добродетель, приличную великим людям; а платить свои долги ставит такой маловажною, которую исполняет и последний крестьянин.

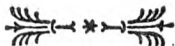
Не должен я позабыть Акаста, который рассуждает о людях по их платью. Он мне знаком и, увидя меня в саду в новом кафтане, оставя своих товарищей, подбежал ко мне и, хваля мое платье и хороший вкус, ходил со мною до самого вечера. Несколько дней после того, когда увидел меня, как я приехал из-за города и шел с ненапудренными волосами и в сюртуке, то не хотел мне и поклониться, затем что он с женщинами ходил по улице. Я нарочно пошел ему навстречу, но он, не дав мне вымолвить ни слова, начал говорить: *конечно, ты теперь приехал с дачи? Здоров ли тот? Видел ли ту?* и, спрашивая о всех, не хотел говорить обо мне. Я думаю, Акаст сказал своим господам, что я чей-нибудь камердинер; ибо, по его мнению, тогда только можно говорить дружески с своими знакомыми, когда они в новых кафтанах.

С М Ъ С Ь

НОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ.

Началось 1769 года, Апрѣля 1 дня.

Титульный лист журнала „Смесь“.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 17.

Господин сочинитель Смеси!

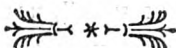
Прошу вас, господин сочинитель, о напечатании в вашей Смеси письма ко мне, присланного от господина В. М. Я сам бы оное напечатал в Почте Адской, если бы то от одной только моей воли зависело; но бесы хотят сами собою до конца сего года наполнить ежемесячные сочинения, которые все уже почти ко мне присланы. Им должно бы было многие письма переделывать, если бы они захотели чужие ко мне присылаемые сочинения пришивать к своим. Однакож, желая сделать удовольствие господину В. М., желающему, чтоб его письмо было предано печати, прошу вас яко современника нашего о напечатании оного; которое следующего содержания.

Господин издатель бесовских переписок!

Странно мне, как у вас бесы с попом подружиться могли¹. Конечно, ваши господа бесы, побывав в гостях у батюшки протопопа и напившись у него по горлышко хорошего пивца русского, к которому он великий охотник, писали о попах сие письмо тогда, когда в голове их бродил хмель; а то если бы они были трезвы, то гораздо бы лучше рассмотреть могли род сих людей. Я вам скажу, что ни в одном обществе нет столько беспорядков, как между попами. Весьма бы было полезно, если бы здесь для них были заведены школы, в которых надлежало бы их учить больше всего совести и чести. Онамиясь некоторый из сих господ не хотел похоронить младенца за то, что не дочелся одного пятикопеечника в рубле, данном ему отцом умершего, который он взял наперед. Харчевники и трактирщики гораздо скромнее их потому, что за селянку денег наперед не просят. Мать младенцова со слезами просила батюшку, чтоб перестал шуметь. Но поп Солнышко до тех пор ничего и никого слушать не хотел, пока она у подруги не заняла гривны и не отдала оную попу. Недавно один из них подрался при алтаре с своим дячком за то, что у него в кармане копейки побрякивали, а у попа тогда не было на что купить и четверки вина. Посоветуйте, господин издатель, вашим бесам, чтоб не имели дружбы с такими людьми, которые им ни прибыли, ни чести сделать не могут.

Слуга Ваш
В. М.

¹ В „Адской почте“, в письмах 3, 6, 8, 11 и др., бесы описывали монахов, попов, осмеивали их разврат, обжорство, невежество, тунеядство и т. д. О знакомстве беса хромоногого с протопопом рассказывалось в 8-м письме.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 20.

Г. издатель Смеси!

Прошу вас напечатать приложенное письмо к г. издателю Трутня; оно давно послано было к нему для напечатания, но однакож и поныне в свет не показалось. Я не ведаю истинной тому причины; но думаю, что оно по худому слогу показалось недостойным внесения в Трутень; но г. издателю не надлежало бы смотреть на слог там, где говорит чистосердечие и искренняя благодарность. Итак ожидая от вас исполнения моей просьбы, пребываю господина издателя верным слугою

Д. К.

* * *

Г. издатель Трутня!

Прочитав вашего издания листы, начал я иметь к вам почтение; ваши сочинения имеют в себе меньше увеселения, но больше пользы. Сатиры ваши, под именем ведомостей, не имеют в себе невежества и злонавия, как думают некоторые злонавиные невежи, но едкую соль. Вы выводите пороки без околичностей, осмеиваете грубость нравов испорченных и тем показываете, что вы прямой друг истинного человечества. Пускай злоязычники проповедывают, что вы объявили себя неприятелем всего человеческого рода; что злость вашего сердца видна в ваших сочинениях; что вы пишете только наглуую брань, это не умаляет достойную вам похвалу, но умножает. Пусть Стозмей, из всей мочи надседааяся, кричит, что вы обижаете целый корпус дворянства и что ваши ругательства скоро уймутся. Безрассудный Стозмей! Разве думаешь ты, что все дворяне такие же, как ты, невежи? Нет, все знающие, благородные и беспристрастные дворяне, не только чтобы досадовать, но еще и похваляют такие сатиры, которые, осмеивая порочных, возвышают добродетельных дворян. Ты тем показываешь только злость своего сердца.

Г. издатель, не смотрите на клеветующих на вас, презирайте их, они достойны вашего презрения, и не смотря продолжайте свой труд так, как вы начали, выводите порочных, либо пороки, вообще осмеиваемые, не исправят порочных настоящего времени. Вы тем не раздражите истинных сынов отечества, ибо они вам сплетают за сие похвалы. Я человек хотя не очень ученый, но люблю науки и чтение книг; далеко не умствую, но следую добрым наставлениям и хочу учиться во весь мой век. Философия моя вся в том состоит, чтобы любить ближнего, убеждать зла, и быть поелику можно добродетельным, презирать тех, которые делают разврат в мыслях мало просвещенных людей и чрез то наносят вред всему обществу,

и хвалить тех добродетельных людей, которые приносят пользу обществу, и потому-то пребываю я вам благодарным, обязанным и верным слугою

Д. К.

* * *

Господин издатель!

Вы все, г. сочинители, охотники заводить чернильное знакомство с судьями и разными приказными людьми; итак мне хочется познакомить вас с некоторыми господами, в сем штате довольно знатыми и по их мнению очень честными.

Один из них недавно поссорился во время обеда в доме некоторого моего приятеля с своим другом, который укорял его во взятках. Сей чистосердечный человек Сребролюбов пересказывал его вину под обиняком; наконец сказал, что хочет об одной уведомить писателей журналов, дабы от привычки ко взяткам его отвадить. Сей речью разгневанный Сребролюбов трясется от ярости за столом, вилка и нож из рук его падают, говядины кусок во рту останавливается, не могши иметь вольного пропуска к назначенному месту; ибо судья Сребролюбов тогда вооружал язык свой для отщипения своему сопернику. Наконец аки разъяренный лев во всю гортань возревел: „Все таковые сочинители с тобою вместе двумя кнутами сечены быть должны“. Соперник его на сие красноречие так ему ответствовал: „Твоя речь неосторожно сказана и подвержена великой критике; понеже де и воров и разбойников секут одним только кнутом, а ты безвинных новоизобретенным твоим дубелтом¹ потчивать хочешь“. Сребролюбов с гневом и с скрежетом зубов закричал: „Ты всех мошенников бездельством своим превосходишь“. Тогда спорящий с ним покритиковал его доброю полновесною оплеухою, а потом и тарелкою в почтенную судейскую голову. Сия критика весь бал кончила; ибо судья, опасаясь продолжения сей сатиры, оставя карету на чужом дворе, ускакал пешком домой; а соперник его, баталию выигравши, уехал в другие гости.

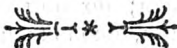
На другой день Сребролюбов всем своим гневом, всеми своими силами и всею своею подлостью вооружается, собирает своих подчиненных и чрез слезы им говорит, что он смертельно обижен. Те ему отвечают: „Слышу, ваше высокородие“. „Боже мой!—ударив сам себя в лоб, возопил Сребролюбов,—что со мною сделалось! Я по щекам, как будто в развоз употребляемая женщина, разбит“. Секретарь обыкновенный повторяет ответ: слышу, ваше высокородие. Племянник судейский советует судье идти в то присутственное место, в котором судятся сатиры, по лицу или по спине писанные. Сребролюбов совет его приемлет, и все идут вместе к судье Глуподелову, другу великому обиженного.

Глуподелов, лишь только выслушал жалобу Сребролюбову, сказал: „будет суд по форме“; ибо кроме сего он ничего больше о делах, решения требующих, сказать не умеет, хотя в прочем великий болтун. Лучшее его достоинство состоит в том, чтобы клеветать

¹ Т. е. дублетом.

своих соседей, а особливо женщин. Он судьбу, свою обиду ему пересказавшему, сказал в ответ, что дочь его недавно выкинула плод своей с мужем любви, неосторожно переступив через булавку. „Она,—продолжал Глуподелов,—будучи в девушках к своим знакомым шагала и через заборы, а теперь так нежна, что и через булавку без опасности переступить не может“. Рассудите, г. сочинитель, когда сей судья клеветает родную свою дочь, то может ли он про кого-нибудь сказать слово хорошее. Сребролюбов, видя, что в друге его немного толку, возвратился домой и написал челобитную длиною в несколько аршин; а Глуподелов пошел к некоторому офицеру требовать двухсот рублей по векселю, который он взял с него за то, что выдал за него замуж свою питомицу с деревнею. И хотя он в ее деревне жил лет с десять и перед ее свадьбою вывез из оной все, что только там найти мог, однако взял и с жениха деньги за то, что невеста его была у него в опеке, и вычел из приданого за десять лет по 25 копеек в день кормовых денег; а с жениха взял вексель в 200 рублях за сватовство. Вот два честные судьи, с которыми я вас познакомить хочу; и прошу вас не оставлять их своей милостью, когда их достоинства того требуют.

Ваш слуга Т.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 25.

РЕЧЬ О СУЩЕСТВЕ ПРОСТОГО НАРОДА.

Я думал, что простой народ состоит из тварей, одаренных разумом, но ныне начинаю в том сомневаться и нахожу, что те твари более походят на животных, нежели на людей.

Все философы согласно утверждают, что один только разум отличает человека от животных. Итак приняв сие за основание, станем рассматривать крестьян. Они живут в хижинах, встают рано, пахут землю, косят сено, осушают болота, роют каналы, строят наши дома, одним словом, делают все, что нам потребно; так точно, как работные лошади и волы. Следовательно, они имеют одно только стремление, свойственное животным, а не разум.

Но, обратя свой взор на благородных, видим, что шелк и золото составляют их одежду; они живут в великолепных домах; питаются хорошою пищею; и, проводя день в благородной праздности, ищут сна в мягких постелях. Одно естественное стремление не может сего произвести, ибо оно побуждает животных и простой народ искать себе нужного, а излишнего нимало не требует. Но разум, свойственный благородным, вымышляет великолепия, вдается в излишества и оказывает себя модными вещами, хорошей каретой и кафтаном, сшитым по вкусу.

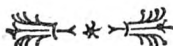
Простолюдимы, делая полезное, не переменяют своих трудов, и тем изъясняют тоже естественное стремление, кое видим в шелковых червях, беспрестанно испускающих шелк. Но разум всегда имеет отличное действие: посмотрите на знатного, который всегда вчетверо умнее дворянина и во сто раз счастливее, он ежечасно переменяет свои упражнения.

Чем далее кто начнет рассуждать, тот более будет находить, что по сим основаниям нет разума в простом народе. Имеет ли он добродетели? И того не знаю. Затем, что стихотворцы прославляют добродетели лирическим гласом, однако я никогда не читал похвальной оды крестьянину, так же как и кляче, на которой он пашет. Но простой народ терпелив: он сносит голод, жар, стужу, презрение от богатых, гордость знатных, нападки от управителей, разорение от помещиков, одним словом, от всех, кои его сильнее. Можно признаться, что он терпелив; однако не смею еще вменить сие в добродетель, затем что добродетели присвоятся одним благородным. Итак все, что можно сделать для простого народа, я сделаю и назову его терпение хорошим качеством. Ибо простолюдимы безрассудны: они справедливы, верны, набожны и исполняют многие похвальные дела; но не рассуждают, для чего сие делают и какая им из того происходит польза. Напротив того, благородные никогда без пользы не будут трудиться. Например: справедливость, верность и храбрость похвальные; но они не станут сего исполнять, не сделав верного исчисления, сколько сие им принесет прибыли. Короче сказать, все добродетели стараются сеять в хорошее время, дабы можно было собрать хорошие плоды.

Если же простой народ оказывает одно только естественное стремление во всех своих хороших качествах, то то же самое видно и в его пороках. Ударь крестьянина, то он бросится сам на тебя, так точно, как дикий зверь. Но благородная душа иногда и снесет от тебя обиду, дабы по времени тебе хорошенько отомстить; или, вынув шпагу, честно тебя заколет. Простые разбойники грабят, терзая людей на подобие тигров; и их за то наказывают. Но разумные люди знают, что надобно иметь хороший чин, защиту и место, и тогда уже начинают грабить: ибо приняв все нужные предосторожности, не опасаются наказания. Итак и в самых гнусных пороках благородство оказывает разум и происходящие от оногo хитрости.

Все сии сравнения, повседневно утверждаемые знатными и дворянами, привели меня в такое сомнение, что я не знал, какими животными считать сих людей, коих мы называем простым народом и которых в древние времена греки и римляне почитали большею частию своея силы и требовали их голоса для многих важных предприятий, касающихся до благосостояния отечества. Демосфен и Цицерон говорили им речи, почему должно думать, что сии славные мужи считали их людьми. Приняв сие в рассуждение, просил я одного искусного анатомиста, чтоб он рассмотрел голову крестьянина и голову благородного. Сей искусный человек, к великому моему удивлению, показал мне в крестьянской голове все

составы, жилы и прочее, способствующее к составлению понятия, и через свой микроскоп увидел, что крестьянин умел мыслить основательно о многих полезных вещах. Но в знатной голове нашел весьма неосновательные размышления: требование чести без малейших заслуг, высокомерие, смешанное с подлостью, любовные мечтания, худое понятие о дружбе, и пустую родословную. Наконец уверил меня, что и простой народ есть создание, одаренное разумом, хотя князья и бояре утверждают противное. Но что до того нужды: многие сограждане видят истину, закрытую завесою ложного предрассуждения. Пусть народ погружен в незнании; но я сие говорю богатым и знатым, утесняющим человечество в подобном себе создании.



СМЕСЬ.

ЛИСТ 35.

Господин издатель!

Счастливы те граждане, у коих есть еженедельные издания, господа издатели, как исправители правов, ежечасно стараются осмеивать пороки и поступки, достойные осуждения. Я сему завидую: в таком городе смеются над дураками, и они мало-по-малу исправляются. По моему несчастью, у нас нет ни типографий, ни писателей. Сделайте милость, внесите в ваши листы нашего щеголя, который посит на голове престрашные кудри, у него зеленый мундир подложен розовою тафтою, а сапоги с красными каблуками. Все его упражнение состоит в том, что играет роль любовника и беспрестанным дурачеством беспокоит свою любовницу; разумная женщина никогда не может любить сего малоумного, но гордость и самолюбие препятствуют ему видеть свои недостатки. Итак он думает о себе, что он Адонис, а мне кажется, что он надутый гордостью глупец.

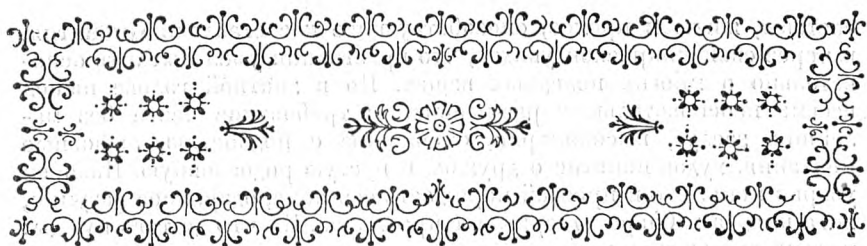
Пожалуйте, г. издатель, не презрите моей просьбы, дайте сему молодцу местечко в вашем издании. Пусть Петербургские щеголи поражаются, увидя подобное себе творение, живущее на Днепрских берегах.

Смоленск.
6 ноября 1769.

Ваш покорный слуга
Примечаев.

В угождение г. Примечаеву письмо его напечатано.





ТРУТЕНЬ.

Еженедельное издание
на 1769 год.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Господа читатели!

Сколько вы ни думайте, однакож верно не отгадаете намерения, с которым выдаю сей журнал, ежели я сам о том вам не скажу. Впрочем, это и не тайна. Господа читатели, вы люди скромные, так я без всякого опасения на вас в том положиться могу. Послушайте ж, дело пойдет о моей слабости: я знаю, что леность считается не из последних пороков; знаю, что она непримиримый враг трудолюбия; ведаю, что она человека делает необходимым к пользе общественной и своей частной; что человек, обладаемый сим пороком, недостоин соболезнования; но со всем тем, никак не могу ее преодолеть. Порок сей так мною овладел, что ни за какие не могу приняться дела, и для того очень много у себя теряю. В праздничные дни к большим боярам ездить на поклон почитается за необходимость, ибо те, которые сие исполняют, находят свое счастье гораздо скорее; но меня к тому леность не допускает. Чтение книг почитаю весьма полезным; но лень не допускает сие исполнить. Просвещать разум науками и познаниями нужно, но лень препятствует; словом, я сделался вечным невольником презрения достойной лености, и могу во оной равняться с наиленивейшими гишпанцами. Часто по целой неделе просиживаю дома для того только, что лень одеться. Ни с кем не имею переписки за тем, что лень не допускает. От лености никакой еще и службы по сие время не избрал: ибо всякая служба не сходна с моею склонностию. Военная кажется мне очень беспокойною и угнетающею человечество; она нужна, и без нее никак не можно обойтись; она почтенна; но она не по моим склонностям. Приказная хлопотлива, надобно помнить наизусть все законы и указы, а без того попадешь в беду за неправо решение. Надлежит знать все пронырствы, в делах употребляемые, чтобы не

быть кем обмануту, и иметь смотренне за такими людьми, которые чаще и тверже всего говорят: *Дай за работу*; а это очень трудно. И хотя она и по сие время еще гораздо наживна, но однакож она не по моим склонностям. Придворная всех покойнее и была бы легче всех; ежели бы не надлежало знать наизусть науку притворства гораздо в вышней степени, нежели сколько должно знать ее актеру: тот притворно входит в разные страсти временно, а сей беспрестанно то же делает, а того-то я и не могу терпеть. Придворный человек всем льстит, говорит не то, что думает, кажется всем ласков и снисходителен, хотя и чрезвычайно надут гордостью. Всех обнадеживает, и тогда же позабывает; всем обещает и никому не держит слова; не имеет истинных друзей, но имеет льстецов; а сам также льстит и угождает случайным людям¹. Кажется охотником до того, от чего имеет отвращение. Хвалит с улыбкою тогда, когда внутренно терзается завистью. В случае нужды никого не щадит, жертвует всем для снискания своего счастья; а иногда, полно, не забывает ли и человечество! Ничего не делает, а показывает, будто отягощен делами; словом, говорит и делает почти всегда противу своего желанья, а часто и противу здравого рассудка. Сия служба блистательна, но очень скользка и скоро тускнет; короче сказать, и она не по моим склонностям. Рассуждая таким образом, по сие время не сделал еще правильного заключения о том, что подлинно ли таковы сии службы или леность, препятствуя мне в которую-нибудь из них вступить, заставляет о них неправильно думать; но утвердился только в том, чтобы ни в одну из них не вступать. К чему ж потребен я в обществе? *Без пользы в свете жить, тягчить лишь только землю*, сказал славный российский стихотворец. Сие взяв в рассуждение, долго помышлял, чем бы мог я оказать хотя малейшую услугу моему отечеству. Думал иногда услужить каким-нибудь полезным сочинением, но воспитание мое и душевные дарования положили к тому непреоборимые препоны. Наконец, вспало на ум, чтобы хотя изданием чужих трудов принести пользу моим согражданам. Итак вознамерился издать в сем году еженедельное сочинение, под заглавием *Трушья*, что согласно с моим пороком и намерением: ибо сам я, кроме сего предисловия, писать буду очень мало, а буду издавать все присылаемые ко мне письма, сочинения и переводы, в прозе и в стихах, а особливо сатирические, критические и прочие ко исправлению нравов служащие, ибо таковые сочинения исправлением нравов приносят великую пользу; а сие-то и есть мое намерение. Чего ради всех читателей прошу сделать мне вспоможение присылкою своих сочинений, которые все напечатаны будут* в моих листках. Сочинения присылать

¹ Т. е. фаворитам Екатерины II. На языке XVIII века „попасть в случай“ означало попасть в милость к императрице.

* Выключая те, кои будут против бога, правления, благопристойности и здравого рассуждения. Я надеюсь, что таковых и не будет: ибо против первых двух в наше время никто ничего не напишет, кто хотя искру понятия имеет; против последних же двух без сомнения благопристойность писать запретит. (*Примечание Новикова.*)

можно к переплетчику, у которого продаваться будут сии листки, с надписанием: *Г. издателю Трутня*. Предисловие мое оканчиваю искренним желанием, чтобы издание сие какую-нибудь пользу и увеселение принесло читателям. Причина сему изданию лень. Дай бог, чтобы она хотя единожды принесла пользу. Прощайте, г. читатели; я с вами долго говорить не буду для того, что я чрезвычайно устал.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ II. МАЯ 5 ДНЯ.

Любезный племянничек,...

здравствовать тебе навеки нерушимо желаю!¹

Уведомился я, что ты и по сие время ни в какую еще не определился службу. Отпиши ко мне, правда ли это; ежели правда, так скажи, пожалуй, что ты с собою задумал делать? Я тебя не припеваю чти ни в придворную, ни в военную службы для сказанных мне тобою причин; пусть это будет по-твоему, а при том и службы сии никакой не приносят прибыли, а только разоренье. Но скажи, пожалуй, для чего ты не хочешь идти в приказную? Почему она тебе противна? Ежели ты думаешь, что она по нынешним указам ненаживна, так ты в этом, друг мой, ошибаешься. Правда, в нынешние времена против прежнего не придет и десятой доли; но со всем тем, годов в десяток можно нажить хорошую деревеньку. Каково ж нажиточно бывало прежде, сам рассуди, нынешние указы много у нас отняли хлеба!

Тебе известно, что по приезде моем на воеводство, не имел я за собою больше шестидесяти душ дворовых людей и крестьян; а ныне, благодаря подателя нам всяких благ, трудами моими и несусыпным попечением, нажил около трехсот душ, не считая денег, серебра и прочей домашней рухляди; да нажил бы еще и не то, ежели бы прокурор со мною был посогласнее; но за грехи мои наказал меня господь таким несговорчивым, что как его ни уговаривай, только он, как козы рога, в мех не лезет; и ежели бы старанием моим не склонил я на свою сторону товарища², секретаря и прочих, так бы у меня в мошне не было ни пула³. Прокурор наш человек молодой, и сказывают, что ученый, только я этого не приметил. Разве потому, что он в бытность его в Петербурге накупил

¹ Это письмо и следующая за ним притча „Два вора“, по мнению Ефремова и Семенникова, написаны М. В. Поповым (ум. около 1790 г.), автором комической оперы „Ашюта“ и других многочисленных произведений. По догадке этих же исследователей, им написан и XV лист „Трутня“ (стр. нашего издания 112—115). См. Семенников, стр. 41—45.

² Товарища прокурора.

³ Пул, пула—старинная мелкая медная монета.

себе премножество книг, а пути нет ни в одной. Я одиножды перебирал их все, только ни в одной не нашел, которого святого в тот день празднуется память, так куда они годятся. Я на все его книги святцев¹ своих не променяю. Научился делать вирши, которыми думал нас опелать, только сам он чаще попадаетея в наши верши. Мы его частенько за нос поваживаем. Он думает, что все дела надлежит вершить по наукам; а у нас в приказных делах какие науки? кто прав, так вот и без наук прав, лишь бы только была у него догадка, как приняться за дело; а судейская наука вся в том состоит, чтобы уметь искусенько пригибать указы по своему желанию, в чем и секретари много нам помогают. Правда, что это для молодого человека трудно и непонятно, но ты этого не опасайся, и тебя столько научу, сколько сам знаю. Пожалуйста, Иванушка, послушайся меня, просись к нам в город в прокуроры. Я слышал, что тебя многие знатные господа жалуют, так это тебе тотчас сделают. Наживи себе там хороших защитников, да и приезжай сюда; тогда весь город и уезд по нашей дудке плясать будет. Рассуди сам как этого места лучше желать и покойнее. Во всех делах положиися на меня, а ты со стороны ни дай, ни вынеси будешь братъ жалованье; а коли будет ум, так и еще жалованьев под десяток в год получишь. Мы так искусно будем делать, что на нас и просить нельзя будет. А тогда, как мы наживемя, хотя и попросят, так беда будет не велика, отрешат от дел и велят жить в своих деревнях. Вот те на, какая беда! для чего не жить, коли нажито чем жить; то худо, как прожито чем жить, а как нажито, этого никто и не спросит. Пожалуйста, послушайся меня, добивайся этого места. Ты вить уже не маленький ребенок, можно о себе подумать, чем век жить. Отцовское то у тебя имение стрень-брень с горошком, так надобно самому наживать; а на мое и не надейся, ежели меня не послу-

ТРУТЕНЬ,

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

ИЗДАНИЕ,

на

1769 годѣ,

МѢСЯЦЪ МАЙ.

Они работаютъ , а вы ихъ трудѣ ядите.

Г. Сумар. въ XLIII прищѣ, I книги.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

*Титульный листъ перваго изданія
журнала „Трутень“.*

¹ *Святцы*—церковный календарь. В нем указывалось, в какой день поминается тот или иной святой.

шаешься, хоть ты у меня и один наследник; но я лучше отдам чужому, да только такому, который себе добра хочет. Ежели ж послушаешься, то при жизни моей укреплю все тебе. Смотри ж, я говорю наобум, а ты бери себе на ум. Прощай Иванушка; пожалуй, подумай о сем хорошенько и меня уведомя. Остаюсь дядя твой...

Р. С. При сем посылаю тебе вирши, которые писал на нас прокурор наш. Прочитай их и после рассуди, что прибыльнее, вирши марать или деньги собирать? Он нас брайнт, а мы наживаемся и говорим: брань на вору не виснет.

Присланная ко мне от дяди притча напечатана будет в следующем листе.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ III. МАЯ 12 ДНЯ.

ПРИТЧА

ДВА ВОРА.

Что есть во свете воры,
О том не входят в споры;
А кто противное сей точной правде скажет,
Того во век он не докажет;
Как только то;

А что?

Что есть разбойники, мошенники и плуты,
Но лишь покроем не одним,
Иные в золоте, и титлами надуты,
Другие в серяках и с именем простым.
О двух таких ворах я басенку скажу,
И первое в стихах искусство покажу.
Был вор простой,
И хаживал всегда пешком и в серяке;
Доходы он сбирал не в городе, не в съезжей,
А на дороге на проезжей.

Другой

Чиновный был, и тьмы имел он в сундуке
Червонных и рублей,
Которые сбирал с невинного народу.

Такую моду

Он брал с бессовестных подьячих и судей;
Но наконец попались оба
В приказ:

Обоим строг указ;
Обоим кнут грозит отверсти двери гроба.
Судьи калякают: не столько лих большой
И оправляют вора;
Подьячи говорят: не столько лих меньшей
И оправляют вора;
Обеим сторонам указы правота.
Читатель! будь хоть ты решителем их спора,
Скажи нам, кто из них достойнее кнута?



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ IV. МАЯ 19 ДНЯ.

ВЕДОМОСТИ

ИЗ НЕКОТОРОГО ПРИКАЗА.

Явилось порожнее место, которое в год две тысячи рублей безгрешного приносит дохода. Надобно знать, что сие место требует человека разумного, ученого и прилежного; ибо от него блаженство и жизнь великого числа людей зависит. Трое домогаются сего места.

Первый из них дворянин без разума, без науки, без добродетели и без воспитания; хотя он во младых еще летах записан был в службу, но оной, живучи у матери между нянек и шутих, никогда не исполнял, а доставал чины чрез предстательство, преимущественно пред теми, которые служили. Душ за ним тысячи две; но сам он без души. Короче сказать, все достоинство сего молодца в том только и состоит, что он дворянин и родня многим знатым боярам.

Второй искатель места есть дворянин же, но родством ни с каким случайным боярином не связан. Поведения доброго, разума хотя и не пылкого, однако наукою подкрепленного. Служит в полках и хотя отменного ничего не сделал, но по крайней мере исполняет свою должность с прилежностью. Знает человечество, из подвластных себе наказует только виновных, крестьян своих не грабит, живет нероскошно и по мере своего дохода, кушцов по примеру других дворян не обманывает; словом, дворянин сей человек порядочный, и хотя он к важным должностям не вовсе годится, однако благополучно бы было наше отечество, ежели бы таких дворян гораздо побольше у нас завелось!

Третий проситель места, по наречию некоторых глухих дворян, есть человек подлый, ибо он от добродетельных и честных родился мешан. Природный его разум, соединенный с долговременным и в России и в чужих краях учением, учинили его мужем совершенным. Мало таких наук, которых бы он не знал или о ко-

торых бы он не имел понятия; защитник истины, помощатель бедности, ненавистник злых нравов и роскоши, любитель человечества, честности, наук, достоинства и отечества; верный друг, благородный отец, безмятежный сосед, рассматрительный и беспристрастный судья. Во всех местах, куда он от правительства был определяем, оставлял примеры разумного поведения; благополучны были те люди, которыми он повелевал; неустрашимый был те солдаты, которыми он предводительствовал, и неприятель всегда разбит, с которым он сражался. Покрытый ранами и содержа себя одним жалованием, никогда не негодовал на свою скудость, но сносил оную без роптания; словом, он показал собою, что не порока, но добродетели делают человека достойным почтения честных людей. Не просил бы он и упомянутого выше места, ежели бы здоровье его позволяло долее служить в армии или ежели бы он не был в состоянии подвластных сему месту учинить благополучными и восстановить их от разорения, в которое приведены были бывшим судью.

Читатель! угадай: глупость ли, подкрепляемая родством с боярами, или заслуги с добродетелию награждаются?

ИЗ ГОСТИНОГО ДВОРА.

На гостиный двор приехала в карете с двумя назади лакеями богато одетая женщина; из множества золотых и серебряных сеток купила два мотка и заплатила деньги, а другие два укравши, тихонько под салоп спрятала. Купец это видит и, как кавалер учтивый, при случившемся в лавке народе боярыню обесчестить не хочет. Боярыня поскакала домой, а купец за нею. От просителя челобитная подана, а от судьбы определение не так, как в приказах, тотчас последовало. Боярыня купцу не только волосы выщипала и глаза подбила, да еще и кожу со спины плетью спустила. Ништо тебе, бедный купец! Как ты, честный плодородный человек, осмелился назад требовать своей сетки у благородной воровки? Благодари еще боярыню, что бесчестья с тебя не взяла. В самом деле, не великая ли милость купцу сделана?



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ V. МАЯ 26 ДНЯ.

Господин Трутень!

Второй ваш листок написан не по правилам вашей прабабки. Я сам того мнения, что слабости человеческие сожаления достойны, однакож не похвал, и никогда того не подумаю, чтоб на сей раз не покривила свою мыслью и душею госпожа ваша прабабка¹, дав

¹ Т. е. „Всякая всячина“.

знать на своей стр. 340 в разделении 52, что похвальнее снисходить порокам, нежели исправлять оные. Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человекам обыкновенны, и что должно оные прикрывать человеколюбием; следовательно, они порокам шили из человеколюбия кафтан; но таких людей человеколюбие приличнее назвать пороколюбием. По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, который оным снисходит или (сказать по-русски) потакает; и ежели смели написать, что учитель, любви к слабостям не имеющий, оных исправить не может, то и я с лучшим основанием сказать могу, что любовь к порокам имеющий никогда не исправится. Еще не понравилось мне первое правило упомянутой госпожи, то-есть чтоб отнюдь не называть слабости пороком, будто Иоанн и Иван не все одно. О слабости тела человеческого мы рассуждать не станем, ибо я не лекарь, а она не повивальная бабушка; но душа слабая и гибкая в каждую



П. П. Повиков.

сторону покривиться может. Да и не знаю, что, по мнению сей госпожи, значит слабость. Ныне обыкновенно слабостию называется в кого-нибудь по уши влюбиться, то-есть в чужую жену или дочь; а из сей мнимой слабости выходит: обесчестить дом, в который мы ходим, и посорить мужа с женою или отца с детьми; и это будто не порок? Кои построжее меня о том при досуге рассуждают, назовут по справедливости оный беззаконием. Любить деньги есть тоже слабость, почему слабому человеку простиительно брать взятки и набогащаться грабежами. Пьянствовать также слабость или еще привычка; однако пьяному можно жену и детей прибить до полусмерти и подраться с верным своим другом. Словом сказать, я как в слабости, так и в пороке не вижу ни добра, ни различия. Слабость и порок, по-моему, все одно; а беззаконие дело иное.

На конце своего листка ваша госпожа прабабка похвалит тех писателей, кои только угождать всем стараются, а вы сему правилу, не повинувась криводушным приказным и некстати умствующему прокурору, невеликое сделали угождение. Не хочу я

вас побуждать, как делают прочие, к продолжению сего труда, ниже вас хвалить; зверок по котям виден. То только скажу, что из всего поколения вашей прабабки вы первый, к которому я пишу письмо. Может статься, скажут г. критики, что мне как трутню с Трутнем иметь дело весьма сходно; но для меня разумнее и гораздо похвальнее быть трутнем, чужие дурные работы повреждающим, нежели такую пчелою, которая по всем местам летает и ничего разобрать и найти не умеет. Я хотел было сие письмо послать к госпоже вашей прабабке, но она меланхолических писем читать не любит, а в сем письме, я думаю, она ничего такого не найдет, от чего бы у нее от смеха три дня бока болеть могли.

Покорный ваш слуга
Правдулюбов.

9 мая, 1769 года.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ VI. ИЮНЯ 2 ДНЯ.

ВЕДОМОСТИ.

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ.

ИЗ ЛИТЕЙНОЙ.

Змеян, человек неосновательный, ездя по городу, надседаая кричит и увещевает, чтоб всякий помещик, ежели хорошо услужен быть хочет, был тираном своим служителям; чтоб не прощал им ни малейшей слабости; чтоб они и взора его боялись; чтоб они были голодны, наги и босы, и чтоб одна жестокость содержала сих зверей в порядке и послушании. В самом деле Змеян поступает с своими рабами как проповедует. О человечество! колико ты страдаешь от безумия змеянова, и если б все дворяне пример брали с сего чудовища, то бы не было у нас кроме мучителей и мучеников. Однако благоразумный Мирен не следует мнению змеянову и совсем отменно с подвластным себе обходится. Ежели Мирен не наилучших в России слуг имеет, так по крайней мере не боится, чтоб он ими был проклинаем.

ИЗ МОСКВЫ.

Один посредственный дворянин, но любящий свою пользу больше общественной, имел крепостного человека, преискусного миниатюрного живописца. Искусство сего живописца велико, но доходы, которые он получал за свои труды, весьма были малы. Причина тому та, что он холоп и русский человек, ибо в Москве есть обыкновение русским художникам платить гораздо меньше ино-

странных, хотя бы последние и меньше имели искусства; словом, доходы сего живописца, за его содержанием, весьма малый составляли оброк его помещику. Помещик, как человек благоразумный и такой, который в рассуждении своих доходов, арифметику учил только до умножения, рассудил за благо сего живописца продать. Живописец купил бы сам себя, но не имел денег. Некоторый знатный господин, достойный за сие великого почтения, о том проведав и увидев его работу, купил его за 500 рублей и избавил его от неволи для того, чтобы сему достойному художнику дать свободу. Сей господин старается, чтобы живописца приняли в Академию Художеств. Ежели сие сделается, то он ему откроет путь ко снисканию счастья. Вот пример, достойный разумного, знатного и пользу общественную любящего господина! Дай бог, чтобы таковых наук и художеств меценатов в России было побольше!

ИЗ КРОНШТАДА.

На сих днях прибыли в здешний порт корабли: 1) *Trompeur* из Руана в 18 дней; 2) *Vétilles* из Марсея в 23 дни. На них следующие нужные нам привезены товары: шпаги французские разных сортов, табакерки черепаховые, бумажные, сургучные; кружевы, блонды, бахромки, манжеты, ленты, чулки, пряжки, шляпы, запонки и всякие так называемые галантерейные вещи; перья голландские в пучках чиненые и нечиненые; булавки разных сортов и прочие модные мелочные товары. А из Петербургского порта на те корабли грузить будут разные домашние наши безделицы, как-то: пеньку, железо, юфть, сало, свечи, полотна и проч. Многие наши молодые дворяне смеются глупости господ французов, что они ездят так далеко и меняют модные свои товары на наши безделицы.

* * *

Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума, и, который, объездив с пользою, возвратился уже совершенною свиньей; желающие смотреть, могут его видеть безденежно по многим улицам сего города.

* * *

Молодой дворянин, идучи по *Материальной улице* против некоторого дома, засмотрелся на окошко, в которое смотрели три прекрасные девушки, и выронил свое сердце; кто объявит о поднявшем оное, тому дается награждение, соответствующее щедрости молодого дворянина, сына судейского и недавно приехавшего из своего поместья для поминовения своего родителя и проживать нажитое покойным судьейю именование.

* * *

Старый лицемер, слушая обедню, увидел девушку, лицом престелстную. Он, держа в руках молитвенник во всю обедню не спускал глаз с помянутой девушки, примечая, с прилежанием ли она молится, и, находясь в таком положении, нечаянно с носа сронил

очки и потерял. Кто оные поднял и принесет в его квартиру, тому за труды, из любви к ближнему, даст он письменное наставление, как жить в свете, а паче всего в рассуждении женщин, сих прелестных Сирен, усыпляющих наши чувства и разум.

ПРОДАЖА.

За вексельный иск, описанное и оцененное в 14 р. 57 к. $\frac{3}{4}$, оставшее после покойного судьи *Правдулюбова* стяжание, состоящее в верности к отечеству, нелюбви, правосудии, истинном понятии законов, милосердии о бедных и здоровом рассуждении, имеет быть продано с публичного торгу, ибо наследников ко оному стяжанию из всей его родни не явилось; желающие покупать, могут явиться у аукциониста, который продавать будет.

* * *

Недавно пожалованный воевода отъезжает в порученное ему место и для облегчения в пути продает свою совесть; желающие купить, могут его сыскать в здешнем городе.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ VII. ИЮНЯ 9 ДНЯ.

Государь мой!

Приехав в деревни для препровождения там наступающего лета, старался я познакомиться с моими соседями; и правда, между ними нашел я много людей разумных и честных, упражняющихся в домостроительстве, почему и уповал все время пребывания моего препроводить там весело. Но сия блаженная жизнь, которою я наслаждаться уповал, была прервана следующим образом: в том же уезде, где мои деревни, живут во отставке два родные брата *Вертяевы*; и правда, никто толь приличного со нравом своим прозвища не имеет, как сии господа; ибо они, забывая честь, законы и благопристойность, вертят дела по своим прибиткам; одним словом, они ябедники, обидчики и грабители. Вам же, государь мой, не безызвестно, что мне досталася после покойной свойственницы моей деревнишка. Один из сих господ, проведая, что я человек нехлопотливый и приказных дел не люблю, старался часть оных присвоить; но как он покойной свойственнице моей роднею не бывал, то, дабы иметь какую-либо привязку, одну из свойственниц покойницыных, которая хотя никакого права к сим деревням не имела, а при том была без ума, что известно всем соседям, привез в город и там взял с нее купчую; а по сей-то купчей и старался лишить меня принадлежащего мне имения. Поверьте, государь

мой, что ничто так меня не беспокоило, как сии хлопоты, от которых бы я, конечно, не избавился, если бы не защитил меня граф Р..., мой благодетель, который, узнав о сем, писал к нашему губернатору; а я, таким способом избавясь от сего душевредника, расспрашивал одного соседа, как они могут жить с такими ябедниками, каковы господа *Вертяевы*. На что он мне отвечивал, что это еще малейшего их бездельничества опыт, что они для прибытка никого не щадят, что за несколько пред сим некоему небогатому дворянину досталось по наследству сорок душ. Младший из *Вертяевых*, узнав о сем, призвал сего дворянина и говорил так: „Деревни эти хотя тебе и принадлежат, однако ты, конечно, их не получишь: ибо ты человек, приказных порядков не знающий, а я для твоей бедности по этому делу хождение иметь буду; но как мне за тебя поверенным быть стыдно, то дай мне закладную, а я, выхлопотаю оные деревни, закладную тебе выдам“. Добросердечный старик почел сие особливым знаком его к себе милости и, нимало не размышляя, дал требуемую закладную, по которой господин *Вертяев*, записав за себя деревню, владеет спокойно; а бедный старик с печали, ибо он кроме сей деревни имел только 5 душ, переселился в то жилище, в котором чужих душ никто не желает, оставя после себя четверых сыновей и одну дочь, кои в такой живут бедности, что едва дневное имеют пропитание. Сей поступок толь чувствительно меня тронул, что я меньших трех сыновей, ибо старший болен и служить не может, отослал к племяннику моему в Петербург, дабы он их по приличеству записал в службу, а большого здесь взял в свое призрение. Из сих двух кратких повестей рассудите, государь мой, коль много властвует прибыток над ябедническими душами, что они для одного загона земли не токмо любовь к ближнему, но и самый страх божий забывают. Сии то и сим подобные бездушники приятную деревенскую жизнь напоят ядом; ибо в прочем, по моему мнению, с приятностию деревенской жизни ничто сравниться не может: там встают ране не для того, чтоб, просидев 3 или 4 часа над убором головы и отягчив оную салом и пудрою, шататься по передним комнатам знатных бояр; но для того, чтоб пользоваться приятным утренним временем, присматривать за своим домостроительством и примером своим служителей своих поощрять к трудам. Там нет огромной музыки; но вместо оной пользуются поселяне приятным пением птиц; нет там великоленных садов, украшенных статуями и водометами; но вместо оных прекрасные рощи, зеленые луга, испещренные цветами, и протекающие по оным журчащие по камешкам источники увеселяют взор и приводят на память златый Астреин век¹. Впрочем, уверяя, что при всех случаях не премину уведомлять вас о деревенских наших обстоятельствах, пребуду,

Государь мой,
Ваш покорный слуга.

¹ *Астреин век* (мифолог.). Астрея—богиня справедливости. Астреин век—век справедливости.

Издатель Трутня обещался публике во своих листках не сообщать иных, как только ко исправлению нравов служащие сочинения либо приносящие увеселение. О сем по сие время всевозможное он прилагал попечение, и уверяет, что и впредь брани, не приносящие ни пользы ни увеселения, в его листках места иметь не будут. Ради чего издаека и с улыбкою взирает он на брань *Всякия Всячины*, относящуюся к лицу г. *Правдулюбова*¹: ибо сие до него, как до чужих трудов издателя, ни почему не принадлежит; а только с нетерпеливостию желает он узнать, как таковые наполнения сих весьма кратких недельных листков, благоразумными и беспристрастными читателями приняты будут.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ VIII. ИЮНЯ 16 ДНЯ.

Издатель Трутня, во утешение *Всякой Всячине*, своей со-временнице, не хотел напечатать сего письма; но по справедливости не мог он в том отказать г. *Правдулюбову*, тем паче, что он от *Всякия Всячины* отдан на суд публике; итак, благоразумные и беспристрастные читатели сей суд по форме или и без форм, как им угодно, окончатъ могут. Оправдание г. *Правдулюбова* здесь следует.

* * *

Господин издатель!

Госпожа *Всякая Всячина* на нас прогневалась и наши право-учительные рассуждения называет ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина состоит в том, что на русском языке изъясняться не умеет и русских писаний обстоятельно разуметь не может; а сия вина многим нашим писателям свойственна.

Из слов, в разделении 52 ею означенных, русский человек ничего иного заключить не может, как только, что господин А. прав и что госпожа *Всякая Всячина* его критиковала криво.

В пятом листе Трутня ничего не писано, как думает госпожа *Всякая Всячина*, ни противу милосердия, ни противу снисхождения, и публика, на которую и я ссылаюсь, то разобрать может. Ежели я написал, что больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто оным потакает, то не знаю, как таким изъяснением я мог тронуть милосердие? Видно, что госпожа *Всякая Всячина* так похвалями избалована, что теперь и то почитается за преступление, если кто ее не похвалит.

¹ См. стр. 49 и 92.

Не знаю, почему она мое письмо называет ругательством? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная; но в моем прежнем письме, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нет ни кнутов, ни виселиц, ни прочих слуху противных вещей, которые в издании ее находятся.

Госпожа Всякая Всячина написала, что пятый лист Трутня уничтожает. И это как-то сказано не по-русски; уничтожить, то-есть в ничто превратить, есть слово, самовластною свойственное; а таким безделицам, как ее листки, никакая власть не прилична; уничтожает верхняя власть какое-нибудь право другим. Но с госпожи Всякой Всячины довольно бы было написать, что презирает, а не уничтожает мою критику. Сих же листов множество носится по рукам, и так их всех ей уничтожить не можно.

Она утверждает, что я имею дурное сердце потому, что, по ее мнению, исключая моими рассуждениями снисхождение и милосердие. Кажется, я ясно написал, что слабости человеческие сожаления достойны, но что требуют исправления, а не потачки; и так думаю, что сие мое изъяснение знающему российский язык и правду не покажется противным ни справедливости, ни милосердию. Совет ее, чтобы мне лечиться, не знаю, мне ли больше прилично или сей госпоже. Она, сказав, что на пятый лист Трутня отвечать не хочет, отвечала на оный всем своим сердцем и умом, и вся ее желчь в оном письме сделалась видна. Когда ж она забывается и как мокротлива, что часто не туда плюет, куда надлежит, то кажется, для очищения ее мыслей и внутренности не бесполезно ей и полечиться.

Сия госпожа назвала мой ум тупым потому, что не понял ее правоучений. На то отвечаю, что и глаза мой того не видят, чего нет. Я тем весьма доволен, что госпожа Всякая Всячина отдала меня на суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из нас прав.

Покорный ваш слуга
Правдулюбов.

6 июня, 1769 году.

Господин издатель!

Чистосердечное ваше о самом себе описание мне весьма нравится, чего ради я от доброго сердца хочу вам дать совет. В вашем Трутне печатаемые сочинения многими разумными и знающими людьми похваляются. Это хорошо, да то беда, что многие испорченные правы и злые сердца имеющие люди принимают на себя осмеиваемые вами лица и критикуемые вами пороки берут на свой счет. Это бы и не худо: ибо зеркало для того и делается, чтобы смотрящиеся в него видели свои недостатки и оные исправляли. И то зеркало почитается лучшим, которое вернее показывает лицо смотрящегося. Но дело-то в том состоит, что в вашем зеркале, названном Трутень, видят себя и многие знатные бояре. И хотя вы в предисловии своем и дали знать, что будете сообщать не свои, но присылаемые к вам сочинения, однакож злобно напавшие

свои сердца люди ставят это на ваш счет. Вот что худо-то! Мне очень будет прискорбно, ежели кто на вас за то будет досадовать; а каково иметь дело с худыми людьми и знатными боярами, я уже испытался. Я доживаю шестой десяток лет и во всю мою жизнь имел несчастье тягаться с большими боярами, угнетавшими истину, правосудие, честь, добродетель и человечество. О г. издатель! сколько я от них претерпел! Смело сказать можно, что лучше иметь дело с лютым тигром, нежели с сильным злым человеком; тот со всем зверством и лютостью отнимает только жизнь, а последний оной не отнимает; но отнимая душевное спокойствие и крепость, приводит дух во изнеможение так, что иногда подосадуешь за то, на что написано: *Не ревнуй лукавиующим, ниже завидуй творящим беззаконие*¹. Но полно, ныне таких бояр не много. Жаль, что надобно солгать, ежели сказать, что их совсем нет. Что ж делать! *В семье не без урода*. Надобно и за то благодарить бога, что их немного. Вместо старых есть ныне из молодых господ такие, которые, важных не имея дел, упражняются в безделицах и пред малочинными людьми показывают себя великими министрами в малых делах, недостойных ни чина их, ни имени, употребляя при том непростительные уклончивости, ласкательства, потачки и непозволенные хитрости, а все это для какой ни на есть безделицы или по слепому повиновению своим страстям и пристрастию к какой-либо вещи. Надобно желать, чтобы они способны были к важным государственным делам и прилежны ко исполнению оных, так, как к малым, тогда бы они принесли превеликую пользу обществу. Намнясь при мне один такой придворный не господин, а еще господчик, говорил о вашем Трутне весьма пристрастно; надлежит сказать, что он имеет доброе сердце, но некоторая слабость им очень сильно владеет, почему он говорит и делает только то, что связано с выгодами его слабости. Сей господчик говорил следующее: „Не в своиде этот автор садится сани. Он-де зачинает писать сатиры на придворных господ, знатных бояр, дам, судей именитых и на всех. Такая-де смелость не что иное есть, как дерзновение. Полно-де его недавно отпряла Всякая Всячина очень хорошо; да это еще ничего, в старые времена послали бы-де его потрудиться для пользы государственной описывать нравы какого ни на есть царства русского владения; но нынче-де дали волю писать и пересмеять знатных и за такие сатиры не наказывают. Ведь-де знатный господин не простой дворянин, что на нем то же взыскивать, что и на простолюдинах. Кто-де не имеет почтения и подобострастия к знатым особам, тот уже худой слуга. Знать, что-де он не слыхивал, что были на Руси сатирики и не в его пору, но и тем рога посломали; а это-де одни пустые рассказы, что он печатает только присыльные пиесы. Нынче-де знают и малые ребята этот счет, что дважды два будет верно четыре; а сверх того в его-де сатирах ни соли, ни вкуса не находят. Гораздо бы было лучше,

¹ Это выражение взято из Псалтири.

ежели бы-де он обирал около себя и писал сказочки или что-нибудь посмешнее, так как другие писатели журналов делают; так бы такое сочинение всем нравилось и больше бы покупали, так бы-де и ему больше было прибыли; а от этого журнала наверное-де он не разбогатеет". Итак, г. издатель, совет вам даю следующий: не слушайте сего господчика, не обирайте около себя вздоров и не печатайте; нам они и так уже наскучили. И публика не такой худой имеет вкус, чтобы худое больше хорошего хвалила; но следуя благоразумию, продолжайте печатать такие пиесы, какие мы по сие время в Трутне читали; но только остерегайтесь наводить свое зеркало на лица знатных бояр и боярынь. Пишите сатиры на дворян, на мещан, на приказных, на судей, совесть свою продавших, и на всех порочных людей; осмеивайте худые обычаи городских и деревенских жителей; истребляйте закоренелые предрассуждения и угнетайте слабости и пороки, да только не в знатных; тогда в сатирах ваших и соли находить будут больше. Здесь аглинской соли¹ употребление знают не многие; так употребляйте в ваши сатиры русскую соль, к ней уже привыкли. И это будет приятнее для тех, которые соленого есть не любят. Я слышал следующие рассуждения: в положительном степене или в маленьком человеке *воровство* есть преступление противу законов; в увеличивающем, то-есть среднем, степене или средостепенном человеке *воровство* есть порок; а в превосходительном степене или человеке по верхнейм математическим новым исчислениям *воровство* не что иное, как слабость. Хотя бы и не так подлежало: ибо кто имеет превосходительный чин, тот должен иметь и превосходительный ум, и превосходительные знания, и превосходительное просвещение; следовательно, и преступление такого человека должно быть превосходительное, а превосходительные по своим делам и награждение и наказание должны получать превосходительное. Но полно, ведь вы знаете, что не всегда делается, как говорится! Письмо мое оканчиваю искренним желанием успеха в вашем труде и чтобы мой совет принес вам пользу; а издание ваше всем знатым господам чтобы так нравилось, как нравится оно семерым знатым боярам², которых я знаю. Сии господа читать сатиры великие охотники, и, читая оные, никогда не краснеют, для того что никогда не делают того, от чего, читая сатиры, краснеть должно. Впрочем, с удовольствием всегда есмь

к вашим услугам готовый
Чистосердов.

Там, где я нахожусь.
Юния 6 дня, 1769 года.

¹ Т. е. сатиры на английский лад, типа Свифта и известных издателей правоучительно-сатирических журналов „Бодуэн“ и „Зритель“—Аддисона и Стиля.

² Об именах этих „знатных бояр“ см. на стр. 131.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ IX. ИЮНЯ 23 ДНЯ.

ВЕДОМОСТИ.

ИЗ КОЛОМНЫ.

Забыл-честь дворянин, находясь в некотором приказе судьбою, трудами своими и любовью к ближним нажил довольноное имение. Он имел попечение о пропитании одних и в то же время разорял других, подобных себе по образу, а не по делам, тварей. Его следующими описывают красками: неправосуден, завистлив, пронырлив, прибиткожаден, скуп, жестокосерд к бедным, злоязычен, ябедник и крючкотворец; а жена его, как сказывают, толста, глупа, и проч., короче сказать, оба они составляют сокращенное хранилище пороков. Он подчиненным своим ничего не приказывает, не сказав *во святой час*, и не прочитав молитву *пресвятой троице*; водки никогда не пьет, хотя бы то было и в гостях; дела подписывает перекрестясь, говоря: *честной-де крест на враги победа*, несмотря, что те его враги бывают иногда законы, истина, правосудие, честь и добродетель; ибо он часто вершит дела против законов и истины; от таких беспокойств он и супруга его занемогли. Доктор прописал в рецепте для г. судьи *добрую душу и честь*; а для супруги *разум*, сколько одного потребно для судейской жены; но судья говорит: на такие-де ненужные расходы не нажил я еще денег.

ИЗ ТВЕРИ.

Недавно пред сим через наш город проехал молодой дворянин, обучавшийся в некотором славном немецком университете разным наукам. Он о том городе рассказывал нам чудеса. Мещанин наш *Чистосердов* спрашивал у него о нравах того народа, о узаконениях, о обрядах их ярмонок и о проч.; но он ни на что не мог порядочного дать ответа. Мещанин потом спросил его, чему он там обучался? Дворянин отвечивал: философии.—„А что такое философия?“—„Философия не что иное есть, как дурачество,—отвечивал ученик славного университета,—а совершенный философ есть совершенный дурак“.—„О! так вы с превеликим оттоле возвращаетесь успехом,—сказал мещанин,—ибо я нахожу вас совершенным философом“.

Дворянин, усмехнувшись, отвечал: „*Сократ*, славный в древности философ, говаривал о себе, что он дурак; а я о себе того сказать не могу, потому что я еще не *Сократ*“.—„Об вас это другие скажут“.—„А знаете ли вы,—спросил дворянин,—какая розница между ученым дураком и неученым?“—„Всеконечно знаю,—сказал мещанин,—розница между ими та, что ученые дураки гораздо больше делают вреда государ-

ству“. И разошлись; дворянин поехал в путь, а мещанин нам сказал: „Видите, братцы, что и в славных немецких университетах разума не продают“.

* * *

Судья некоторого приказа покривил весы правосудия; он в том не виноват, а виноват подрядчик, который на судейскую сторону так много положил кулей с мукою, что правосудие против такой тягости устоять не могло; желающие те весы починкою исправить из своих материалов, могут явиться в том приказе.

* * *

Прокурор *Правдубов* с судьей *Криводушным* в одном сидят судебном месте. Судья заразился известною, под именем акциденции¹ болезнью, и для того в решении дел часто с прокурором бывает несогласен. Прокурор опасаясь дальнейших от того следствий, чрез сие объявляет, что ежели сыщется искусный в лечении сих болезней лекарь и сего судью вылечит, тому за труды даст он награждение из собственных денег; судья о лечении сей болезни и слышать не хочет; желающие помянутого судью пользоваться могут явиться у прокурора *Правдубова* немедленно.

* * *

В некотором приказе был судья; он, служа в военной прежде службе, привык взятки не брать, почему и сделавшись судьей не переменился. Он вершил дела по законам, не толкуя оные вкливо; весы правосудия в его время ни кулями с хлебом, ни мешками с деньгами покривлены не были. Все удивлялись его ополчению противу искушателей; и наконец большие судьи его правосудие почли гордостью, думая, что он не берет для того, что не дают больше. Гордость его наказали отрешением его от того места; он о том и не тужил; на место его посажен другой судья, в котором нимагой нет гордости. Он берет взятки не яко взятки, но яко подарки. Весы правосудия в его руках, а указы в его устах: ибо они говорят то, что прикажет судья. Итак, в том месте, где сидел голубь, сидит ныне ястреб, о чем для сведения и объявляется.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XIII. ИЮЛЯ 21 ДНЯ.

Господин издатель!²

Ты охотник до ведомостей, для того сообщаю тебе истинную быль. Вот она. У некоторого судьи пропали золотые часы. Легко можно догадаться, что они были некупленные. Судьи редко поку-

¹ Акциденция—взятка.

² Это и последующее письма написаны Ф. Эминым. См. Семенников, стр. 47—48.

нают; история гласит, что часы по форме приказной с надлежащим судейским насиллем вымучены были у одной вдовы, требующей в приказе, где судья заседал, правосудия, коего бы она, конечно, не получила, если бы не вознамерилась расстаться против воли своей с часами.

В комнату, где лежали часы, входили только двое: подрядчик и племянник судейский, человек приказный и чиновный. Подрядчик ставил¹ полные два года в судейский дом съестные припасы, за которые три года заплаты денег дожидался. Правда, имел он на судью вексель; но помогает ли крестьянину вексель на судью приказного, судью, может быть, еще знатного? Редко вексель действие имеет, где судью судью покрывают, где рука руку моет, для того что обе были замараны. Подрядчик хотя невеликий грамотей, однако про это знает и для того пришел просить судью о заплате долга со всякою покорностью; и в то-то самое время часы пропали. Племянник судейский, хотя мальчишка молодой, но имеет все достоинства пожилого беспорядочного человека, играет в карты, посещает дома, где и кошелек опустошается и здоровье увядает. Не было собрания мотов вне и внутри города, где бы он первый между прочими бездельствами пьян не напивался. Правосудию он учился у дяди, которого пришедши поздравить с добрым утром, украл и часы, о коих дело идет.

Худой тот судья, который через побои правду взыскивает, а еще хуже тот, который всякие преступления низкой только породе по предубеждению приписует, как будто бы между благородными не было ни воров, ни разбойников, ни душегубцев. Случающиеся примеры противное доказывают, и один прощельга, обращающийся довольно в свете, утверждает, что больше бездельства и беззакония между дворянами водится, нежели между простым народом, называемым по несправедливости подлостью. Подлый человек, по мнению его, есть тот, который подлые дела делает, хотя б он был барон, князь или граф, а не тот, который, рожден будучи от низкостепенных людей, добродетелью, может быть, многих титульных людей превосходит.

Кто добродетелью превысит тьму людей,
Не знает славнее породы тот своей.

Судья, хватившись часов и не находя их, по пристрастию рассуждает про себя так: „Я хотя и грабитель в противность совести и государственных указов, однако сам у себя красть не стану; племянник мой также не украдет: он человек благородный, чиновный, а душе всего мой племянник. Других людей здесь не было; конечно, часы украл подрядчик, он подлый человек, мне противен; я ему должен“. Заключил, утвердился и определил истязать подрядчика, хотя сего делать никакого права не имел, кроме насильственного права сильнейшего.

¹ Т. е. поставлял.

Г. издатель! Видно, что сей судья никогда не читывал книги о преступленьях и наказаніях (des délits et des peines)¹, которую бы всем судьям наизусть знать надлежало. Видно, что он никогда не заглядывал в те указы, кои беспристрастным быть повелевают. Рассуждая по сему и по многим другим подобным судьям, кажется, что они такие люди, кои уреченные только часы в приказах просиживают, а о прямых своих должностях, как о сирском² и халдейском языках, не знают. О просвещение, дар небесный! расторгни скорее завесу незнания и жестокости, для защищения человечества.

Уже страдает подрядчик под побоями судейскими, и плети, отрывая кожу кусками, адское причиняют ему мучение. Чем больше невинный старается оправдать себя клятвами и призываніем бога во свидетели, тем сильнее виноватый повелевает его тиранить; чем больше подрядчик просит, плачет и стонет, тем безжалостнее судья усугубляет его мучение. Бедный подрядчик, чувствуя свою душу приближившуюся к гортани и скоро из уст выйти хотящую, не имея силы больше переносить мучения, принужден был наконец признаться в похищении часов судейских и чрез то прекратил чинимую над собою пытку.

¹ Ф. Эмин имеет в виду знаменитую книгу итальянского просветителя Беккариа (1738—1794) „О преступлении и наказании“ („Dei delitti e delle pene“), в которой тот горячо протестует против пыток и жестоких наказаний и проповедует гуманные идеи. Восторженно принятая энциклопедистами, книга была вскоре переведена на французский язык под названием „Traité des délits et des peines“. По повелению Екатерины II многие части ее были переведены с французского на русский язык Храповицким и использованы при составлении Наказа 1767 г. Ф. Эмин ссылается на французский перевод.

² Т. е. ассирийском.



Титульный лист второго издания „Трутеня“.

Не столько любитесь щеголиха новомодным и в долг сделанным платьем, в коем она в первый раз на гульбище под Девичий монастырь для пленения сердец поехала; не столько радуется господчик *Стозмей*, когда ему удастся сделать вред кому-нибудь из тех, коих он для глупой своей любовницы по пристрастию ненавидит; не столько восхищался *Злорад* при представлении гадко переведенной своей комедии; не столько веселится монах, когда случится ему светское что-нибудь сделать, как порадовался наш судья, подрядчикову мнимому воровству: ибо он уповал не только не заплатить того, чем он подрядчику был должен, но еще подрядчика сделать себе должным. В самом деле, в ту ж минуту со всем судейским бесстыдством наблюдатель правосудия сделал следующее предложение подрядчику: „Если ты не согласишься тотчас издрать моего векселя и не дашь мне на себя другого в двух тысячах рублях, то ты будешь за воровство свое в трех застенках и сослан на вечную работу в Балтийский порт. Все сие с тобою исполнится непременно, я тебя в том честным, благородным и судейским словом уверяю. Но если сделаешь то, чего от тебя между четырех глаз требую, то будешь сей же час свободен и твое воровство не пойдет в огласку; а для заплаты двух тысяч рублей, даю тебе сроку целый год; видишь, как с тобою человеколюбиво и христиански поступаю; иной бы принудил тебя заплатить и пять тысяч рублей за твое бездельство, да еще и в самое короткое время“.

Истерзанный подрядчик, обливаясь слезами и произнося все на свете клятвы, старается сколько можно доказать свою невинность; и признание в краже, говорит он, учинил для того, чтоб избавиться хотя на минуту несносного мучения; уверяет, что не только не может он заплатить в год двух тысяч рублей, требуемых несправедливо, но что все его имение почти в том и состоит, чем его превосходительство ему должен, что, получивши сей долг, располагал он заплатить положенный на него государев и боярский оброк, а потом себе, жене и малолетним своим детям нужное доставить. От сих слов пылает наш судья гневом и яростью и невинного подрядчика в свой приказ, яко пойманного вора и признание учинившего, при сообщении отсылает. Весьма скоро отправляются дела в тех приказах, в коих судьи сами истцами бывают, и редко случается от прочих судей противоречие в том, что одному из них надобно, хотя бы то было совсем несправедливо. Собака собаку лижет и ворон ворону глаз не выклеывает. В тот же самый день определение подписано было всеми присутствующими, чтоб допрашивать подрядчика под плетью вторично; в тот же самый день сие бы исполнено было, если б, к счастью подрядчика, не захотелось судьям обедать, ибо был второй полудни час, и если б на другой день не было вербного воскресения и по нем страстной и святой неделей, в коих не бывает присутствия.

Подрядчик, заклепанный в кандалы и цепь, брошенный со злодеями в темный погреб, плачет неутешно; а с ним купно рыдают

жена его и дети; слезы его тем обильнее текут, чем больше уверен он во своей невинности; а вор, племянник судейский, в то самое время, рыская по городу, присовокупляет без наказания к прежним злодействам еще новые бездельства. Украденные часы проиграл он некоторому карточному мудрецу, который со всеми своими в картах хитростями беднее еще русских комедиантов. Карточный мудрец заложил их на два дни одному титулярному советнику, который по титулярной своей чести и совести только по гривне за рубль на каждый месяц процентов берет. Советник продал их в долг за двойную цену одному придворному господчику, который имеет в год доходу три тысячи рублей, а проживает по шести, надеясь, что двор заплатит все его долги за верную и ревностную службу, которая состоит в том что, будучи дневальным, раздаст иногда кушанье, да и то непроворно и неопратно. Придворный господчик подарил их своей любовнице, всеми чувствами его ненавидевшей, которая в неделю святой пасхи отдала оные вместо красного яйца прокурору того приказа, где содержался подрядчик, чтоб г. прокурор постарался утеснить ее отца, от которого она убежала.

По прошествии праздников, заседания в приказах начались, и день для подрядчика истязания и освобождения наконец настал. Судьи съехались, подрядчик к мучению был уже приведен, как прокурор, приехавши после судей и удивившись раннему их съезду, вынул часы для проведения времени. Судья, истец и другие присутствующие тотчас узнали украденные часы и без всех справок положили, что подрядчик оные продал той особе, от которой их прокурор получил; а чтоб подрядчика доказательнее в воровстве обличить, то отправили секретаря у оной госпожи взять расписку в покупке часов у подрядчика, коего между тем начали под боями допрашивать о следующем: „Не был ли кто из богатых купцов с ним в умысле? Не крадывал ли он и прежде сего? Кому продавал краденные им вещи?“ и пр. Расспросы сии делались, как сказывают, для того, чтоб из бездельицы сделать великое дело, которое бы, может быть, никогда не вершилось, и чтоб ко оному принудать зажиточных людей, от коих можно бы было наживать.

Покамест секретарь о путешествии часов осведомлялся, подрядчик мучимый насказал то, чего никогда не делал, и допросы, в трех тетрадах едва уместенные, показали ясно, сколь много лишнего в приказах пишут, что не всегда нужны побои ко изысканию злодеяния и что один золотник здравого судейского рассудка больше истины открывает, нежели плети, кошки и застенки.

Удивились судьи, когда секретарь донес и доказал, что часы у дяди своего украл племянник; а читатель беспристрастный удивится еще больше тому, что приказный секретарь не покривил душою и поступил совестно; но паче всего должно дивиться решению судейскому с тем мотом, который украл часы, и с невинным подрядчиком дважды мучимым. Приказали: вора племянника, яко благородного человека, наказать дяде келейно; а подрядчику при выпуске объявить, что побои ему впредь зачтены будут.

Повесть сия доказывает, г. издатель, что ничего нет для общества вреднее глупых, корыстолюбивых и пристрастных судей, на которых прошу тебя написать такую колкую сатиру, чтобы они все, устыдившись своего невежества, старались быть таковыми, какими им быть повелевают честь, совесть и государские законы.

Москва.
1769 году.

Покорный твой слуга
N. N.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XIV. ИЮЛЯ 28 ДНЯ.

Господин издатель!

Пламя войны и между сочинителями возгорелось¹. Вооружились колкими своими перьями г. писатели; вашему Трутню в прошедший вторник немалое было бомбардирование. Всякая Всячина добрый вытерпела залп, Адскую Почту атаковала какая-то неизвестная партия. Что касается до моих бесов, то я на оных наступающего уверить могу, что ему их бояться никакой причины нет, когда он человек честный; ибо добродетельного человека не только мои бесы, но и весь настоящий ад добродетели лишить не может. Я бы сему их неприятелю советовал истребить из мыслей то суеверие, которое, как он сам пишет, от младенчества при нем обитает; и когда он о делах по свойству их, а не по названию рассуждать захочет, то, может статься, имя бесов не столько ему будет противно.

Что касается до пасквиля, который был прислан некоторым писателем для напечатания, который ему назад отослан и который носится по многим рукам, то я оный, если когда-нибудь явится в свет, с прочими сего рода сочинениями предаю на суд публике, которую я считая за судью справедливого, потому что читатель обыкновенно меньше бывает пристрастен, нежели писец, уверен, что клевета от истины весьма справедливо будет отделена и останется при своем хозяине. Известно всем, что и между сочинителями бывают люди разных свойств; есть писатели благородные, достаточные и нищие; последние, будучи разумом весьма скудны, всего алкают и злятся на тех, кои рассудком достаточнее их. Я не только имена сих известных мне моих клеветников здесь умалчиваю, но и ниже какими-либо околичностями публике их лица

¹ Ф. Эмин, подписавший эту статью инициалами „Б. К.“, т. е. „Бес кривой“ (журнал Ф. Эмина „Адская почта“ издавался в форме переписки двух бесов—кривого и хромого), имеет в данном случае в виду полемику между сатирическими журналами.

означивать буду, ибо я намерен только доказать мою справедливость, а не бранить публично других.

Ни одно почти разумное сочинение не было без критики. Ювенала критиковал Повзаний ткач, Горадия Витрувиев¹ архитектор, сочинителя Телемака² разбил Фаидит³, который был у Собиса лакеем; однако Телемак навеки будет Телемаком, а Фаидит писателем презренным, как о нем писал славный Рамзей⁴, которого нижеозначенные о Фаидите слова* весьма приличны и моим злобным критикам.

Я с моей стороны уверяю публику, что не буду впредь оную беспокоить ответами на ругательства, злобою на меня устремляемые, зная, что сего рода писателям чем-нибудь надобно наполнить свои листки; я же с людьми сей шерсти не только перебраниваться, но и какое-нибудь иметь с ними дело почитаю за стыд.

Покорный слуга Б. К.

* * *

Господин Б. К. Бомбардирование, сделанное в прошедший вторник моему Трутню, мне не страшно; да уповаю, что и г. Всякой Всячине сделанный залп никакого вреда не причинит: ибо в сию против нас войну ополчилось невежество. В письме господина Д. П., напечатанном в И То и Се, написано, что госпожа Всякая Всячина выжила из ума. Хотя бы это было и подлинно, то я бы и тогда сказал, что гораздо славнее дожившему с пользою и с рассудком до глубокой старости лишиться ума, нежели родиться без ума. Но сей глубокой древности во Всякой Всячине никто еще

¹ *Витрувий*—знаменитый древнеримский архитектор.

² „Телемак“. Подразумевается всемирноизвестный правоучительный роман французского писателя Фенелона (1651—1715) „Приключения Телемака“ (1699). Стихотворной переделкой „Телемака“ является „Телемахида“ Тредиаковского.

³ *Фаидит Пьер Валентин* (1640—1709)—незначительный французский писатель, автор „Телемахомании“, пародии на „Телемака“ Фенелона.

⁴ *Рамзей* (1686—1743)—французский писатель, друг Фенелона и Ж. Б. Руссо.

* Рамзей, известный в учености муж, о Фаидитовой критике написал следующее:

On n'y trouve par tout que mauvaise foi, la profonde ignorance de l'auteur, critiques fausses, injures grossières, fades plaisanteries, chicanes pueriles et on eût pu dire à l'auteur ce que l'illustre M. Rousseau à un homme de pareille trempe:

...Et nouvel Erostrate.

А prix d'honneur tu veux te faire un nom.

„в сем сочинении ничего найти не можно, кроме лжи, величайшего невежества авторова, несправедливых критик, грубых обид, подлых насмешек и ребяческих привязок, так что можно о сем писателе сказать то, что написал славный Руссо⁵ о некотором писателе сего рода:

... Ты новый Ерострат⁶

Бесчестием своим быть хочешь всем известным“.

(Примечание Элиа.)

⁵ *Жан Батист Руссо* (1670—1741)—французский поэт.

⁶ *Герострат*, житель древнегреческого города Эфеса. Желая прославиться, сжег великолепный храм Дианы Эфесской, одно из восьми чудес античного мира.

не приметил. Что ж касается до моего Трутня, в котором, по мнению господина Д. П., ничего нет кроме язвительных браней, ругательства, и что во оном в наивысочайшем степене блистает невежество, на то скажу: пусть И То и Се похваляется господином Д. П. и подобным ему; меня это не прельщает потому, что мое желание стремится заслужить внимание беспристрастных и разумных читателей.

ЗАДАЧА.

Читатели! прошу решить сию задачу:
Кто дара не имев, а пишет на удачу.
Умен или дурак?

За прародительски страдая кто грехи,
Марают без стыда прегнусные стихи.
Умен или дурак?

Кто в полустипшии речь целую ломает
И пишет то, чего и сам не понимает.
Умен или дурак?

Кто от роду не быв со музами знаком,
Дерзает воспевать качели с семиком.
Умен или дурак?

Кто ползает весь век, а мнит, что он летает,
И вздорные стихи без разума сплетает.
Умен или дурак?

Кто в прозе и в стихах наставил столько слов,
Которых не свезут и тысяча ослов.
Умен или дурак?

Кто прозу различить с стихами не умеет,
Пред светом хвалится, что все он разумеет.
Умен или дурак?

Кто в сказках написал сорок нам да ворон,
И вздумал о себе, что будто он Скаррон.
Умен или дурак?

Кто хвалит сам себя, а прочих всех ругает,
И в сем одном свое искусство полагает.
Умен или дурак?

РЕШЕНИЕ.

Возможно ли, чтоб тот разумно написал,
Кто вместе с молоком невежество сосал,
И кто в поэзии аза в глаза не знает,
Уже поэмы вдруг писати начинает.
По мнению моему, писатель сей таков,
Как вздел бы кто кафтан, не вздев сперва чулков;
И если это так,
Конечно, он дурак.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XV. АВГУСТА 4 ДНЯ.

Племяннику моему Ивану, здравствовать желаю!

На последнее мое к тебе письмо с лишком год дождался я ответа, только и поныне не получил. Я безмерно удивляюсь, откуда взялось такое твое о родственниках и о самом себе нерадение. Мне твое воспитание известно: ты до двадцати лет своего возраста старанию покойного твоего отца соответствовал. Он из детей своих на тебя всю полагал надежду; да и нельзя было не так: большой твой брат, обучаясь в кадетском корпусе светским наукам, чему выучился? Ты знаешь, сколько он ирриключил отцу твоему разорения и печали. А ты, под присмотром горячо любившего тебя родителя, жил дома до двадцати лет и учился не пустым нынешним и не приносящим никакой прибыли наукам, но страху божию; книг, совращающих от пути истинного, никаких ты не читывал, а читал жития святых отец и библию. Вспомнишь ли, как тебе тогда многие наша братья старики завидовали и удивлялись твоей памяти, когда наизусть читывал ты многих святых жития, разные акафисты, каноны¹, молитвы и проч., и не только мы простолюдины, но и священный левитской чин² тебе завидовал, когда ты, будучи еще сущим птенцом шестнадцати только лет, во весь год круг церковного служения знал и отправляти мог службу! Куда это все девалось! Всеконечно создатель наш, за грехи отец твоих, отъял от тебя благодать свою и попустил врагу нашему злоказненному дияволу искушати тебя и совращати от пути, ведущего ко спасению. Ты стоишь на краю погибельном, бездна адской пропасти под тобою разверзается, отец дияволов, разинув челюсти свои и испущая из оных смрадный дым, поглотить тебя хочет, аггели мрака радуются, а силы небесные рыдают о твоей погибели. Ежели то правда, что я о тебе слышал? Сказывали мне, будто ты по постам ешь мясо и, оставя увеселяющие чистые сердца и дух сокрушенный услаждающие священные книги, прииялся за светские. Чему ты научишься из тех книг? Вере ли несомненной, без нее же человек быти спасен не может? Любве ли к богу и ближним, ею же приобретается царствие небесное? Надежде ли быти в райских селениях, в них же водворяются праведники? Нет, от тех книг погибнешь ты невозвратно. Я сам, грешник, ведаю, что беззакония моя превзыдоша главу мою; знаю, что я преступник законов, что окрадывал государя, разорял ближнего, утеснял сирого, вдовицу и всех бедных, судил на мзде; и короче сказать, грешил, и по слабости человеческой еще и ныне грешу почти противу всех заповедей, данных нам чрез пророка

¹ Церковные песнопения.

² Левиты—древние еврейские священнослужители. Здесь—священники вообще.

Моисей, и противу гражданских законов; но не погасил любви к богу, исповедываю бо его пред всеми творцом всея вселенныя, сотворившим небо, землю и вся видимая, всевидящим оком созерцающим во глубину сердец наших. О ты всемогущий, вселенных обладатель! ты зришь сокрушение сердца моего и духа, ты видишь желание следовать воле твоей, ты ведаешь слабость существа нашего, знаешь силу и хитрость врага нашего дьявола, не попусти ему погубити до конца творение рук твоих, послы от высоты престола твоего спутницу твою и святую истину, премудрость, да укрепит та сердце мое и дух ослабевающий. Сказано: постом, бдением и молитвою победиши дьявола; я исполняю церковные предания, службу Божию слушаю с сокрушенным сердцем; посты, среды и пятки¹ все сохраняю, не только сам, но и домо-чадцев своих к тому принуждаю. Да я и не принужденно, но только по теплой вере и еще прибавил постов; ибо я и все домашние мои во весь год, кроме воскресных дней, ни мяса, ни рыбы не ядим. Вот каково, кто читает жития святых отец! мы во оных находим книги, что неоднократно из глубины адской пропасти теплые слезы и молитвы возводили на лоно авраамле; а ты сего блаженства лишаешься самопроизвольно. Разве думаешь, что когда ты не вступишь в приказную службу, то уже и согрешить не можешь? Обманываешься, дружок: и в приказной, и в военной, и в придворной, и во всякой службе и должности слабому человеку не можно пробыти без греха. Мы брэнное сотворение, сосуд скудельный², как возможем остережись от искушения; когда бы не было искушающих, тогда, кто ведает, может, не было бы и искушаемых! Но змий, искусивший праотца нашего, не во едином живет едемском саде: он пресмыкается по всем местам. И не тяжкий ли это и смертный грех, что вы, молодые люди, дерзновенным своим языком говорите: *За взятки надлежит наказывать, надлежит исправлять слабости, чтобы не родилися из них пороки и преступления.* Ведаете ли вы, несмысленные, ибо сие не припишу я злобе вашего сердца, но несмысленно; ведаете ли, что и бог не за всякое наказывает согрешение, но, ведая совершенно немощь нашу, требует сокрушенного духа и покаяния? Вы твердите: *я бы не брал взятков.* Знаете ли вы, что такие слова не что иное, как первородный грех, *гордость*? Разве думаете, что вы сотворены не из земли и что вы крепче Адама? Когда первый человек не мог избавиться от искушения, то как вы, будучи в толико раз его слабее, колико раз меньше его живете на земли, гордитесь несвойственною сложению вашему твердостью? Как вам не быть тем, что вы есть? Удивляюсь, господи, твоему долготерпению! Как таких кичащихся тварей гром не убьет, и земля, разверзшись, не пожрет во свое недра, стыдяся, что таких в свет произвела тварей, которые вещество ее забывают. Опомнись, племянничек! и посмотри, куда тебя стремительно влечет твоя

¹ По церковному уставу в среду и пятницу предписывается пост.

² *Сосуд скудельный* (церковно-книжное выражение)—символ брэнности, тленности.

молодость! Оставь сии развращающие разумы ваши науки, к которым ты толико прилепляешься; оставь сии пагубные книги, которые делают вас только гордыми, и вспомни, что *гордым господь противится, смиренным же дает благодать*. Перестань знаться, по-вашему с учеными, а по-нашему с невежами, которые проповедывают добродетель, но сами столько же ей следуют, сколько и те, которых они учат, или и еще меньше. К чему потребно тебе богопротивное умствование, как и из чего создан мир? Ведаешь ли ты, что судьбы божие неиспытанны, и как познавать вам небесное, когда не понимаете и земного? Помни только то, что *земля еси и в землю отыдеши*. На что тебе учиться речениям иностранным; язык нам дан для прославления величия божия, так и на природном нашем можем мы его прославляти; но вы учитесь оным для того, чтобы читать их книги, наполненные расколами противу закона; они вас прельщают, вы читаете их с жадностию, не ведая, что сей мед во устах ваших преобращается в польнь во утробах ваших; вы еще тем довольны, что на тех языках их читаете; но чтобы совратить с пути истинного и не знающих чужеземских изречений, вы такие книги переводите и печатаете; недавно такую книгу видел я у нашего прокурора. Помнится мне, что ее называют К****. Безрассудные! читая такие книги, стремитесь вы за творцами ко дну адскому на лютые и вечные мучения; из сего рассуждай, ежели в тебе хотя искра страха божия осталась. Какую приносят пользу все ваши науки, а о прибыли уже и говорить нечего! Итак, в последние тебе пишу: ежели хочешь быть моим наследником, то исполни мое желание, вступи в приказную службу и приезжай сюда; а петербургские свои шапки все брось. Как ты не усоветишься, что я на старости беру на свою душу грехи для того только, чтобы тебе оставить чем жить. Я чувствую, что уже приближается конец моей жизни. Итак, делай сие дело скорее и вспомни, что упущенного уже не воротить. Ты бы, покуда я еще жив, в приказных делах понаторел, а после бы и сам сделался исправным судьбою и моим по смерти достойным наследником. исполни, Иванушка, мое желание, погреби меня сам; закрой в последние мои глаза и после поминай грешную мою душу, чтобы не стать и мне за тебя на месте мучения; проливай о грехах моих слезы, поминай по церковному обряду, раздавай милостыню; а на поминки останется довольно, о том не тужи, ежели и ты не прибавишь, так проживши свой век моим, оставишь еще чем и тебя помянуть. Итак, мы оба, на земли поживши по своему желанию, водворимся в место злачно, в место покойно идеже праведники упокоеваются. Пожалуй, Иванушка, послушайся меня; ведь я тебе не лиходей. Я тебе столько добра хочу, сколько и сам себе. Прощай

Остаюсь дядя твой ****



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XVI. АВГУСТ 11 ДНЯ.

ВЕДОМОСТИ.

† ИЗ КРОНШТАДТА.

На сих днях в здешний порт прибыл из *Бурдо*¹ корабль; на нем кроме самых модных товаров привезены 24 француза, сказывающие о себе, что они все бароны, шевадьё², маркизы и графы и что они, будучи несчастливы во своем отечестве, по разным делам касавшимся до чести их, приведены были до такой крайности, что для приобретения золота, вместо Америки, принуждены были ехать в Россию. Они во своих рассказах солгали очень мало: ибо, по достоверным доказательствам, они все природные французы, упражнявшиеся в разных ремеслах и должностях третьего рода³. Многие из них в превеликой жили ссоре с парижскою полициею, и для того она по ненависти своей к ним сделала им приветствие, которое им не понравилось. Оно в том состояло, чтобы они немедленно выбрались из Парижа, буде не хотят обедать, ужинать и почевать в Бастилии. Такое приветствие хотя было и очень искренно, однакож сим господам французам не понравилось; и ради того они сюда приехали и намерены вступить в должности учителей и гофмейстеров молодых благородных людей. Они скоро отсюда поедут в Петербург. Любезные сограждане, спешите напимать сих чужестранцев для воспитания ваших детей! Поручайте немедленно будущую подпору государства сим побродягам, и думайте, что вы исполнили долг родительский, когда наняли в учителя французов, не узнав прежде ни знания их, ни поведения.

† ПОДРЯДЫ.

Некоторому судье потребно самой свежей и чистой совести до несколько фунтов; желающие в поставке оной подрядиться, а у него купить старую его от челобитческого виноградного и хлебного нектора перегоревшую совесть, которая, как он уверяет, весьма способна ко отысканию желаемого всеми философического камня⁴, могут явиться в собственном его доме.

¹ Бордо.

² Французский дворянский титул.

³ Т. е. третьего сорта.

⁴ *Философический камень*. Средневековые алхимики пытались отыскать чудесный философский камень, при помощи которого можно было бы искусственным путем добывать золото, превращая в него другие металлы.

Недавно пожалованный прокурор отъезжает во свое место и по приезде желает он развестъ редкое в том городе растение, именуемое *цветущее правосудие*, хотя воевода того города до оногo растения и не охотник; чего ради потребен ему, г. прокурору, искусный садовник; желающие вступить во оную должность, могут явиться у г. прокурора немедленно.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XVIII, АВГУСТА 25 ДНЯ.

ВЕДОМОСТИ.

ИЗ МОСКВЫ.

Безрассуд, житель нашего города, помешался в уме, прочитав книгу *Разговоры о множестве миров*¹. Сему удивляться не надлежит: ибо *Безрассуд* воспитан был под присмотром старушки, которая все известные простонародные басни о сотворении мира в самом еще младенчестве ему затвердила. *Безрассуд*, достигнув совершенных лет, не достиг однакож ни совершенного ума, ни истинного о вещах понятия. С летами его суеверие и невежество приходили в совершенство. В таком-то состоянии прочитал он *Фонтенеля*; на всякой странице находил он не ясные о системе мира предложения, но тьму непроницаемую и удаляющуюся от его понятия. Он вострепетал читая, что звезды подвижны суть такие же миры, каков и наш; что солнце стоит, а земля ходит; огромность висячих над нами тел и что оные один вокруг другого, а все совокупно с землею и с нами так скоро вертятся около солнца, его поразила; куда он ни ходил и где ни сидел, везде казалось ему, что какой-нибудь мир оборвался и весь земной шар стремится расшибить в пыль; то представлялось ему, что планета, сбившись со своего пути, зацепила землю и отбросила оную к солнцу и что мы уже пылаем; иногда казалось ему, что он видит землю вертящуюся, и для того хватался за что попадалось, чтобы не упасть; словом, *Фонтенель* и последние *безрассудова*

¹ „Разговоры о множестве миров“ — философский трактат французского философа, сатирика, драматурга Бернара ле Бевье де Фонтенеля (1657—1757). В этой книге Фонтенель излагает систему Коперника и его продолжателей. „Разговоры о множестве миров“ Фонтенеля впервые переведены на русский язык Кантемиром в 1730 г., но, благодаря противодействию староцерковной партии, перевод был напечатан лишь в 1740 г. В 1756 г. по проискам синода книга была изъята и уничтожена.

ума отнял крошки: он не выходил из комнаты, не пил и не ел целые три дни; напоследок лишившись совсем ума, ездит ныне ко своим родственникам и знакомым и прощается, сказывая, что он в висячье отправляется мира для проповеди и что он там, яко у непросвещенных людей, всеконечно за веру пострадает.

ОТЪЕЗЖАЮЩИЕ.

Троекратно за взятки отрешенный судья добивался места с повышением чина; но, по несчастию, просил он о том такого господина, который прежние его грабительства имел еще в свежей памяти и оные почитал истинным беззаконием, чего ради он ему в прощении отказал. Судья, огорчась сею несправедливостью, отъезжает во свое поместье ко утеснению бедных своих соседей.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XX. СЕНТЯБРЯ 8 ДНЯ.

Г. Издатель!

Скажите, за что вы все, господа издатели журналов, бранитесь? разве не можно написать, не делая вам бесполезных и нам неприятных браней; или задумали вы спорить о первенстве? так, пожалуйста, сие отставьте на наше решение; мы знаем, кто пишет хорошо и кто худо; ведаем, кого хвалить и кого хулить надлежит. Мы гораздо вас скромнее, а вам на что одному говорить о другом, что тот всех бранит; а другому о том, что тот обещался исправлять пороки, но не держит слова. Вы оба правы и оба виноваты. Оставьте это все, я вас прошу; для вас сие будет похвальное, а для нас и полезное и приятное. Вы все разные имеете способности; пусть один из вас проповедывает добродетель и пишет наставления; а другой пусть осмеивает пороки и, писав сатирические сочинения, исправляет нравы; третий пускай рассказывает сказки и тем забавляет малосмысленных людей: следуя сему, вы все упражняться будете по своим способностям. Вот вам мирные договоры, согласитесь их подписать и исполнять; исполняя сие, вы все будете полезны и нам милы; мы вам по окончании ваших трудов скажем спасибо; буде же не так, то право всех назовем дураками. Послушайтесь, это вам от доброго сердца говорит

Милосерд.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXII. СЕНТЯБРЯ 22 ДНЯ.

Несмыслу, богатому, но глупому дворянину, бывшему в отставке, пришла охота идти в штатскую службу. К чему ты вознамерился, скудоумный человек! когда ты не умеешь управлять собою и подвластными тебе крестьянами, то как можешь ты быть судьей, которому разум и науки необходимо нужны. Останься в своей деревне, где ты хотя неразумнейший, однако первый человек. Но дураки всегда упрямы и разума себе по крайней мере три пуда лишние приписывают. Собравши с крестьян вперед за два года оброк, приезжает с полными мешками в Петербург доставать себе выгодное место. Уже знакомится с камердинерами знатных бояр, дарит их и просит, чтоб он представлен был их превосходительствам. Топтавши долгое время передние, стал, наконец, знаком во многих домах. Бояре начали с ним говорить и увидели, что он глуп; однако по дворянству и по богатству ласкают и приветствуют. Уже молодец наш в знатных домах и в вист и в ломбер¹ играет; хотя всякий день рублей по сотне проигрывает, однако, внутренно радуясь, думает, что место, которое он непременно чрез новых приятелей достанет, наградит ему все убытки. *Несмысл* просит о месте. Всякий боярин обещается ему от всего сердца служить, но при том думает, что *Несмысл* с ума сошел и ни к какому делу не годится. Отставной наш помещик, слыша лестные обнадеживания, восхищается от радости; однако не долго на радуешься, бедный человек! Видно, что ты еще не знаешь обманчивого языка бояр знатных. Проходит уже пять месяцев, дворянин наш места не получает, но только что проигрывается и проживается. Первых денег уже не стало; *Несмысл*, надеясь на обещания мнимых своих милостивцев, закладывает в банке деревню, но и те деньги приходят к концу. *Несмысл* начал уже на бояр сердиться, а бояре начали почитать его скучным и несносным. Он проклинает теперь бояр, несмотря на то, что он должен был бранить прежде всего свою глупость. Что ж наконец сделалось? Дворянин наш, не получивши места, едет на сих днях опять в свою деревню возвращать убыток с крестьян своих; а прожитые двенадцать тысяч рублей показали ясно двору и городу, что г. *Несмысл* совершенный дурак.

* * *

Г. Трутень!

Все вы, господа издатели, чудные люди: бранитесь и сами не ведаете за что, а тем лишь только занимаете свои листки, которые, как сказываете, издаете для нашего увеселения. Пожалуй,

¹ Вист и ломбер—карточные игры.

будь хоть ты поумняе, не пиши браней и не ответствуй на них; тебе гораздо больше соделает это славы, и тем-то ты одним и победишь своих бойцов; а вместо того издавай попрежнему присылаемые пиесы, а то ведь с того времени, как завелася у вас перьяная междуусобная война, вы многим делаете обиду, а между прочим и мне. Я послал к вам песню моего сочинения, а вы ее и поныне еще не напечатали. Итак, если захочется вам в следующем XXII листе ответить на брань, то вместо того напечатайте мою песню, чем вы одолжите

Вашего слугу В...



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXII. СЕНТЯБРЬ 29 ДНЯ.

РЕЦЕПТЫ.

Для его превосходительства г. Недоума.

Сей вельможа ежедневную имеет горячку величаться своею породою. Он производит свое поколение от начала вселенной, презирает всех тех, кои дворянства своего по крайней мере за пятьсот лет доказать не могут; а которые сделались дворянами лет за сто или меньше, с теми и говорить он гнушается. Тотчас начинает его трясти лихорадка, если кто пред ним упомянет о мещанах или крестьянах. Он их в противность модного наречия не удостаивает ниже имени подлости, а как их называть, того еще в пятьдесят лет бесплодной своей жизни не выдумал; не ездит он ни в церковь, ни по улицам, опасаясь смертельного обморока, который, непременно, думает он, с ним случится, встретившись с неблагородным человеком. Вот для чего сей вельможа, подобясь дикому медведю, сосушему свои лапы, сделал дом свой навсегда летнею и зимнею для себя берлогою, или, лучше сказать, он сделал дом свой домом бешеных, в котором, отдавая себе справедливость, добровольно заключился. Затворник наш ежечасно негодует на судьбу, что определила она его тем же пользоваться воздухом, солнцем и месяцем, которым пользуется простой народ. Он желает, чтобы на всем земном шаре не было других тварей, кроме благородных, и чтоб простой народ совсем был истреблен; о чем неоднократно подавал он проекты, которые многими ради хороших и отменных мыслей были похваляемы; а многими были опорочены для того, что изобретатель, для произведения в действие своей выдумки, требовал наперед трехсот миллионов рублей. Вельможа наш ненавидит и презирает все науки и художества, почитает оные бесчестием для всякой благородной головы. По его мнению, всякий шляхтич может все знать, ничему не учась; философия, математика, физика и про-

чие науки суть безделицы, не стоящие внимания дворянского. Гербовники и патенты¹, едва-едва от пыли и моли спасшиеся, суть одни книги, кои он беспрестанно по складам разбирает. Александрийские листы, на которых имена его предков росписаны в кружках, суть одни картины, коими весь дом его украшен; короче сказать, деревья, чрез которые он происхождение своего рода означает, хотя многие сухие имеют отрасли, но нет на них такого гнилого сучка, каков он сам, и нет такой во всех фамильных его гербах скотины, каков его превосходительство. Однако г. Недоум о себе думает противное, и по крайней мере в разуме великим человеком, а в породе божком себя почитает; а чтобы и весь свет тому верил, ради того он старается не чрез полезные и славные дела от других быть отличным, но чрез великолепные дома, экипажи и ливрею, несмотря что он для поддержания своей глупости проживает уже те доходы, кои бы еще чрез десять лет проживать надлежало. Для излечения г. Недоума от горячки

РЕЦЕПТ.

Надлежит больному довольною меру здравого привить рассудка и человеколюбия, что истребит из него пустую кичливость и высокомерное презрение к другим людям; ибо знатная порода есть весьма хорошее преимущество, но она всегда будет обесчещена, когда не подкрепится достоинством и знатными к отечеству заслугами. Мнится, что похвальные бедным быть дворянином или мещанином и полезным государству членом, нежели знатной породы тунеядцем, известным только по глупости, дому, экипажам и ливрее.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXIV. ОКТЯБРЯ 6 ДНЯ.

РЕЦЕПТЫ

Для г. Безрассуда.

Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человеки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он только потому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую *оброк*. Никогда с ними не только что не говорит ни слова, но и не удостаивает их наклоением своей головы, когда они по восточному обыкновению пред ним по

¹ *Гербовник*—книга, в которой в определенном порядке помещались изображения гербов дворянских и владетельных родов. *Патент*—здесь свидетельство о присвоении звания, чина.

земле распространяются. Он тогда думает: *Я господин, они мои рабы, они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора.* В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано: *в поте лица своего снеси хлеб твой.* Бедные крестьяне любить его как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание, затем что насилу могут платить господские поборы. Они и думать не имеют, что у них есть что-нибудь собственное, но говорят: *это не мое, но божье и господское.* Всевышний благословляет их труды и награждает, а *Безрассуд* их обирает. *Безрассудный!* разве забыл ты, что ты сотворен человеком, неужели ты гнушаешься самим собой во образе крестьян, рабов твоих? Разве не знаешь ты, что между твоими рабами и человеками больше сходства, нежели между тобою и человеком. Вообрази рабов твоих состояния, оно и без отягощения тягостно; когда ж ты гнушаешься теми, которые для удовольствования страстей твоих трудятся почти без отдохновения, они не смеют и мыслить, что они человеки, но почитают себя осужденниками за грехи отец своих, видя, что прочие их братья у помещиков-отцов наслаждаются вожделенным спокойствием, не завидуя никакому на свете счастью, ради того, что они в своем звании благополучны; то подумай, как должны гнущаться тобою истинные человеки, человеки господа, господа, отцы своих детей, а не тираны своих, как ты, рабов. Они гнушаются тобою, яко извергом человечества, преобразующего нужное подчинение в несносное иго рабства. Но *Безрассуд* всегда твердит: *я господин, они мои рабы; я человек, они крестьяне.* От сей вредной болезни

РЕЦЕПТ.

Безрассуд должен всякий день по два раза рассматривать кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдет он различие между господином и крестьянином.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXV. ОКТЯБРЯ 13 ДНЯ.

Г. Издатель!

Я уверен, что вы ненавистник пороков и порочных и что вы не следуете мнению утверждающих, что порочного на лицо критиковать не надлежит, но вообще порок, да и то издалека и слегка. Я не ведаю, какой они от таких дальних околичностей ожидают пользы. Известно, что признание в своих слабостях и пороках

самому себе делают весьма не многие; кто сам себе признается во своих поступках, тот ежели не совсем исправляется, так по малой мере борется со своими страстями, и тому, по мнению моему, потребны наставления, а не критика. Другие, кои больше самолюбивы и ослеплены страстями, критику на общий порок, писанную слегка, от его действий весьма удаленную, тотчас совращают на лице другого; такой тогда еще более ищет причин удалить оную от себя, нежели как критик, его пороки критикующий, искал от его лица удалиться. В таком случае обыкновенно много помогают ласкатели: ибо ежели бы кто стал критиковать поступки знатного господина, тогда ласкатели, бесстыдно предупреждая его признание, тотчас сыщут невинное лицо, на которое совратят критику. Невинный тогда страждет, а порочный насмехается своим пороком в лице другого. Вот все, чего от таких критик ожидать надлежит. Правда, что и ваше правило в рассуждении критики от ласкателей мало помогает. Но тут страждет критик, если увидит, что критикованное лицо точно те имеет пороки, тогда хотя и признаются, но утверждая, что критик весьма злобный человек. Впрочем, мое мнение весьма с вашим согласно, что критика на лицо больше действует, нежели как бы она писана на общий порок. Например, я много раз видал, что когда представляют на театре *Скупого*, тогда почти всякий скупой старик в театр смотреть ездит. Для чего же? для того, что он думает тогда о каком ни на есть другом скупяге, а себя наверное тогда не вспомнит. Когда представляют *Лихоимца*, тогда кажется, что не все скупые на *Кашей* смотреть будут. Меня никто не уверит и в том, чтобы Мольеров *Гарпагон* писан был на общий порок. Всякая критика, писанная на лицо, по прошествии многих лет обращается в критику на общий порок, осмеянный по справедливости; *Кашей* со временем будет общий подлинник всех лихоимцев. Я утверждаю, что критика, писанная на лицо, но так, чтобы не всем была открыта, больше может исправить порочного. В противном же случае, если лицо так будет означено, что все читатели его узнают, тогда порочный не исправится, но к прежним порокам прибавит и еще новый, то-есть злобу. Критика на лицо, без имени, удаленная поелику возможно и потребно, производит в порочном раскаяние; он тогда увидит свой порок и, думая, что о том все уже известны, непременно будет терзаем стыдом и начнет исправляться. Я вам скажу на это пример. Один молоденькой писец читал много книг, и следовательно, видел, что худых писцов не хвалят. Но однакож ему пришла охота к писанию, он сочинил пьесу, ее начали хвалить; хотя и видели его недостатки, но на первый случай хотели его теми похвалами ободрить, надеясь, что ежели он хорошо выкинет, тогда и сам свои недостатки увидит. Другие поступили с ним искренные. Они объявили ему его погрешности и недостатки; но он похвалы почитал от истины происходящими, а критику от злобы и зависти. Ободренный писец и поощренный к продолжению своих трудов, скоро начал себя ровнять со славными писателями, а потом и вечной похвалы достойных авторов начал ругать. Друзья его остерегали много-

кратно, но он утверждал, что они ошибаются. После начали его критиковать, на общее лицо. Говорили ему, что, ежели в сочинении случатся эдакие погрешности, так это порок; он на то соглашался, но в своих сочинениях тех погрешностей не видал и не исправился. Он не переставал себя хвалить, а других ругать, до того времени, как показались на него другие критики: не мог уже он ошибиться, что те на него были писаны. Он спрашивал у друзей своих, правильны ли критики, на него писанные, и так ли он худо пишет, как те утверждают? Они признались, что весьма правильно. Его это тронуло. Он перестал писать, и ежели не совсем исправился, так по крайней мере исправляется. Ибо он начал признаваться, что он и сам ведал, что пишет он худо, но надеялся когда-нибудь исправиться, в том упражнялся; но как скоро приметил, что он не успевает, так скоро и перестал писать, что он писал по одной только охоте и что он никогда не думал, что это его *métier* *. Вот вам пример; ежели станут утверждать, что сей писец от тех критик не исправится, о том я спорить не буду, но и не поверю, чтобы он исправился общею критикою. Наконец сообщаю вам, г. издатель, описание бессовестного поступка одного чиновного человека с купцом. Пусть увидят, достоин ли он критики, и пусть скажут, что он бы общею критикою на бездельников исправился.

Пролаз, человек чиновный и последний мот, был должен одному честному купцу по векселю. Срок пришел. Купец требовал денег, а *Пролаз* не отдавал, надеясь, что купец по знакомству с его приятелями просить на него не будет. Купец по многократном хождении наконец вознамерился вексель отдать в протест и по нем взыскивать. Но *Пролаз* нашел способ с ним разделаться без платы денег. Случилось им быть вместе в гостях, купец подил, и *Пролаз* не упустил его поразгорячить, что он ему денег не отдаст, и что ежели он будет и просить на него, так ничего не сыщет. Купец после сего *Пролаза* выбранил: а *Пролаз*, ничего ему не отвечая, сказал: *милости прошу прислушаться*, и на другой день подал челобитную. Наконец вместо бесчестия взял обратно свой вексель с надписью, что по оному деньги получены, да для наступившей зимы супруге своей не худой на шубу мех. *Пролаз* долгом поквитался, а купец за то, что плута назвал бездельником, потерял свои деньги.

Пожалуйте, г. издатель, поместите мое письмо в ваших листах. Вы одолжите тем вашего слугу

Правдулюбова.

Г. издатель!

При нынешнем рекрутском наборе, по причине запрещения чинить продажу крестьян в рекруты и с земли до окончания набора, показалось новоизобретенное плутовство. Помещики, забывшие честь и совесть, с помощью ябеды выдумали следующее: про-

* *Métier*, по-русски ремесло, и тут вымолвлено тем писцом ошибкою, по такую ошибку, кажется, можно простить: ибо не весьма легко человеку, равнявшемуся со славными авторами и весьма самолюбивому, признаваться, что он пишет худо. (*Примечание Новикова.*)

давец, согласясь с покупщиком, велит ему на себя бить челом в завладении дач; а сей, имев несколько хождений по тому делу, наконец, подаст общее с истцом мировую челобитную, уступая в иск того человека, которого он продал в рекруты.

Г. издатель! вот новый род плутовства, пожалуйте, напишите ко отвращению сего зла, средство.

1769 года, октября 8 дня.
Москва.

Ваш слуга П. С.

Это не мое дело



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXVI. ОКТЯБРЯ 20 ДНЯ.

КОПИЯ С ОТПИСКИ.

+

Государю Григорью Сидоровичу!

Бьют челом *** отчины твоей староста Андрюшка со всем миром.

Указ твой господский мы получили и денег оброчных со крестьян на нынешнюю треть собрали: с сельских ста душ сто двадцать три рубли двадцать алтын; с деревенских с пятидесяти душ шестьдесят один рубль семнадцать алтын; в недоимке за нынешнюю треть осталось на сельских двадцать шесть рублей четыре гривны, на деревенских тринадцать рублей сорок девять копеек; да послано к тебе, государь, прошлой трети недоборных денег с сельских и деревенских сорок три рубли двадцать копеек, а больше собрать не могли: крестьяне скудны, взять негде, нынешним годом хлеб не родился, насилу могли семена в гумны собрать. Да бог посетил нас скотским падежом, скотина почти вся повалилась; а которая и осталась, так и ту кормить нечем, сена были худые, да и соломы мало, и крестьяне твои, государь, многие пошли по миру. Неплательщиков по указу твоему господскому на сходе сек нещадно, только оброку не заплатили, говорят, что негде взять. С Филаткою, государь, как поволишь? денег не платит, говорит, что взять негде: он сам все лето прохворал, а сын большой помер, остались маленькие робятишки; и он нынешним летом хлеба не сеял, некому было землю пахать, во всем дворе одна была сноха, а старуха его и с печи не сходит. Подушные деньги за него заплатил мир, видя его скудость, а за твою, государь, недоимку по указу твоему продано его две клетки за три рубли, за десять алтын; корова за полтора рубли, а лошади у него все пали; другая коровенка оставлена для робятишек, кормить их нечем; миром сказали, буде ты его в том не простишь, то они за

ту корову деньги отдадут, а робятишек поморить и его в конце разорить не хотят. При сем послана к милости твоей Филаткина челобитная, как с ним сам поволитишь, то и делай; а он уже не плательщик, покуда не подрастут робятишки: без скотины, да без детей наш брат твоему здоровью не слуга. Миром, государь, тебе бьют челом о завладевшей у нас *Нахрапцовым* земле, прикажи ходить за делом: он нас здесь разорлет и землю отрезал по самые наши гумна, некуда и курицы выпустить; а на дело по указу твоему господскому собрано тридцать рублей, и к тебе посланы без доимки; за неплательщиков положили тяглые, только прикажи, государь, добиваться по делу. *Нахрапцов* на нас в городе подал явочную челобитную, будто мы у него гусями хлеб потравили, и по тому его челобитной была за мною из города посылка. Меня в отчие тогда не было, посыльные забрали в город шесть человек крестьян в самую работную пору; и я, государь, в город ездил, просил секретаря и воеводу, и крестьян ваших выпустили, только по тому делу стало миру денег шесть рублей, воз хлеба да пять возов сена. *Нахрапцов* попался нам на дороге и грозился нас опять засадить в тюрьму; секретарь ему родня, и он нас очень обижает. Отпиши, государь, к прокурору: он боярин добрый, ничего не берет, когда к нему на поклон придешь, и он твою милость знает, авось-либо он за нас вступится и секретаря уймёт, а воевода никаких дел не делает, ездит с собаками, а дела все знает секретарь. Вступишь, государь, за нас, своих сирот: коли ты за нас не вступишься, так нас совсем разорят и *Нахрапцов* всех нас пустит в мир. Да еще твоему здоровью всем миром бьют челом о сбавке оброчных денег, нам уже стало невоготу; после переписи у нас в селе и в деревне померло больше тридцати душ, а мы оброк платим все тот же; покуда смогли, так мы таки твоей милости тянулись, а ныне стало уже невмочь. Буде не помилуешь, государь, то мы все в конце разоримся; неплательщики все прибавляются, и я по указу твоему делал всякое воскресение и неплательщиков секу на сходе, только им взять негде, как ты с ними ни поволитишь. Еще твоей милости доношу, ягоды и грибы нынешним летом не родились, бабы просят, чтобы изволил ты взять деньгами, по чему укажешь за фунт; да еще просят, чтобы за пряжу и за холстину изволил ты взять деньгами. Лесу твоего господского продано крестьянам на дрова на семь рублей с полтиною; да на две избы, по пяти рублей за избы. И деньги, государь, все с Антошкою посланы. При сем еще послано штрафных денег с Ипатки за то, что он в челобитье своем тебя, государь, оболгал и на племянника сказал, будто он его не слушался и затем с ним разошелся, взято по указу твоему тридцать рублей. С Антошки за то, что он тебя в челобитной назвал отцом, а не господином, взято пять рублей. И он на сходе высечен. Он сказал: *я-де это сказал с глупости*, и напередки он тебя, государь, отцом называть не будет. Дьячку при всем мире приказ твой объявлен, чтобы он впредь так не писал. Остаемся раби твои староста Андрюшка со всем миром, земно кланяемся.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXVII. ОКТЯБРЯ 27 ДНЯ.

Г. Злораду, думающему, что слуг, ему подчиненных, ко исполнению своих должностей ничем иным принудить не возможно, как строгостию или паче зверством и жестокими побоями. Для сей причины подчиненных ему слуг и за самонаималейшие слабости и оплсшности наказывает зверски. Он не говорит с ними никогда ласково, но такими словами, которые в них производят ужас. Одевает, обувает и кормит он своих слуг весьма худо, утверждая, что когда сии безумия его несчастные невольники чувствуют голод и холод, тогда ежеминутно помнят они свое рабство и, по его мнению, следовательно, тем побуждаются ко исполнению своих должностей. Любовь к человечеству он опровергает, но утверждает, что рабам жестокость и наказание так, как и дневная пища, необходимо нужны. Надлежит думать, что он имеет сердце, напоенное лютым зверством и жестокостию, когда не слышит вопиющего гласа природы: *и рабы человеки*. А нрав его весьма соответствует испорченному его воспитанию. От такой болезни надлежит прописать рецепт...

Для г. Злорада.

Чувствований истинного человечества 3 лота; любви к ближнему 2 золотника¹ и соболезнования к несчастию рабов—3 золотника; положи вместе, истолочь и давать больному в теплой воде; а потом всякий час давать ему нюхать спирт, делающийся из благоразумия. Если ж и сие не поможет, тогда дать больному принять волшебных капель от 30 до 40. Сии капли произведут то, что он сам несколько часов будет чувствовать рабское состояние, и после сего он, конечно, излечится.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXX. НОЯБРЯ 17 ДНЯ.

КОПИЯ С ДРУГОЙ ОТПИСКИ. ✦

Государю Григорью Сидоровичу!

Бьет челом и плачется сирота твой Филатка.

По указу твоему господскому, я, сирота твой, на сходе высечен, и клетки мои проданы за бесценок, также и корова, а деньги взяты

¹ Лот и золотник—старые весовые меры: 1 лот равен $\frac{1}{32}$ фунта, 1 золотник— $\frac{1}{96}$ фунта.

в оброк, и с меня староста правит остальных, только мне взять негде, остался с четверыми робятишками мал мала меньше, и мне, государь, ни их, ни себя кормить нечем; над робятишками и надо мною сжалился мир, видя нашу бедность: им дал корову, а за меня заплатили подушные деньги, а то бы пришло последнюю шубенку с плеч продать. Нынешним летом хлеба не сеял, да и на будущий земли не пахал; нечем подняться. Робята мои большие и лошади померли, и мне хлеба достать не на чем и не с кем, пришло пойти по миру, буде ты государь, не сжалишься над моим сиротством. Прикажи, государь, в недоимке меня простить и дать вашу



*Крепостной крестьянин на барщине. С рисунка XVIII в.
Государственный музей Революции, Москва.*

господскую лошадь, хотя бы мне мало-по-малу исправиться и быть опять твоей милости тяглым крестьянином. За мною, покуда на меня бог и ты, государь, не прогневались, недоимки никогда не бывало, я всегда первый клал в оброк. Нынче пришло на меня невзгодье, и я поневоле сделался твоей милости неплательщиком. Буде твоя милость до меня будет, и ты оботрешь мои сиротские и бедных моих робятишек слезы и дашь исправиться, так я и опять твоей милости буду крестьянин; а как подрастут робятишки, так я и добрый буду тебе слуга. Буде же ты, государь, надо мною не сжалишься, то я, сирота твой, и с малыми моими сиротишками поневоле пойду питаться христовым именем. Помилуй, государь наш, Григорий Сидорович! кому же нам плакаться, как не тебе? Ты у нас вместо отца и мы тебе всей душой ради служить. Да как пришло невмочь, так ты над нами смилуйся; наше дело крестьянское, у кого нам просить милости, как не у тебя. У нас

в крестьянстве есть пословица: до бога высоко, а до царя далеко, так мы таки все твоей милости кланяемся. Неужто у твоей милости каменное сердце, что ты над моим сиротством не сжалишься? Помилуй, государь, прикажи мне дать клячонку и от оброка на год уволить, мне без того никак подняться невозможно; ты сам, родимый, человек умный и ты сам ведаешь, что как твоя милость без нашей братии крестьян, так мы без детей да без лошадей никуда не годимся. Умилосердися, государь, над бедными своими сиротами. О сем просит со слезами крестьянин твой Филатка и земно и с робятишками кланяется.

КОПИЯ С ПОМЕЩИЧЬЕГО УКАЗА.

Человеку нашему Семену Григорьеву! †

Ехать тебе в*** наши деревни, и по приезде исправить следующее:

1.

Проезд отсюда до деревень наших и оттуда обратно иметь на счет старосты Андрея Лазарева.

2.

Приехав туда, старосту при собрании всех крестьян высечь нещадно за то, что он за крестьянами имел худое смотрение и запуская оброк и недоимку и после из старост его сменить; а сверх того взыскать с него штрафу сто рублей.

3.

Сыскать в самую истинную правду, как староста и за какие взятки обогнал нас ложным своим докладом? За что прежде всего его высечь, а потом начинать следствием порученное тебе дело.

4.

Старосты Андриюшки и крестьянина Панфила Данилова, поком староста учинил ложный донос, обоих их дома опечатать и определить караул; а их самих отдать под караул в другой дом.

5.

Если ж в чем-либо будут они чинить заpiresательство, то объяви им, что они будут отданы в город для наказания по указам.

6.

И как нет сомнения, что староста донос учинил ложный, то за оное перевезь его к нам на житье в село***; буде же он за дальним расстоянием перевозиться и разорять себя не похочет, то взыскать с него за оное еще пятьдесят рублей.

7.

Сколько пожитков всякого звания осталось после крестьянина Анисима Иванова и получено крестьянином Панфилом Даниловым, то все с него, Данилова, взыскать и взять в господский двор, учиня всему тому опись.

8.

Крестьян в разделе земли по просьбе их поровнять по твоему благорассуждению; но при том однакож объявить им, что сбавки с них оброку не будет и чтобы они, не делая никаких отговорок, оный платили бездомочно; неплательщиков же при собрании всех крестьян сечь нещадно.

9.

Объявить всем крестьянам, что к будущему размежеванию земель потребно взять выписи; и для того на оное собрать тебе со крестьян, сколько потребно будет на взятые выписи.

10.

В начавшийся рекрутский набор с наших деревень рекрута не ставить, ибо здесь за них поставлен в рекруты Гришка Федоров за чиненные им неоднократно пьянствы и воровствы вместо наказания, а со крестьян за поставку того рекрута собрать по два рубли с души.

11.

За ложное показание Панфила Данилова и утайку свойства других взять с него, вменяя в штраф, сто рублей; и его перевести к нам в село *** на житье; а когда он просить будет, чтобы полученные им неправильно пожитки оставить у него и его оставить на прежнем жилище, то за оное взыскать с него, oprичь штрафных, двести рублей.

12.

По просьбе крестьян у Филатки корову оставить, а взыскать за нее деньги с них; а чтобы они и впредь таким ленивцам потачки не делали, то купить Филатке лошадь на мирские деньги; а Филатке объявить, чтобы он впредь пустыми своими челобитными не утруждал и платил бы оброк без всяких отговорок бездомочно.

13.

Старосту выбрать миром и подтвердить ему, чтобы он о сборе оброчных денег имел неусынное попечение и неплательщиков бы сек нещадно; буде же какие впредь явятся недомки, то оное взыскано будет все со старосты.

14.

За грибы, ягоды и проч. взять с крестьян деньгами.

15.

Выбрать шесть человек из молодых крестьян и привести с собою для обучения разным мастерствам.

16.

По исправлении всего вышеписанного ехать тебе обратно; а старосте накрепко приказать неусынное иметь попечение о сборе оброчных денег.

Н. В. ***



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXXII. ДЕКАБРЯ 1 ДНЯ.

РАЗГОВОР.

Я И ТРУТЕНЬ.

Я.

Г. Трутень! пожалуй, скажи, с каким намерением издаешь ты свой журнал?

Трутень.

С тем, чтобы принести пользу и увеселение моим согражданам.

Я.

Очень хорошо, намерение препохвальное. Но ты какой от того ожидаешь пользы?

Трутень.

Польза будет велика, если только я заслужу внимание и похвалу разумных и беспристрастных читателей и благоволение знатных господ и покровительство.

Я.

Первое отчасти исполняется; чтож надлежит до последнего, то не думаю, чтобы ты имел в том успех. Ведаешь ли полно ты, друг мой, кто и чем заслуживают благоволение знатных господ и покровительство?

Трутень.

Конечно, ведаю: те, кои говорят им правду, показывают их слабости и нечаянные проступки и от оных их остерегают. Наконец все те, которые приносят пользу отечеству, всегда заслуживают их покровительство и защищение.

Я.

Худо же ты их знаешь. Напротив твоего мнения, покровительство некоторых господ заслуживают только те, кои им угождают, каким бы то ни было средством, дозволенным или недозволенным. Защищение те, которые льстят их слабостям; выхваляют бесстыдно во глаза тех, коих внутренно почитают скотами; тех, кои прославляют их добродетели, милосердие, кротость или кто к чему пристрастен; удивляются стройности их тела, хвалят телодвижения; и, словом, те, кои других бесстыднее, а говорящие им истину и показывающие их слабости всегда бывают ненавидимы и обыкновенно слынут невежами, грубиянами и злонаправными людьми. Теперь рассуждай, что тебе надобно писать, когда хочешь заслужить их покровительство.

Трутьевъ.

Так, по твоему мнению, в знатных господах нет ни единого добродетельного человека?

Я.

Есть, только мало таких, которые помнят истину, любят добродетель и не позабывают, что они такие же человеки, как и те, кои их бедные, и что они в знатные возводятся достоинства для того только, чтобы больше могли делать благодеяния человечеству, помогать бедным и защищать угнетенных; а таких и очень мало, кои могут остерегаться ядовитого языка льстецов.

Трутьевъ.

Да ведь и знатные господа такие же, как и мы, человеки и, следовательно, тем же подвержены слабостям. Так как же ты хочешь, чтобы они не делали ни малейших погрешностей; дорога, по коей они идут, гораздо скользче нашей и, следовательно, чаще и преткываются. По твоему мнению, знатный господин должен быть больше человека?

Я.

Нет; я хочу, чтобы он был только человек, но человек, поелику отличен от прочих знатностию своего сана, потоплику бы отличался и добродетелию; чтобы восходя на степень знатности, не позабывал, что те бедные, от коих он отличен, остались еще такими ж бедными и что они требуют его помощи, так же как и он сам требовал, в подобном находясь состоянии; чтобы не затворял своего слуха от просьбы бедных и тем не скучал, что он может делать добро, чтобы старался о благосостоянии государства больше, нежели о самом себе, и чтобы не откладывал того до завтра, что нынче может сделать, ради того, что нужда времени не терпит.

Трутьевъ.

Очень хорошо; ты хочешь, чтобы они пеклись о благосостоянии других, лишаясь своего; чтобы других покоя, сами беспокоились; короче сказать, памятуя других, себя позабывали. На таком основании кто пожелал бы знатного достоинства? сие бы преимущество лишало выгод жить для себя, и какая бы польза тогда была в знатном чине?

Я.

Та, что они утешаться могут тем, что они возведены на такой степенъ, что могут делать другим добро, чем малочинные и бедные люди утешаться не могут. Не малая ли это отличность, что он признан добродетельнейшим, многих подобных ему человеков и могущим делать добро? Вот что прямо добродетельного человека утешать может.

Трутень.

Так неужели думаешь ты, что все знатные господа похожи на описанных тобою? Ежели ты так думаешь, так очень много ошибаешься. Посмотри на О... П... Н... С... В... Ш... Б... В...¹. Не считая прочих добродетельных господ, сии одни должны обратить тебя на другие мысли...

Я.

Я не спору, что сии господа, тобою наименованные, столько добродетельны, как ты сказываешь. Но для чего не имянуешь ты мне тех, кои, восходя на степенъ знатности, совсем забываютъ человечество; бываютъ горды, неправосудны, завистливы, пристрастны и множество других приобретаютъ пороковъ вкупѣ со знатностію...

Трутень.

Да разве малочинные и бедные не имеютъ техъ же пороковъ? Перестань, мой друг, винить однихъ знатныхъ; все люди слабостямъ подвержены, но разница между ими та, что в бедныхъ людяхъ не такъ ихъ проступки приметны, затемъ что знатный господинъ на вышнемъ стоя степенѣ, привлекаетъ на себя всехъ внимание, и отъ такого великаго числа судей его поступокъ не можетъ укрыться. Надеяшься ли ты, ежели будешь знатнымъ господиномъ, ты, который в нынѣшнемъ твоѣмъ состояніи считаешься добродетельнымъ человекомъ, не имѣть пороковъ тобою нынѣ ненавидимыхъ?..

Я.

Я не хочу и боюсь желать знатнаго чина для того, чтобы не лишиться спокойствія и человечества, коимъ нынѣ наслаждаюсь.

Трутень.

Ты видишь, что я правъ, утверждая, что во всякомъ звачіи есть много людей и добродетельныхъ и порочныхъ; и такъ первые заслуживаютъ по справедливости похвалу, а другіе критику; что исполняя, не думаю, чтобы мое изданіе никому не нравилось и чтобы все меня за то злословили.

Я.

Однакожъ многіе тебя злословятъ и говорятъ, что ты злонаправный человекъ, что ты никого не щадишь и что в твоѣмъ изданіи, кроме ругательства, ничего нѣтъ.

Трутень.

На весь свѣтъ и сама не угодитъ природа, такъ можно ли мнѣ надеяться, чтобы мое изданіе всемъ нравилось; довольно и того, что оно некоторымъ нравится. Нѣтъ ничего, что бы не было подвержено критикѣ. Пусть критикуютъ, однакожъ бы не ругали. Если жъ и къ тому найдутся охотники, такъ я и за то сердиться не буду.

¹ П. Ефремовъ считаетъ, что подъ этими буквами Новиковъ подразумеваетъ, вероятно, слѣдующихъ екатерининскихъ вельможъ: Орлова, Панина, Нарышкина, Салтыкова, Васильчикова, Шереметева, Безбородко и Всеволодскаго. См. примечанія Ефремова къ 3-му изданію „Трутня“, стр. 355.

Я.

Тебя бранят только те, кои сами заслуживают брань, и ты сего опасаться не должен. Впрочем, мне бы хотелось с тобою поговорить о другом, но теперь я не могу с тобою пробыть.

Трутень.

Мне и самому досадно, что разговор наш не тем кончится, чем бы я хотел.

Я.

В другой раз мы с тобою поговорим побольше, а теперь прощай.

Трутень.

Прости.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XXXIV. ДЕКАБРЯ 15 ДНЯ.

Г. Трутень!

Вчера я по обыкновению моему пришел в трактир обедать. За столом сидели мы только четверо, я с моим приятелем и двое агличан, и все разговаривали о чем кто хотел. Агличане о политических делах, а я с приятелем говорил о городских новостях, а между тем ели. В половину обеда вошли в нашу комнату два человека; один одет так, как обыкновенно городские купцы одеваются, а другой чисто, но однакож приметить было можно, что сей человек из приказного рода. Купец подошел к трактирщику и спрашивал у него, что он возьмет за обед, чтобы накормить хорошенько восемь человек? Трактирщик спросил у него, кто будет обедать. Приказной служитель, не дав выговорить купцу, сказал: „У его милости завтра здесь обедать будет *Правосудие*. Он вознамерился его потраковать, *попозже* дело его имеет быть в скорости предложено к слушанию: того ради и подлежит помянутое *Правосудие* трактовать весьма богато, а я, г. трактирщик, вас его милости рекомендовал“. Трактирщик сказал, что с других бы он взял и больше, но когда будет у него кушать только *Правосудие*, то он возьмет по два рубли с человека, опричь напитков. Купец пришел в изумление и спрашивал, сколько же надобно напитков, чтобы *Правосудие* совершенно употчивать? Трактирщик отвечал, что он наперед этого сказать не может, но что по окончании стола подаст ему самый верный счет. Купец спрашивал после цену вин и больше двух часов торговался; наконец, хотя и воздыхаючи, однакож отдал двадцать рублей в задаток и приказал приготовить хороший обед. Мы заметили, что купец отдавал деньги с великим сожалением, и из того заключили, что он сие делает по нужде. По

выходе их трактирщик и мы насчет их посмеялись довольно. Приятель мой и я весьма любопытны были видеть заказанный для *Правосудия* обед; и мы уговорились прийти туда на другой день. Сегодня в 12 часов пошли мы в тот трактир; мы хотели обедать в одной комнате, но трактирщик нам униженно доносил, что сего ему никак сделать невозможно; но он во удовольствие наше назначил нам побочную комнату, из которой мы все видеть и разговоры гостей званых слышать могли. Купец бедный суетился и бегал, чтобы поскорее все было приготовлено и как возможно получше, но однакож как возможно и подешевле. Как скоро стол был накрыт, то купец вышел на крыльцо и почти делье два часа стоял на часах, ожидая прибытия своих гостей. Мы также ожидали их с нетерпеливостью, ибо мне хотелось узнать, в каком виде придет *Правосудие* на купецкий обед. Наконец, купец почти без памяти вбежал в назначенную для приема его гостей комнату и спрашивал, все ли готово, гости изволят ехать, и опрометью побежал встречать. Мы оба с приятелем устремили свой взор туда, откуда должно идти *Правосудие*. Наконец, оно показалось нам, но в каком же виде? в виде нескольких секретарей и прочих приказных служителей. У сего *Правосудия* глаза не были завязаны; они ими смотрели на стол, для них приготовленный, но нескольких обнадеживаниях, что купецкое дело решено будет скоро. Сели за стол, и я увидел, что *Правосудие* кушало изрядно. Один из них из поставленной перед него бутылки налил рюмку и только что хотел пить, как почувствовал, что *Правосудие* тем оскорбляется, когда трактирщик вместо бургонского поставил ординарное вино. Купец, услыша сие, с крайним огорчением переменял ординарное на бургонское и тем удовлетворил *Правосудие*. После начали пить здоровья всех гостей шампанским, венгерским и прочими хорошими и дорогими винами; не позабыли тут и скотов *Правосудия*, их здоровье также пили английским пивом. Купец, подавая каждую бутылку, испускал вздох. Наконец, вздумалось им выпить по бокалу, благополучного окончания купеческого дела, и встали из-за стола. Тут начали играть на бильярде а ла-гер. *Правосудие* положило было с каждой персоны по несколько имперялов¹ своих денег; но случившийся тут приказной крючок тотчас стал тому противоречить и сказал: „*Понеже* почтенный сей купец звал обедать на свой кошт; того ради и эта игра должна по *Правосудию* быть на его кошт“. Между тем купцу шепнул на ухо, что это самое удобное время. Купец на сие согласился; они начали играть, а между тем почасту пили. Мы, увидя, что *Правосудие* так хорошо играет, что проиграть никогда не может, и как я страстный охотник до бильярда, то боялся, чтобы и нас не обыграло, и для того из трактира вышел. При выходе нашем заметил я, что *Правосудие* начинает уже шататься.

Слуга ваш Г. П. Р. Т.

¹ Золотая монета, имевшая хождение вплоть до падения царизма. В XVIII и XIX вв. стоимость ее равнялась 10 серебряным рублям.



ТРУТЕНЬ.

1770 г.

ЛИСТ VI. ФЕВРАЛЯ 9 ДНЯ.

Г. издатель!

Не поверишь, радость, в какой ты у нас моде. Ужесть как все тебя хвалят и все тобою довольны. Я сама много раз от московских наших щеголих слыхала, что тебе пред всеми дают преимущество; а я твоего Трутня ни на какие книги не променяю. После покойного старичка, моего батюшки, досталось мне книг очень много, только по чести я ни одной не беру в руки. Божусь тебе, что, принявшись за одну, провоняла было сухою моралью. Об заклад быюсь, что ты не отгадаешь, какие это книги?—все *Феофаны*, да *Каптежиры*, *Телемаки*, *Роллени*¹, *Летописцы* и всякой эдакий вздор. Честью клянусь, что я, читая их, ни слова не разумела. Один раз развернула *Феофана* и хотела читать, но не было мочи: не поверишь, радость, какая сделалась *теснота в голове**; а что принадлежит до твоего Трутня, то по чести я никогда не устаю его читать: ужесть как хорош! Теперь я все сказала, что надлежало до тебя; выслушай же, радость, и мою просьбу.

Батюшка покойник, скончавшись третьего года, избавил меня от ужасных хлопот и беспокойства. Ты удивляешься, как я тебе скажу, у вас в Петербурге и в голову никому это не входило. Послушай, да не засмейся: уморишь, радость! я принуждена была смотреть за курами—ты хохочешь, потерпи пожалуй,—за курами, за гусями и деревенскими бабами—ха! ха! ха! Рассуди, радость, свосно ли благородной дворянке смотреть за эдакою подлостью. Я не к тому рождена, но батюшка мой, покойный старичок, все-таки на своем поставил. Он воспитал меня так худо, как хуже трудно и придумать. Я знала только, как и когда хлеб сеют, когда сажают капусту, огурцы, свеклу, горох, бобы, и все то, что нужно знать дураку приказчику. Ужасное знание! а того, что делает нашу сестру совершенною, я не знала. По смерти батюшкиной приехала в Москву и увидела, что я была совершенная дура. Я не умела ни танцевать, ни одеваться и совсем не знала, что такое *мода*. Вот до какой глупости отцы, подобные моему, детей своих доводят! Поверишь ли, г. Издатель? мне стыдно признаться тебе:—я так была глупа, что по приезде только моем в Москву узнала, что я хороша,—рассуди теперь, как меня приняли московские щеголихи. Они с головы до ног меня засмеяли, и я три месяца принуждена была

¹ *Роллен* (*Роллен*) (1661—1741)—известный французский историк. Его „Римская история“, отличающаяся живостью изложения, отсутствием схоластики, была впервые переведена на русский язык Тредиаковским.

* Модное слово. (*Примечание Новикова.*)

сидеть дома, чтобы только выучиться по моде одеваться. Ни день, ни ночь не давала я себе покоя, но, сидя перед туалетом, надевала карнеты, скидывала, опять надевала; разнообразно ломала глаза, кидала взгляды, румянилась, притиралась, налепливала мушки, училась различному употреблению опахала, смеялась, ходила, одевалась и, словом, в три месяца все-то научилась делать по моде. Мне кажется, ты удивляешься, как могла я в такое короткое время всему, да еще сама, научиться? Я тебе это таинственно открою, послушай: по счастью попалась мне одна французская мадам, которых у нас в Москве довольно. Она еще до просьбы моей предложила мне свои услуги: рассказала мне, в каком я нахожусь невежестве, и что она в состоянии из меня сделать самую модную щеголиху. Вот какое из нас французы делают превращение! из деревенской дуры в три месяца сделать модную щеголиху для человека невозможность, а французы делают. Какою благодарностью должны мы французам: они нас просвещают и оказывают свои услуги и тогда, когда их не требуем. Лишь только вышла я из рук моей учительницы, то и показалась в собрание. На меня уже

другими глазами смотрели; я познакомилась со многими девицами и науку мою совершенно выучила. Скоро после того услышала, что и меня называют модною щеголихою. Сколько я тогда радовалась! уморить ли тебя?—В тысячу раз больше, как радовался батюшка мой, получая в году тысячу четвертей хлеба с своего поместья. Тогда-то узнала я, что мы и с хлебом и с деньгами нашими без французов были бы дураки. Они еще дешево продают о нас свои пощечины. Услыша лестное о себе мнение, не пропущала я тогда ни комедии, ни маскарадов, ни гульбищей: везде я попевала. Ты, радость, можешь рассудить, что девка осьмнадцати лет, которая от всех слышит: *мила, как ангел!* тотчас наживет себе завистниц; со мною точно так и сделалось. Меня стали снова пересмеывать,



Щеголихи XVIII века.

и науку мою совершенно выучила. Скоро после того услышала, что и меня называют модною щеголихою. Сколько я тогда радовалась! уморить ли тебя?—В тысячу раз больше, как радовался батюшка мой, получая в году тысячу четвертей хлеба с своего поместья. Тогда-то узнала я, что мы и с хлебом и с деньгами нашими без французов были бы дураки. Они еще дешево продают о нас свои пощечины. Услыша лестное о себе мнение, не пропущала я тогда ни комедии, ни маскарадов, ни гульбищей: везде я попевала. Ты, радость, можешь рассудить, что девка осьмнадцати лет, которая от всех слышит: *мила, как ангел!* тотчас наживет себе завистниц; со мною точно так и сделалось. Меня стали снова пересмеывать,

но уж из зависти, видя, что молодые мужчины толпами за мною бегают. На всю злость московских щеголих и ласки молодых мужчин смотрела я с холодностию. Многие молодчики в любви мне открывались, но я смеялась—я еще больше делала: сказать ли?—я дурачила их сколько хотела, а они не сердились. Наконец, попался мне молодчик, хорош как ангел, умен и при том щеголь. Он в меня влюбился до безумия, и я к нему почувствовала, не знаю, что-то отменное от прочих. Я восхищалась, видя его на маскарадах: он летал как ветер, когда он танцевал; и везде, где я ни бывала, находила тут и его. Несколько времени было это мне приятно, а после безотвязности своею он мне и наскучил. Я вознамерилась его позабыть, и слово свое сдержала. После сего молодчиков с десятков пробовали свое счастье, но я с ними точно так же поступила.

Вот обстоятельства, в которых я нахожуся. Дай, радость, мне хорошенький совет: так ли мне поступать, как начала, или и самой в кого-нибудь влюбиться. Пожалуй, ангел мой, напиши мне поскорее ответ, да не умори меня; я его с нетерпеливостию буду дожидаться; и прежде, пока его не получу, не скажу тебе, кто я такова. Мне хочется и тебя помучить. Прости, радость!

Р. S. Ужесть как хочется, чтобы совет твой поспел к нашим маскарадам.

В Москве,
ноября 25 дня, 1769 года.

* * *

Государыня моя! я человек чистосердечный, итак не прогневайтесь, ежели скажу, что поступки ваши совсем мне не нравятся. Послушайте искреннего совета! оставьте их, они унижают вашу красоту. На что прелестное ваше лицо, я разумею из письма вашего, на что его различными намазывать красками? Глаза ваши блистают, может быть, огнем, на что вы их коверкаете?—мода и тут замешалась! Еще вас прошу, оставьте сие несвойственное вам искусство: прекрасного не можно прекраснее сделать, но разве безобразнее; превеликую делаете вы честь своей учительнице! Если все они ту только делают пользу, так они совсем для нас не нужны. Оставьте все искусство и дайте в себе удивляться делам природы. Вы не захотите, может быть, следовать моему совету для того, что боитесь скуки: не опасайтесь сударыня, г. сочинитель *Всякия Всячины* обещался предписать вам упражнения; следуйте только им, вы скуки чувствовать не будете. Наконец, советую вам читать и хулимые вами книги, хотя изредко. Советую также побольше иметь почтения к памяти вашего родителя. Впрочем, за хорошее ваше о Трутне мнение я бы вас благодарил, если бы похвала сия была

умеренна и справедлива; но вы предпочитаете моего Трутня таким славным сочинителям, у которых *недостойн я отрешить ремь сапог их*; итак от принятия сей похвалы прошу меня уволить.

* * *

Письмо г. *Правдулюбова* напечатано не будет. Оно задевает *Всякую Всячину* и критикует господина сочинителя за то, что от критики свободно. В том же письме г. *Правдулюбов* делает расуждение о всех еженедельных сочинениях минувшего года и полагает им цену; нападает также своею критикою на некоторую переводную в стихах поэму и проч. Я сообщаю г. *Правдулюбову*, что подобных сему писем и впредь печатать не буду.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XI. МАРТА 16 ДНЯ.

Г. издатель Трутня!

Нет средства, чтоб не писать сатир на подъячих: сия тварь весьма несносна честным людям. Самое бездельное дело наделало мне множество хлопот: нужда мне была, чтоб в Москве в*** подписали мою подорожную. Я, изготоясь совсем к отъезду, зашел туда, думая, что в четверть часа могу быть отправлен; однако весьма обманулся в своем чаянии. Пришел в коллегию, спросил, у кого такие дела; сторож, отставной солдат, бывший в походах при первом императоре¹, с почтенными усами и стриженою бородою, ввел меня в большую комнату, где все стены замараны чернилами и в которой навалено великое множество бумаг, столов и сундуков, подъячих оборванных и напудренных, т. е. разного рода, человек 80. Многие из них драли друг друга за волосы, а прочие кричали и смеялись. Столь странное зрелище привело меня в удивление; я спрашивал, зачем тут такая драка, и насилу мог доведаться, что так наказывали приказных служителей за разные их неисправности.

Дожидался я часа два, чтоб сии господа успокоились, после того подходил ко многим, дабы узнать, что мне делать. Насилу нашел дневального, у которого сии дела, он мне гордо сказал: *подождите, не бывал дежурный*. Я говорил: мне сказали, что это вы сударь. Он засмеялся и сказал мне: *я дневальный, это правда, однако дневальный и дежурный не все одно*. Наконец, после многих насмешек научили меня, что дневальный есть канцелярист, а дежурный регистратор; теперь я это знаю, а прежде не ведал ни об одном из сих животных. Дожидался дежурного, который сказал, что о сем-де надлежит учинить представление господам присут-

¹ Т. е. при Петре I.

ствуюшим¹, и как они соблаговолят. Дождался и присутствующих и, ходя по разным мытарствам и слушая бесконечные *завтра*, обыкновенные ответы докучливым челобитчикам, с превеликим трудом получил милостивое решение, не могли без того обойтись, чтобы не заплатить за труды моим почтенным докладчикам.

Прости, г. И., я отправился в свой путь, сделав клятвенное обещание не входить ни за чем в места, определенные для правосудия.

Из Москвы.

Февраля 9 дня, 1770 года.

Слуга ваш
N. N.

* * *

Г. Издатель!

Обстоятельства мои не позволили мне на нынешний год продолжать еженедельного моего издания под заглавием *Смеси*: я его окончал; но по окончании получил я письмо от неизвестной мне особы, которое, обще и с моим к писавшему ко мне ответом, к вам сообщаю, прося оные поместить в ваших листах. Я надеюсь, что вы в просьбе моей не откажете, тем паче, что мы во весь минувший год жили весьма мирно. Письмо мое оканчиваю желанием лучшего успеха в ваших трудах, нежели какой мы по сие время имели.

Ваш покорный слуга
бывший И. Смеси.

* * *

Г. Издатель Смеси!

Я поражена почти, так сказать, вашим неистовством. Можно ли, сударь! чтоб я и не нарицала толь гнусным словом ваш отказ, что вы сделали в листе 40-м Смеси². Вы будете смешны, ежели станете следовать вашему намерению. И ежели не станете доказывать свету удовольствие, какое он, а по малой мере я, почерпала из вашей Смеси, то кажется сие непростительно вам. Следуйте ж рассудку: я верю, что ты с ним рожден; и для меня миле нет, как видеть Смесь. Сие толь лестное название пленяет меня всякий раз. О!.. Я ничего не желаю, как видеть Смесь еще. Я и мне подобные гораздо больше станут чувствовать обязанности к вам, чем больше покажетесь вы влюбчивы в ваше беспечие, без прерочивости тех мыслей и тех подлых душ, что всякую картину берут за свой портрет.

Не краски нужны вам, в них часто лезть и ложь:
Перо острите вы, и Смесь свою им множь.

Воронеж.

4 января 1770 года.

Услужница ваша
Любоправдова.

¹ Т. е. членам присутствия, главным чиновникам в данном учреждении.

² В 40-м листе „Смеси“ Ф. Эмин сообщает о прекращении издания „Смеси“.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XII. МАРТА 23 ДНЯ.

ОТВЕТ г. ИЗДАТЕЛЯ СМЕСИ

ГОСПОЖЕ ЛЮБОПРАВДОВОЙ.

Я сам поражен, сударыня, всеми кривыми толками о моей *Смеси*. Можно ли поверить, что оные хвалят то, чего слабый их рассудок понять не может; другие ругают, что говоришь правду; что овладевшее ими предрассуждение препятствует им следовать истине. Самое ваше письмо, наполненное хвалою или хулою, то же почти доказывает: оно писано прямо подъяческим слогом, и все в нем можно толковать двояко. Но что мне нужды до того, что вы в насмешку *Смесь* называете *лестным* названием; я знаю, что *Смесь* добродетелей прелестна и похвальна, а *Смесь* пороков, покрытая кокетством или педантством, гнусна и заслуживает презрение. Итак видите, что *Смесь* может быть, разумная, почти не сделает скучным своим многоглаголением; то окончивая сие скажу, что также и *Смесь*, как местоимения *вы* и *ты*, не может быть хороша; и сие всякий видит в ваших стихах, которыми окончили вы свое письмо.

КАРТИНА.

Сия картина изображает мужчину низкого происхождения, который нашел случай прилестись в родню знатной фамилии. На правой стороне видны все нажиточные места, вокруг которых он до милости своих родственников терся. На левой его кладовая, заваленная почти вся сундуками, шкафами и мешками с деньгами; он наполнил ее всякими непозволенными средствами, а именно: грабил и захватывал насильно чужое добро, брал на сохранение и не отдавал назад, а паче всего нажил он то лихоимством. Тут еще изображается несколько вдов, сирот и беспомощных, они его просят с заплаканными глазами и с распростертыми руками; и кажется, что они все хотят вымолвить *помилуй, покажи правосудие!* Но он со спокойным видом всегда говорит им *завтра*. Над кладовую его надпись: *сие добро, посредством моего умишка, мне бог дал*. Живописец, писавший сию картину, не позабыл вдали изъяснить брошенные на пол изломанные весы, означающие правосудие, и также истину поверженную.



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XV. АПРЕЛЯ 13 ДНЯ.

Господин Трутень!

Кой чорт! что тебе сделалось? ты совсем стал не тот; разве тебе наскучило, что мы тебя хвалили, и захотелось послушать как станем бранить? так послушай. Ну, да полно, шутки в сторону. Пожалуй, скажи, для какой причины переменил ты прошлогодний свой план, чтобы издавать сатирические сочинения? Ежели для того, как ты сам жаловался, что тебя бранили; так знай, что ты превеликую ошибку сделал. Послушай ныне: тебя не бранят, но говорят, что нынешний Трутень прошлогоднему не годится и в слуги и что ты ныне так же бредишь как и другие. Надобно знать, что хулы есть разные: одни происходят от зависти, а другие от истины; итак я советую лучше терпеть первые, нежели последние. Что тебе нужды смотреть на то, что говорят другие, знай только сам себя. Пожалуй, г. новый Трутень, преобразись в старого и будь любезным нашим увеселением; ты увидишь, что и тебе от того больше будет пользы; а то ведь, я чаю, ты, беденький, останешься в накладе. Мне сказывал твой книгопродавец, что нынешнего года листов не покупают и в десятую долю против прежнего. Пожалуй, послушайся меня и многих со мною, а буде не так, так прощай, Трутень, навсегда.

Апреля 6 дня, 1770 года.
В Санкт-Петербурге.

Тот, кто написал.

Господин Издатель Трутня!

Мне кажется, что тебя избаловали похвалами; почему ты и вздумал будто всякий вздор, да лишь бы напечатан был под заглавием Трутня, то примется читателями, равно как и хорошие сочинения, в нем напечатанные. Ежели ты так думаешь, так поверь*, что ты много ошибаешься. В прошлогоднем твоём Трутне, большая часть сочинений были очень хороши и им отдавали справедливость, например, ведомости, портреты, рецепты, твой Демокрит¹, некоторые пьески в стихах, также и многие письма в прозе, заключающие в себе сколько остроу и соли, столько хорошего вкуса, здравого рассуждения и чистоты русского языка. Нет нужды, и боже меня сохрани, чтобы я стала говорить, будто ты делал в них на

* Я не скажу *радость*, для того чтобы тебя ныне приличнее назвать *печалью*; ты, мой свет, очень достоин, чтобы хорошенько побранить тебя; но однакож я еще потерплю". (*Примечание Новикова.*)

¹ В листах XXVIII и XXXIII „Трутня“ за 1769 г. под названием „Смеющийся Демокрит“ был дан ряд сатирических портретов: скунца, мота, ханжи, самовлюбленного красавца и т. п.

известные тебе лица. Довольно того, что твои сатиры очень хороши. Я не скажу, чтобы совсем не было подобных прежним сочинениям и в нынешнем твоём Трутне; но скажу по чести, что они в нём так редки, как были редки в прошлогоднем худые. Этого кажется довольно, ты видишь, что я говорю искренно; итак, не сомневаюсь, что ты воспользуешься моим советом и будешь в выборе пьес поразборчивее. Прости, г. Издатель!

Услужница ваша
Не отгадаешь кто.

* * *

Подобных сим, я получил ещё четыре письма, в коих во всех приносится, инде с ласкою, а инде с бранью на меня жалоба, мне же самому. Говорят: меня избаловали похвалами. Прошлогодний Трутень хорош, нынешний дурен, гадок. Господа читатели! господа читатели, остановитесь хоть на минуту! За что вы на меня гневаетесь? прошлого года кричали вы, что в моем издании, кроме ругательства и брани, подлых мыслей и проч., ничего нет*, и за то меня бранили; браните и ныне за то, для чего нет в нынешнем издании подобных прежним сочинениям. Милостивые государи! скажите ж мне, кто из вас говорит правду и кого я должен слушать? Если правы последние, так за что меня бранили первые? Если же правы первые, то не стыдно ли бранить меня последним? Я знал и прежде, что на всех угодить невозможно, а ныне узнал то опытом, над самим собою.

Итак, господа читатели, не прикажете ли сказать, что прошлогодний Трутень большею частию нравился вам для того, что это было ещё ново; но по прошествии года все еженедельные сочинения вам наскучили. Не с одними ими вы так поступаете; всякая новость вас прельщает, а потом и наскучит. Ежели так, то не прикажете ли всякий месяц переменять заглавия... Наконец, оставляю вас рассуждать по произволению; оставьте только меня в покое; я вас не трогаю, не браните ж и вы меня.

* * *

Г. издатель!

Скрепи свое сердце! Я поразить тебя намерен! Несчастный! ты не ведаешь своей горести. Послушай, да не заплачь, не пролей реками слез твоих, ныне и без того грязно. Ну! укрепись и выслушай. Прабабка твоя госпожа *Всякая Всячина*¹ скончалась. Это ещё скрывают, но через неделю о том узнают все. Бедный сирота! ты остался у нас один. Что я вижу? ты плачешь! Не плачь, бедняжка, а мы право не заплачем. Во утешение твое, сочиняю я твоей прабабке похвальное слово, и как скоро оно окончу, то к тебе его

* Смотри *И То и Сё* и *Всякую Всячину*, еженедельные сочинения 1769 года, в которых брани мне написано очень много. Во *Всякой Всячине*, правда, что она относится к лицу г. Правдулюбова; но в *И То и Сё*, без рассуждения и без причины, прямо на мое лицо, что хотя и походит на П... но я... (*Примечание Новикова.*)

¹ Т. е. журнал „Всякая всячина“ перестал издаваться.

сообщи. Ах, бедный Трутень! как ты мне жалок! Не умри и ты, ибо многие видят в тебе смертельные признаки. Добро вы, читатели! всех издателей переморили*. Экие варвары! Ну прости, голубчик мой Трутень; миленький Трутень, пожалуй береги себя, не простудись: ныне еще погода не очень хороша. Прости, сироточка; живи невредимо на многие лета. Сего желает

с превеликой печали, о кончине
твоей прабабки, право позабыл
как меня зовут.

За сожаление благодарствую; печаль о кончине *Всякой Всячины*, хотя и велика, однако ж не такая, чтобы я позабыл, что мы все смертные. Впрочем, много милости.....



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XVI. АПРЕЛЯ 20 ДНЯ.

Господин издатель!

Всякая Всячина простилась, И То и Се в ничто превратилось, Адская Почта остановилась, а Трутню также пора лететь на огонек в кухню, чтоб подняться с пламенем сквозь трубу на воздух и занестись сам не знаю куда, только чтоб более людям не быть в тягость и не наскучить своими рассказами. Что за вздор! долго ли и впрямь читать одно да одно? все Трутня да Трутня! Сколько денежек ни выдавай, а другого не ожидай: как посмотришь на листок, так все заглавие одно носит имя. Что нужды до содержания, когда не разное именование; вы бы все, сколько вас ни было, старались лучше о выдумках, чтоб по крайней мере каждый месяц... нет долго, каждую неделю переменить именование своего издания. Удивительно, право, как вы по сие время еще не переняли поступки красавиц, которые бы вам хорошим образом в таком случае служить могли. Представьте себе только, сколь тонок их вкус; они никогда не делают то, что с переменою не сопряжено; так как же такое бесконечное племя издания читать без скуки, которые свое звание не переменяют. Нет, я вам чистосердечно признаюсь, что я давно об них и слышать не хочу. Сперва я было таки листков с десятков без тройкого прочтения не оставлял, да и во сие про них видал; а ныне ужесть как несносны, да и скучно об них ведать, что они в свете есть. Ну прости, мне недосуг больше писать, пора мне ехать в ряды, и купить... я сам не знаю что.

Ваш покорный слуга
Вертопрах.

* У меня есть приятель; ремеслом один из тех, которые людей морят. Он меня заподлинно уверял, что моровое поветрие на издателей точно от того сделалось, что они всегда бранились; а причиною тому были читатели: ибо они своими письмами их ссорили. (*Примечание Новикова.*)



ТРУТЕНЬ.

ЛИСТ XVII И ПОСЛЕДНИЙ. АПРЕЛЯ 27 ДНЯ.

РАССТАВАНИЕ, ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ.

Против желания моего, читатели, я с вами разлучаюсь; обстоятельство мое¹ и ваша обыкновенная жадность к новостям, а после того отвращение, тому причине. В минувшем и настоящем годах издал я во удовольствие ваше, а может быть, и ко умножению скуки, ровно пятьдесят два листа, а теперь издаю 53 и последний: в нем-то прощаюсь я с вами и навсегда разлучаюсь. Увы! как перенести сию разлуку? Печаль занимает дух... Замирает сердце... Хладеет кровь, и от предстоящего несчастья все члены немеют... Непричесанные мои волосы становятся дыбом; словом, я все то чувствую, что чувствуют в превеликих печалях. Перо падает из рук... Я его беру опять, хочу писать, но оно не пишет. Ярость объемлет мое сердце, я бешусь; бешенство не умаляет моей скорби, но паче оную умножает; но я познаю мою ошибку, перо еще не очинено. Я бросил его опять, беру другое и хочу изъяснить состояние души моей, но печаль затмевает рассудок. С какою скорбью возможно сравнить печаль мою? не столько мучится любовник при вечном разлучении со своею любовницею; не столько бесится подьячий, как читал указ о лихоимстве², повелевающий им со взятками навсегда разлучиться; не столько печалится иезуит, когда во весь год не продаст ни единому человеку отпущения грехов, или когда при последнем издыхании лежащего человека уговорит, в пользу своей души, лишить наследников своего имени, пустить их по миру, а имяние, беззаконно им нажитое и награбленное, отдать им в чистилище, будто бы тем учинить возмездие и чтобы омыть скверну души его; но больной сей выздоровеет и переменит свое намерение; не столько страдал *Кашей*, когда неправедно захваченное им стяжание законно отдано кому оно принадлежало; не столько бесится завистливый *Злорад*, когда при нем другие похваляются или когда он кого ругает и ему не верят; не столько терзается стихотворец, когда стихи его не похваляются; не столько бесится щеголь, когда портной испортит его платье, которого он с нетерпеливостью ожидал и в котором для пленения сердец хотел ехать в Екатерингоф на гулянье, или когда ему парикмахер волосы причешет не к лицу, а он хочет ехать на свиданье; не столько мучится и кокетка, когда любовник ее оставляет

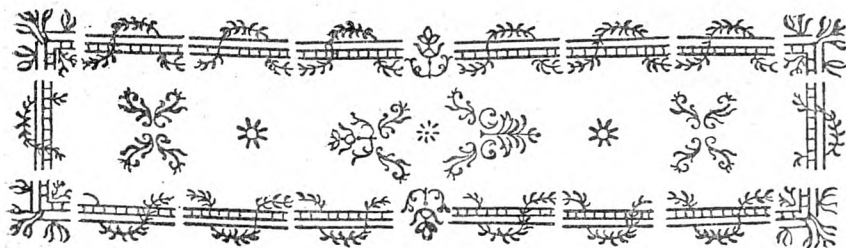
¹ Новиков намекает, что он прекращает издание „Трутня“ под давлением властей.

² Подразумевается знаменитый указ о лихоимстве, изданный Екатериной II в первые годы ее царствования.

и предпочитает ей другую женщину или когда ее не хвалят... Нет! печали всего света с моею сравниться не могут! Я пишу мою скорбь, и опять вычерниваю; буквы, мною написанные, кажутся малы, и следовательно, не могут изъяснить великость оныя. Я черно и перечерниваю, засыпаю песком, но ах! вместо песочницы я употребил чернильницу. Увы! источники чернильные проливаются по бумаге и по столу. Позорище¹ сие ослабляет мои чувства... Я лишаюсь оных... падаю в обморок... упал на стол, замарал лице и так лежу... Чернильный запах, коснувшись моего обоняния, возвращает мою память... открываю глаза... но при воззрении из глаз моих слезы проливаются реками и, смешавшись с чернилами, текут со стола на пол. В таком положении печально взглянул я на читателей; но что я вижу! Ах, жестокие! вы не соболезуете со мною? на лицах ваших изображается скука... Варвары, тигры! вы не проливаете слез, види мою горесть? так-то вас печали других трогают? теперь неудивительно мне, что при представлении трагедии, в самом печальном явлении, на которое сочинитель всю полагал надежду и надеялся, что весь партер потопите слезами; но увы! ни у единого из вас не видно тогда было ни капли слез, жестокие! вместо пролития слез вы тогда зевали, будто бы было вам то в тягость. Так-то награждаете вы труды авторские? но почто бесплодно терять слова? окамененных ваших сердец ничем невозможно тронуть! Я заклинаю себя наказать вас за вашу свирепость... бешенство мною владеет... так, я вас накажу... но... на что колебаться; слушайте приговор вашего наказания: впредь ни единой строки для вас писать не буду... Вы приходите во отчаяние... нет нужды, ничем вы меня не смягчите, и слово мое исполнится. Я столько ж буду жесток, как вы. Прощайте... Слушайте, читатели, я хотел было сочинить двенадцать трагедий в том вкусе, о которой трагедии недавно я упоминал, двадцать комедий, пятнадцать романов... но вы ничего этого не увидите. Читайте... Ну, прощайте, неблагодарные читатели, я не скажу больше ни слова.

¹ Зрелище.





АДСКАЯ ПОЧТА
или
переписки
хромононого беса с кривым.

Ежемесячное издание

1769 года.

МЕСЯЦ ИЮЛЬ.

Издад в свет я, напечатано здесь.

г. Всякая Всячина!

В честь вашу должен я сказать, что для меня вы нечто чрезвычайное потому, что от всех двенадцати иудейских древних колен в толь краткое время не произошло столько племени, сколько родилось от вашего. Бесы мои вам же должны своим рождением; ибо без вас и их бы не было. Вы меня увещевали, чтобы я имя бесов переменял в другое, утверждая, что такое заглавие и женщинам будет противно, и произведет во всех отвращение от покупки сих листов. Смеею вам, почтенная госпожа, сказать, что бесы, много чрез женский пол пользы имеющие, нежность их знающие и во всю их внутренность больше и лучше, нежели люди, по своему бесовскому свойству, вникать умеющие, не назвались бы своим собственным именем, если бы оно женскому полу было противно. Вы изволите знать, что ныне обыкновенно женщины, ежели кого хитрого или перед ними вертящегося захотят понежить, говорят: *какой ты бес!* Итак, имя сие не будет им ни ужасом, ни редкостью. Что же касается до читателей, то бесы, по мнению света, умея людей искушать и ко всему приводить, и ко чтению своих писем их побудить умеи будут. При всем том, я, вас почитаю,

повиновался бы вашему совету, если бы мои бесы так мало были упрямы, как я; но они, считая себя за благородных, не только ни одной буквы из своего звания выпустить не хотят, но еще мне сказали, что ставят себе в великую честь происходить от такой древней фамилии, которая тогда уже была, когда еще Адама и Евы в свете не было. Однакож в знак моей преданности, прося прощения в том, что не в моей воле совету вашему последовать, покорнейше приношу вам сие издание, надеясь, что бесы мои читателям не будут противны, когда от вашего племени происходят; такое родство непригожество их имени украсит может.

Покорный ваш слуга
Издатель бесовских переписок.

К ЧИТАТЕЛЮ.

Имел голову, отягощенную жестокою печалию, остался я ночевать в трактире, как вдруг увидел пред собою двух господ, одного Хромононого, а другого Кривого. Я в замешательстве спросил их, что они мне прикажут и в чем я им могу служить? Кривой господин, подошед ко мне, сказал, что я им весьма нужен; что они, верно служа долгое время республике адской, наконец отправлены в посольство в свет; что каждый из них будет жить в особливом месте и будут уведомлять друг друга о всем ими виденном, и что они оба очень честные бесы. „Мы знаем,—продолжал г. Кривой,— что ты с типографиями довольно имеешь знакомство; почему просим тебя, чтобы ты наши письма, напечатав, издал в свет. Теперь пошла мода на сочинителей: все пишут; так для чего ж и нашему брату не стараться о приобретении почтенного имени авторства?“

Я, будучи весьма набожен и несколько суевер, не смел вступить в договор с такими господами; что приметя, г. Кривой, улыбувшись, сказал: „Конечно, и ты так, как многие иные неблагородных мыслей люди, думаешь, о бесах не весьма почтенно?“—„Так, милостивый государь,—отвечал я ему.—В нашем городе о господах чертях не очень хорошо говорят.“—„Чорт и бес,—сказал мой гость,—не все одно: это такие разные вещи, как человек и господин“.

Сии последние слова г. Кривого привели меня в ужас; ибо до тех пор в моем доме ни господ, ни чертей не бывало, и я вельмож, обоих сих родов боялся; однако, зная из наслышки, как опасны господа тем, кои дерзнут сделаться им послушными, и из уравнивания г. Кривого тоже думая и о бесах, согласился на их требование и обещал все их переписки, которых копии мне пришлют, напечатав, сообщить публике. Но как они мне денег на типографию не оставили, сказав, что свет, которому они много благодеяний делают, за них заплатит, то экземпляр ежемесячного издания, кто полюбозытствует читать оное, будет продаваться за двадцать

копеек у переплетчика Вега, живущего в Малой Миллионной. Я думаю, что не будет то публике удивительно, что при мне в трактире сошлись два адские господа. Гора с горою не сходится, а бес с бесом легко везде сойтися и содружиться может.

ПИСЬМО 2.

От Кривого к Хромононому.

Ну, брат! познакомился я с таким человеком, которому желаю прожить на свете множество лет; ибо ежели он скоро умрет, то, пришед к нам, всем адом вращаться станет. Подлинно лукавец. Ежели человека бесом назвать можно, то он генерал бес. В бытность мою в доме его, пришел к нему какой-то старичок, отставной офицер, с просьбою, не может ли ему написать крепость на мужика, которого он купил и коего хочет отдать в рекруты. Секретарь по-подъячески половиною рта отвечал: „Ваше благородие! прошу не погневаться, что вам не в состоянии нахожусь быть услужным, понеже-де имеется указ, чтобы до окончания рекрутского набора никаких крепостей не писать, не чинить и не давать“.—Как же мне быть, батюшка,—сказал старичок,—я уже дал и задаток, а сторговал мужичка за сто рублей; крестьяне же мои заплатили мне триста рублей, чтоб из деревни не брать рекрута. Помилуйте, ежели можно, я вам пятью десятками рублевиков за труды служить буду“.—„Премногомилосердый государь,—отвечал хозяин,—разве посмотреть в указную книгу“. Выговорив сие, думал несколько минут, потом сказал: „Согласны ли ваши благородия оба, то-есть один на покупку, а другой на продажу человека?“—„Как не быть согласным, батюшка“,—отвечал старичок.—„Ну, так дело вершено. Продавец может будто отпустить на волю продаваемого крестьянина и дать ему письмо, потом от мужичка написать челобитную, что он, по причине дороговизны не могли себя пропитать, желает к вам вступить в подданство, на что по указам дается вам и крепость, тогда вы вельны

АДСКАЯ ПОЧТА,

или

ПЕРЕПИСКИ

ХРАМОНОГАГО ВЪСА СЪ КРИВЫМЪ,

ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

1769 года.

МЪСЯЦЪ ЮЛЬ.

Издаль въ свѣтъ я,

Напечатано здѣсь.

Титульный лист журнала „Адская почта“.

с ним делать, что хотите“.—„А ежели,—сказал офицер,—мужик до-несет на нас, что он никогда не был уволен, не будет ли каких хлопот?“.—„Не велено, ваше благородие,—отвечал хозяин,—прини-мать доносов от крестьян на своих помещиков; да мужичок ничего не может и ведать, только бы продавцовою руки было у нас вольное письмо, а я крепость велю написать и вам в руки отдам, тогда к вам приведут мужичка, и вы его отдадите в рекруты...“ Со-вет хитрый сего подъячего в скором времени был произведен в дей-ствие, и я весьма тому удивился, что многие приказные в свою пользу так умеют подбирать указы, как игроки карты.

ПИСЬМО 15.

От Кривого к Хромононому.

Болтунов и хвастунов, друг, везде довольно. Наш ** почти прома-тался, покупая лебедей. И он всем рассказывает, что нет в свете такого искусного охотника и знатока, как он, в приманивании и стрельбни лебедей. Поутру в три часа встает и наряжается по-охот-ничьи, будто идет стрелять птиц; вместо того явится в птичьем ряду и, достав там лебеда за дорогую цену, привязывает к дереву и застреливает, а временем, боясь выстрелить из ружья, накальвает грудь лебедину ножиком, чтоб думали, что это язвы от дробн. Он мешается во все науки; ему оные так же безделицею кажутся, как стрелять вместо дробн гривенниками в птичьем ряду лебедей. Недавно он, разговаривая о географии, назвал оную гермалафиею. Видно, что некто сего имени приказный человек весьма им почтен, что он все науки его именем назвать хочет.

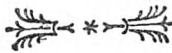
Вчерашняго дня в вечеру прогуливался я в саду, в который у нас два раза в неделю почти весь город ходит для прогулки. Там я сел с одним знакомым на скамейке; мимо нас прошло четыре человека, и все знакомы моему товарищу. Один из них был отстав-ный штаб-офицер, который для того пошел в отставку, чтоб не служить государю, обманывать свет и беззаконным образом набо-гащаться. Все стряпчие и все меньшого калибра в приказе, а большего в ябде люди ему здесь знакомы. Он почти не выходит из вотчинной конторы, да и в других местах почти каждый день от него является челобитная. Деревни сомнительные все его, и он часто бьет челом, чтоб ему были отданы, доказывая что его предкам при-надлежали. Родословий у него в кармане пропасть, и он, если кто захочет, может вывести его род из такой фамилии, какая ему угодна. Вексели покупает дешево, а берет с должника деньги со всеми процентами. А если кто у него занимает деньги, то не берет больше пяти копеек на месяц с рубля, и то проценты вычитет на-перед.

„А сей, что в песочном кафтане с ним бок о бок идет, кто такой?“—спросил я своего знакома. „Это,—отвечал он,—таможен-

ная крыса. Нет такой мягкой рухляди или такого сукна, либо шелковой материи, которой бы она кусок не отгрызла“.—„Как же он может это делать,—спросил я моего товарища,—ведь теперь, сказывают, что брать в таких местах даром ничего не велено“. Но он мне с усмешкою отвечал, что тогда они от своей повадки отстают, когда волк перестанет есть мясо и будет жить одною травою. Сколько добрые старшины ни стараются, чтоб на заставах лукавства от таможенных служителей не было, однако тщание их безуспешно; ибо всегда свободнее проезжает мимо застав тот, кто везет с собою запрещенный товар, нежели тот, кто прав и ничего подозрительного с собою не имеет. С запрещенным товаром проезжающий дает им смаху несколько гривенников, и они его пропускают без помех, а кто прав и не захочет им ничего дать, того возок длинными шрубам¹ насквозь проколют, будто смотря, не везет ли он вина или других заповедных товаров. Тогда набойки, ситцы да и платье его, которое может быть в выюке, все будет проколото, и так правый за свою правду претерпит в имении ущерб, а виноватый прибыль. „Третий в кафтане перуленевом², лицом сух,—сказал мой товарищ,—есть первый из здешних обманщиков. Он в здешнем городе славный стряпчий, или, лучше сказать, учитель всех того рода людей, ибо многие ему платят деньги, чтоб их выучил сему мастерству. Он весьма богат, но всегда в хлопотах; да и может ли злобный человек быть спокоен? Кроме ябеды, я знаю,—продолжал мой знакомец,—четыре его пороки. Он негодный сын, негодный брат, злобный муж, подлый и бессовестный любовник. Он хитростно отца своего до того довел, что все, что старик имел, купил на имя своего сына, и когда последние наличные денежки от него выманил, то подкупил некоторого бездельника, чтобы донес на старика в воровстве казенных вещей. Тогда сей бедняк умер под следствием, а он, прежде сего удаляясь с своим достатком в другой город, жил в оном спокойно и достаточно. Потом брата своего, который требовал от него половины отцовского имения, опоил до смерти, давая ему в день по кружке, а часто и побольше вина, к которому он был охотник. Жену свою согнал со двора, ложно на нее в духовном правлении донесши, что застал ее с слугою, Любовницу, которую взял на место жены в свой дом, высек плетью и послал на поселение за то, что была обходительна, а он весьма ревнив; при всем том многие здесь его почитают за человека разумного и рады иметь его в своем сотовариществе“.—„А четвертый, весь в позументах, кто такой?“—спросил я наконец своего товарища.—„Великий мот,—отвечал он мне.—Сей после отца получил в наследие много добра, но оное теперь уже на дрожжах. Сей мот к сим трем вещам великий охотник, а именно: к игре, к женщинам и к пьянству; больше ничего худого за ним нет“. Я тебя чрез будущую почту уведомлю о некотором с ним здесь приключении. А теперь писать мне недосуг.

¹ Инструмент, при помощи которого таможенники прощупывали товары.

² Род материи.



МЕСЯЦ АВГУСТ.

г. Всякая Всячина!

Правоучение на вашей стран. 213, в разделении 81, г. Тихоном Добросоветовым всем критическим сочинителям данное, не много имеет в себе справедливости. Пишет г. Добросоветов, „что добро-сердечный сочинитель изредка касается порокам, чтобы тем не оскорбить человечества; что таковой должен поставлять в пример твердого блюстителя веры, верного сына отечества, миролюбивого гражданина, искреннего друга, хранителя тайны и проч. Такой пример,—продолжает г. Тихон,—исправит пороки; а кто иным образом к оным коснется, тот злонаправен и к злобе присовокушает злобу“. Г. Добросоветов! разбери сам, соответствует ли дело твоему прозванию и может ли быть твой совет добрым. Или того не знаешь, что и правоучительная философия не однажды объявила себя гонительницею пороков и порочных? Великие правоучители Луциан¹ и Сенека, многократно любимцев Нероновых письменно упрекали; однако не за злобные, но за достойные вечного почтения просвещенный свет их писания почитает. Что касается до критики, то перемены времен, слабости, поправления требующие, и согласующеся с переменами рассуждение больше ей дозволили вольности, нежели правоучению, которому разными в роде сей философии сочинителями вечная и беспременная жизнь определена. Но благопристойная сатира почти всем просвещенным светом в осмеивании пороков и порочных уполномочена. А ты, о сей истине позабыв, справедливости принадлежащие вещи называешь злонаравием. Желаеть, чтобы каждого порока выводить только историю, или еще, чтоб из одного сочинить баснословие так, чтоб порок и порочный от человеческого ока и рассудка были закрыты. Но рассуди сам, к чему служат такие вымыслы. Какая будет прибыль из твоих граненых правоучений? Конечно, не иная, как только что угодиться гранильщику, стекло с драгоценным камнем сравнять желающему и никогда к желанному концу не достигающему. Ибо сколько он ни будет стараться стекло сделать блестящим, однако оно никогда бриллиантом быть не может.

Ты, господин Добросоветов, учишь г. Трутня, чтоб описывал древнюю только историю каждого злоупотребления. Такой твой совет приличен тем сочинителям, кои обыкновенно о деле, иногда и маловажном, пишут несколько томов в лист; но сатиры свойство в том состоит, чтоб вкратце описывать многие пороки, а часто и порочных. Прочти Ювенала, а сыщешь у него в двух стихах больше приятности и правоучения, нежели во всех того рода сочинениях твоего Аристотеля, из которого ты почерпнул основание вышезна-

¹ Луциан, или Лукиан (125—192 гг. н. э.),—греческий сатирик.

ченных твоих мыслей. Скажешь, последовав многим рассуждающим по моде, что сатира достойна презрения и что от злости писателевой рождается. Но прочти письмо Цицероново к тогдашнему Консулу, его приятелю писанное; посоветуй мысленно с Овидием, Virgiliем, Сенекою, Сократом, Платоном и Ксенофонтом; если ты когда-нибудь их читал, то должен будешь свою мысль предать скорому забвению, которого она достойна; но таких мыслей люди обыкновенно бывают упрямы; почему, может статься, помыслить отважишься, что Ювенал был злонаравен, а Гораций злобен потому, что писали сатиры. Думай, что хочешь. Назови беспокойным человеком и Цицерона, укоряющего в преступлении Катилину в глаза наисуровейшим образом; скажи, что Бургус, пером Нероновы дела критикующий, а делом из лона постыднейшаго бесчестия его исторгнувший, есть человек дерзкий и самого себя незнающий; давай, какие хочешь, имена сим вечного нашего почтения достойным мужам: я, сожалея о твоей слабости, то только скажу, что ты рассуждаешь криво. Прочти Телемака Фенелонова, и ужаснешься своих мыслей, нашед в нем, что от подобных твоему советам не однажды целые погibli народы, рушились общества, переменились разумные узаконения, и многие монархи лютейшим были подвержены несчастьям потому, что советники их представляли им дела баснословным образом, утаивая и закрывая от них истинное свойство вещей, от которых не раз рождалось злополучие их народов. Когда же все славнейшие их великие люди дозволяют и государям прямо говорить истину, то для чего ж оную в собственном своем виде не представить нашим согражданам? Вижу, Добросоветов, что ты таким своим правоучением всем правиться хочешь; но поверь мне, что придет время, в которое будешь подобен безобразному лицу, белилами и румянами не кстати украшивающемуся. Знай, что от всеспедающего времени ничто укрыться не может. Оно когда-нибудь пожрет и твою слабую политику. Когда твои политические белила и румяна сойдут, тогда настоящее бытие твоих мыслей всем видным делается.

Мне больше всего удивительно, что вы, госпожа Всякая Всячина, такие приемлете советы. Вы объявили себя гонительницею пороков, сказав, что делаете войну с оными; продолжайте, прошу, похвальное свое намерение, и будьте уверены, что в чужих советах вы нужды не имете. Не думайте, чтоб таких мыслей советники в самом деле были ваши доброжелатели. Собственная польза часто понуждает людей в своих сочинениях разнежиться так, чтоб думали о них, что они люди весьма человеколюбивые и нежные, так что и слова худого про своего ближняго вымолвить не могут. Но ежели вы войдете в их дела и критическим оком рассмотрите их сочинения, то увидите, что змея часто под прекрасною скрывается травкою. Разберите все слова г. Добросоветова, которыми он как будто к человеколюбию пресмыкается, написав, что добродетельный сочинитель не прикасается к порокам и никого не критикует, но наущает добрыми примерами; однакож скоро позабыв о таком нежном своем изъяснении, всех наших критических писателей называет

злонравными за то, что пишут критики, написав: „Злонравного человека есть дело уязвлять пороки“. Рассудите теперь, праведно ли он называется человеколюбивым, когда бранит и злонравными называет безвинных критиков, которых дела ему неизвестны, а потакает порочным.

Многие говорят, что и бесы мои целят на многих; но так думающие стыдиться будут, когда при конце сего года доказана будет несправедливость их мыслей. Бесы, сколько мне понятно, описывают вообще пороки и разные злоупотребления; если же кто себя во оных сыщет, то виноват порочный, а не бесы; и ежели он на них негодует, то сам себя выводит наружу, а не издатель.

Некоторые говорили, что в моем издании почти в лицо критикован папа¹, для того что и имя его изображено. Конечно, многие думают, что папа есть прозвание, но кто знает, что папство есть высший чин римского духовенства, и кто читал историю критическую церковную, тот не скажет, что не было в сем сане множество порочных людей. Бесы о нынешнем папе в своем первом месяце не писали; ибо он жив, а умерший был честный человек. Итак, мне кажется, что под словом папы они разумели сего сана злоупотребления и дерзости. Теперь пришло мне на мысль описание Плиниево²; он утверждает, „что медведица при рождении кривоногих своих медведей исправляет естественные их недостатки языком, а наконец и лапами крепко их придавливая; когда же естество,—продолжает Плиний,—толь тщательно в исправлении того, что в нем несвойственное, кольми паче человекам должно иметь попечение о исправлении пороков своего ближнего, каким бы то ни было способом“. Повествование Плиниево о медведице, может быть, и выдуманное, но правоучение его я, почитая за весьма справедливое, всегда буду описывать пороки в собственном их виде.

Я уверен, что беспристрастные читатели увидят мое намерение и никогда того не подумают, что мое издание от злобы произошло. Злоба всегда рождается от зависти, а зависть от лучшего чужого, нежели наше, какого ни будь состояния; но в моем издании изображаются разные звания и достоинства, нимало мне неприличные. Неужели я, будучи воспален злобою и матерью ее завистию, захотел вдруг быть подьячим, стряпчим, купцом, министром, французским королем и папою, когда их всех недостатки описываю? Впрочем, каждому о моем намерении думать отдается на произволение, и я скажу только то, что неправедная критика меня никогда не тронет и что не буду во всю мою жизнь почитать тех проповедников, кои тому учат, чего сами не делают.

Слуга ваш

Издатель бесовских переписок.

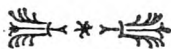
¹ В „Адской почте“ неоднократно осмеивалось католическое духовенство во главе с римским папой.

² Плиний Старший (23—79 гг. н. э.)—известный римский ученый, автор дошедшей до нас многотомной „Естественной истории“.

ПИСЬМО 28.

От Кривого к Хромононому.

Многие, любезный бес! охотники до судов от оных претерпевают жестокость своей судьбины; а иные тем набогашаются. Суд подобен бурливому морю, на котором иные тонут, а иные великую от оногo получают прибыль; ибо и на море крепкий корабль волн не боится, а слабый оными часто поглощаем бывает. У нас племянники г. Любина, как скоро занемог горячкою старый их дядя, поссорились и наняли стряпчих, желая каждый из них судом получить лучшую часть наследия после дяди, который еще жив. Уже челобитные были готовы, в которых означенно: „по смерти покойного моего дяди оставшееся имение принадлежит мне по следующим причинам“. Правда, что г. Любин весьма опасно был болен; доктор его подписал определение на смерть, сказав, что никакие уже лекарства ему ни малейшей помощи сделать не могут. Племянники не спускали глаз с старика и с сундуков, которые за постелью его стояли. Но в то самое время, когда уже ожидали шествования души любиновой на тот свет, проклятая кризис (так называют г. доктора перелом болезни) все дело испортила так, что господа племянники, последние деньги накануне сего с радости проигравшие, удавились бы с отчаяния, если бы я им, будучи свидетель их жестокой печали, не сказал, что после болезни, которая скоро переламывается, бывает редедыва (возвращение болезни в большом градусе), которая может за них отомстить дяде их за то, что их толь жестоко обманул своею смертию. Сими моими словами они были довольны, и ожидают сей госпожи рецидивы, как красного солнышка, а то без нее подъячим за челобитные придет платить серебряными чарочками, которых у трoих их осталось две.



МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ

ПИСЬМО 36.

От Кривого к Хромононому.

Вчерашний вечер препроводил я с Люсидом. Он живет уединенно; весь народ здесь почитает его за упрямого, умствующаго без основания, и бесполезного человека. Я, желая узнать его свойства, пошел к нему в дом. Он принял меня по своему обыкновению, то-есть без лишних учтивств, говорил со мною мало, но кстати. Я его спросил: для чего он так живет недостаточно, имея дарование быть счастливым, так как и прочие? он мне отвечал: „Что счастье делает человека счастливым, а не дарования; что случаи в правлении сего света первое ныне имеют место, и что искать оных есть то самое, что пуститься на море в лодке без весла, без запасов, без товарища и без нужды. Колико часто случается,—про-

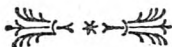
должал мой хозяин,—что и искусно по волнам морским с своим кораблем посящийя мореходец, всеми потребностями, намерению его способствующими, запасенный, бурливость ветров знанием своим презирающий, не туда пристаёт, куда плыл, и не то с ним творит счастье, что он думал. Каждая быстрота, каждая высота имеет великие свои опасности, и нет места, где бы оные человека достать не могли. Неосторожно сказал римский стихотворец: *кто сидит на земли, не опасается ничего, ибо ему пасть неоткуда*. Ежели ему падать неоткуда, то предстоит опасность, что всякое высшее его на него упасть и его придавить может. Все делается от случаев, которых ни избежать ни предвидеть не можно“. Мы после разговаривали о разных вещах, и я нашел в нем здравый рассудок. Пришло время ужина; он меня оставил ужинать с такою важностию, как будто у него всегда был открытый и великолепный стол. Нам принесли шей, которым по крайней мере было три дни от роду, потом подали жареные грибы, масла и хлеба кусок. В том весь его состоял ужин. Я, видя, с каким он ест аппетитом, сказал ему с улыбкою: „Конечно, кухарка ваша весьма вкусно варит, что с такою прилежностию кушать изволите“. Он мне отвечал, что он сам себе повар и то для себя варит, чего ему хочется; что ест с лучшим вкусом нежели все те знатнейшие господа, тем питающиеся, что их поварам нравится; что каждый вельможа стыдится сказать повару, сварь мне то и то; ибо он француз, должен лучше знать, что должно кушать господину. „Итак,—заключил он,—все они едят то, что им повар даст; а я ем то, что хочу“. Я, видя, что мне сего моего хозяина на новый вкус не переделать, ушел от него после ужина, и перестал верить тем вертопрахам, кои мне его безрассудным человеком представляли.

ПИСЬМО 37.

От Хромононого к Кривому.

Весьма мне удивительно, как ты мог сыскать человека, который, не стараясь о счастье, живет в бедности своей спокойно. Я еще во все время моей жизни не видал такого, которому бы счастье и богатство не нравились. Деньги, которых отец интерес, а дочь роскошь, все смертные, разумными называющиеся, обожают. Прежде много в свете было идолов, а ныне один, то-есть интерес, от которого родившиеся деньги законными после него всему сделались наследниками. Оных бедные алкают, а знатные беспрестанные о них испускают вздохи. Деньги родят дружбу, вечные союзы и разные между владельцами распри. Деньги содержат на своем коште множество ласкателей, риторов и стихотворцев, которым они верно и прилежно свои оказывают услуги. Деньги служат вместо факела всем героям, по сухому пути и по морю ходящим. Деньги питают славу, мать благородства. Деньги делают хрупкую приязнь друзей, любовь родителей, верность слуг и всех в лютейшее приводят несогласие. Деньги Феба делают веселым и приятнейшим; они

госпожу Фемиду¹ украшают всеми приятствами; они с нее сдирают драгоценнейшие уборы и принуждают ее, оставя святость прав, взять в руки меч для зашщшения злобы и пороков и сечь оным их неприятелей, не взирая на слезы *правды* вдовы, всеми оставленной, и детей ее добродетелей, которым г. Фемида часто становится Иродом. Деньги дают здравие больным и охоту к пользованию врачам; они делают музыку согласнейшею и приятнейшею; *Presto allegramente*² от них зависит. Деньги жизнь злых и добрых, родители пороков и добротелей; они храмы почтения, славы и богомолия украшают; они из зверообразного ангела, а из ангела страшилище делать умеют; мирное благополучие и жестокость войны от них зависят; искусство полководца и храбрость воинов без них неважны и безуспешны; они суть та золотая ось, по которой вертится Фортуны колесо, унижающее гордость великих и возвышающее низкость бедных и неизвестных людей. Они суть то вечное и беспрестанное физическое движение, которым все движется, превращается, беспокоится, приходит в порядок и в беспорядок, сохнет, цветет, возрастает и убывает. Они и добродетельнейшую Данаю привели во искушение: золотой дождь то сделал, к чему ничто иное достигь не могло. Они Диану превратили в Веперу. Они разум глухостию, а глухость разумом часто творят. За ними все человеки разумные и лишнные разсудка стремятся. Их, презирая опасность жизни, по Индиям, Китаям и по всему свету люди с охотою ищут, и их ныне можно назвать жизнью всей природы; ибо не только человеки ими живут, и без них обыкновенного дыхания иметь почти не могут, но и животные от них получают на разных заводах и в разных местах свое размножение и от них идут безвинно, а часто и за труды свои, под острый нож. Ежели ты нашел человека, презирающего сие человечества лучшее божество, то ты больше видел, ежели весь наш род.



МЕСЯЦ НОЯБРЬ.

ПИСЬМО 81.

От Хромоноого к Кривому.

Хотя ты, господин бес! похвалу М... почел за справедливую потому, что произошла от беспристрастия; однако многие подумают, что она рождалась от трусости; ибо ныне люди во всех делах стараются какой-нибудь найти недостаток. Но мы знаем, что М.

¹ *Фемида*—богиня правосудия.

² *Presto allegramente* (итал., довольно быстро, одушевленно)—музыкальный термин.

всегда дело с ним выигрывал; итак, его трусить никакой ему причины нет. У вас теперь в городе довольно хороших сочинений. Читал я театральные сочинения П. и В., в одном из них больше интриги и нравоучительных рассуждений, а в другом острых слов и прекрасных шуток; один из них писал больше на вкус Дидеротов, а другой на Вольтеров; в обоих сих сочинениях есть немалые редкости, не хочу сказать невозможности, у одного в добродетели, а у другого в пороках; однако обоих сочинения немалой похвалы достойны; и ежели В. сим сочинением не сгонит оскомины быть хорошим писателем и впредь будет издавать такие пиесы, то можно будет о нем сказать, что немногие здесь имеют дарование так хорошо шутить, как он. Еще носят у нас по рукам и некоторые изрядные трагедии. Но как сей род гораздо больше требует труда, выработки, высоты мыслей и летучего рассудка, нежели комедии, то и больше в некоторых из них можно найти недостатков. Но я скажу правду, что весьма изрядные читал в оных и сцены, замашки видел трагические хорошие, развязку прекрасную и характеры изображенные пристойно. Многие скажут, что в них есть пороки; на то отвечаю, что ни одного почти сочинения без оных и нет. Корнелиевы первые трагедии наполнены неблагоприятностями и кривыми мыслями, которых пороков наши трагики не имеют; однако все знают, кто ныне Корнелий. Остается и нашим трагикам, хорошего вкуса комикам и иным сочинителям иметь только великую охоту к чтению книг и к сочинениям, а способности в них я приметил великие¹.

ПИСЬМО 82.

От Кривого к Хромононому.

На сих днях был я в доме Т. Там наслушался я странных речей двух спорщиков. Один из них говорил, что многие страждут от правосудия; а другой утверждал, что судьи виноваты быть не могут, что во всем свете много есть таких, как здесь, судей и что больше виноват истец, нежели судьи. Они оба неправы. Один из них винил не то, что надобно, а другой извинял судей напрасно; знать, он от них никаких бед над собою не видал. Один напрасно винил правосудие, ибо оно никогда виновато само в себе быть не может; но бывают часто виноваты те, которые оному служат; итак, господин за слугу, не знаю, должен ли отвечать, когда по юриспру-

¹ В письме 80 „Адской почты“ рассказывалось о споре между поклонниками Ломоносова и Сумарокова. Некто „господин М.“ в длинной речи, ссылаясь на авторитет Вольтера, отдал преимущество Сумарокову, ибо он, по его мнению, писал в большем количестве жанров и в более трудных, чем Ломоносов, „ибо трагедия—по его мнению—важнее оды“ и „такому трагику, такому вкусному сатирику и такому прекрасному нравоучителю, как г. С., можно скорее и больше сделать людей, хорошо мыслящих, нежели г. Л. героев“. И хотя большинство спорщиков с г. М. не согласилось, автор письма все-таки „почел речь г. М. за справедливую“.

денщи и сын за отцовы преступления, а отец за сыновни не отвечают. Другой не очень осторожно рассуждал о истце, суде и пороке. Сей добрый почитает за невозможное, чтоб в трех местах могли погрешить судьи. Но кто знает свет, тому известно, что в Венеции 24 человека, судя дела, часто ошибаются, а в Рагузах столько есть судей и повелителей, сколько в году месяцев: ибо там, что месяц, то поваго избирают князя; однако и там люди от неосторожности судей страждут и приходят в разорение. Не говорю я, чтоб здесь только несправедливые были судьи, везде их множество; но то за подлинно утверждаю, что таких судей, которые справедливости предпочитают корыстолюбие, извинять не должно, но потребно всячески стараться привести их к познанию истины, ежели можно. Весьма маловажная будет таким судьям защита, ежели кто скажет, что во всем свете несправедливые есть судьи, следовательно, и наши извинения достойны. Поэтому ежели везде есть воры, то и здесь их ловить и наказывать не должно? Я на то согласен, что в нынешнее счастливое время больше есть справедливых судей, нежели неправедных; но не могу того подумать, чтоб от злого состава часто добрый не заражался. Следовательно, должно отрезать от тела злой состав, чтоб сохранить добрый; не могу также винить и истца обиженного, разоренного и в горести погибающего, если он ищет справедливости и, не сыскав, на оную жалуется. Рассуждая по человечеству, думаю, что нельзя не застонать и за то место не хватиться рукою, где крепко болит; ежели от палача и от лишнего стенания бывает вред, то должно беречься такой нежности, ибо весьма неразумное дело от малого зла избавляться большим. Когда ж дело состоит в безвинном рассказывании своего зла своему другу или покровителю, то в нем виновности я не нахожу. Прекрасно некто написал, что будьте незлобивы, а судьи не будут виноваты. Речь его весьма хороша, и видно, что произошла от его добраго сердца, но дело невозможное; никто, я думаю, не захочет быть обиженным и разоренным единственно для того, чтобы идти в суд. Весьма бы было хорошо, если бы весь свет всегда пребывал в границах добродетели; но когда родилось в свет зло и много в нем есть обидчиков, то что осталось делать обиженным, когда некоторые правоучители им не велят жалобами своими беспокоить судей и искать справедливости?..





ЖИВОПИСЕЦ.

Еженедельное на 1772 год сочинение.

НЕИЗВЕСТНОМУ Г. СОЧИНИТЕЛЮ КОМЕДИИ О ВРЕМЯ
ПРИПИСАНИЕ ¹.

Государь мой!

Я не знаю кто вы; но ведаю только то, что за сочинение ваше достойны почтения и великия благодарности. Ваша комедия *О Время* троекратно представлена была на императорском придворном театре и троекратно постепенно умножала справедливую похвалу своему сочинителю. И как не быть ей хвалимой? Вы первый сочинили комедию точно в наших нравах; вы первый с таким искусством и острою заставили слушать едкость сатиры с приятностию и удовольствием; вы первый с такой благородной смелостию напали на пороки, в России господствовавшие; и вы первый достойны по справедливости великой похвалы, во представление вашей комедии оказанной. Продолжайте, государь мой, к славе России, к чести своего имени и к великому удовольствию разумных единосемцев ваших; продолжайте, говорю, прославлять себя вашими сочинениями: перо ваше достойно равенства с Молиеровым. Следуйте его примеру: взгляните беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые худые обычаи, злоупотребления и на все развратные наши пошлости; вы найдете толпы людей, достойных вашего осмеяния; и вы увидите, какое еще пространное поле ко прославлению вашему осталось. Истребите из сердца своего всякое пристрастие; не взирайте на лица: порочный человек во всяком звании равного достоин презрения. Низкостепенный порочный человек, видя осмеяема себя купно с превосходительным, не будет иметь причины роптать, что пороки в бедности только одной

¹ Автором комедии „О время!“, напечатанной безымянно, была Екатерина II, о чем Новиков, конечно, знал.

пером вашим угнетаются. А превосходительство, удрученное пороками, в первый раз в жизни своей восчувствует равенство с низкостепенными. Вы первый достойны показать, что дарованная вольность умам российским употребляется в пользу отечества. Но, государь мой, почто укрываете свое имя, имя, всеобщия достойное благодарности; я никакой не нахожу к тому причины. Неужели, оскорбя толь жестоко пороки и вооружа против себя порочных, опасаетесь их злословия? Нет, такая слабость никогда не может иметь места в вашем сердце. И может ли такая благородная смелость опасаться угнетения в то время, когда, ко счастью России и ко благоденствию человеческого рода, владычествуем нами премудрая Екатерина. Ее удовольствие, оказанное во представление вашей комедии, удостоверяет о покровительстве ее таким, как вы, писателям. Чего ж осталось вам страшиться? Но, может быть, особенные причины принуждают вас укрывать свое имя; ежели так, то не тшусь проникать оных. И хотя имя ваше навсегда останется неизвестным, однакож почтение к вам мое никогда не умалится. Оно единственным было побуждением приписанию вам журнала под названием *Живописца*. Примите, государь мой, сей знак благодарности за ваше преполезное сочинение от единоземца вашего. Вы открыли мне дорогу, которой я всегда страшился; вы возбудили во мне желание подражать вам в похвальном подвиге, исправлять нравы своих единоземцев; вы поострили меня испытать в том свои силы; и дай боже, чтобы читатели в листах моих находили хотя некоторое подобие той соли и остроты, которые оживляют ваше сочинение. Если ж буду иметь успех в моем предприятии и если листы мои принесут пользу и увеселение читателям, то за сие они не мне, но вам будут одолжены: ибо без вашего примера не отважился бы я напасть на пороки; а я останусь навсегда вашим почитателем, С. Живописца.

П. П. Хотел бы я просить вас, чтобы вы сделали честь моему журналу сообщением какого-либо из ваших мелких сочинений; но опасаясь отвлечь от упражнений ваших. Впрочем, для меня весьма лестно получить ваш ответ.

В Санкт-Петербурге.
Апреля 12 дня, 1772 года.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 2.

АВТОР К САМОМУ СЕБЕ.

Ты делаешься автором; ты принимаешь название Живописца; но не такого, который пишет кистью, а живописца пером, изображающего наисокровеннейшие в сердцах человеческих пороки. Знаешь ли, мой друг, какой ты участи себя подвергаешь? ведаешь ли совершенно, какой предлежит тебе труд? известны ли тебе

твои свойства и твои читатели? надеешься ли всем им сделать угодение? взвесил ли ты беспристрастно свои достоинства и способности? подумал ли, что худой автор добровольно себя всеобщему подвергает осмеянию?—Ты молчишь: бедный человек! ты столько же поработен страстям своим, как и те, которых исправлять намеряешься!—Слышу твое возражение; как оно слабо и смешно. Ты говоришь: ведь другие пишут, не больше моего имея способностей; для чего же не писать и мне, имевши столько же к писанию охоты, как и они; да еще и тогда, как все мои приятели уверяют, что я к писанию способен, ты один только упорствуешь и никогда на их не хочешь согласиться мнение.—Выслушай мой ответ, твоими же скажу тебе словами: ведь других пересмевают, для чего же ты примером их не исправляешься. Приятели твои льстили тебе или по легкомыслию, или в насмешку, или, наконец, по ложной беспристойности худое хвалить, дабы не раздражить хулимого; ты узнаешь, сколь опасны такие приятели! Я ведаю, что утвердить тебя в твоём заблуждении не великого им стоило труда. Самолюбие твое было тем удовольствовано, и ты думал так: других пересмежали и оуждали для того, что они писали дурно; я сам усматривал их погрешности; я буду стараться убежать от подобных, и потому не только что не подвергну себя порицанию, но надеюсь еще заслужить похвалу.—Как ты худо себя знаешь! и какое заблуждение! Все писатели так думают, все так мысленно оправдываются, все так заблуждают и все в других находят погрешности, а не видят только собственных своих. Посмотри на сего высокопарного *Невнопада*; он силится, напрягается, обещает гору, но всегда рождает мышь; все так о нем говорят, но он один утверждает, что все обманываются—бедный автор! Взгляни на сего дерзкого *Кривотолка*; он без всякой пощады порицает сочинения всех славных писателей, показывая тем остроту своего разума: он хорошие сочинения других обращает в худые, а свои негодные поставляет равными наилучшим сочинениям славных писателей; но никто из разумных людей ему не верит, и всякий говорит: он истинный *Кривотолк*! Какая же причина сему *Кривотолкову* заблуждению? Зависть—бедный автор! Тут найдешь писателя, старающегося забавлять разум своими сочинениями и производить смех в разумных читателях; но увидишь, что он больше досаждает и производит скуку, а смеется только сам—бедный автор! В другом месте увидишь правоучителя, порицающего всех критиков и утверждающего, что сатиры ожесточают только нравы, а исправляют правоучения; но читатель ему ответствует: ты пишешь так сухо, что я никогда не имею терпения читать твоих сочинений—бедный автор! Там сатирик описывает пороки, язвит порочных, забавляет разум остротой своего сочинения и приносит удовольствие. Некоторые читатели говорят ему: ты забавен, я читал тебя с приятностью, но ты едок; я тебя опасуюсь; а прочие кричат: он всесветный ругатель!—О бедный автор! Встречается со мной трагический писатель; он сочиняет трагедию и говорит: комедия развращает только нравы и научает

порокам, а не исправляет оных; такие сочинения не только что бесполезны, но и вредны. Одна трагедия имеет своей целью добродетель и научает оной и самих царей. Какая завидная участь! Но читатель ему отвечает: ежели твоя трагедия хороша, то тогда услаждает она мои чувства и питает разум; но однако ведай, что до сей пищи охотников не много—бедный автор! Писатель комедий говорит: трагедия показывает следы правоучения тем людям, которые во оном не имеют нужды; обучать таких людей, кои или уже добродетельны, или не слушают его правоучения, есть труд бесполезный. Напротив того, комедия приятным правоучением и забавною критикою исправляет нравы честных людей; язвит пороки, не дает им усиливаться, искореняет их; словом, из всех театральныи сочинений одна комедия полезна; но читатель ему говорит: знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмеваю—бедный автор! Тут следует писатель, который не сочиняет ни трагедий, ни комедий для того только, что сии роды сочинений очень стары: он охотник выдумывать новое и для того пишет сочинение в таком вкусе, который слишком за две тысячи лет откинут; ему читатель отвечает: напрасно ты трудишься; ты очень... бедный автор! Но мне еще встречается писатель: он сочиняет пастушеские сочинения и на нежной своей лире воспеваеи златой век. Говорит, что у городских жителей нравы развращены, пороки царствуют, все отравлено ядом; что добродетель и блаженство бегает от городов и живут в прекрасных долинах, насажденных благоуханными деревьями, испещренными различными наилучшими цветами, орошенных источниками, протекающими кристалловидными водами, которые, тихо переливаясь по мелким прозрачным камешкам, восхитительный производят шум. Блаженство в виде пастуха сидит при источнике, прикрытом от солнечных лучей густою тенью того дуба, который слишком три тысячи лет зеленым одевается лиственным. Пастух на нежной свирели воспеваеи



*Титульный лист журнала
„Живописец“.*

свою любовь; вокруг его летают зephyры и тихим дыханьем приятное производит ему прохладение. *Невинность* в видах поднебесных птиц совокупляет приятное свое пение с пастушескою свирелью, и вся природа во успокоении сему приятно внимает согласно. Сама *Добродетель* в виде прелестной пастушки, одета в белое платье и увенчанная цветами, тихонько подкрадывается, вдруг перед ним показывается; пастух кидает свирель, бросается во объятия своей любовницы и говорит: цари всего света, вы завидуете нашему блаженству! Г. автор восхищается, что двум смертным такое мог дать блаженство; и как хотя мысленным не восхищаться блаженством; жаль только, что оно никогда не существовало в природе! Творец сего блаженства хотя знает всю цену завидных сея жизни, однакож живет в городе, в суетах сего мира; а сие, как сказывают, делает он ради двух причин: первое, что в наших долинах зимою много бывает снегу, а второе, что ежели бы он туда переселился, то городские жители совсем бы позабыли блаженство сея жизни. Читатель ему ответствует старинною пословицею: *чужую душу в рай, а сам ни погой*—бедный автор, ты других и себя обманываешь! Тут предстает перед моими глазами толпа писателей, которые то бредят, что видят. Их сочинения иногда читают; но ничего им не отвечают,—о пребедные авторы! ваша участь достойна сожаления! Но как исчислить всех? Болезни авторские, так как и сами они, многообразны. Писатели желают быть хамелеонами, преобразующимися по своему желанию и показывающимся наилучшими во всех видах; но редкие до сего достигают; прочие же всегда в одном, да и в худом показываются виде. Г. Живописец, вот картина, изображающая тебе авторов; я не входил в подробности, но начертанием одним изобразил различные роды упражнения, к коим ты себя определяешь. Я не упомянул также о сей грозной туче, на труды авторские всегда устремляющейся; о сих острых критических языках, которые даже до буквы, неправильно поставленной, писателям никогда не прощают. Что будет с твоими сочинениями, когда и славнейших писателей труды не щадятся? Тебе известно, какие свойства, дарования и способности составляют хорошего писателя; они бывают редки, но когда бывают, тогда обожают их просвещенные читатели. Итак, рассмотри себя, оставь сие упражнение.—Но ты молчишь; и я с досадою на твоём лице усматриваю непремненное желание быть автором. Еще раз прошу тебя, оставь сие упражнение.—Нельзя, ты мне отвечаешь; так прости, бедный писатель, с превеликим соболезнованием оставляю тебя на скользкой сей дороге. По малой мере не забывай никогда слов, мною тебе сказанных: что люди, упорно подвергающие себя осмеянию, никакого не достойны сожаления. Впрочем, я даю тебе совет: избери из своих приятелей друга, который бы был человек разумный, знающий и справедливый, слушай его критику без огорчения; следуй его советам, и хотя оные обидят твое самолюбие, но однакож знай, что они будут иметь действие, подобное горьким лекарствам, от болезней нас освобождающим. Наконец требую от тебя, чтобы

ты в сей дороге никогда не разлучался с тою прекрасною женщиною, с которою иногда тебя видал: ты отгадать можешь, что она называется *Осторожностью*.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 3.

Приняв название Живописца и сделавшись автором еженедельных листов, нечувствительно сделался я должником всех моих читателей. Они без сомнения потребуют в каждую неделю полудлиста моего сочинения: я им так обещал и почтенное авторское слово сохраню неотменно. Да для чего ж бы и не сохранить оно?—По моде нашего времени писать не трудно: благодари бога, правая рука моя здорова, буквы чертить по бумаге научился еще с роблячества. Я говорю чертить, для того что российской грамоте учился я у дьячка, который и сам не знал никаких правил, а о грамматике и не слыхивал; следовательно, учился я искусству поугая и обезьяны; но это разумеется только о российском языке, которому почти все обучаются без правил; итак были бы только чернила, перо, бумага, так и совсем автор. О времена! блаженные времена, в которые, не учась грамоте, становимся попами! Некоторые ненавистники писемьян нового вкуса утверждают, что всякому сочинению потребен разум, учение, критика, рассуждение, знание российского языка и правил грамматических. Устыдитесь, государи мои строгие судьи, устыдитесь своего мнения; оставьте ваше заблуждение; посмотрите только на молодых наших писателей, вы увидите, что они никогда вашим не следуют правилам. Вы то проповедуете, чего не было или что вышло уже из моды, кто же будет вам следовать?—Право, никто. По малой мере, мы, молодые люди, никогда не отяготим памяти своей ненужным знанием; да это и похвально: для чего без нужды трудиться? На что разум, когда и без него писать можно? Что в рассуждении и критике?—все ли захватить автору, надобно и читателям что-нибудь оставить. Пропади знание российского языка, ежели и без него можно жить в большом свете; а этот большой свет составляют почтенные и любезные наши щеголи и щеголихи. Исчезните, правила грамматические! вы только пустое делаете затруднение. А учение?—О! эта ненужная тягость совсем брошена.—Но что я слышу! строгие, ученые и благо-разумные люди негодуют, вооружаются против меня, хотят делать опровержение моим правилам; я пропал!—Но постойте, государи мои, есть у меня защитники, они за меня ответственность вам будут.—Благородные невежды, ветреные щеголи, модные вертопрашки,

на вас полагаю я надежду; вы держитесь моих правил, защищайте их; острые ваши языки к тому способны. И вы, добрые старички, вы думаете о науках согласно со мною, но по другим только причинам. Вы рассуждаете так: „деды наши и прадеды ничему не учились, да жили счастливо, богато и спокойно; науки да книги переводят только деньги; какая от них прибыль, одно разоренье!“ Детям своим вы говорите: „рости только велик, да будь счастлив, а ум будет“.—Прекрасное правоучение! неоспоримые доводы, новая истина открывается свету! Благоразумные старцы, премудрые воспитатели, в вашем невежестве видно некоторое подобие славнейших в нашем веке человеческия мудрости *Жан Жака Руссо*: он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны. Какие ужасные противоположники соглашаются утвердить вред, от наук происходящий! В первый еще раз сии непримиримые неприятели, *разум и невежество*, во единомыслие приходят. Прорицалище нашего века, славный *Вольтер*, познать свое заблуждение: старики наши, паче тебя тягостию лет обремененные, никогда не говорят, что на четырех ногах ходить поздно. Послушаем теперь, как молодые люди о науках рассуждают.

„Что в науках,—говорит *Наркис*,—астрономия умножит ли красоту мою паче звезд небесных?—Нет; на что ж мне она? Математика прибавит ли моих доходов?—Нет; чорт ли в ней! Физика изобретет ли новые таинства в природе, служащие к моему украшению?—Нет; куда она годится! История покажет ли мне человека, который бы был прекраснее меня?—Нет; какая ж в ней нужда? География сделает ли меня любезнее?—Нет; так она и не достойна моего внимания. Прочие все науки могут ли произвести чудо, чтобы красавицы в меня не влюблялись?—Нет, это невозможность; следовательно, для меня все они бесполезны. А о словесных науках и говорить нечего. Одна только из них заслуживает несколько мое внимание: это стихотворство; да и оно нужно мне только, когда захочется написать песенку. Я бы начал обучаться оному, да то беда, что я не знаю русского языка. Покойный батюшка его терпеть не мог, да и всю Россию ненавидел и сожалел, что он в ней родился; полно, этому дивиться нечему; она и подлинно это заслуживает: человек с моими достоинствами не может найти счастья! То, что имею я, другой почел бы счастьем, но для меня этого мало. О Россия! Россия! когда научишься ты познавать достоинства людские!“ Так рассуждает *Наркис*; достоинства его следующие: танцует прелестно, одевается щегольски, поет как ангел; красавицы почитают его *Адонисом*, а солюбовники *Марсом*, и все его трепещут; да есть чего и страшиться, ибо он уже принял несколько уроков от французского *шаповойца*. К пополнению его достоинств играет он во все карточные игры совершенно, а притом разумет по-французски. Не завидный ли это молодец? не совершенный ли он человек?—Читатель, скажи мне на ухо, каковы будут дети *Наркисовы*.

Худовоспитанник говорит: „науки никакой не могут мне принести пользы: я определил себя к военной службе и я имею уже

офицерский чин. Науки сделают ли меня смелее? прибавят ли мне храбрости? сделают ли меня исправнейшим в моей должности?—Нет; так они для меня и не годятся. Моя наука вся в том состоит, чтобы уметь кричать: пали! коли! руби! и быть строго до чрезвычайности к своим подчиненным. Науки да книги умягчают сердце, а от мягкосердечия до трусости один только шаг. Итак пусть учатся и читают книги люди праздные, а я храбростию одною найду себе счастье“. *Худовоспитанник* точно так и поступает; его называют храбрым офицером, похваляют; отец его радуется, что имеет столь любезного сына. Наконец, по многим храбрым его поступкам, сделал он прехраброе дело; его пожаловали бы большим чином, если бы он что-нибудь разумел, опричь науки рубить шпагою. Но тут уже смотрят на него другими глазами и говорят: „он был наилучший офицер, когда был под командою, но будет самый худой начальник. Как поверить ему полк? он ничему не учился, ничего не читал и ничего не знает“. Вместо большого чина, дают ему деньги; он считает себя обиженным, думая, что когда был он хорошим офицером, то был бы еще лучшим начальником. Он идет в отставку, и говорит: „достоинства не награждаются“. *Худовоспитанник* приезжает в другую неприятельскую землю, а именно, во свое поместье. Служа в полку, собирал он иногда с неприятелей контрибуцию, а здесь с крестьян своих собирает тяжкие подати. Там рубил неверных, а здесь сечет и мучит правочерных. Там не имел он никаких жалости, нет у него и здесь никому и никакой пощады; и если бы можно ему было со крестьянами своими поступать в силу военного устава, то не отказался бы он их *аркибузировать*¹. Там отнятием неприятельских земель служил он отечеству, а здесь отнятием оных у маломощных своих соседей, делается преступником законов отечества. Правильно говорил *Худовоспитанник*, что науки для него бесполезны; не нужны они ему были в военной службе, а в отставке и совсем не годятся!

Кривосуд, получа судейский чин, говорит: „по наукам ли чины раздаются? Я ничему не учился и не хочу учиться, однакож я судья. Моя наука теперь в том состоит, чтобы знать наизусть все указы и в случае нужды уметь их употреблять в свою пользу. Науками ли получают деньги? науками ли наживают деревни? науками ли приобретают себе покровителей? науками ли доставляют себе в старости спокойную жизнь? науками ли делают детей своих счастливыми?—Нет; так к чему же они годятся? Будь ученый человек хотя семи пядей во лбу, да попадись к нам в приказ, то переучим мы его на свой салтык, буде не захочет ходить по миру. О науки! науки! бесполезная тяжесть. О ученые! ученые! вы-то прямые дураки“.

(Продолжение в следующем листе.)

¹ Расстрелять.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 4.

Продолжение

Щеголиха говорит: „как глупы те люди, которые в науках самые прекрасные лета погубляют. Ужесть как смешны ученые мужчины; а наши сестры ученые! О! они-то совершенные дуры. *Беспримерно* как они смешны! Не для географии одарила нас природа красотой лица; не для математики дано нам острое и пронизательное понятие; не для истории награждены мы пленяющим голосом; не для физики вложены в нас нежные сердца; для чего же одарены мы сими преимуществами?—чтобы были обожаемы. В слове *уметь правиться*, все наши заключаются науки. За науки ли любят нас до безумия? наукам ли в нас удивляются? науки ли в нас обожают?—Нет, право нет. Пусть ученая женщина покажется в ту беседу, в которой будут все наши *щеголи*, украшающие собою мужеский пол; пусть она туда покажется; чорт меня возьми! ежели там с нею хотя одно слово промолвят. А ежели она говорить начнет, то все мужчины зевать станут. Счастлива будет она, ежели случится там несколько человек ей подобных; тогда по малой мере хотя не умрет от скуки. Но что ж она тем выигрывает? Не больше, как назовут ее ученою женщиною; да и то такие люди, которых самих называют *педантами*. Прекрасная победа! *беспримерно как славна!*—Ученая женщина! ученая женщина! фуй! как это *неловко*. Напротив того, ежели приеду я в такое собрание, то в миг окружат меня все мужчины. Станут наперерыв хвалить меня: один удивляется красоте моего лица; другой хвалит руки; третий стан; иной походку; тот приятность моего голоса; иной превозносит нежность моего вкуса в нарядах; словом сказать, ни одна из безделок моих даже до булавки не останется, чтобы не была расхвалена. Все кричат: „вот прекрасная, приятная и любезная женщина; вот чудесное произведение природы; вот совершенное ее сотворение; она мила, как ангел!“ Разумеется, что все такие слова без проводника идут к сердцу. Не успею я осмотреться, как уже тысячи найду обожателей. Один говорит, что он хотел бы быть вечно моим слугою, лишь бы мог иметь счастье всегда меня видеть. Как это много! *беспримерно* много; из благородного человека хочет сделаться слугою, для того только, чтобы чаще на меня смотреть и удивляться. Другой говорит, что он оставил бы престол всего света, лишь бы мог быть моим любимым невольником. Ужасная мысль! годится хоть в трагедию; по счастью, что он еще не король, а то бы и в истину он так сдурачился. Однакож его до такого дурачества не допустили бы. Но как исчислить все, что говорят учтивые

мужчины красавицам? ласкательствы их неограниченны, а учтивости бесконечны. Слыша это, как не восхищаться? как за учтивости не платить ласкою? Я так и поступаю: с одним поговорю, другого похвалю, на третьего брошу взгляд, поражающий его сердце, и так далее. Я ни одному ничего не обещаю, но однакож всех их к себе привязываю. Ужесть как завидно состояние красавицы и как *беспримерно* жалко ученой женщины. Божусь, что я своего состояния ни на какое не променяю. Какая ж нужда мне в науках?—право, никакой.“ Так рассуждает *Щеголиха*. Читатель, скажи, не правильно ли ее рассуждение?

Молокосос говорит: „я не хочу тратить времени для наук: они мне не нужны. Чины получаю я по милости моего дядюшки, гораздо еще преимущественнее перед теми, которые в науках погубили молодые свои лета. Деньги на мое содержание жалует мне батюшка, а когда недостает оных, тогда забираю в долг, и мне верят. Начальники мои не только что любят меня, но еще стараются угождать мне, делая тем услугу знатым моим родственникам. В любви счастлив я и без наук: всякая красавица за честь себе почтет быть моею женою. Куда я ни приеду, везде меня ласкают; все хвалят, удивляются моей живости, превозносит остроту мою; итак по всему науки для меня бесполезны“. Читатель! прибавь от себя, как *Молокососа* все внутренно называют.

Волокита рассуждает так: „какая польза мне в науках? Науками ли приходят в любовь у прекрасного пола? Науками ли им нравятся? науками ли упорные побеждают сердца? науками ли украшают лоб? науками ли торжествуют над солюбовниками?—Нет; так они для меня и не годятся. Моя наука состоит в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, говорить всякие трогательные безделки, въздыхать кстати, хохотать громко, сидеть *разбросану*, иметь приятный вид, пленяющую походку, быть *совсем развязану*; словом, дойти до того, чтобы называли шалуном те люди, которых мы дураками называем; когда можно до этого дойти, то это значит дойти до совершенства в моей науке. В беседе со *щеголихами* бываю я волен до наглости, смел до бесстыдства, жив до дерзости; меня за это вызывают *резвым робенком*; и хотя ударят меня по руке и скажут *перестань, ты очень дерзок*, однакож я никогда от того не краснею. Слово, я не могу владеть собою, меня в таком случае извиняет. Впрочем, всегда должен я быть ветрен и злоязычен. С кторою *машусь*¹, ту одну хвалю; в ней* одной все нахожу совершенства, а в прочих вижу только недостатки и пороки. Что нужды, ежели они их и не имеют, довольно, что я тем делаю угодность моей красавице. Необходимо также должен я уметь портить русский язык и говорить нынешним *щегольским* женским наречием, ибо в наше время почитается это за одно не из последних достоинств в любовном упражнении.

¹ На жаргоне модников XVIII века слово „махаться“ означало „ухаживать“, „волочиться“.

Открытие любви должен я делать по новому обыкновению и никогда не допускать, чтобы в такие разговоры вмешивалось сердце. Это было бы *дурачиться по-дедовски*. По нашему надобно любить так, чтобы всегда отстать можно было. Открытие делаю я всегда так, как будто это ненарочно случилось; например, рассказывая красавице о каком ни на есть любовном приключении, вдруг перерываю разговор.—„Э! кстати, сударыня, сказать ли вам новость? ведь я влюблен в вас, до *дурачества*: вы своими прелестями так вскружили мне голову, что я не в своей сижу тарелке“.—„Шутишь,—она мне отвечает,—ужесть как *славно* ты себя *раскрываешь*“.—„*Беспримерно славно*, сударыня; что мне пужды, как вы это почитаете, *резвостью* или *дурачеством*, только я вам говорю в *настоящую*, что я *дурачусь*. Пусть я не доживу до *медного тазу*, ежели говорю неправду!“ После такой клятвы, бросаю на нее *гнилой взгляд*, а между тем начинаю хвалить ее и тут даю полную свободу языку моему, который, сказать истину, в таких случаях очень остер. Она часто потупляется, будто бы стыдилась слушать себе похвалу, иногда усмежается, иногда удивляется и почасту говорит: „*перестань шутить, ведь не утешно слушать вздор*“. После этого я даю свободу рукам; мне говорят: „*это уж и в истинную глупость*“—а я далее, далее; а наконец она и сама поверит, что это была не шутка. Потом бываем мы несколько дней смертельно друг в друга влюблены; и это называется *дурачиться до безумия*. Мы располагаем дни так, чтобы всегда быть вместе: в *Серенький* ездим в аглинскую комедию; в *Пестренький* бываем в французской; в *Колетца* в маскарade; в *Медный таз* в концерте; в *Сайку* смотрим русский спектакль; в *Умойся дома*, а в *Красное*¹ ездим прогуливаться за город. Таким образом держу ее своим *болванчиком* до того времени, как встретится другая. Вот моя наука! она без сомнения важнее всех наук, и я знаю ее в совершенстве. Пусть ученый человек со всею своею премудростию начнет при мне строить *дворики*, то я его так проучу, что он от всякой *щеголихи*, тотчас на *четыре*х ногах *покачет*“.

О великий человек! ты рассуждаешь премудро, наука твоя *беспримерно* славна, и ты так учен, что я *от тебя падаю*; ты *вечно посадил себе в голову вздор*, как тебе не удивляться!

Читатель! с позволения твоего, не пора ли оставить рассуждения некоторых наших молодых людей о науках. Кажется мне, что я уже ими довольно тебе наскучил. Ты ожидаешь чего-нибудь поважнее, потерпи, пожалуй, все будет; только чур не сердиться.

¹ Шуточные названия дней недели.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 5.

ОТРЫВОК ПУТЕШЕСТВИЯ

В *** И *** Т *** 1.

Глава XIV.

По выезде моем из сего города, я останавливался во всяком почти селе и деревне, ибо все они равно любопытство мое к себе привлекали; но в три дни сего путешествия ничего не нашел я похвалы достойного. *Бедность* и *рабство* повсюду встречались со мною во образе крестьян. Пешаханные поля, худой урожай хлеба, возвещали мне, какое помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие покрытые соломою хижины из тонкого заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшие *адоны*² хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота подтверждали, сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны.

Не пропускал я ни одного селения, чтобы не расспрашивать о причинах бедности крестьянской. И слушая их ответы, к великому огорчению, всегда находил, что помещики их сами тому были виною! О человечество! тебя не знают в сих поселениях. О господство! ты тиранствуешь над подобными себе человеками. О блаженная добродетель, любовь ко ближнему, ты употребляешься во зло: глупые помещики сих бедных рабов изъясляют тебя более к лошадям и собакам, а не к человекам! С великим содроганием чувствительного сердца начинаю я описывать некоторые села, деревни и помещиков их. Удалитесь от меня, ласкательство и пристрастие, низкие свойства подлых душ: истина пером моим руководствует!

Деревня *Разоренная* поселена на самом низком и болотном месте. Дворов около двадцати, стесненных один подле другого, огорожены иссохшими плетнями и покрыты, от одного конца до другого, сплошь соломою. Какая несчастная жертва, жестокости пламени посвященная нерадивостию их господина! Избы, или, лучше сказать, бедные развалившиеся хижины, представляют взору

¹ Некоторые исследователи считали автором этого отрывка самого Новикова, только инициалы И*** Т*** как „Издатель „Трутиа“. Другие (Незеленов, Л. Майков) приписывали его масону Ивану Тургеневу. Большинство же ученых (В. Семенников, Я. Барсков, Г. Гукровский и др.) считают автором отрывка А. Н. Радищева. Таким образом, „Отрывок из путешествия в*** И*** Т*** можно считать первым печатным наброском „Путешествия из Петербурга в Москву“.

² Скирды (областное слово).

путешественника, оставленное человеками селение. Улица покрыта грязью, тиной и всякою нечистотою, просыхающая только зимним временем. При въезде моем в сие обиталище плача, я не видал ни одного человека. День тогда был жаркий; я ехал в открытой коляске; пыль и жар столько беспокоивали меня дорогою, что я спешил войти в одну из сих развалившихся хижин, дабы несколько успокоиться. Извозчик мой остановился у ворот одного бедного дворышка, сказывая, что это был лучший во всей деревне, и что хозяин оного зажиточнее был всех прочих, потому что имел он корову. Мы стучались у ворот очень долго, но нам их не отпирали. Собака, на дворе привязанная, тихим и осиплым лаем, казалось, давала знать, что ей оберегать было нечего. Извозчик вышел из перепечи, перелез через ворота и отпер их. Коляска моя взвезена была на грязный двор, намощенный соломою, ежели оною намостить можно грязное и болотное место; а я вошел в избу растворенными настель дверями. Заразительный дух от всякой нечистоты, чрезвычайный жар и жужжание бесчисленного множества мух оттуда меня выгоняли, а вопль трех оставленных младенцев удерживал во оной. Я спешил подать помощь сим несчастным тварям. Пришед к лукошкам, прицепленным веревками к шестам, в которых лежали без всякого призрания оставленные младенцы, увидел я, что у одного упал сосок с молоком; я его поправил, и он успокоился. Другого нашел, обернувшегося лицом к подушонке из самой толстой холстины, набитой соломою; я тотчас его оборотил и увидел, что без скорой помощи лишился бы он жизни: ибо он не только что поспинел, но и почернев, был уже в руках смерти; скоро и этот успокоился. Подошед к третьему, увидел, что он был распеленан, множество мух покрывали лице его и тело и немилосердно мучили сего робенка; солома, на которой он лежал, также его колола, и он произносил пронзающий крик. Я оказал и этому услугу, согнал всех мух, спеленал его другими, хотя нечистыми, но однакож сухими пеленками, которые в избе тогда развешены были, поправил солому, которую он, барахтаясь, ногами взбил; замолчал и этот. Смотри на сих младенцев и входя в бедность состояния сих людей, вскричал я: „жестокосердый тиран, отъемлющий у крестьян насущный хлеб и последнее спокойство! посмотри, чего требуют сии младенцы! У одного связаны руки и ноги; приносит ли он о том жалобы?—Нет, он спокойно взирает на свои оковы. Чего же требует он?—Необходимо нужного только пропитания. Другой произносил вопль о том, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третий вопил к человечеству, чтобы его не мучили. Кричите, бедные твари,—сказал я проливая слезы,—произнесите жалобы свои! наслаждайтесь последним сим удовольствием во младенчестве: когда возмужаете, тогда и сего утешения лишитесь. О солнце, лучами щедрот своих *** озаряющее, призри на сих несчастных!“

Оказав услугу человечеству, я спешил подать помощь себе: тяжкий запах в избе, столь для меня был вреден, что я насилу мог выйти из оной. Пришед к своей коляске, упал* я без чувства во оную. Приключившийся мне обморок был непродолжителен;

я опомнился, спрашивал холодной воды; извозчик мой ее принес из колодезя; но я не мог пить ее по причине худого запаха. Я требовал чистой, но в ответ услышал, что во всей деревне лучше этой воды нет и что все крестьяне довольствуются сею пакостною водою. „Помещики,—сказал я,—вы никакого не имеете попечения о сохранении здоровья своих кормильцев!“



Наказание крестьянина батогами в присутствии помещика и его семьи.

Я спрашивал, где хозяева того дома; извозчик отвечал, что все крестьяне и крестьянки в поле, прибавя к тому, что когда был я в избе, то выходил он в то время за задние ворота посмотреть, не найдет ли там кого-нибудь из крестьян; что нашел он там одного спрятавшегося мальчика, который ему сказал, что, увидев издалека пыль от моей коляски, подумали они, что это едет их барин, и для того от страха разбежались. „Они скоро придут,—сказал извозчик,—я их уверил, что мы проезжие, что ты боярин добрый, что ты не дерешься и что ты пожалуешь им на лапти“. Вскоре после того пришли два мальчика и две девочки от пяти до семи лет. Они все были босиками, с раскрытыми грудями и в одних рубашках; и столь были дики и застрашены именем барина, что боялись подойти к моей коляске. Извозчик их подвел, приговаривая: „не бойтесь он вас не убьет, он боярин добрый; он пожалует вам на лапти“. Робятишки подведены будучи близко к моей коляске, вдруг все побежали назад, крича: „ай! ай! ай! берите все что есть, только не бейте нас!“ Извозчик, схватя одного из них спрашивал, чего они испужались. Мальчишка, тря-

сучись от страха, говорил: „да! чего испужались... ты нас обманул... на этом барине красный кафтан... это никак наш барин... он нас засечет“. Вот плоды жестокости и страха; о вы, худые и жестокосердые господа! вы дожили до того несчастья, что подобные вам человеки боятся вас, как диких зверей! „Не бойся, друг мой,— сказал я испуганному красным кафтаном мальчику,—я не ваш барин; подойди ко мне, я тебе дам денег“. Мальчик оставил страх, подошел ко мне, взял деньги, поклонился в ноги, и, оборотясь, кричал другим: „ступайте сюда, робята, это не наши барин; этот барин добрый, он дает деньги и не дерется!“ Робятишки тотчас все ко мне прибежали; я дал каждому по несколько денег и по пирожку, которые со мною были. Они все кричали: „у меня деньги! у меня пироги!“

(Продолжение будет впрядь.)

* * *

Сие сатирическое сочинение, под названием путешествия в *** , получил я от г. И. Т. с прошением, чтобы оно помещено было в моих листах. Если бы это было в то время, когда умы наши и сердца заражены были французскою нациею, то не осмелился бы я читателя моего поподчивать с этого блюда, потому что оно приготовлено очень солоно и для нежных вкусов благородных невежд горьковато. Но ныне премудрость, сидящая на престоле, истину покровительствует во всех деяниях. Итак, я надеюсь, что сие сочиненьице заслужит внимание людей, истину любящих. Впрочем, я уверяю моего читателя, что продолжение сего путешествия удовлетворит его любопытство.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 6.

ВЕДОМОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ИЗ ГОСТИННОГО ДВОРА.

Купечество наше, торгующее в гостинном дворе, претерпевает великое помешательство в торговле от прогуливания знатных госпож и господ по гостинному двору. Сия мода недавно вошла в употребление и купечеству нашему тем более вредна, что госпожи и господа приезжают туда в великом множестве; садятся в лавках беседовать; пересматривают все товары, какие только есть; разговаривают о нарядах и любовных делах; пересмевают всех проходящих, а между тем купцы теряют напрасно свое время. Посред-

ственного состояния люди, видя в лавках знатных людей, из учтивости проходят мимо и не покупают нужного для своего употребления. Сии тугостные для хозяйна гости, просидев часа два в лавке, выходят; а купец принужден бывает часа три прибирать разбросанные товары, которые гостям своим показывал и из которых они ничего не купили. Пришедшие для покупки товаров люди уходят домой и принуждены бывают приходить в гостинный двор раза по три за тем, что бы могли они искупить в десять минут. Гости гостиного двора переходят из лавки в лавку, ищут знакомых; находят и с ними еще садятся и разговаривают до того времени, как уже будет поздно. Купечество наше обещает от себя немалое награждение тому из модных господ, который, чрез искоренение сея моды, доставит им свободную торговлю. Награждение сие, как сказывают, состоять будет в том, что вся *Суровская* линия, сложая с другими, сделает благодетелю своему кредит на десять тысяч рублей. Должно ожидать от сего желаемой пользы, ибо кто в состоянии вывести сие из моды, тот не захочет потерять сию находку. Купечество же потерю свою считать будет тогда не более как в трех тысячах рублей.

ИЗ МИЛЛИОННОЙ.

Здесь примечена великая перемена в продаже книг. Прежде жаловались, что на российском языке не было почти никаких полезных и ко украшению разума служащих книг, а печатались одни только *романы* и *сказки*; но однакож их покупали очень много. Ныне многие наилучшие книги переведены с разных иностранных языков и напечатаны на российском; но их и в десятую долю против *романов* не покупают. Прежнему великому на *романы* и *сказки* расходу причиною было, как некоторые сказывают, невежество; а нынешнему малому наилучшим книгам расходу полагают причиною великое наше просвещение. И подлинно, благодаря бога, мы ныне так стали разумны, что не только ничему уже не хотим учиться, но и за стыд почитаем упражняться в науках, а еще и паче во словесных. Что ж касается до подлинных наших книг, то они никогда не были в моде и совсем не расходятся; да и кому их покупать? просвещенным нашим господчикам они не нужны, а невежам и совсем не годятся. Кто бы во Франции поверил, ежели бы сказали, что *волшебных сказок* разошлось больше сочинений *Расиновых*? А у нас это сбывается: *Тысяча одной ночи* продано гораздо больше сочинений г. *Сумарокова*. И какой бы лондонский книгопродавец не ужаснулся, услышав, что у нас двести экземпляров, напечатанной книги иногда в десять лет насилу раскупились? О времена! о нравы! Ободряйтесь, российские писатели! сочинения ваши скоро и совсем куповать перестанут.

ИЗ ТВЕРИ.

Недавно через наш город проехал в Петербург какой-то славный *Выдумщик*. Он рассказывал нам о себе великие чудеса и показывал более ста *выдумок*, им сочиненных. Между прочими

выхвалял он более всех сочинение, в котором он предлагает способ для прихочивания молодых российских господчиков к чтению русских книг. Оный в том состоит, чтобы русские книги печатать французскими литерами. Г. *Выдумщик* уверяет, что сим способом можно приманить к чтению российских книг всех *шеголей* и *шеголих*; да и самых тех, которые российского языка терпеть не могут. Он утверждал, что ежели эта его выдумка произведется в действие, то он надеется от сего великого успеха, потому что по его мнению, французские буквы мягкостью своею очистят всю грубость российского языка. Сей великий человек недолго промешкал в нашем городе и поскакал в Петербург.

ИЗВЕСТИЯ.

Будущего июня 10 числа, в доме г. *Наркиса*, состоящем в *Вертопрашной* улице, будут разыгрываться лотерейным порядком сердца разных особ, в разные времена г. *Наркисом* плененные и за ветхостию к собственному его употреблению неспособные. При каждом сердце отданы будут и крепости на оные, состоящие в любовных письмах и портрете. Билеты можно получать в собственном его доме, где и цена оным будет объявлена.

Недавно приехавший француз учредил для молодых благородных и мещанских детей школу, в которой преподавать будет все в карточных играх употребляемые хитрости и обманы, в каждый день от 10 пополудни до 5 часов пополуночи. Сей честный и некорыстолюбивый француз обязуется как сему, так и другим разным ко обогащению себя средствам обучать учеников своих без всякой платы. Но чтобы ученики его больше уважали его наставления и более бы имели прилежания к скорейшему обучению, то требует он только сей безделки, чтобы они играли с ним на чистые деньги. Впрочем, он клянется французскою своею совестью, что в скорое время учеников своих приведет в такое состояние, что они других обучать будут. Сей учитель живет в улице *Разорение* в доме г. *Бесстыднова*.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 9.

Мои совец¹, Живописец!

Ты, радость, *беспримерный* автор. По чести говорю, ужесть как ты славен; читая твои листы, я бесподобно утешаюсь; как все у тебя славно, слог *растеган*, мысли *прыгающи*. По чести скажу, что твои листы *вечно* меня *предищают*; клянусь, что я всегда

¹ Душа моя.

фельетирую их без всякой *дистракции*¹. Да и нельзя не так, ты не грустен, шутишь славно, и твое перо по бумаге бежит бесподобно. Ужесть, ужесть как прекрасны твои листы! Но сказать, вокруг нас, ты много должен мне:—уморить ли, радость? Ведь мнение-то *щеголихино* ты у меня подтынал.—Ха! ха! ха!—Клянусь, спроси у всех моих знакомых, они тебе скажут, что я всегда это говаривала; но это ничего не значит. Признаюсь, что я и сама много зачала из твоих листов. Пуще всего ты *ластиишь* меня тем, что никак со мною не споришь; а особливо, когда говорил о науках: ты это так славно прокричал!—Чорт меня возьми!—как книга. А при том, ты всегда стараешься оказывать нам учтивости; не так, как некоторый грубиян, сочиня комедию, одну из подруг моих *вытащил* на театр.—Куда как он много выиграл! Я чаю, он надеялся, что все *расхохочутся до смерти*; ан, право, никто из наших сестер и учтивых мужчин и не улыбнулся; а смеялись только ... Он хотел нас одурачить, да не удалось. Ужесть как славно он забавлялся над бедным мальчиком *Фирлифюшковым*²; со всем тем, подобные ему люди останутся всегда у нас в почтении, а его *Дремов* никогда не выйдет из дураков. Еслиб узнала я этого автора, то *оттенила* бы сама его бесподобно. Я никак на него не сердита, он меня никак не тронул, однакож я и сама не знаю, за что я его никак не могу терпеть. В первой его комедии я сама до смерти *захохоталась*, ужесть как славно *шпетил*³ он наших бабушек; а эта комедия такую сделала *дистракцию*, и такую грусть, что я поклялась никак на именины не ездить. Правда, ты и сам *зацепился*; но это шуткою, а за шутки мы никак не сердимся; напротив того, ты бранишь одних только деревенских дураков, да и *беспримерно*; ужесть как славно ты их *развернул* в 5 листе твоего Живописца.—Ты уморил меня: точь-в-точь *выказал* ты дражайшего моего *Папахина*. Какой это беспосный человек! Ужесть, радость, как он не ловок выделан, какой грубиян! Он и со мною хотел поступать так же, как и с мужиками; но я ему показала, что я не такое животное, как его крестьяне. То-то были люди! с матушкою моею он обходился по-старине. Ласкательства его к ней были брань, пощечины и палка; но она и подлинно была того достойна: с эдаким зверем жила сорок лет и не умела *ретироваться в свет*. Бывало, он *сделает ей грубость палкою*, а она опять в глаза ему лезет; *беспримерные люди!* таких горячих супругов и в романах не скоро *набежишь*. Ужесть как славны! Суди, душа моя, по этому, в какой была я школе; было чему научиться! По счастью, скоро выдали меня замуж; я приехала в Петербург, *подвинулась в свет*, *разняла глаза*, и *выкинула весь топ из головы вздор*, который посадили мне мои родители; *поправила опрокинутое мое понятие*, научилась говорить, познакоми-

¹ Т. е. внимательно перелзствываю их.

² *Фирлифюшков*—один из персонажей комедии Екатерины II „Именины госпожи Ворчалкиной“. *Фирлифюшков*—пустой, самодовольный щеголь, занятый лишь нарядами.

³ *Шпетил*—оскорблял, корил, высмеивал.

лась со щеголями и щеголихами и сделалась человеком. Но я никак не ушла от беды: муж мой в уме очень развязан, да это бы и ничего; чем глупее муж, тем лучше для жены. Но вот что меня терзает до невозможности: он влюблен в меня до дурачества,



Щеголиха. С лубочной картинки XVIII в.

а к тому ж еще и ревнив. Фуй! как это неловко, муж *растрепан* от жены; это, радость, гадко! О еслиб не помогло мне разумное нынешнее обхождение, то давно бы я *проплылась*. Сказать ли, чем я *отвязываюсь* от этого несносного человека? Одними обморачами. Не удивляйся, я тебе это растолкую: как привяжется он ко мне со своими *декларасьонами*¹ и клятвами, что он от любви

¹ Заявлениями.

ко мне сходит с ума, то я сперва говорю ему *отцелись*, но он *никак* не отстает; после этого *резонирую*¹, что стыдно и глупо быть мужу влюблену в свою жену, но он *никак* не верит; итак остается мне одно средство упасть в обморок. Тогда суется он



Щеголь. С лубочной картинки XVIII в.

по всем углам, старается помогать мне, а я тихонько смеюсь; ужасно, как *беспримерно* много помогают мне обмороки: *бсжусь!* тем только и живу, а то бы он меня *залюбил до смерти*; *бесподобный человек!* Подари, радость, хорошеньким советом, что мне с ним делать. Он до того *темен в свете*, что и спать со мною хочет вместе;—ха! ха! ха! Можно ли так глупо *догадаться!* Шутки

¹ Рассуждаю.

прочь, помоги мне; ты знаешь, радость, что от этого можно тотчас получить ипохондрию. Пожалуй, не задержись с ответом, я на тебя опущаюсь и буду ожидать его с беспримерным нетерпением. Прости, радость!

Р. S. Услужи, *радость*, мне, собери все наши модные слова и напечатай их особливую книжкою, под именем *Модного Женского Словаря*; ты многих одолжишь, и мы твой журнал за это будем превозносить. Только не *умори, радость*, напечатай его маленькою книжкою и *дай ему вид*; а еще бы лучше, если бы ты напечатал его вместо чернил какую краскою. Мы бы тебя *до смерти захвалили*.

* * *

За краткостию времени, я никакого не могу дать вам совета. Потерпите, может быть, кто-нибудь из читателей моих оный вам сообщит. Что ж касается до собрания Словаря, то охотно бы вам тем услужил, если бы сообщили вы мне все слова, в вашем наречии употребляемые.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 10.

ОПЫТ МОДНОГО СЛОВАРЯ ЩЕГОЛЬСКОГО НАРЕЧИЯ.

А.

АХ! в щегольском наречии совсем противное от прежнего пришло знаменование. Прежде сие слово изъясляло знаки удивления, сожаления и ужаса; первое его знаменование было всем полезно: старики показывали им свою досаду и удивление, любовники свою страсть, а стихотворцы более всех употребляли его во свою пользу, наполняя почасту одними ахами целое полустиние. Но щеголихи всех их лишили сего междометия, переменяв его употребление. В их наречии Ах большей частью преследуется смехом, а иногда говорится в ироническом смысле; итак удивительный и ужасный Ах переменялся в шуточное восклицание; да это и давно пора было сделать. Непросвещенные наши предки охотники были плакать, а мы больше любим смеяться; старинные наши девушки и под венцом стоя плакали, а нынешние смеются, да при том же старый Ах поплакал довольно, так пора ему и посмеяться.

Примеры употребления старого и нового Ах.

Ах, какой он негодный человек! Он не любит свою жену, несмотря на то, что она разумна, добронравна, домоводна, хороша и сама его любит. Ах, как жалка его бедная жена!

Ах, как я сожалею об этом мальчишке! Покойный его отец был мне друг и честный человек; он воспитал его по долгу родительскому очень хорошо, научил его всему, вкоренил в него благонаравие, честность и учтивость; да труды его были и ненапрасны, куда находился он под его присмотром. Я и теперь еще помню, как бывало плакивал этот старичок от радости, что имел столь завидного сына. Но нынешнее обхождение совсем его испортило и сделало наглым и дерзким повесою. Я и сам прежде радовался, когда бывал он у меня, а ныне и в дом его к себе не пускаю. Ах, как портит молодых людей худое сообщество, если они по несчастю в него попадают. Ну, ежели б бедный мой друг воскрес и увидел ныне своего сына; Ах, сколько бы он пролил слез, но не от радости, а с печали.

Ах, я погиб! моя жена изменяет мне... она меня больше не любит! Ах, в каком я мучительном нахожусь состоянии! Каким опытам, каким доказательствам и каким клятвам поверить можно, когда ее были ложны. Любовь ее ко мне была беспредельна; ежечасно видел я умножающуюся ко мне ее горячность, поминутно видел новые ласки; и я вкушал наисладчайшее удовольствие быть любиму страстно. Но Ах! Все это миновалось, и осталось мучительное только одно напоминание моего блаженства. О проклятое вольное обхождение! ты одно могло отнять у меня жену! Ах, как я несчастлив, что не могу позабыть сию неверную!.. О женщины, женщины, вы меня больше не обманете!

Мужчина притащи себя ко мне, я до тебя охотница. Ах, как ты славен! Ужесть, ужесть, я от тебя падаю!.. Ах... Ха, ха, ха.

Ах, мужчина, как ты не важен!

Ах, мужчина, как ты забавен! Ужесть, ужесть; твои гнилые взгляды и томные вздохи и мертвого рассмешить могут. Ах, как ты славен, бесподобный болванчик! Ну если б сказала я тебе: люблю, так ведь бы я пропала с тобою. По чести, ты бы до смерти меня залюбил, не правда ли? Перестань, радость, шутить, это ничуть не славно.

Ха, ха, ха, ах, монкбор¹, ты уморил меня! Он живет три года с женою и по сию пору ее любит! Перестань, душенька, это никак не может быть: три года иметь в голове своей вздор. Ах, как это славно! ха, ха, ха, необретаемые болванчики!—Ах, как он славен; с чужою женою и помахать не смеет—еще и за грех ставит! Прекрасно! перестань шутить, по чести у меня от этого сделается теснота в голове. Ах, как это славно! ха, ха, ха. Они до смерти друг друга залюбят. Ах, мужчина, ты уморил меня.

¹ Душа моя.

БЕСПОДОБНО, БЕСПРИМЕРНО. Оба сии слова тож имели знаменование у предков наших, как и у нынешних щеголих, с тою только разницею, что употребляют их не одинаково, или, лучше сказать, и совсем в противном смысле. Из приложенных здесь примеров усмотреть можно, что оба сии слова в русском наречии употребляются в одном прямом, но в щегольском наречии они часто говорятся и в ироническом смысле. Итак употребление сих слов сделалось гораздо обширнее; да это и не худо: предки наши во всем очень были скупы, они всему, так как и умствованию своему, полагали пределы; но, благодаря бога, мы избавились от сего гнусного порока. С того времени, как начали думать, что познаем себя, мы во всем стали тароватее наших предков. Тесные пределы нам не нравятся, и мы во всем любим свободу; даже до того, что и кафтанов и юбок узких не носим, а узкие маньки * совсем брошены и оставлены для употребления простому народу. Ныне в превеликой моде все вольное, покойное и широкое.

Примеры.

Я был вчерась в гостях у Дремова и там нашел многих из его соседей; и хотя беседа наша была немногочислена, однакож весела, ибо там находились все люди разумные, степенные и веселые. Большую часть времени препроводили мы в разговорах, особливо рассуждали многие очень хорошо о худом воспитании детей; и я утверждал, что ежели у кого дети худы, так те должны жаловаться на самих себя, потому что или нерачиво их воспитали, или, слепую любовь к детям, сами их избаловали. Дремов в этом был со мною согласен и сказывал в пример собственное свое с детьми обхождение. Все его хвалили за разумное детей воспитание, и мы так весело провели время, что я давно не чувствовал *подобного* увеселения. А при том хозяин и хозяйка столько были нам рады, что не знали, как нас угощать; и нам всякое у них кушанье казалось сахаром; да на это и присловица есть: *был у друга, пил воду, но лучше неприятельского меду*. Пуще всего полюбилися мне дети Дремова: как они хорошо воспитаны! к родителям почтительны, к старшим и знатнейшим себя учтивы, к равным ласковы, к бедным снисходительны и милостивы; в разговорах их видно просвещенное науками рассуждение; и они так умели всем угодить и усладить беседу, что все гости, смотря на них, не могли довольно нарадоваться; а я и теперь еще от того в восхищении! О когда бы бог благословил меня воспитать так же и моего сына, какое бы в старости чувствовал я утешение! И мы единогласно заключили, что как сам Дремов *примерным* отцом, так и его дети, по справедливости, должны почитаться *примерными* молодцами.

* Манька по стариному, а по нынешнему муфточка. (Примечание Новикова.)

Бесподобные люди! Она дурачится по-дедовски, и тем бесподобно его терзает; а он так темен в свете, что по сию пору не приметит, что это ничуть не славно и совсем неловко; он так развязан в уме, что никак не может ретироваться в свете.

Перевод сего примера*.

Редкие люди! Она любит его постоянно, а он совсем не знает в щегольском обхождении и не понимает того, что постоянная любовь в щегольском свете почитается тяжкими оковами; он так глуп, что и сам любит ее равномерно.

Беспримерное маханье! Он посадил себе в голову вздор, а у нее вечный в голове беспорядок.

БОЛВАНЧИК. Предки наши, оставя прелесть идольского служения, из презрения к своим кумирам называли их болванами; а деды наши, гнушаясь прежним суеверием, означали дураков наименованием болвана, в таком смысле, что дурак, так как и болван, наружное только с человеком имеет подобие. Но ни первые, ни последние никогда не употребляли сего слова в уменьшительном степени, а всегда говаривали в положительном болван и в превосходительном болванище. Сия честь, чтобы грубые брани передельвать в приятные наименования, оставлена была почтенным нашим щеголихам. Они откинули положительный степень болвана и превосходительный болванища, а вместо тех во свое наречие приняли в уменьшительном степени болванчика; и чтобы более сие слово ввести во употребление, то рассудили сим наименованием почтить любовника и любовницу. Мужья и жены сим лестным названием не иначе могут пользоваться, как разве между собою будут жить по щегольскому нынешнему обыкновению. Сия благоразумная щеголих наших осторожность имела желаемый успех, ибо для получения лестного названия болванчика многие мужья и жены переменили старое обхождение на новое щегольское и от сего произрали уже желаемые плоды, чему примеров очень много. Напротив того, есть еще и такие пристрастные к старым обычаям супруги, которые не позабывают изречения: *а жена да боится своего мужа*; и хотя они толкуют сие изречение неправильно и принимают оное совсем в противном смысле, однакож хотят лучше называться болванами, нежели болванчиками, хотя, впрочем, болванчик слуху гораздо приятнее болвана. Трудно бы было сделать правильное заключение о произведении слова болванчик, если бы кто этого потребовал: ибо, ежели произвесть его от болвана, *кумира*, то это было бы согласно с французским употреблением—*Idole de mon âme*, кумир моя души, так как это употребляется во всех французских романах и любовных письмах; но это произве-

* Мне рассудилоя некоторые из примеров со щегольского наречия перевести на общий наш язык; я не следовал точности слов, но держался смысла. (Примечание Новикова.)

денне весьма удалится от того смысла, в каком по щегольскому наречию любовь принимается. Итак, остается произвестъ его от последнего болвана, дурака. Сие произведение кажется гораздо свойственнее щегольскому наречию, потому что это гораздо ближе к дурачеству. См. Дурачество.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 11.

Господин живописец!

Вы, описав столько различных умоначертаний, не забудьте словечушка молвить и о тех людях, кои ищут уважаемы быть от ближнего своего, обеспокоивая того или другого неприятными вестьми, которые они называют обыкновенно: для *осторожности*, или *осторожками*. Я от сих людей на своем долгом веку немало имел бессонных ночей до тех пор, покамест не узнал, что и без сих ремесленников в свете жить можно и что по большей части упражняющиеся в сем ремесле не имеют другого дара обращать на себя примечание тех, в коих ласке им нужда и надобность, как переноса из дому в дом речи и взгляды, и делая из оных употребление в рассуждениях и толках своих, иногда совсем противных тому, что слышали или видели. Я нахаживал и таковых бессовестных, которые сами составляли басни, о коих и никому ничего на ум не приходило, и сими лживыми выдумками меня тревоживали и дельвали печаль мне и беспокойство безвременное. Я в пятьдесят лет уши свои заткнул от сих в обществе вредных блох, кои сосут обыкновенно тех, которых жалом своим колот. Теперь, благодарю бога, мне за семьдесят лет, и я живу лет двадцать счастлив и благополучен без них и без их мнимых и скучных *осторожек*. Я поставил себе за правило исполнять долг звания моего и поступать, колико я смышлю, сходно во всяком случае с правдою, отдаваясь впрочем во власть создавшего мя; сплю спокоен, и никто по пустому меня не тревожит.

Слуга ваш покорный
Пустяковтоптатель.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 13.

АНГЛИЙСКАЯ ПРОГУЛКА.

Прогуливаясь третьего дни по берегу, встретился я с одним из тех почтенных человек, которые превосходительство поставляют не в пышности названия, но в доброте сердца. Сей господин, с обыкновенною своею учтивостию и ласкою, свойственною только

добродетельным людям, подошед, поздравляя меня с хорошим успехом Живописцовых листов, уверяя при этом, что они заслужили благоволение многих почтенных особ. Я начал было благодарить его за сие для меня приятное известие, но он, перервав мои слова, спрашивал, для чего я не издаю продолжения путешествия И*** Т***. „Без сомнения дошли до вас,—говорил он,—толки, сим листочком произведенные; но вы не должны о том беспокоиться. Правда, что многие наша братья дворяне пятым вашим листом недовольны, однакож ведайте и то, что многие за оный же лист и похваляют вас. На всех никто угодить не может, так старайтесь по крайней мере угождать тем, которые в своих требованиях справедливее других. Впрочем, я совсем не понимаю,—продолжал он,—почему некоторые думают, что будто сей листок огорчает целый дворянский корпус. Тут описан помещик, не имеющий ни здравого рассуждения, ни любви к человечеству, ни сожаления к подобным себе; и следовательно, описан дворянин, власть свою и преимущество дворянское во зло употребляющий*

Кто не согласится, что есть дворяне, подобные описанному вами? Кто посмеет утверждать, что сие злоупотребление недостойно осмеяния? И кто скажет, что худое рачение помещиков о крестьянах не наносит вреда всему государству? Пусть вникнут в сие здравым рассуждением, тогда увидят, от чего останавливаются и приходят в недоимку государственные поборы? От чего происходит то, что крестьяне наши бывают бедны? От чего у худых помещиков и у крестьян их частые бывают неурожаи хлеба?**. . .

Не все ли сие происходит от употребления во зло преимущества дворянского? Когда ж неустроению сему причиною худые дворяне, то не достойны ли они справедливого порицания? Пусть скажут господа критики, кто больше оскорбляет почтенный дворянский корпус, я еще важнее скажу, кто делает стыд человечеству: дворяне ли, преимущество свое во зло употребляющие, или ваша на них сатира? Итак верьте,—промолвил он,—что такие ваши сатиры не только что не огорчают дворян, украшенных добродетелию и знающих человечество, но паче еще и превозносят их. Правда, что в числе ваших критиков были и такие, которые порицали вас, будучи побуждаемы слепым пристрастием ко преимуществу дворянскому; но коль чудно и странно сие пристрастие! Как? защищать упорно такое преимущество, которым сами они и все честные и добросердечные дворяне никогда не пользуются?... Я знаю еще недовольных вашим листком; но неудовольствие сих людей достойно того, чтобы вы имели к ним почтение: ибо они, не ведая вашей цели, никакого не могли по началу сделать правильного заключения и потому из любви ко ближнему более сожалели, нежели охуджали, что вы не с той стороны принялись за сию

* Тут следовали многие другие упрекания, относящиеся к худым помещикам, но я их исключил, опасаясь навлечь на себя сугубое негодование. (Примечание Новикова.)

** Я и тут многое исключил для сказанных мною причин в первом примечании. (Примечание Новикова.)

сатиру. Напротив того, бранили вас надменные дворянством люди, которые думают, что дворяне ничего не делают неблагородного, что подлости одной свойственно утопать в пороках, и что, наконец, хотя некоторые дворяне и имеют слабость забывать честь и человечество, однакож будто они, яко благородные люди, от порицания всегда должны быть свободны. Сии гордые люди утверждают, что будто точно сказано о крестьянах: *накажу их жезлом беззакония*¹; и подлинно они часто наказываются беззаконием. Что по их мнению...

„Мы привыкли,—продолжал он,—перенимать с жадностию все от иностранных, но по несчастию нашему почасту перенимаем только пороки их; например, когда были у нас в моде французы, то от обхождения с ними остались у нас легковёрность, непостоянство, вертопрашество, вольность в обхождении, превосходящая границы, благоразумием учрежденные, и многие другие пороки. Французов сменили англичане: ныне женщины и мужчины взапуски стараются перенимать что-нибудь от англичан; все английское кажется нам теперь хорошо, прелестно, и все нас восхищает. И мы по несчастию столь пристрастны к чужестранному, что и самые пороки их нередко почитаем добродетелию. Французскую наглость называли мы благородною вольностию, а ныне английскую грубость именуем благородною великостию духа. Я говорю это,—продолжал он,—не в поношение обоих сих народов, ибо всяк ведаёт, что французы и англичане весьма много имеют доброго; но говорю единственно в доказательство пристрастного нашего к иностранным порокам прилепления. Кто захочет в истине сего мнения удостовериться, тот пусть пооглядится; я уверен, что он много найдёт сему подобного²

Некоторые из нас удивлялись шатавшимся провинциальным английским актерам, а своих имеем, которые равняются с наилучшими английскими актерами и актрисами, но однакож они нам не удивительны, потому что они русские.

Когда ж все английское в такой у нас превеликой моде, то для чего любители иностранных вкусов не почитают пятый ваш листок в английском вкусе написанным: там дворяне критикуются так же, как и простолюдины. Я сожалею, что вы в заглавии сего сочинения не написали: *Путешествие, в английском вкусе написанное*; может быть, что это название, вместо порицания, привело бы его в моду. О времена! О нравы!“—сказал сей господин, вздохнувши. После сего усиленно просил он меня, чтобы продолжение путешествия и сие его рассуждение напечатал я в моих листах под названием *Английская прогулка*. Сколько ни отговаривался я от сей просьбы, но однакож убежден был уверениями его, что сие рассуждение не будет противно дворянам, истинно благородным. Итак, в удовольствие его я сообщаю и то другое, прося при том извинения, что выключил нечто из его рассуждений: это показалось мне необходимо нужным.

¹ Это выражение позаимствовано из Псалтири.

² Пропуски в оригинале, очевидно, из цензурных соображений.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 14.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТРЫВКА ПУТЕШЕСТВИЯ

В *** И *** Т ***.

Глава XIV.

Между тем солнце, совершив свое течение, погружалось в бездну вод, дневный жар переменялся в прохладность, птицы согласным своим пением начали воспевать приятность ночи, и сама природа призывала всех от трудов к покою. Между тем богачи, любимцы *Плутовы*¹, препроводя весь день в веселии и пированиях, к новым приготавливались увеселениям. Люди праздные, скужающие драгоценностию времени, потеряв сей день бесполезно, возвращались на ложе свое спокойными и радовались, что один день убавился из их века. Худый судья и негодный подьячий веселились, что в минувший день сделали прибыток своему карману и пролили новые источники невинных слез. Волокиты и щеголихи, препроводя весь день в нарядах, скакали на берег* для свидания. Ревнивые супруги и любовники затворялись во своих покоях и проклинали вольное обхождение. Устарелые щеголихи воспаляли великое число восковых свеч и, устроив лице свое различными хитростями, торжествовали восхождение престарелья луны, своея благотворительницы, которая бледным своим светом оживляла увядшие их прелести. Игроки собирались ко всеночному бдению за карточными столами, и там, теряя честь, совесть и любовь ко ближнему, приготавливались обманывать и разорять богатых простячков всякими непозволенными способами. Другие игроки везли с собою в кармане труды и пот своих крестьян целого года и готовились поставить на карту. Купец веселился, считая прибыток того дня, полученный им на совесть, и радовался, что на дешевый товар много получил барыша. Врач благодарил бога, что в этот день много было больных, и радовался, что отправленный им на тот свет покойник был весьма молчаливый человек. Стряпчий доволен был, что в минувший день умел разорить зажиточного человека и придумать новые плутовства для разорения других по законам. А крестьяне, мои хозяева, возвращались с поля в пыли, в поте, измучены, и радовались, что для прихотей одного человека все они в прошедший день много работали.

¹ *Любимцы Плутовы* (мифолог.)—богачи. Плуто́с—бог богатства.

* Надобно думать, что это путешествие писано в то время, когда прогуливанье по берегу было в моде. (*Примечание Новикова.*)

Вошел на двор и увидев меня в коляске, все они поклонились в землю, а старший из них говорил: „Не прогневайся, господин добрый, что нас никого не прилучило дома. Мы все, родимой, были в поле; царь небесный дал нам ведро, и мы торопимся убрать живо, покуда дожди не захватили. По сиось день господень всё-таки у нас, родимой, погода стоит добрая, и мы почти со всем господским хлебом управились; авось-таки милосливой Спас подержит над нами свою руку и даст нам еще хорошую погоду, так мы и со своим хлебишком управимся. У нашего боярина такое, родимой, поверье, что как поспеет хлеб, так сперва всегда его боярской убираем; а с своим-то-де, *изволит баять*, вы поскорее уберётесь. Ну, а ты рассуди, кормилец, веть мы себе не лиходеи, мы бы и рады убрать, да как захватят дожди, так хлеб-от наш и пропадет. Дай ему бог здоровье! Мы на бога надеемся, бог и государь до нас милосливы, а кабы да Григорий Терентьевич также нас мловал, так мы бы жили как в раю“.—„Подите, друзья мои,—сказал я им,—отдыхайте; завтра воскресенье, и вы, конечно, на работу не пойдете, так мы поговорим побольше“.—„И! родимой!—сказал крестьянин,—как не роботать в воскресенье! Помолясь богу, не што же делать нам, как не за роботу приниматься; кабы да по всем праздникам нашему брату гулять, так некогда бы и роботать было? Веть мы, родимой, не господа, чтобы и нам гулять; полно того, что и они гуляют“.— После чего крестьяне пошли, а я остался во своей коляске и, рассуждая о их состоянии, столь углубился в размышления, что не мог заснуть прежде двух часов пополуночи.

На другой день, поговоря с хозяином*, я отправился во свой путь, гора нетерпеливостию увидеть жителей *Благополучныя деревни*; хозяин мой столько насказал мне доброго о помещике той деревни, что я наперед уже возымел к нему почтение и чувствовал удовольствие, что увижу крестьян благополучных.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 15.

Господин живописец! поместите, пожалуйста, следующее письмо в ваши листы, буде возможно; содержание его, кажется, заслуживает это, чтобы вы исполнили просьбу

Вашего покорного слуги
П. Р.

* Я не включил в сей листок разговор путешественника со крестьянином по некоторым причинам; благоразумный читатель и сам их отгадать может. Впрочем, я уверяю моего читателя, что сей разговор, конечно, бы заслужил его любопытство и показал бы ясно, что путешественник имел справедливые причины обвинять помещика Разоренной деревни и подобных ему. (*Примечание Новикова.*)

ПИСЬМО УЕЗДНОГО ДВОРЯНИНА К ЕГО СЫНУ¹.

Сыну нашему Фалалею Трифоновичу, от отца твоего Трифона Панкратьевича, и от матери твоей Акулины Сидоровны, и от сестры твоей Варюшки, низкий поклон и великое челобитье.

Пиши к нам про свое здоровье: таки так ли ты поживаешь, ходишь ли в церковь, молишься ли богу и не потерял ли ты святцев, которыми я тебя благословил? Береги их; ведь это не шутка: меня ими благословил покойник дедушка, а его отец духовный, Ильинский батька. Он был болен черною немочью и по обещанью ездил в Киев; его бог помиловал, и киевские чудотворцы помогли; и он оттуда привез этот канунник² и благословил дедушку, а он его возом муки, двумя тушами свиными, да стягом говяжьим³. Не тем-то покойник-свет будь помянут! он ничего своего даром не давал, дедушкины-та свет грехи дороженьки становились. Кабы он, покойник, поменьше с попами водился, так бы и нам побольше оставил. Дом его был как полная чаша, да и тут процепили. Ведь и наш батько Иван: кабы да я не таков был, так он бы готов хоть кожу содрать; то-то поповские завидливые глаза, прости, господи, мое согрешение! А ты, Фалалеюшка, с попами знайся, да берегись; их молитва до бога доходна, да убыточна... Как отпоешь молебен, так можно ему поднести чарку вина да дать ему шесть денег⁴, так он и доволен. Чего ж ему больше, прости господи, ведь не рожна? Да полно, нынче и вино-та в сапогах ходит: экое времечко; вот до чего дожили, что и вина своего нельзя привезть в город; пей-де вино государево с кружала, да делай прибыль откушникам⁵. Вот какое рассуждение! А говорят, что всё хорошо делают; поэтому скоро и из своей муки нельзя будет испечь пирога. Да что уж и говорить, житье-то наше дворянское нынче стало очень худенько. Сказывают, что дворянам дана вольность; да чорт ли это слышал, прости господи, какая вольность? Дали вольность, а ничего не можно своею волею сделать; нельзя у соседа и земли отнять: в старину-то было нам больше вольности; бывало, отхватить у соседа земли целое поле, так ходи же он да проси, так еще десять полей потеряет; а вина, бывало, кури сколько хочешь, про себя сколько надобно, да и продашь на сотню места. Коли воевода приятель, так кури смело в его голову: то-то была воля-та! Нынче и денег отдавать в проценты нельзя: больше шести рублей

¹ П. Ефремов и В. Семенников считали автором цикла писем к Фалалею М. Попова. А. Лурье (в статье „Письма к Фалалею“, „Ученые записки Ленинградского университета“ № 4, 1939) и другие исследователи, с гораздо большей долей вероятности, приписывают их Д. Фонвизину.

² *Канунник*—то же, что святцы.

³ *Стяг говяжий*—коровья туша, очищенная, без головы и ног.

⁴ *Денга*, или *деньга*,—старинная монета, бывшая в обращении с XIV до середины XIX в. Стоимость ее $\frac{1}{2}$ копейки.

⁵ В 1765 г. был издан указ об отдаче всей продажи вина на откуп. Изготовление вина частными лицами и продажа его ими запрещалась. *Государево кружало*—дарский кабак.

братъ не велят, а бывало, так бирали на сто и по двадцати по пяти рублей. Нет-ста, кто что ни говори, а старая воля лучше новой. Нынче только и воли, что можно выйтить из службы да поехать за море; а не слышать, что там делать: хлеба-ат мы и здесь едим, да таково ж живем. А из службы тогда хоть и не волюно было выйтить, так были на это лекари; отнесешь ему барашка в бумажке, да судье другого, так и отставят за болезнями. Да уж, бывало, как приедешь в деревню-та, так это на-верстаешь; был бы только ум, да знал бы приказные дела, так соседи и не куркай. То то было житье; ты, Фалалеюшка, не запомнишь этого. Сестра твоя Варя посажена за грамоту; батько Иван сам ей начал азбуку в ее именины; ей минуло пятнадцать лет: пора, друг мой, и об этом подумать; ведь уж скоро и женихи станут свататься, а без грамоты замуж ее выдать не годится, и указа самой прочесть нельзя. Отпиши, Фалалеюшка, что у вас в Питере делается; сказывают, что великие затеи. Колокольню строят и хотят сделать выше Ивана Великого¹; статочное ли это дело? то делалось по благословению патриаршему, а им как это сделать? Вера-та тогда была покрепче, во всем, друг мой, надеялись на бога, а нынче она пошатнулась, по постам едят мясо и хотят сами все сделать; а все это проклятая некрестъ делает: от немцев житья нет! Как поведимся с ними еще, так и нам с ними быть во аде. Пожалуйста, Фалалеюшка, не погуби себя, не заводи с ними знакомства; провались они, проклятые! Нынче и за море ездить не запрещают, а в Кормчей книге² положено за это проклятие. Нынче все ничего; и коляски пошли с дышлами, а и за это также положено проклятие; нельзя только взятки брать да проценты выше указных, это им пуще пересола, а об этом в Кормчей книге ничего и не написано: на моей душе проклятия не будет; я и по сю пору езу в зеленой своей коляске с оглоблями. Меня отрешили от дел за взятки; процентов больших не бери, так от чего же и разбогачеть: ведь не всякому бог даст клад, а с мужиков ты хоть кожу сдери, так немного прибыли. Я, кажется, таки и так не плошаю, да что ты изволишь сделать: пять дней ходят они на мою работу, да много ли в пять дней сделают? секу их нещадно, а все прибыли нет; год от году все больше мужики нищают: господь на нас прогневался; право, Фалалеюшка, и ума не приложу, что с ними делать. Приехал к нам сосед *Брюжжалов* и привез с собою какие-та печатные листочки и будучи у меня читал их. Что это у вас, Фалалеюшка, делается, никак с ума сошли все дворяне? Чего они смотрят? Да я бы ему, проклятому, и ребра живого не оставил. Что за живописец такой у вас проявился! какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы. Говорит, что помещики мучат крестьян, и называет их тиранами, а того, проклятый, и не

¹ *Иван Великий*—колокольня в Кремле в Москве. Некогда самое высокое сооружение Москвы.

² *Кормчая книга*—древний, переведенный на славянский язык еще в IX в., сборник церковных правил и узаконений.

знает, что в старину тираны бывали некрещенные и мучили святых; посмотри сам в *Четьи-Минеи*¹; а наши мужики ведь не святые; как же нам быть тиранами? Нынче же это и ремесло не в моде; скорее в воеводы добьешься, нежели во ... Да полно, это не наше дело. Изволит умничать, что мужики бедны; эдакая беда; неужто хочет он, чтобы мужики богатели, а мы бы, дворяне, скудели; да этого и господь не приказал: кому-нибудь одному богатому быть надобно, либо помещику, либо крестьянину; ведь не всем старцам в пугнах быть. И во святом писании сказано:— *друг другу тяготы носите и тако исполните закон христов*; они на нас работают, а мы их сечем, ежели станут лениться, так мы и равны;—да на что они и крестьяне: его такое и дело, что работай без отдыху. Дай-ка им волю, так они и не весть что затеют. Вот те на, до чего дожили; только я на это смотреть не буду; ври себе он, что хочет, а я знаю, что с мужиками делать *..

О коли бы он здесь был! То-то бы потешил свой живот: все бы кости у него сделал как в мешке. Что и говорить, дали волю: тут небось не видят, и знатные господа молчат; кабы я был большим боярином, так управил бы его в Сибирь. Эдакие люди за себя не вступятся! Ведь и бояре с мужиками-та своими поступают не по-немецки, а все-таки так же по-русски, и их крестьяне не богаче наших. Да что уж и говорить, и они свихнулись. Недалеко от меня деревня Григорья Григорьевича Орлова²; так знаешь ли, почему он с них берет? Стыдно и сказать, по полтора рубли с души, а угодев-та сколько! И мужики какие богатые; живут себе да и гадки не мают, богаче иного дворянина; ну, а ты рассуди сам, что с этого прибыли, что мужики богаты; кабы перетаскал в свой карман, так бы это получше было; эдакий ум! То-то, Фалалеюшка, не к рукам эдакое добро досталось. Кабы эта деревня была моя, так бы я по тридцати рублей с них брал, да и тут бы их в мир еще не пустил; только что мужиков балуют. Эх! перевелись-ста старые наши большие бояре: то-то были люди, не только что со своих, да и с чужих кожи драли. То-то пожил да подарствовали, как сыр в масле катались: и царское, и дворянское, и купецкое—все было их; у всех, кроме бога, отнимали; да и у того чуть тако не отни... А нынешние господа что за люди, и себе добра не хотят. Что уж и говорить, все пошло на немецкий манер. Нутка, Фалалеюшка, вздумай да взгадай, да поди в отставку; полно, друг мой, ведь ты уже послужил, лбом стену не проломил; а коли не то, так хоть в отпуск приезжай. Скосырь твой жив и Налетка³; мать твоя бережет их пуще

¹ *Четьи-Минеи*—сборник житий святых.

* Я нечто выключил из сего письма: такие мнения оскорбляют человечество. (*Примечание Новикова.*)

² *Григорий Орлов*—фаворит Екатерины II. Комплименты автора по его адресу—тактический ход, долженствующий несколько замаскировать антикрепостническую заостренность данной статьи.

³ Клички собак.

своего глаза; намнясь Налетку укусила было бешеная собака; да спасибо, скоро захватили, ворожея заговорила. Ну, да полно, и было за это людям. Сидоровна твоя всем кожу спустила; то-то проказница; я за то ее и люблю, что уж коли примется сечь, так отделает, перемен двенадцать попадут; попросит небось воды со льдом; да это нет ничего, лучше смотрят. За сим писавый кланяюсь. Отец твой Трифон, благословение тебе посылаю.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 18.

Государь мой!

Сообщите, прошу вас покорно, прилагаемую при сем записку: *Следствия худого воспитания*, в своих листочках свету. Вы сим меня одолжите много, а отцы и матери, прочтя в ваших листочках таковые при воспитании детей неосторожности, большее будут иметь старание за ними и тем избегнут нарекания, учинят себя достойными того имени, которое многие ныне недостойно на себе носят. Впрочем, с любовью моею к вам на всегда есмь

Смоленск.
1772 года, июня 20 дня.

вашим покорным слугою
несчастный Е***.

СЛЕДСТВИЯ ХУДОГО ВОСПИТАНИЯ¹.

Отец мой дворянин, живучи с малых лет в деревне, был человек простого нрава и сообразовался во всем древним обычаям; а жена его, моя мать, была сложения тому со всем противного, от чего не редко происходили между ними несогласия, и всегда друг друга не только всякими бранными словами, какие вздумать можно, ругали, но не проходило почти того дня, чтобы они между собою не дрались или бы людей на конюшне плетью не секли. Я, будучи в доме их воспитыван, и имея вседневно в глазах таковые поступки моих родителей, чрезмерную возымел к оным склонность и положил за правило себе во всем оным последовать. Намерение мое было гораздо удачно; ибо я, в скорое время, к удивлению всех домашних уже совершенно выражал все те бранные слова, которые бывало от родителей своих слышу, а что до тиранства принадлежало, то уже я в том и родителей своих превосходил, хотя, правда, они в сем искусстве гораздо не плохи были: ибо один раз батюшка за недоимку 35 душ , а матушка еще и того более бесчеловечным наказанием на²,

¹ П. Ефремов и В. Семенников эту статью также приписывают М. Попову, основываясь на сходстве ее с письмами к Фалалею.

² Пропуски в оригинале очевидно из цензурных соображений.

как узнала, что некто из крестьян перешиб ногу любезной ее собачке. Отец мой, хотя, правда, был недалекого разума, однако разбирал понемногу Четьи-Минеи и другие церковные книги; матушка же моя насмерть тех книг не любила, потому что она девицею воспитана в городе; да редко имела досуг читать и французские, потому что вседневно ходила слушать очистки крестьян, во что уж батюшка мой никогда и не мешался, а только лишь, бывало, по приговору матушки сечет крестьян. А как я уже приходил лет под десяток и батюшка мой начал преподавать мне первые начала российской грамоты, то матушка, любя меня чрезмерно и опасаясь, чтоб от такого упражнения голова у меня не разломилась или бы во времени не повредился я умом, всегда меня от книги отрывала и не раз за то бранивала батюшку, что он меня к тому неволил. Книга, если правду сказать, мне и самому в то время гораздо несносною казалась, и я, не приметя еще хорошо, по чему отличать А от Д, столько оную вымарал, что батюшка мой и сам почасту не распознавал букв, которые знал ли, полно, он и сам твердо, я сомневаюсь, ибо он, как я заметил, называл одну букву тремя званьями, но до того мне нужды мало. Матушка моя, пришедши из конюшни, в которой по обыкновению ежедневно делала расправу крестьянам и крестьянкам, читает бывало французскую любовную книжку и мне все прелести любви и нежность любезного пола по-русски ясно пересказывает; от сего по тринадцатому году возраста моего родилась во мне та сильная страсть, о которой не только знать, но и говорить моих лет ребята за стыд и неприличное дело почитают. А как я от рождения моего не знал, что есть стыд, и мне про то никто не толковал, а меньше еще того разумел о неприличности, то, устремя все мысли свои к любви, коея прелести мне матушка в самых ясных словах изобразила, влюбился в комнатную дома нашего девку, обладающую всеми теми прелестями, которые только могут пленить нежное сердце несчастного любовника, и сделался в короткое время невольником рабы своей. Таковой случай причинил немалое огорчение и самым моим родителям, но в том должны они жаловаться на себя; ибо я не видя ни от кого хороших примеров, последовал слепо их же поступкам, развратившим мое сердце. От праздности, в которой я все дорогие своей жизни часы препроводил и которая по несмышленности мне приятною казалась, произошли все мерзости исполненные дела, а вольность сделала меня отважным и наглым на все предприятия. Я спознался с сыном одного помещика, неподалеку от нашей деревни живущего, который воспитан был не лучше моего и дитина на все руки. Покрытый сединою его отец ожидал с часа на час смерти яко убежища своего и все предал свое сокровище в руки своего сына, которого, хотя был он еще несовершеннолетних лет, вся деревня трепетала. От частого с ним обхождения научился я просиживать целые ночи, весьма скоро в игре, в пьянстве и в других непостоянных забавах преходящие, и был уже совершенного знания во всех карточных играх к погибели своего дома. Отец мой, раз-

гневавшись на меня за таковые мои поступки, выгнал меня из дома и лишил законного наследства, а я, не имея средства, чем себя пропитать, вдался во всякие неприличные моему роду дела и тем доставлял себе бедное пропитание. Наконец, несносные бедствия и оставшаяся во мне еще искра стыда и совести начали исправлять мои поступки, и я вступил в военную службу, где нужда еще больше того меня поправила, почему ныне и живу спокоен, со всегдашним сожалением об участи тех бедных, которые имеют подобное моему от родителей или наставников своих воспитание.

Г. несчастный Е***, поступки отца вашего и матери, так как и ваша в рассуждении родителей неблагодарность, достойны справедливого порицания; но вы все уже довольно наказаны. Отцы и матери! казнитея сим примером; воспитывайте детей своих с тщанием, если не хотите опосле быть ими презираемы.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 20.

ВЕДОМОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ИЗ ГОСТИНОГО ДВОРА.

В ведомостях Живописцовых, артикул, из гостиного двора поставленный, во многих благородных особах на сего дерзкого газетьера справедливое произвел негодование. Во оном артикуле упомянуто, будто многие господа и госпожи без всякия нужды приезжают в гостиный двор, ходят из лавки в лавку, перебирают ненужные им товары и тем будто отгоняют купцов посредственного состояния, а чрез то, по его мнению, приключают вред в торговле нашей. Кажется, никакой нет нужды уверять наших читателей, что все газетьеры ведомости свои почасту наполняют разными выдумками и ложью: это всякому известно, и мы не ответствовали бы на сию очевидную ложь, если бы не старались оправдать себя пред знатными господами и госпожами в том, что сей артикул поставлен без нашего согласия. Мы больше имеем попечения, нежели как думают, о сохранении господской доверенности к нашей совести; она нам столько ж нужна, как им кредит наш к их имению. Впрочем, мы немного будем иметь труда опровергнуть лжи, сим газетьером рассеваемые, и начнем с первого.

Прогуливание знатных господ и госпож по гостиному двору не только что не делает торговле нашей вреда, но еще и прибыль приносит; без сего кто бы покупал в большом количестве выписываемые и привозимые к нам многие французские безделицы, которые расходятся ныне в великом множестве? Без сего с кого бы могли мы брать четверную цену, отпущая в долг товары? Опречь сего, прогуливание и ту приносит нам прибыль, что когда госпожи соберутся в лавку и с нами милостиво разговаривают и изволят шутить, тогда и мы, будто шутя, показываем какие-нибудь завалившиеся безделицы, прося при том, чтобы их как-нибудь ввели в моду. И часто случается, что от таких безделок получаем прибыли гораздо больше, нежели как от самых лучших товаров. Когда приезжают к нам любовник и любовница, тогда мы наперехват стараемся звать их к себе в лавки; тогда, не щадя трудов своих, сами стараемся показывать всякие товары и перебиваем все куски; от сего имеем мы превеликую пользу, ибо в такое время у любовниц превеликое бывает желание покупать, или, лучше сказать, брать всякие нужные и ненужные товары, а за сие желание учтивость любовников платит нам всегда наличные деньги. В таком случае господа любовники весьма мало с нами торгуются, а госпожи любовницы, хотя и говорят почасту: *Ах как это дорого! ужасно! нет, я этого не возьму; я бы хотела это купить, но это чересчур дорого*, но мы не пугаемся таких отговорок, потому что *я бы хотела это купить, но это чересчур дорого*, как сказывают, на любовном языке значит: *ежели ты не скуп, так заплати за это деньги*. И мы так применились к таким двоямысленным словам, что из требуемой цены ни копейки никогда не уступаем, говоря при этом: *это, сударыня, очень дешево; другому бы я за такую цену не уступил; а его чести уступаю для того, что он всегда соизволит покупать товары на готовые деньги; а при том, милостивая государыня, мы умеем разбирать людей и знаем, с кого какую просить цену: поверьте чести моей, что его милость копейки даром не бросит*. Тут мы все трое усмехнемся, а господин тотчас станет уверять госпожу, что это недорого, и, заплатя деньги, скажет: *он детина совестный, обманывать не станет*. Между прочим в Живописцовых ведомостях упомянуто, что госпожи, сидя в лавках, пересмевают проходящих, но и это никакого не делает нам вреда, ибо многие дворянки, не весьма далекие в модном свете, и также мещанки, почитая такие лавки наполненными модными товарами, всегда к нам приходят и покупают товары. Но чтобы избежать насмешек от модных госпож, то приезжают они на гостиный двор обыкновенно в такое время, когда не прогуливаются. Что ж касается до обещанного в Живописцовых ведомостях награждения тому, кто бы вывел из моды прогуливание по гостиному двору, то кажется, что сие и не заслуживает нашего опровержения. Впрочем, у нас в гостином дворе слух носится, будто купечество наше тому, который напишет на сего газетьера сатиру, обещает награ-

ждение, состоящее в благосклонности тех господ и госпож, которые сей артикул взяли на свой счет и на Живописца прогневались.

ИЗ МОСКВЫ.

Модное наречие петербургских щеголих многим нашим девицам вскружило головы. Все такие модные слова, в Живописце напечатанные, они вытвердили наизусть и ввели во употребление; но при том чувствуют еще во оном наречии великий недостаток, почему хотят посылать нарочного поверенного, который будет стараться все слова, в модном наречии употребляемые, собирать и сообщать к нам в Москву. Сим способом надеются наши девицы до такого же дойти совершенства в помянутом наречии, как и петербургские щеголихи. Впрочем, надлежит отдать справедливость нашим жителям, что в переимке новых мод они должны почитаться не последними.

ИЗВЕСТИЯ.

Некто из молодых господ, умеющий жить во свете, одеваться по моде, чесать волосы с вкусом, танцовать прелестно и петь французские арии с наилучшими манерами, третьего дня ехал в наилучшей своей английской карете, запряженной шестью прекрасными лошадьми, и, проезжая мимо гостиного двора, обронил *кредит*; кто оный поднял и возвратит сему господину, тому обещает он покровительство свое при дворе.

Некоторой даме ге последнего класса, во время прогуливания ее по гостиному двору, от некоторого молодого дворянина сделано любовное предложение; почему для сведения его объявляется, что ежели он говорил это не в шутку, то, справясь бы с ежегодными своими доходами, явился в собственном сея госпожи доме, о котором ему объявлено и который куплен ею на имя судьи *Кривоудова*.

ПОДРЯДЫ.

Некоторому молодому господину потребен секретарь, который бы умел сочинять комедии и писать стихами песни и другие мелкие стихотворения. Но при том требуется, чтобы сей человек был трудолюбив и скромен до чрезвычайности: сие особливо для того, что сей господин писанные секретарем его сочинения хочет выдавать за свои собственные. Кто пожелает вступить в сию должность, тот может явиться в собственном сею господина доме, состоящем в *Тщеславной* улице.

Некоторому знатному родом и заслуженному, по его мнению, господину потребно до двенадцати молодых, неглупых, проворных и умеющих вкрадываться дворян. Он обещает содержать их на своем иждивении; а должность их состоять будет в том, чтобы

сии молодые люди проповедывали повсеместно милосердие к бедным сего господина, которого однакож он не имеет, его любовь к отечеству, о которой не имеет он и понятия, и приписывали бы ему всевозможные добродетели. Сим способом надеется он прийти в любовь ко всем и получить чины, которых он по знатности своего рода давно имеет право требовать. Желаящие вступить в сию должность могут явиться у него самого, в собственном его доме, построенном из корыстей, полученных прапрапрадедом его под Чигирином.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 23.

Господин Живописец!

Признаюсь, что я на вас весьма роптал, когда увидел в ваших листочках и то письмо, которое ко мне отец мой писал. Я тогда стыдился за порог выйти: мне казалось, будто всякий думает то же самое и обо мне, что об отце моем, и я боялся, чтобы не стали указывать на меня пальцами. Но теперь я очень сердит на моего отца; и потому досада моя на вас окончилась, и заступила благодарность ее место. Я сообщаю к вам письма, одно от отца моего, другое от матери, а третье от дяди и четвертое мною в ответ на их письма написанное. Пускай разум их откроется свету, пусть в мое отмщение посмеются им люди и пусть свет узнает, каких свойств

Ваш усердный слуга
Фалалей***.

Сыну моему Фалалею.

Так-то ты считаешь отца твоего, заслуженного и почтенного драгунского ротмистра? Тому ли я тебя, проклятого, учил и того ли от тебя надеялся, чтобы ты на старости отдал меня на посмешище целому городу? Я писал к тебе, окаянному, в наставление, а ты это письмо отдай напечатать. Погубил ты, супостат, мою головушку; пришло с ума сойти! Слыханое ли это дело, чтобы дети над отцами своими так ругались! Да знаешь ли ты это, что я тебя за непочтение к родителям, в силу указов, велю высечь кнутом; меня бог и государь тем пожаловали: я волен и над животом твоим¹; видно, что ты это позабыл! Кажется, я тебе много раз толковал, что ежели отец или мать сына своего и до смерти убьет, так и за это положено только церковное покаяние. Эй, сынок, спохватись! Не сыграй над собою шутки: ведь недалеко великий пост, попоститься мне немудрено; Петербург

¹ Т. е. над жизнью твоею.

не за горами, я и сам могу к тебе приехать. Ну, сын, я теперь тебя в последний раз прощаю, по просьбе твоей матери; а ежели бы не она, так уж бы я дал тебе знать себя. Я бы и ее не послушался, ежели бы она не была больна при смерти. Только смотри, впредь берегись: ведь ежели ты окажешь еще какое то мне непочтенне, так уж не жди никакой пощады; я не Сидоровне чета: у меня не один месяц проохаешь, лишь бы только мне до тебя дорваться. Слушай же, сынок, коли ты хочешь опять прийти ко мне в милость, так просись в отставку да приезжай ко мне в деревню. Есть кому и без тебя служить; пускай кабы не было войны, так бы хоть и послужить можно было, это бы свое дело; а то ведь ты знаешь, что нынче время военное; неровно как пошлют в армию, так пронадешь ни за копейку. Есть пословица: богу молись, а сам не плошись; уберись-ка в сторону, так это здоровее будет. Пооди в отставку, да приезжай домой; ешь досыта, спи сколько хочешь, а дела за тобой никакого не будет. Чего тебе лучше этого? За чеством, свет, не угоняешься; честь! честь! худая честь, коли нечего будет есть. Пусть у тебя не будет Егорья¹, да будешь ты зато поздоровее всех егорьевских кавалеров. С Егорьем-то и молодые люди частехонько поохивают, а которые постарее, так те чуть дышут: у кого руки перестреляны, у кого ноги, у иного голова; так радостно ли отцам смотреть на детей изуродованных? И невеста ни одна не пойдет. А я тебе уже и приискал было невесту. Девушка неубогая, грамоте и писать умеет, а пуще всего великая экономка: у нее ни синий порох даром не пропадет, такую-то, сынок, я тебе невесту сыскал. Дай только бог вам совет да любовь да чтобы тебя отпустили в отставку. Приезжай, друг мой, тебе будет чем жить опричь невестина приданого; я накопил довольно. Я и позабыл было тебе сказать, что нареченная твоя невеста двоюродная племянница нашему воеводе; ведь это, друг мой, не шутка: все наши спорные дела будут решены в нашу пользу, и мы с тобою у иных соседей землю обрежем по самые гумна; то-то любо! и курицы некуда будет выпустить. Со всем будем ездить в город; то-то, Фалалеюшка, будет нам житье! никто не куркай. Да полно, что тебя учить, ты ведь уже не малый ребенок, пора своим умком жить. Ты видишь, что я тебе не лиходея, учу всегда доброму, как бы тебе жить было попригоднее. Да и дядя твой Ермолай чуть тако не то же ли тебе советует; он хотел писать к тебе с тем же ездоком. Мы с ним об этом поговорили довольно, сидя под любимым твоим дубом, где, бывало, ты в молодых годах забавлялся: вешивал собак на сучьях, которые худо гоняли за зайцами, и секал охотников за то, когда собаки их перегоняли твоих. Куда какой ты был проказник смолоду! Как, бывало, примешься пороть людей, так пойдет крик такой и хлопанье, как будто за уголовье в застенке секут; таки, бывало, животики надорвем со смеха. Молись, друг мой, богу! ума у тебя довольно:

¹ Орден Георгия победоносца, дававшийся за военные заслуги.

можно век прожить. Не испугайся, Фалалеюшка, у нас нездорово: мать твоя Акулина Сидоровна лежит при смерти. Батько Иван исповедал ее и маслом особоровал. А занемогла она, друг мой, от твоей охоты: Палетку твою кто-то съездил поленом и перешиб крестец; так она, голубушка моя, как услышала, так и свету божьего не взвидела, так и повалилась! А после как опомнилась, то пошла это дело разыскивать, и так надсадила себя, что чуть жива пришла и повалилась на постелю; да к тому же вышла студеной воды целый жбан, так и присунулась к ней огневица. Худа, друг мой, мать твоя, очень худа! на ладан дышит: я того и жду, как сошлет бог по душу. Знать что, Фалалеюшко, расставаться мне с женою, а тебе с матерью и с Палеткою, и она не лучше матери. Тебе, друг мой, все-таки легче моего: Палеткины щенята, слава богу, живы; авось-таки который-нибудь удастся по матери; а мне уж эдакой жены не нажить. Охти мне, пропала моя головушка! где мне за всем одному усмотреть! Не сокруши ты меня, приезжай да женись, так хоть бы тем я порадовался, что у меня была бы невестка. Тошно, Фалалеюшко, с женою расставаться: я было уж к ней привык, тридцать лет жили вместе; как у печки погрелся! Виноват я перед нею: много побита она от меня на своем веку; ну да как без этого! Живучи столько вместе, и горшок с горшком столкнется, как без того! Я крут больно, а она неуступчива, так, бывало, хоть маленько, так тотчас и дойдет до драки. Спасибо хоть за то, что она отходчива была. Учись, сынок, как жить с женою: мы хоть и дирались с нею, да все-таки живем вместе; и мне ее теперь, право, жаль. Худо, друг мой, и ворожен не помогают твоей матери; много их приводили, да пути нет, лишь только деньги пропали. За сим писавый кланяюсь, отец твой Трифон, благословение тебе посылаю.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 24.

Свет мой Фалалей Трифионович!

Что ты это, друг мой сердечный, накудесил? пропала бы твоя головушка: ведь ты уже не теперь знаешь Панкратьевича; как ты себя не бережешь; ну кабы ты, беденький, попался ему в руки, так ведь бы он тебя изуродовал нуще божьего милосердия. Нечего, Фалалеюшка, норовок-ат у него, прости господи, чертовский; уж я ли ему не угождаю, да и тут никогда не попаду в лад. Как закуралесит, так и святых вон понеси. А ты, батька мой, что это сделал, отдай письмо его напечатать; ведь ему все соседи смеются: экой де у тебя сынок, что и над отцом ругается. Да полно ведь, Фалалеюшка, всех речей не переслушаешь; мало

ли что дикие люди говорят, бог с ними, у них свои детки есть, бог им заплатит. Чужое-то робя всегда худо, наши лучше всех; а кабы оглянулись на своих деток, так бы и не то еще увидели. Побереги ты, мой батька, сам себя, не рассерди отца-то еще, с ним и чорт тогда уж не совладеет. Отпиши к нему поласковее, да хоть солги что-нибудь, ведь это не какой грех, не чужого будешь обманывать, своего родного; и все дети не праведники: как перед отцом не солгать. Отцам да матерям на детей не насердиться, свой своему поневоле друг. Дай бог тебе, друг мой сердечный, здоровье, а я лежу на смертной постеле; не умори ты меня безвременно: приезжай к нам поскорее, хоть бы мне на тебя насмотреться в последний раз. Худо, друг мой, мне приходит, нечего, очень худо. Обрадуй, свет мой, меня; ты ведь у меня один одиноконек, как синий порошок в глаза, как мне тебя не любить; кабы у меня было детей много, то бы свое дело. Заставай, батька мой, меня живую: я тебя благословлю твоим ангелом, да отдам тебе все мои деньжонки, которые украдкою от Панкратьевича накопила: ведь для тебя же, мой свет; отец-ат тебя нескóлько дает денег, а твое еще дело детское, как не полакомиться, как не повеселиться; твой, друг мой, такие еще лета, чтобы забавляться; мы и сами с молодю таковы же бывали. Веселись, мой батюшка, веселись: придет такая пора, что и веселье на ум не пойдет. Послала я к тебе, Фалалейюшка, сто рублей денег, только ты об них к отцу ничего не пиши; я это сделала украдкою, кабы он сведал про это, так бы меня, свет мой, забранил. Отды-то всегда таковы: только, что брюзжат на детей, а никогда не пошешат. Мос, друг мой, не отцовское сердце, материнское, последнюю копейку из-за души отдам, лишь бы ты был весел и здоров. Батька ты мой, Фалалей Трифонович; дитя мое умное, дитя разумное, дитя любезное, свет мой, умник, худо мне приходит: как мне с тобою расставаться будет? на кого я тебя покину? Погубит он, супостат, мою головушку! этот старый хрыч когда-нибудь тебя изуродует. Береги, мой свет, себя, как можно береги. Плетью обуха не перебьешь; что ты с эдаким чортом, прости господи, делаешь. Приезжай, мой батька, к нам в деревню, как таки можно приезжай: дай мне на тебя насмотреться; сердце мое посышало, что приходит мой конец. Прости, мой батюшка, прости свет мой; благословение тебе посылаю, мать твоя Акулина Сидоровна и нижайший, мой свет, поклон приношу. Прости, голубчик мой, не позабудь меня.

Любезному племяннику моему Фалалею Трифоновичу, от дяди твоего Ермолая Терентьевича низкий поклон и великое челобитье; и при сем желаю тебе многолетнего здравия и всякого благополучия на множество лет, от Адама и до сего дне.

Было бы тебе вестно, что мы по отпуск сего письма все, славу богу, живы и здоровы; тако ж и отец твой Трифон Панкратьевич здравствует же, только Сидоровна, хозяйка его, а твоя мать, больно трудна: что подымеешь, то и есть, а сама ни на

волос не поворохнется. Вчерась отнялись у нее и руки и ноги, а теперь, чай, уж и не говорит; и при мне-та так уж через мочь только намекала. Она заочно благословила тебя твоим ангелом, да Фарсульской богородицей, а меня неопалимой. Ну, брат племянник, мать-то твоя и перед смертью, не тароватее стала! Оставила на помин души такой образ, что и на полтора рубля оклада не наберется. Невидальщина какая! У меня образов-то и своих есть сотня места, да не эдаких, как жар вызолочены; а эта, брат, неопалима, подлинно что не опалит, и окладишко весь почернел; бог с нею! Спасибо хоть за то, что она в полном уме исповедалась и маслом особоровалась; хоть и умрет, так уж по-христиански. Да и бог всякому такую кончину! Да и тут, Фалалешка, кабы не я, так бы разве глухою исповедью исповедывать. Уж я ей говорил: „эй, Сидоровна, исповедайся, ведь уже ты в гроб глядишь“; так нет-ста, насилил прибили. А как присничило, так давай, давай попа, да уж за то в один день трижды исповедалась. Знать, что у нее многоночь грешков-то скопилось. Приводили и ворожей; нечего, спасибо твоему отцу, не покушился; да ничего не помогли. А после исповеди привели было еще одного, да уж и Сидоровна сама не захотела напрасно тратить деньги. Кому жить, Фалалешка, так будет притоманно¹ жив, а кому умереть, тому и ворожен не пособят. Животом и смертью бог владеет. Еще ежели ему угодно будет прекратить дни ее, то приезжай погребсти грешное тело ее. Да и кроме того нам до тебя есть дело. Ну, Фалалешка! ведь матушка твоя скончалась, поминай как звали. Я только теперь получил об этом известие; отец твой, сказывают, воеет как корова. У нас всегда бывает так: которая корова умерла, так та и к удою была добра. Как Сидоровна была жива, так отец твой бивал ее как свинью, а как умерла, так плачет, как будто по любимой лошади. Приезжай, друг мой, Фалалешка, приезжай бога ради поскорее, хоть не надолго, а буде можно, так и вовсе. Ты сам увидишь, что тебе дома жить будет веселее петербургского. А буде не угодно, то хоша туда просись, куда я тебе присоветую, сиречь к приказным делам, да только где похлебнее, наприклад, в экономические казначей или в управители дворцовых волостей, или куда-нибудь к подрядным либо таможенным делам. В таких местах кому ни удалось побывать, так все, бог с ними, сытехоньки стали. Иной уже теперь и в каменных палатах живет, а которые ни одной души за собой не имели, те уже нажили сотни и по две-три. Не в пронос сказать о нашем Авдуле Еремеевиче: хотя он недолго пожил при монастырских крестьянах, да уже всех дочек выдал замуж. За одной, я слышал, чистыми денежками десять тысяч дал, да деревню тысяч в пять. А не совсем таки разорился, *бог с ним, про себя еще осталось. А кабы да его не сменили, так бы он и гораздо понагрел руки около нынешних рекрутских наборов. Знать, что тех молитва дошла до бога, которые в эту пору определились. Не

¹ *Притоманно* (областное выражение)—непременно.

житье им, масленица. Я бы-ста и сам не побрезговал пойти в эдакие управители. Перепало бы кое-что и мне в карман: кресты да перстни, все те же деньги, только умей концы хоронить. Я и поныне еще все стареньким живу! Кто перед богом не грешен? кто перед царем не виноват? не нами свет начался, не нами и окончается. Что в людях ведется, то и нас не минется. Лишь только поделись, Фалалеюшка, так и концы в воду. Неужто всех станут вешать? в чем кто попадется, тот тем и спасется. Грех да беда на кого не живет? Я и сам попался было однажды под суд; однако дело-то пошло иною дорогою, и я очистился, как будто ни в чем не бывал. Но кабы ты сам сюда приехал, так бы мы обо всем поговорили лучше на словах; а писать-то страховато, неровно кому попадется в руки, так напляшешься досыта. При сем, во ожидании тебя, остаюсь дядя твой

Ермолай ***.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 25.

Господин Живописец!

Я уже ваших листочков не читаю, да и покупать их более не намерен. Правда, мне должно признаться пред всеми, а вам предмною, что содержание моего письма для вас, а паче еще для вашего состояния не очень приятно будет; ибо из одного не можете вы для себя никакой другой пользы ожидать, как только того, что вы всякую неделю четыре копейки из ваших доходов потеряете. Сохрани бог! если бы все ваши благосклонные читатели согласились на таковые предложения! тогда бы, конечно, я вам не советовал собирать сокровища вашу кистью; однако я осмеливаюсь с неким пророческим духом вас в том уверить, что ваши читатели, кои из мещанства и купечества, не отрекутся и впредь платить вам дань за описание глупостей и пороков нынешнего века. Что ж касается до дворянства, то я в некоторых,

.¹
предвижу для вас более вреда, нежели пользы, и больше ущерба в ваших доходах, нежели приращения оных. Не громовый ли то удар будет для вас, когда я вам чистосердечно открою, что купленные мною двадцать листов вашей живописи преданы уже от парикмахера моего на всеожжение! Признайтесь сами, не представляется ли в сию же минуту вашим глазам тот жестокий пламень, поядающий творения ваши! Однако прошу вас, государь мой, дружески, соберите в сем случае все силы ваши и выслушайте

¹ Пропуск в оригинале, очевидно, из цензурных соображений.

мужественно причины, побудившие меня ко уменьшению ваших семидневных сборов.

Я прихожу по знакомству в некоторый дом, во оном благородная девица, которая, по мнению других, а не по моему, весьма просвещенна, раскладывает по всей комнате свое платье и уборы; но что я увидел? чепчики, манжеты, булавки, новые башмаки и самые ее волосы одеты в *Живописца!* Тогда я сам в себе сказал: „Итак, ты, господин *Живописец*, служишь всем вещам сей красавицы общим покрывалом пли епанчею!“ Другой раз случилось мне притти к одному молодому придворному, и лишь чуть только усел я выговорить два или три слова, как вдруг появился портной с новым вышитым камзолом и начал его униженно просить о десятилетнем еще долге; но господин, вместо платы, сказал ему в ответ: „друг мой, ведь я тебе только за шинели и сертуки остаюсь полторы тысячи должен, а прочее все в коротком времени получишь“. Потом начал он кричать: „малый, подай чистой бумаги для камзола; но малый, не запинаясь, отвечал, что нет во всем доме ни лоскутка бумаги“. „Провались твоя голова,—закричал господин,—ты всякий день мне одну проповедь читаешь; все нет да нет... Так подавай те листочки, что лежат за печкою“. Слуга тащит оттуда, но что? разодранного *Живописца!* Итак, государь мой, не погневайтесь, я видел вашего *Живописца* у разносчиков в корзинках, получал его с пудрою и с помадою; однако сего еще не довольно. Последние два приключения причинят вам гораздо чувствительнейшие удары. Прошедшей недели нужда заставила меня навестить одну модную госпожу, которая хотя редко бывает больною, однако никогда здоровою. А сия губительная болезнь погубила и *Живописца!* Ибо кто бы к сей госпоже ни пришел и в какое бы то время ни случилось, то увидит всяк у нее превеликую кучу лекарств, служащих ей повседневною пищею. Здесь я, государь мой, изобретаю то, чего бы иной и в десять лет изобрести не мог. Любопытное мое око ко крайнему вашему неудовольствию открыло, что каждая бумажка, хранящая жизнь сей госпожи, есть *Живописец*, и что все оные не иное что суть, как изувеченные *Живописцы!* Признайтесь, государь мой, легко ли вам сносить таковые насильства и станет ли еще сил ваших прочесть следующее приключение? Ибо что до меня касается, то я прихожу в такую робость и бессилие, что не могу ниже глаз моих обратить на следующие строки; и одно только перо мое говорит за меня и мыслит и пишет. А дело вот в чем состоит.

Давно уже пылал я желанием сыскать себе друга, но друга богатого, пригожего и, если можно, разумного, и женского пола. Петербургские свахи за несколько времени проповедают уже имя, нрав и добродетели мои. Третьего дня пришедши одна из сих посланниц сказала: „Ну, теперь дело сделано; одну половину брака соорудила я, а ты совершай другую. Я вас у одной приезжей барыни, имеющей у себя прекрасную *Елену*, описала честным дворянином, степенным, в любовных хитростях невинным агнецем; притом, что вы не картежник, не мот и бережете каждую копейку, как глаза;

словом, я вас называла петербургским чудом и российским фениксом.—„Да упоминала ль ты о том,—сказал я ей,—что я не только дворянин, но дворянин еще с именем; ибо я ученый дворянин“.

„Сей-то пункт,—был ее ответ,—и оставила я нарочно для вас самих. Она деревенская барыня, так вы можете как ее, так и дочь ее легко и лучше меня о том уверить. Итак совершайте благополучно начатое мною дело. Сия деревенская барыня дает за дочью двести душ, а она вас завтра к себе ожидает!“ На другой день, то-есть вчерась, одевшись я благопристойно, не позабыл также по обыкновенно моему и *Живописца* в карман положить, ибо я его для того всякий день с собою носил, что если случится в ком-нибудь какой порок приметить, то я, вынув его из кармана и сыскав пристойную для сего страницу, прошу, не угодно ли ему прочесть нечто из *Живописца*. Таким образом, пришедши я к сей барыне, старался сколько сил моих стало, во-первых, уверять ее в том, что сваха моя есть сушная христианка и что она ей о моих качествах и за мои деньги самую истину говорила; после начал я приближаться к важному моему намерению и вступил в разговор об учености.

„Сударыня,—сказал я ей,—самое важнейшее упражнение жизни моей состоит в чтении книг, ученых людей почитаю я больше всего на свете. Не изволите ль знать российского *Рабнера*¹, то-есть господина *Живописца*? Он составляет новые картины и, изгоняя из сердец наших пороки, преселяет их на оные, а душу нашу одним только добродетелям предоставляет“.—„Кровь моя,—отвечала она,—запрещает мне иметь знакомство с мастеравыми людьми. Чей он человек? из господских ли он, или из куческих? И вы знаете с ним?“—„Конечно, сударыня! Я имею честь называться его приятелем“.—„Не подлость ли то,—вскричала она с презрительною улыбкою,—знаться и дружитья с художниками и живописцами! Да ты и сам не Хамов ли внучек?“—„Сударыня,—ответствовал я,—извините меня, вы, конечно, ошибаетесь в имени *Живописца*, которое употреблено только для заглавия книги; а сочинитель сам имеет совсем другую фамилию и есть не только дворянин, но еще ученый дворянин, то-есть который книги пишет. Я же называюсь его приятелем для того, что не только читаю, хвалю и ношу с собою его сочинения, но хочу еще, подражая его примеру, и сам прославиться изданием книг“.

Тогда она оборотясь ко мне спиною и захохотав, говорила к своей дочери: „я еще в первый раз от роду слышу, что и дворяне бывают ученые. Благодаря бога! В нашей фамилии не было еще ни за одним такового художества и никто ни книжником, ни скорописцем не бывал; и я скорее согласилась бы отпереться от родни, нежели дочь мою выдать за ученого“. Потом, оборотясь ко мне, сказала: „друг мой, не погневайся, у меня двери всегда будут для тебя заперты, а теперь для выходу твоего давно уже отворены стоят; и я лучше советую тебе убираться в дарство живописцев и там искать своей невесты. Ибо в нашем

¹ *Рабнер Готлиб Вильгельм* (1714—1771)—популярный в XVIII веке немецкий сатирик-моралист.

отечестве истари положено для дворянина шпага, для стряпчего перо, а грамота для попов“.

• Я, приметя в ней деревенское и грубое невежество, приводил ей в пример князей, графов, баронов и великое множество знатных дворян, которые себе науками вечную славу заслужили. Однако она столь упорно в своем мнении стояла, что не хотела и самого глупого сержанта променять на десять ученых дворян. Наконец, домашние примеры открыли ей глаза и, будучи насилу убеждена, что через ученость дворянская кровь нимало не повреждается, сказала мне: „однако избирай любое: или чтоб я у тебя ни одной книги не видала, не исключая и благородного *Живописца*, или прошу не знать моего дома. В первом случае имеете вы и дочь, и двести душ, и меня вместо матери вашей, притом открою тебе в деревне моей новый ученый свет, то-есть как за сохою ходить и как из каждой души золото делать; напротив того, лишаешься ты всего“. Признаюсь, государь мой, что я при сих словах остолбенел и, не могши ничего говорить, просил только себе двадцать четыре часа на размышление. Господин *Живописец!* поудержите бога ради отщепление ваше за сожжение двадцати листочков, ибо то учинено в первом жару и в крайней задумчивости, а теперь при таковых обстоятельствах потребен мне ваш совет, совет, от которого зависит все мое благополучие. Скажите, что должен я здесь предпринять? Во ожидании от вас скорого и полезного для меня совета, остаюсь вашим приятелем,

дворянин с одною душою.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 5.

На прошедшей неделе получил я с почтового двора письмо следующего содержания.

Слушай-ка, брат Живописец! На шутку, что ли, я тебе достался? Не на такого ты наскочил. Разве ты еще не знаешь приказных, так отведай, потягайся. Ведомо тебе буди, что я перед владимирской поклялся и снял ее, матушку, со стены в том, что как скоро приеду я в Петербург, то подам на тебя челобитье в бесчестье. Знаешь ли ты, молокосос, что я имею патент, которым повелевается признавать меня и почитать за доброго, верного и честного титулярного советника; ведаешь ли ты, что и в *подлости** есть при-словица: *не пойман, не вор, не подята, не...* А ты, забыв законы духовные, воинские и гражданские, осмелился назвать меня яко бы вором. Чем ты это докажешь? Я хотя и отрешен от дел, однакож

* Подлыми людьми по справедливости называться должны те, которые худые делают дела; но у нас, не ведаю, по какому предрассуждению, вкралось мнение почитать подлыми людьми тех, кои находятся в низком состоянии. (*Примечание Новикова.*)

не за воровство, а за взятки; а взятки не что иное, как акциденция. Вор тот, который грабит на проезжей дороге, а я брал взятки у себя в доме, а дела ворошил в судебном месте; кто себе добра не захочет? А к тому же я никого до смерти не убил; правда, согрешил перед богом и перед государем: многих пустил по миру; да это дело постороннее, и тебе до него нужды нет. Как перед богом не согрешить? Как царя не обмануть? как у него не украсть? Грешно украсть из кармана у своего брата, а это-то дело особое; у кого же и украсть, как не у царя: благодаря бога, дом у него как полная чаша, так хоть и украдешь, так не убудет. Глупый человек! да это и указами за воровство не почитается, а называется похищением казенного интереса. А похищение и воровство не одно: первое не что иное, как только утайка, а другое—преступление против законов и достойно кнута и виселицы. Правда, бывали и такие примеры, что и за утайку секали кнутом; блаженной памяти при **** это случалось; но ныне, благодаря бога, люди стали рассудительнее и за реченную утайку кнутом секут только тех, которые малое число утаят; да это и дельно: не заводи дела из безделицы. А прочих, которые приличаются в утайке больших сумм, отпущают жить в свои деревни. Видишь ли ты, глупый человек, что ты умничаешь по-пустому. Кто тебя послушается? Я помню, как один господин в бытность мою у него рассуждал о тебе так: он-де делает бесчестье всем дворянам, пиша эдакие письма; что-де подумают иностранные об нас, когда увидят, что у нас есть дураки, плуты. 1.

Понимаешь ли ты, что и верить этому не хотят, что есть бессовестные судьи, бесчеловечные помещики, безрассудные отцы, бесчестные соседи и грабители-управители. Что ж ты из пустого в порожнее пересыпаешь? Мне кажется, брат, что ты похож на постельную жены моей собачку, которая брешет на всех и никого не кусает. А это называется брехать на ветер; по-нашему, коли брехать, так уж и укусить, да и так укусить, чтобы больно да и больно было. Да на это есть другие собаки, а постельным хотя и дана воля брехать на всех, только никто их не боится. Так-то и ты пишешь все пустое: кто тебя послушается или кто испугается, когда не слушаются и не боятся законов, определяющих казнь за преступление. Слышал я от одного моего соседа, как один греческий мудрец сказал, увидя что..., да полно, ведь не все надобно говорить, об ином полно, что и подумаешь. Ну, брат маляр, образумился ли ты? Послушай, хотя ты меня и обидел, однакож я суда с тобою заводить не хочу, ежели ты разделаешься со мною добрым порядком и так, как водится между честными людьми. Сделаем мировую: заплати только мне да жене моей бесчестье, что надлежит по законам; а буде не так, то по суду взыщу с тебя все до копейки. Мне заплатишь бесчестье по моему чину, жене моей вдвое, трем сыновьям-недорослям вполы против моего жалованья, четверем дочерям моим, девицам, вчетверо каждой, а к тому времени авось-либо

¹ Пропуск в оригинале, очевидно, из цензурных соображений.

бог опростает мою жену и родит дочь, так еще и пятой запла-
тишь. Видишь ли, что я с тобою поступаю по-христиански, как
довлеет честному и доброму человеку. Смотри, не испортъ этого
сам и не разори себя. К эдаким тяжбам мне уже не привыкать:
я многих молодчиков отдал так, что одним моим, жены моей
и дочерей бесчестьем накопил, трем дочерям довольное приданое.

Что ж делать, живучи
в деревне, отставному
человеку? чем-нибудь
надобно промышлять.
Многие изволят умни-
чать, что, живучи в
деревне, можно-де раз-
богатеть одним домо-
строительством и хоро-
шим смотрением за
хлебопашеством; да я
эдаким вракам не ве-
рю. Хлеб таки хлебом,
скотина скотиною, а
бесчестье в головах. Да
полно, что об этом и
говорить, на такие глу-
пые рассуждения нече-
го смотреть: которая
десятина земли прине-
сет мне столько прибы-
ли, как мое бесчестье?
нет-ста, кто что ни го-
вори, а я таки свое
утверждаю, что бесче-
стьем скорее всего
разбогатеть можно.

Есть и такие умники, которые проповедывают, что бесчестье брать
бесчестно; но пусть они скажут мне: что почтеннее, честь или
деньги? что прибыльнее, честь или деньги? что нужнее, честь
или деньги? Коли есть деньги, так честь нажить не трудно, а с
честью, право, немного наживешь денег. Так-то, брат, я рассуж-
даю; да я думаю, что и многие хотя не согласятся на сие словами,
но в самом деле моим же правилам следуют. Итак рассуди хоро-
шенько, пожалуй, послушайся меня и не заводи тяжбы, так мы
и останемся приятелями, а это нет ничего, что ты меня выбранил:
брань на восту не виснет, лишь бы деньги у меня были в кар-
мане. А притом, постарайся уговорить племянника моего Фала-
лея***, чтобы он пошел в отставку и приезжал в деревню. Видно,
что ты с ним приятель, потому что он отдает тебе все отцовские
и материнские и мои письма для напечатания. За сим остаюсь
Октября 22 дня, 1772 года,
из сельца Краденова.

доброжелатель Ермолай.



ЯНВАРЯ 3 ДНЯ, 1797 ГОДА, ВЕСЕЛЮТЪ.

22 ВЪ 9 часи на Самопекѣ, церкви Николая
Чудотворца, въ домѣ Священника у Офицера
продается горничная дѣвка, знающая черную
работу. Тутъ же продается Холмогорскія коро-
вы спельныя и новотельныя. — 1.

17) Продается человекъ, знающій грамотѣ и
чесать волосы, годной въ рекрутѣ, съ женою,
искусною прачкою, и съ сыномъ; да женщина,
знающая готовить кушанье, съ дочерью видна-
го лица и росту, знающую шить въ памбурѣ и
ходить за Госпожею. Желающіе купить вмѣстѣ
и порознь, могутъ найти у Пятницкой церкви
въ домѣ Майора Сергѣева у нанимающаго Кол-
лежскаго Секретаря Бороздина. — 1.

Объявления из газеты
„Московские Вѣдомости“ 1797 г.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 12.

Почтенный господин издатель Живописца!

Недавно приедем из Петербурга в наши места, одним не без знати дворянином привезенное ваше новое издание нашим городским и деревенским окольным дворянам очень полюбилось; как женщины, так и мужчины наперерыв оное хвалят без усталости, говоря: „то-то разумный Живописец! он так малюет хорошо своими красками нынешние развратные светские обычаи, новоманерных петербургских щеголей и щеголих, что никто еще, кроме его, пороков их так живо не изображал. Прямо честный и разумный человек! достоин всякой похвалы и почтения. Дай бог, чтоб он подоле продолжал свое издание, несмотря на тех развратных кривотолков, которые, пороча добродетель, прилепляются к порокам; авось-либо исправит перенятое нашими молодыми господичами у иностранцев нововыдуманное обхождение, противное честному житию и благопристойности, чтоб и наши дети от них тем же, опаснее моровой язвы, поветрием не заразились, подражая во всем им“.

Я не знаю того, от искренности ли молодые наши дворяне и дворянки ваше издание хвалят, или из почтения к своим старым родственникам, бояся их раздражить. Видно, что и наша украинская молодежь с настоящего пути свихнулась: не хуже ныне стала вашей петербургской; кажется, и вашу бы перещегооляла, но та беда, что живут в деревнях с родителями и явно боятся прежние наши обычаи на ваши новые светские переменить, коих доброту с похвалою передко нам проповедывают приезжие от вас в том искусные знатоки; а наши деревенские вертопрахи и вертопрашки, развеся уши, рассказы их с прилежанием слушают и, кое-что переняв, тайком оному подражают. Вот, почтенный господин издатель! мнение наше украинское о вашем похвальном труде.

Мне ж ваше издание тем приятнее показалось, что вы, принимая ото всех присылаемые к вам всякие сочинения, помещаете оные в листах своих; сим обнадеясь, посылаю при сем к вам украинские ведомости, получаемые мною от окольных мест, с таким условием, если оные достойны быть помещены в вашем издании, то прошу поместить; если ж покажутся в чем противны, то издерите оные на завивку ваших волос; чрез что узная из следующего, и впредь присылкою тех не отречется, пребывающий к вам навсегда с отличным почтением.

Почтенный господин издатель!
ваш покорный слуга Хуляков.

От 8 ноября, 1772 года.
Из Украины.

УКРАИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ, 1772 ГОДА.

ИЗ ПОЛТАВЫ, ОТ 27 ОКТЯБРЯ.

На сих днях проявилась у нас новость: когда кто из молодых здешних благородных мужчих и женщин что говорит, то при произношении новоманерных петербургских слов несколько пришепetyвают и картавят. Случилось третьего дни одному магистратскому судье у здешнего знатного жителя быть на пирушке, где было великое множество молодых благородных обоого пола дворян, которые инако не разговаривали, как новым петербургским щегольским наречием, и при том пришепetyвали и картавили, говоря: так-де нежнее; коего он инако узнать не мог, выключая последних слов, когда б ему оно не растолковала его родственница, будучи уже в том сама довольно искусна. Она своему старому родственнику объявила, что сие новое щегольское наречие с нежным произношением привезено из Петербурга одним приезжим молодцом, между другими довольно знатным в нынешнем светском вольном обхождении; и что он так честен, что все оного правила безо всякой платы им показал, желая в таком искусстве более себе умножить сотоварищей.

ИЗ ГОЛТВЫ, ОТ 25 ОКТЯБРЯ.

Одна здешняя госпожа в преужасном находится бешенстве. Причину сей болезни приписуют тому, что бывшие у ней последние полюбовники за бесчинные похабства ее презрели. Лекари того города отказались, потому что они не знают и имени сей болезни, да и лекарств к исцелению оной не имеют. Муж, сердечно свою жену любя, объявляет, если кто ее от такой болезни вылечит, тому он уступает в награждение за труд половину истертого в любовных делах ее сердца, предоставляя другую половину себе.

ХАРЬКОВ, ОТ 2 НОЯБРЯ.

Его сиятельство, любезный наш граф Гальяков, по благополучном прибытии из отъезжего поля в здешний город, изволил дать всем здешним обоого пола дворянам знатный ужин и бал; и всему бывшему у него тогда собранию изволил объявить; если кто желает поставить его сиятельству новую нынешнего последнего манера совесть, на место прежде бывшей у него, а ныне пришедшей в ветхость, то уступает тому он в награждение самой лучшей доброты родовое хвастовство.

ПОДРЯДЫ.

Почтенному как насмешеством, так и грубиянством престарелому мужу потребно вместо отнятого у него гордостью в бытность его прошлого года в К..., знания в благородном и пристойном

обхождении; желающие поставить сто пять пуд и взять ниже про-
симой цены, могут являться в его доме.

Знатной украинской девице, как своею фамилиею, так и непо-
стоянством, потребно знание в выборе женихов до тысячи аршин,
а от нее взять за каждый аршин по пятидесяти аршин непо-
стоянства.

У знатной непостоянством одной сельской госпожи желающие
починить ветхое сердце, могут явиться к ней в *необстоятельном*
сельце, и о цене с нею персонально договариваться.

ПРОДАЖА.

У его сиятельства графа Гальякова продается ложь первого но-
мера, самой высокой работы, весьма педорогою ценою.

У господина Поджогина продаются насмешки и нахальство
разных сортов, оптом и в розницу; кто хочет бные товары по-
купать, тот может явиться у него самого.



ЖИВОПИСЕЦ.

ЛИСТ 21.

Государь мой!¹

Лишь только уверился я, что примечания мои вам нравятся,
то, не рассуждая о том, как покажутся они читателям, тотчас при-
нял намерение всячески стараться исполнить ваше желание. Но
между тем как стал я ввечеру прилежно рассуждать, по какой тро-
пинке босым моим ногам, слабым зрением направляемым, способ-
нее будет достигать сего предмета, отовсюду частым шиповником
заросшего, то пришел я от того сперва в задумчивость, а на-
последок почувствовал в себе от тяжелых дум такое расслабление
душевных и телесных сил, что, сидя на стуле, крепко уснул. Про-
должавшаяся тогда в покое моем тишина весьма много способство-
вала к тому, что в уме моем начертался очень явственно следую-
щий сон.

Показалось мне, будто я стою в пространной долине, окружен-
ной каменистыми горами, которые как будто связывала простираю-
щаяся над ними радуга; на ней златыми числами означено было
47 гр. 57½ мин. долготы, а 59 гр. 56¼ минут широты. Заходя-
щее солнце казалось тогда стоящим над хребтами оных гор и слабо
согревающим склоняющийся ко сну день. Слышимые издали весьма
приятные пения, благорастворенный воздух, красота устилаю-

¹ Это письмо, резко отличающееся от предыдущих обилием аллегорий,
налетом мистицизма и выпадами против материалистического учения,—
одно из первых свидетельств появления у Новикова масонских настроений.

аших долину цветов—все сие привело меня и сонного в восхищение. В превеликом от меня расстоянии виден был великолепный и самым чистым сиянием окруженный престол, от которого происходящий глас отзывался в ушах моих так: „Внемлите, о пресмыкающиеся черви! вы, жизнь которых прерывается как паутина; вы, вместилище души которых есть вихрем носимый прах; вы, которые быстро смотрите на землю, а не можете проникнуть песка, ее покрывающего; вы, которые возводите очи свои на небо, но густое облако приходит пред самый ваш предмет и скрывает его; внемлите, вещаю вам, и не ищите напрасно долговременных веселий и удовольствий в таком свете, где все переменам подвержено, ниже благоденствия, которое в одно мгновение ока может исторгнуться из рук ваших и удалиться от вас с такою скоростию, с какою бурный ветер заносит начертанные перстом младенца на песчаном морском берегу буквы. Око, трепещущее смертными ночи, не может видеть того, что предвечным определено. Итак, ждите, суетою дышащие животные, пока переселитесь в поля вечного благополучия, в здания, бурными ветрами никогда не колеблемые, в жилища, всегдашнего удивления достойные; но помните притом, что долг ваш есть тот, чтоб богу повиноваться и заповеди его исполнять“.

Выслушав со вниманием не очень приятные человеческому слуху слова сии, хотел я приблизиться ко престолу, но как скоро подумал я только о сем, то оный тотчас скрылся от глаз моих. Тогда предстал, во-первых, зрению моему храм Славы, стоящий посреди великолепного сада, в котором много было пальмовых и других иностранных деревьев, все с разными надписями; но я разобрал только две следующего содержания: *за превосходные качества наче всех возвышены*. Они начертаны были на средных климату нашему деревьях. В нарочитом отсюда отдалении росли яблони, между листвием которых видно было плодов много, но зрелых мало. Еще подальше видел я много всяких садовых и диких деревьев, но мне не можно было вблизи их рассмотреть, потому что старинная к ним тропинка вся усыпана была волчцами.

Вышед из сего сада, увидел я реку, по самой середине долину рассекающую и имеющую весьма чистую воду. По берегу сей реки шаталось великое множество каких-то рогатых животных, которые как будто с любопытством рассматривали в прозрачной воде собственные свои подобию и оными любовались.

Неподалеку от того места, где река сия впадает в море, усмотрел я два не очень великие, однако изрядные, садика, которые и переманили меня на другой берег. Подходя к ним, увидел я, что из одного везут целую телегу бесполезных трав, на место которых пронесли туда несколько мешочков хороших семян. Я спросил у идущего за помянутою телегою человека, от чего завелись в сем саду негодные травы? а он сказал мне на то в ответ: *где нет худых растений, там не растут и хорошие*. При входе в другой садик лежало много гибких ветвий разного рода дерев. Вошед в оный, увидел я, что муж лет семидесяти, на лице которого человеколюбие, беспристрастие и прямая к пользе отечества ревность ясными

изображены были чертами, выбирает самые лучшие веточки, а окружающие его малолетние дети плетут из оных разной величины веночки. Любопытен будучи знать, на какой конец плетут они так много венков, стал я просить у одного почтенного мужа решения на мое недоумение. Глядя умильным на меня оком, сказал он: „Все сии венки относим мы к стоящему на другом берегу храму Славы и кладем их к подножию оного; а чем лучше сплетены веночки, тем счастливее бывают на возрасте своем сии дети“. Я заметил, что все состоящие под ведомством сего мужа дети весьма благонаправны, и, пришед от того в восхищение, сказал: „благополучна та страна, где юношество к пользе государя, ко благосостоянию общества, ко преодолению господствующих в народе предрассуждений и к собственному своему благополучию хорошо воспитывается“.

По удалении моем из оных садиков увидел я вдали огромные храмы; но лишь только стал я приближаться к одному из них, то встретили чрезвычайно ласково как меня, так и других для богомолля идущих людей мудрецы, которые то французскими, то русскими выражениями по физике доказывали, что солнце, луна, звезды, земля и все вообще строение мира могло получить свое бытие и без посредства божия. Многие из тех, которые твердо знали французский язык, принимали доказательства их за справедливые и, не входя во храм, возвращались домой с сердцами гордыми, памятозлыми и равномерно как на друзей, так и на недругов своих неугасимую ненавистию пылающими. Другие, напротив того, не слушали мечтательных и богопротивных их доказательств, но проходили, оглядываясь на них с презрением, во внутренность храма; с сими последними вошел и я и, имея покорное сердце к существу, непостижимому для разума человеческого, безднами заблуждения окруженного, со слезами просил его, дабы обратил на путь истинный заблуждших моих сограждан. Отсюда пошел я во след за незнакомым стариком, который идучи тихо ворчал про себя следующее: „Неужели и во всех государствах такие произрастают от наук плоды?—Никак!—Науки приносят обществу великие пользы и связывают его самыми крепкими узами здравого рассудка; они учат жить добродетельно и богу достою должное воздавать почтение; а что люди, не исследовав еще совершенно и того, что всегда у них в глазах, желают знать и сокрытое черною завесою от слабого их зрения, тому причиною собственное их безумие.—Так, подлинно так,—продолжал он,—и этой заразы ничем другим предупредить не можно, как только частым напоминанием молодым людям того, что кто бога забывает, тот верно навлекает на себя праведный его гнев“.

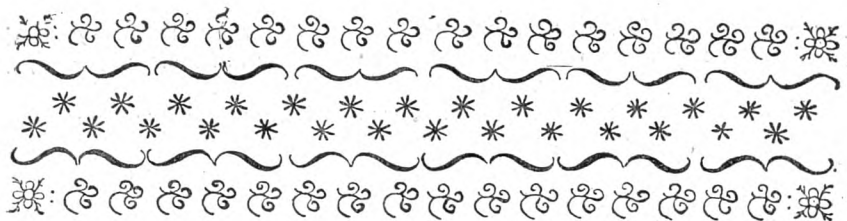
Отстав от сего старика, вышел я на большую улицу, по которой едущие издали кареты блеском своим меня остановили. Но между тем как кареты сии ближе подъезжали, подошел ко мне какой-то старичок и, приметя, с каким удивлением смотрю я на оные кареты, стал мне на ухо говорить: „Не думаешь ли, что разбегжающие в сих каретах щеголи все вообще богаты? Нет! этого никогда не бывало.—Многие из них берут у меня деньги в долг, но очень

худо платятся. Вот как знатно ведет себя иностранное купечество! Да полно, и у нас то же самое будет. Мы старики денежки кошим, а детушки их промотают, да и спасибо не скажут“.

Так рассуждал сей старик, как я от прекрепкого сна стал пробуждаться, а потом, сев за стол, напсал к вам сие письмо, которого содержание отдаю на ваше рассуждение. Простые у нас в России люди много верят снам и предузнают по них будущее свое благополучие или несчастье. Но как они часто в том и шибаются, то я, не требуя от простолюдимов истолкования, прошу вас покорно справиться, нет ли в каких-нибудь толкующих сны по Зодиям книгах изьяснения хотя на главные предметы сего моего привидения. Или не произошло ли оно от исправно и сильно действующих в душе моей понятий о добрых и худых делах, которые в знатных гражданских обществах всегда происходят? В ожидании от вас сего благоприятства остаюсь

Отечеству своему всякого блага
желающий Р.....





ДРУГ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
или
СТАРОДУМ.

Периодическое сочинение,
посвященное истине.

1788 г.

Вот заглавие, под которым, издаваться будет на сей 1788 год новое периодическое сочинение под надзиранием сочинителя комедии *Недоросль*. Напрасно было бы предварять публику, какого рода будет сие сочинение, ибо образ мыслей и объяснения Стародума довольно известны. Целый год состоять будет из двенадцати листов. Первые четыре получить будет можно в начале мая, вторые четыре в начале сентября, а последние четыре в начале будущего года.

Подписка на сие сочинение отворена у книгопродавца Клостермана на следующих кондициях:

Каждый экземпляр, то-есть двенадцать листов, стоить будет один рубль пятьдесят копеек. Желающие подписаться благоволят внести сии деньги и взять билет, с которым в первых днях мая можно будет получить первые четыре листа, и билет на достальные восемь листов, кои раздаваться будут в означенный срок непременно.

Сие сочинение хотя и готово, но прежде печатано не будет, как разве подпишутся на семьсот пятьдесят экземпляров до первого марта, после которого подписка продолжаться не будет. Но ежели до сего числа на помянутое количество экземпляров подписано не будет, то сие сочинение вовсе напечатано быть не может.

Переводы из сего периодического творения вовсе исключаются. Ни одно сочинение, где-нибудь напечатанное, в сей книге места иметь не может. Словом, все сочинения будут совсем новые, а раз-

ве знакомые потому, что некоторые из них в публице ходят рукописные.

Имена подписавшихся при начале книги напечатаны будут и все старания приложатся, чтобы удовлетворить почтенную публику и со стороны типографской части.

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ.

С.-Петербург, января 1788.

Я должен признаться, что за успех комедии моей *Недоросль* одолжен я Вашей особе. Из разговоров Ваших с Правдиным, Милоном и Софьею составил я целые явления, кои публика и доньше с удовольствием слушает; но как болезнь моя не позволяет мне упражняться в роде сочинений, кои требуют такого непрерывного внимания и размышления, каковыя потребны в театральных сочинениях; с другой же стороны, привычка упражняться в писании сделала сие упражнение для меня нуждою, то и решился я издавать периодическое творение, где разность материй не требует непрерывного внимания, а паче может служить мне забавою. Но чтоб быть мне вернее в успехе труда моего, я назвал его Вашим именем и покорнейше Вас прошу принять в нем искреннее участие, сообщая мне для помещения в сию книгу мысли Ваши, кои своею важною и правоучием, без сомнения, российским читателям будут нравиться. Не страшусь я строгости цензуры, ибо Вы, конечно, не напишете ничего такого, чего бы напечатать было невозможно. Век Екатерины Втория ознаменован дарованием россиянам свободы мыслить и изъясняться. *Недоросль* мой, между прочим, служит тому доказательством, ибо назад тому лет за тридцать Ваша собственная роль могла ли бы быть представлена и напечатана? Правда, что есть и ныне особы, стремящиеся угнетать дарования и препятствующие выходить всему тому, что ежечество и порок их обличает; но таковое немощной злобы усилие, кроме смеха, ничего другого ныне произвести не может. Итак, я ласкаюсь, что Вы, по ревности Вашей к общему благу, не отречетесь вспомоществовать мне в моем предприятии сообщением мне всего того, что, как найдете Вы, для честных людей, которых по справедливости назвали Вы себя другом, может быть приятно и полезно. Моя же благодарность к Вам равняться будет тому душевному почтению, с которым навсегда пребываю, и проч.

Сочинитель Недоросля.

ОТВЕТ СТАРОДУМА.

Москва, января 1788.

С удовольствием соглашаюсь принять участие в Вашем периодическом сочинении. Я буду сообщать мысли мои по мере, как они мне в голову приходять будут. Красноречия от меня не ожидайте, ибо Вы сами знаете, что я не писатель, а буду говорить полезные истины для того только, что мы, богу благодарение, живем в том

веке, в котором честный человек может мысль свою сказать безбоязненно. Я сам жил большей частью тогда, когда каждый, слушав двоих так беседающих, как я говорил с Правдиным, бежал прочь от них стремглав, трепеща, чтоб не сделали его свидетелем вольных рассуждений о дворе и о дурных вельможах; но, чтоб мой сей разговор приведен был в театральное сочинение, о том и



Д. И. Фонвизин,

помышлять было невозможно; ибо погибель сочинителя была бы наградою за сочинение. Екатерина расторгла сии узы. Она, отверзая пути к просвещению, сняла с рук писателей оковы и позволила везде охотникам заводить вольные типографии¹, дабы умы имели повсюду способы выдавать в свет свои творения. Итак, российские писатели! какое обширное поле предстает Вашим дарованиям! Если какая рабская душа, обитающая в теле знатного вельможи, устремится на Вас от страха, чтоб не терпеть унижения от Ваших обличений; если какой-нибудь бессовестный лихо-

¹ В 1771 г. был опубликован указ о разрешении первой вольной (т. е. частной) типографии для печатания книг на немецком языке. В 1776 г. разрешено заводить русские вольные типографии.

и спасителем сограждан своих и отечества. Дабы обещание мое о принятии участия в Вашем сочинении было не на словах, а на деле, сообщаю Вам теперь же несколько писем с моими ответами. Вы можете поместить их в Вашу книгу, если рассудите за благо; а я навсегда пребываю, и проч.

Стародум.

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ ОТ ДЕДИЛОВСКОГО ПОМЕЩИКА ДУРЫКИНА ¹.

Имея честь быть Вашим соседом, прошу не прогневаться, что я, без всяких моих заслуг, утруждаю Вас сим письмом. Я знаю, что Вы в Москве много знакомцев имеете и любите людей ученых, а мои обстоятельства вот каковы:

Я имею шестерых детей: трех мужского и столько ж женского пола. Для девочек переманили мы от соседа мадаму, которая за ними смотрит и за которою мы смотрим; она называется мадам *Лудо*, неизвестно какой нации. Большой мой сын, Феденька, по семнадцатому году, читать и писать умеет, а Митюшка и Павленька еще не начинали грамоте. Митюшка матушкин сынок; с ним надобно обходиться нежно, ибо он слабого здоровья. Я хотел бы выписать из Москвы учителя, но только не немца, ибо боюсь взять Вральмана. Не худо было бы, еслиб Вы сделали милость, посмотрели из университетских студентов, а кондиции мои при сем прилагаю, пребывая впрочем...

Дурыкин.

Кондиции для учителя дому Дурыкина.

1. Учитель должен быть из русских, уметь по-французскому, по-немецкому, сочинять стихи, сколько потребно для домашнего обихода. Не худо, чтобы он знал и арифметику.

2. На год дам ему двести рублей, а он должен учить детей моих со всею кротостию.

3. Жить он будет у меня в доме; обедать с камердинером.

4. А как я, по милости божией, имею чин генеральский, будучи отставлен действительным статским советником, то я именно требую, чтоб он в разговорах со мною и с женою давал нам чаще титул превосходительства.

5. При гостях в наше присутствие он садиться не должен.

6. С мадамою *Лудо* отнюдь не амуриться, дабы не подать худого примера жене моей, а потом и дочерям.

7. При мне и при жене моей ни шляпы, ни колпака отнюдь не надевать; но из человеколюбия в зимнее время дозволю накрыться, и то когда метель большая.

¹ Алексей Веселовский весьма убедительно доказывает, что „переписка между дедиловским помещиком Дурыкиным и Стародумом о прискании учителя для помещичьих детей в главных своих чертах и даже во многих выражениях взята из „Сборника сатирических сочинений“ любимого в восемнадцатом веке немецкого сатирика Рабенера, с переделкой имен на русский лад“. См. Алексей Веселовский, *Западное влияние в новой русской литературе*, М. 1916, стр. 83.

8. В сутки будет он получать по три бутылки русского пива домашнего варенья.

9. Не худо, еслиб он взял на себя вести мои приходные и расходные книги, а притом бы умел причесать ребятам моим волосы, также и парик бы мой взял под свой присмотр.

10. Он должен исполнять все сие условие, под опасением, в противном случае, быть выгнату по шее из дому; ибо я признаюсь, что нрав у меня бешеный, да и будучи в генеральском чине, может быть, не могу воздержатъ себя противу студента, в службе моей находящегося, хотя бы он и офицерского был чина.

ОТВЕТ СТАРОДУМА ДУРЫКИНУ.

Письмо Ваше, государь мой, казал я одному университетскому профессору, который на просьбу мою о приискании в дом Ваше студента отвечал мне письменно. Вот и письмо его.

Стародум.

ПИСЬМО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРОФЕССОРА К СТАРОДУМУ.

Я говорил некоторым нашим студентам о предлагаемом им месте в доме его превосходительства Дурыкина. Охотники есть, но, правду сказать, большая часть ставят учительское звание ниже себя, а хотят чинов; один однакож объявил мне свое желание быть учителем. Он из малороссиян, называется господин *Срамченко*—филолог и философ, а иные уверяют, что и мартинист¹, но просит в год не меньше трехсот рублей, хотя живет по духу, а не по плоти. Знает по-французски, а больше по-латыни, арифметику до тройного правила; от стихов однакож просит увольнения; обещает воздавать его превосходительству должное почтение, но обедать с камердинером не соглашается. Предложение о чесании волосов и о надзирании над его париком почитает себе обиду, ибо сие называет он рукоделием. Расходные и приходные книги вести не берется. От искушения касательно мадам Лудо всемерно остерегаться будет, почему и я подозреваю его мартинистом.

Представился мне еще молодой человек 22 лет; поучен изрядно. Я оставил его у себя обедать и нахожу, что жрет без милосердия. Он требует, кроме обеда и ужина, чтоб дан был ему добрый завтрак, а не меньше и полдник, также чтоб и предлагаемая порция пива была удвоена.

Господин *Кераксин* желает также быть учителем, просит 250 рублей на год. Он знает по-гречески, по-еврейски, но не знает по-русски, что, кажется, для детей его превосходительства и не нужно. Ныне, к сожалению, многие из русских дворян хотят детей своих учить по-русски; но, по истине, охота сия есть одна пустая затея; ибо сам г-н Дурыкин грамотою ли дослужился до титула превосходительства?

¹ Т. е. масон.

Цезуркин, ремеслом пиита, желает также иметь место у господина Дурькина. Он обещает каждый раз, для именин его превосходительства и каждого из чад его, сводить в стихах своих всех богов с Олимпа, просит по копейке за стих, да к святкам кафтана с плеча его превосходительства, хотя довольно поношенного. Он весьма забавного нрава и шутит так умно, что в доме дурака не надо; ни на кого не сердится, разве только кто стихи его похулит.

Красоткин, студент весьма щеголеватый, убирается как кукла, да и думает не иначе. Он с удовольствием берется перечесть волосы детям его превосходительства, умеет выводить из платья пятна и вырезать из бумаги разные фигуры. За одно только ручаюсь, а именно, чтоб не завел он каких пашней с мадам Лудо, или с ее превосходительством, ибо он и моей жене повернул голову.

ПИСЬМО ДУРЫКИНА К СТАРОДУМУ.

Предлагаемые господином профессором в дом мой студенты кажутся мне все ребята достойные быть учителями у детей благородных, и для того я боюсь выбрать одного без обиды другому. Покорно прошу уговорить господина профессора, чтоб он всех сих господ созвал к себе в дом и сделал род аукциона: кто возьмет дешевле, того я и беру, и с тем может он заключить контракт на шесть лет. Впрочем пребываю

Дурькин.

ПИСЬМО К СТАРОДУМУ ОТ ПЛЕМЯННИЦЫ ЕГО СОФЬИ.

С.-Петербург, января 1788.

Я теперь нахожусь в самом лютом положении; прибегаю к Вашему благоразумию; будьте, милостивый государь дядюшка, моим руководителем и подайте мне спасительный совет. Сколько по склонности, столько и следуя Вашей воле, выпла я за Милона; несколько времени вела я с ним жизнь преблагополучную, но мы приехали в Петербург, где узнала я прямое несчастье: Милон мне неверен! Он влюблен, и в кого? В презрительную женщину, как-вые наполняют здешние вольные маскарады и, будучи осыпаны бриллиантами, соблазняют молодых людей, не имеющих испытания, и довели здешнюю публику до того, что всякая порядочная женщина не может уже посещать сих собраний. Одна из сих нечестивых поймала в сети свои моего мужа, которого я обожаю. Сердце мое терзается день и ночь. Я ревную до безумия. Ум мой занят вымыслами об отмщении. Жизнь моя продолжиться не может, если я еще останусь в настоящем положении. Что мне делать, милостивый государь дядюшка? Не отрекитесь подать мне совет и вывести меня из бедствия. Я есмь и прот.

Софья Милонова.

ОТВЕТ СТАРОДУМА СОФЬЕ.

Москва, января 1788.

С сердечным сожалением узнал я из письма твоего, в какую слабость поверг себя Милон. Он влюблен в презрительную женщину, а ты, моя Софьюшка, ревнуешь к сей твари! Я весьма знаю молодцов, подверженных такой слабости. Сии женщины, наполняющие Ваши вольные маскарады, каковых число и у нас в Москве становится довольно велико, имеют особенное искусство ловить молодых людей в свои сети и вертеть им головы. Верь, однакож, Софьюшка, что и твоя голова не в лучшем состоянии. Ты сокрушаешься день и ночь, занимаешься отмщением. Остерегись, друг мой! Ты неблагоприятно поступаешь. Добродетель жены не в том состоит, чтоб быть на страже у своего мужа, а в том, чтоб быть соучастницею судьбы его, и добродетельная жена должна сносить терпеливо безумие мужа своего. Он ищет забавы в объятиях любовницы, но по прошествии первого безумия будет он искать в жене своей прежнего друга. Паче всего не усугубляй одного зла другим, ни одного дурачества другим, сильнейшим. Огонь, которого не раздувают, сам скоро погасает: вот подобие страстей. Сражаясь упорно с ними, пуще их раздражаешь; не примечай их, они сами укротятся.

Познай все свое неразумие. Муж твой старается скрыть от тебя обиду, которую тебе делает, а ты стараешься показать ему, что тебе она известна. Разве не чувствуешь ты, что срываешь завесу и что он не будет иметь причины воздерживаться и станет обижать тебя явно? Пожалуй, не основывай любви своей на его ласках, но на его честности. Знай, что честность есть душа супружеского согласия. Прелести забав повергают его на колени пред другою; но, возвращаясь к тебе, ищет он и любит находить милого своего друга, разделяющего судьбу его; рассудок его влюблен в тебя и только страсть одна влечет его в объятия твоей соперницы; но страсти скоротечны; насыщение следует за ними скоро; минута их воспламеняет, минута погашает.

Если мужчина не развращен вовсе, то к презрительной женщине долго привязан быть не может.

Скоро отстанет он от порочных забав, кои стоят всегда очень дорого. Муж твой не успеет почувствовать, что он вредит сам себе, что разоряется и отваживается потерять свое доброе имя. Он имеет столько рассудка, что не пойдет упорно на свою погибель. Он познает свою опасность и почувствует необходимость возвратиться на путь добродетели; права супруги призовут его опять к ней. Тогда он познает прямую цену твою, не сможет вспомнить без стыда о прошедшем своем поведении; ты найдешь его в раскаянии и любви твоей достойным.

Паче всего, любезная Софья, оставь презрительным женщинам их уловки. Кротость, верность, старание о доме, горячность к детям, уважение к друзьям мужа своего—вот уловки честной женщины.

Стыдись показывать ревность свою к развратной. Одно благороднейшее поревнование тебя достойно. Не уступай в добродетели женам добродетельнейшим. Не питай злобы в сердце своем; будь всегда готова к примирению; благонравие одно делает неприятелей наших к нам благосклонными; благонравие одно делает женщину почтенною. Одно оно дает женам владычество над мужьями. Выбери любое: или принудь мужа своего почитать тебя, или будь его рабою.

Ты имеешь способ упрекать его в дурном поведении; сей способ есть твоя добродетель. Ею пристыди его, ею принудь его просить у тебя прощения. Когда почувствует он всю свою несправедливость, когда увидит, что ты ее не заслуживаешь (и какая была бы для него потеря, еслиб ты любить его перестала!), тогда он больше тебя любить станет. Обыкновенно цена здоровья ощущается после болезни; равномерно несогласия любящих делают примирение приятнейшим.

Но буде ты внимать мне не хочешь, то пожалуй продолжай безумную свою ревность. Рассудок мужа твоего болен; являй, что и твой не здоровее. Он отваживается потерять свое доброе имя, теряй и ты свое. Он разоряется, помогай ему в разорении; думая наказывать его, наказывай себя. Но нет, Софьюшка, не вдавайся ты в сии крайности. Скрывай страдания сердца твоего; терпи великодушно. Вот способ прекратить твое бедствие. Я никогда не перестану быть твоим искренним другом.

Стародум.

Р. S. Сегодня никаких советов не пишу я к Милону, дабы не подать ему подозрения, что ты мне на него жаловалась. Со временем я и к нему со всею искренностию писать буду.

ПИСЬМО ТАРАСА СКОТИНИНА К РОДНОЙ ЕГО СЕСТРЕ ГОСПОЖЕ ПРОСТАКОВОЙ.

Матушка сестрица! я по отпуске сего письма жив, но в превеликом горе. Тебе не безызвестно, что в деревенской жизни свиной завод мой составляет главное мое удовольствие. На сих днях сделалось у меня несчастье; я чуть было не дошел до отчаянности. Лучшая моя пестрая свинья, которую из почтения к покойной нашей родительнице (ты знаешь, что я всегда был сын почтительный) прозвал я ее именем, Аксинья скончалась от заушницы. Сколько ни старался я об ее излечении, но вижу, что и свиные врачи не искуснее человеческих. Лечили несколько месяцев, денег перевели пропасть, а кончилось дело кончиною моею дражайшей Аксиньи, которая была дороже жизни и всего завода. Она жила беспорочно. Я между женщинами многих Аксиний знаю, по моя жила их целомудреннее. Как скоро мне сказали, что она трудна, с тех пор не выходил я из хлева до последнего ее издыхания. Она умирала геройски, не показывая никакого знака нетерпения. Я, будучи также смертный, истинно, глядя на нее, учился умирать.

Сие несчастное приключение переменяло совсем нрав мой. Мне свет опостылел. Я чувствую, что потерял прежнюю мою к свиньям охоту; но надобно чем-нибудь заняться. Хочу прилепиться к правочению, то-есть исправлять нравы моих крепостных людей и крестьян; но как к достижению сего лучше взяться за кратчайшее и удобнеее средство, то находя, что словами я ничего сделать не могу, вознамерился нравы исправлять березой. Всегдашняя склонность моя влекла меня к строгости. Лишась моей Акиньи, не буду знать ни пощады, ни жалости, а там пусть со мною будет, что будет. Я хочу, чтоб действие надо мною столь великой потери ощутили все те, кои от меня зависят. Ты знаешь, матушка, что всякую мою досаду, кольми паче несчастье, над людьми моими вымещаю, и если между твоими крепостными найдутся такие, коих нравы исправлять надобно моим манером, то присылай ко мне; а я на свою руку охудки не положу, и всегда рад тебе доказывать, что я твой достойный брат

Тарас Скотинин.

ПИСЬМО СТАРОДУМА К СОЧИНИТЕЛЮ НЕДОРОСЛЯ.

Москва, февраля 1788 года.

На сих днях попались мне в руки ходящие здесь рукописные два сочинения: 1-е, *Всеобщая Придворная Грамматика*; и 2-е, *Письмо Взяткина к покойному его превосходительству, с ответом*. Идея первого сочинения совсем новая, а второе обнаруживает бездельнические способы к угнетению бедных и беспомощных. Оба кажутся мне достойны быть помещены в творениях, посвященных истине. Для того я их при сем к Вам сообщаю, пребывая м проч.

Стародум.

ВСЕОБЩАЯ ПРИДВОРНАЯ ГРАММАТИКА.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ.

Сия Грамматика не принадлежит частно ни до которого двора: она есть всеобщая, или философская. Рукописный подлинник оной найден в Азии, где, как сказывают, был первый царь и первый двор. Древность сего сочинения глубочайшая, ибо на первом листе Грамматики хотя год и не назначен, но именно изображены сии слова: *вскоре после всеобщего потопа*.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ВСТУПЛЕНИЕ. †

Вопр. Что есть Придворная Грамматика?

Отв. Придворная Грамматика есть наука хитро льстить языком и пером.

Вопр. Что значит хитро льстить?

Отв. Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезна.

Вопр. Что есть придворная ложь?

Отв. Есть выражение души подлой пред душою надменною. Она состоит из бесстыдных похвал большому барину за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет.

Вопр. На сколько родов разделяются подлые души?

Отв. На шесть.

Вопр. Какие подлые души первого рода?

Отв. Те, кои сделали несчастную привычку, без малейшей нужды, в передних знатных господ шататься вседневно.

Вопр. Какие подлые души второго рода?

Отв. Те, кои, с благоговением предстою большому барину, смотря ему в очи рабленно и алчут предугадать мысли его, чтобы заранее угодить ему подлым таканьем.

Вопр. Какие суть подлые души третьего рода?

Отв. Те, которые пред лицом большого барина, из одной трусости, рады все всклепать на себя небывальщины и от всего отпереться.

Вопр. А какие подлые души рода четвертого?

Отв. Те, кои в больших господах превозносят и то похвалами, чем гнушаться должны честные люди.

Вопр. Какие суть подлые души пятого рода?

Отв. Те, кои имеют бесстыдство за свои прислуги принимать воздаяния, принадлежащие одним заслугам.

Вопр. Какие же суть подлые души шестого?

Отв. Те, которые презрительнейшим притворством обманывают публику: вне дворца кажутся *Катонами*¹; вопиют против льстецов; ругают язвительно и беспощадно всех тех, которых трепещут единого взора; проповедуют неустрашимость; и по их отзывам кажется, что они одни своею твердостью стерегут целость отечества и несчастных избавляют от гибели; но, переступив чрез порог в чертоги государя, делается с ними совершенное превращение: язык, ругавший льстецов, сам подлаживает им подлейшую лестию; кого ругал за полчаса, пред тем безгласный раб; проповедник неустрашимости боится нектати взглянуть, нектати подойти; страж целости отечества, если находит случай, первый протягивает руку ограбить отечество; заступник несчастных, для малейшей своей выгоды рад погубить невинного.

Вопр. Какое разделение слов у двора примечается?

Отв. Обыкновенные слова бывают: *односложные, двусложные, троесложные и многосложные*. Односложные: так, князь, раб; двусложные: силен, случай, упал; троесложные: милостив, жаловать, угождать, и наконец многосложные: *Высокопревосходительство*.

Вопр. Какие люди обыкновенно составляют двор?

Отв. Гласные и безгласные.

¹ Известны два Катона: Катон Старший и Катон Утицкий. Оба эти древнеримские деятели отличались неподкупностью.

Вопр. Что разумеешь ты чрез гласных?

Отв. Чрез гласных разумею тех сильных вельмож, кои по большей части самым простым звуком, чрез одно отверстие рта, производят уже в безгласных то действие, какое им угодно. Например: если большой барин, при докладе ему о каком-нибудь деле, нахмурясь скажет: *о!*—того дела вечно сделать не посмеют, разве как-нибудь перетолкуют ему об оном другим образом, и он, получаю другие мысли, скажет тоном, изъясляющим свою ошибку: *а!*—тогда дело обыкновенно в тот же час и решено.

Вопр. Сколько у двора бывает гласных?

Отв. Обыкновенно мало: три, четыре, редко пять.

Вопр. Но между гласными и безгласными нет ли еще какого рода?

Отв. Есть: полугласные, или полубояре.

Вопр. Что есть полубоярин?

Отв. Полубоярин есть тот, который уже вышел из безгласных, но не попал еще в гласные; или, иначе сказать, тот, который пред гласными хотя еще безгласный, но пред безгласными уже гласный.

Вопр. Что разумеешь ты чрез придворных безгласных?

Отв. Они у двора точно то, что в азбуке буква *Ъ*, то-есть: сами собою, без помощи других букв, никакого звука не производят.

Вопр. Что при словах примечать должно?

Отв. Род, число и падеж.

Вопр. Что есть придворный род?

Отв. Есть различие между душою мужескою и женскою. Сие различие от пола не зависит: ибо у двора иногда женщина стоит мужчины, а иной мужчина хуже бабы.

Вопр. Что есть число?

Отв. Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать можно; а иногда счет: сколькими полугласными и безгласными можно свалить одного гласного; или же иногда, сколько один гласный, чтоб устоять в гласных, должен повалить полугласных и безгласных.

Вопр. Что есть придворный падеж?

Отв. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, большая часть бояр думает, что все находятся перед ними в *винительном падеже*; снискивают же их расположение и покровительство *обыкновенно падежом дательным*.

Вопр. Сколько у двора глаголов?

Отв. Три: *действительный, страдательный, а чаще всего отложительный*.

Вопр. Какие наклонения обыкновенно у двора употребляются?

Отв. Повелительное и неопределенное.

Вопр. У людей заслуженных, но беспомощных, какое время употребляется по большей части в разговорах с большими господами?

Отв. Прошедшее, например: я изранен, я служил, и тому подобное.

Вопр. В каком времени бывает их ответ?

Отв. В будущем, например: посмотрю, доложу, и так далее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. О ГЛАГОЛАХ.

Вопр. Какой глагол спрягается чаще всех и в каком времени?

Отв. Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: *быть должным*. (Для примера прилагается здесь спряжение *настоящего времени*, чаще всех употребительнейшего):

Настоящее:

Я должен.	Мы должны.
Ты должен.	Вы должны.
Он должен.	Они должны.

Вопр. Спрягается ли сей глагол в прошедшем времени?

Отв. Весьма редко: ибо никто долгов своих не платит.

Вопр. А в будущем?

Отв. В будущем спряжение сего глагола употребительно: ибо само собою разумеется, что всякий непременно в долгу будет, если еще не есть.

ПИСЬМО, НАЙДЕННОЕ ПО БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЕ НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА ВЗЯТКИНА, К ПОКОЙНОМУ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ***.

Москва, 1777.

Милостивый государь и второй отец!

С крайним сердца нашего обрадованием, чему свидетель господь сердцевидец, услышал я с женою моею Улитюю и с детьми нашими обоего пола, что Ваше Превосходительство, так сказать, из ничего, по единой божеской благодати, слепым случаем произведены в большой чин и посажены знатным судьей, весьма в непродолжительное время и без всяких трудов, по единой милости создателя, из ничего всю вселенную создавшего. К стопам Вашего Превосходительства упадая, просим рабски не оставить нас по делам нашим, которым и реестрец маленький вкратце приложить возымел я дерзость, а при нем прилагаю Вам, государю и отцу, сторублевую ассигнацию, на первый случай, зная издревле благочестивую душу Вашего Превосходительства, пред которою *всяко даяние благо и всяк дар совершен*. Да и поистине, милостивый государь и отец, жизнь наша краткая; не довлеет пренебрегать такие благознаменные случаи, в которые Ваше Превосходительство можете приобрести стяжания в роды родов. Теперь-то пришло время благополучия нашего: истцы и ответчики, правые и виноватые, богатые и *убозии*, все в руде Вашего Превосходительства. Что же касается

до казны, то, по моему глупому разуму, несть греха и до нее от времени до времени, прикасаться; ибо не Ваше Превосходительство, так другой, а казна никогда от рождения в целости не бывала, да и быть едва ли может, да и, видно, таков положен ей предел, *его же не преиде*. При толиких удобных благополучиях да не буду и я отриновен от благодати Вашего Превосходительства, и не возможно ли, милостивый государь и второй отец, перетащить меня из Москвы в С.-Петербург, хотя тем же чином, для прислуг Вашему Превосходительству; а когда соизволите усмотреть приращение интересов Ваших моими усердными и беспорочными трудами в приискании известных случаев ради помянутого приращения, то и о произведении меня чином отеческое попечение возымеете. Да еще ж прошу Вас, государя и отца, о сыне моем Митюшке, ежели возможно, взять его к себе хотя в копиисты, а его господь наградить благоволил, что он к приказным делам весьма сроден и уже под моим смотрением сочинил совсем нового рода сводное уложение, приискав на каждое дело по два указа, из коих по одному отдать, а по другому отнять ту же самую вещь неоспоримо повелевается; так я и думаю, что из него прок будет и он удостоится отеческой Вашей милости; на что и ожидаю Вашего указа. Истинно, милостивый государь и отец! теперь Ваше, а по Вас и наше время настало; а на первый случай хотя народу и тяжело будет, да когда в производствах своих соблаговолите ссылаться на законы, к чему и убогие Митюшкины труды могут пригодиться, то по неволе замолчат наши недоброхоты. Государь и отец! рассудите сами по чистой совести: буде челобитчик и ответчик ищут своей пользы в законах, то для чего же судье своей пользы не искать в законах? От таковой выключки обороны нас вышний; а я по конец жизни вечно и по гроб мой до последнего издыхания пребываю,

Вашего Превосходительства, милостивого государя и отца,
всесоко́рнейший слуга и раб, Артемон Взяткин,
к стопам повергаюсь.

Краткий реестр для напоминания всеуниженной просьбы надворного советника Взяткина, с означением цен, клятвенно обещаемых Его Превосходительству за милостивую протекцию и покровительство.

1. Имеется межвое дело бывшего воеводского товарища, Антропа Шильникова, с разными беззаступными помещиками. Вместо потребных документов, коих реченный Шильников нигде отыскать не может, да заступит едино предстательство Вашего Превосходительства за 500 руб.

2. Ассесор Воров ищет места в дальних наместничествах, дабы слух о производствах его не достигал никогда до столицы. Человек он кроткий и славы не любит. Чрез полгода, по прибытии в его место, не преминет он Вашему Превосходительству повергнуть чрез меня 500 руб.

Потом ежегодно, пока продлит бог века Вашему Превосходительству по 1000 руб.

3. Вдова штаб-офицера Беднякова, имеющая вексельное дело с купцом Плутягиным, потащилась в С.-Петербург искать правосудия. Не возможно ль, государь и отец, удостоить отеческим покровительством реченного Плутягина и, не допуская до подания челобитной, под каким ни есть предлогом выгнать из столицы реченную вдову Беднякову? За таковое человеколюбивое благодеяние, которое в настоящем случайном благополучии Ваше Превосходительство всего удобнее показать можете, реченный купец подносит 500 руб.

4. Советник Криводушин, находящийся в известном наместничестве, просит сильного рекомендательного письма Вашего Превосходительства, дабы он употреблен был при рекрутских наборах; и если, как надеяться должно, будет он удостоен сей весьма важной для поправления дел его комиссии, то в каждый таковой благополучный и возжеланный год Ваше Превосходительство на верное благоволите считать от него по 1500 руб.

5. Находившийся при таможенных сборах ассесор Простофилин, которого за весьма малое до казны прикосновение бросили от места, припадает к стопам Вашего Превосходительства и просит из единого человеколюбия приложить милосердное попечение об определении его к новому месту, с клятвенным обещанием, что он так мало до казны никогда не прикоснется и поставит себя в состоянии, в непродолжительном времени, достойно и праведно возблагодарить Ваше Превосходительство.

Наконец осмеливаюсь упомянуть Вашему Превосходительству и о моем страдальческом положении. До сих пор в здешнем правительстве не решено еще известное дело мое о бесчестии и увечье, по поводу данной мне, всенижайшему, сильной пощечины от его высокоблагородия г. майора Неспускалова. Помилуйте, государь и отец, не оставьте меня милостивою рекомендацією к здешнему начальству и испросите высокого его покровительства в скорейшем мне получении определенного по законам бесчестья и увечья как за сию, уже данную мне пощечину, так генерально и за все могущие впредь со мной воспоследовать, дабы не при всякой новой оплеухе утруждать Ваше Превосходительство вновь о милостивом заступлении.

ОТВЕТ.

Мой государь, Артемон Власевич.

Много благодарствую за приятельское ваше писание, с приложением известной бумажки и реестра, по которому я учинил следующее распоряжение:

На 1. Шильниково дело я давно знаю. Еслиб он попался к другому, то б, конечно, обвинен был; но как я крепостных документов никогда ни от кого не спрашиваю, а решу и заступаю по другим документам, каковых соперник его не представляет мне ни

одного, а Шильников пятьсот, то сей последний может быть уверен, что все законы возопиют против его соперника; но не забудь, мой приятель, растолковать ему, что обещаемые пятьсот документов мне не послужат нимало к убеждению секретаря. Для него потребна по крайней мере новая сотня документов. Он человек совести весьма деликатной и за безделицу души не покривит.

На 2. Воров мне самому был приятелем с ребячества. Прилагаю об нем рекомендательное письмо, в твердом уповании, что он свой расчет сделал и обещаемое мне верно доставлять станет. А ты, мой приятель, уверь его, чтоб он никаких жалоб не опасался; пока я боярин, он, Воров, и вся его родня будут вести житие благоденственное.

На 3. Об Бедняковой дал я сегодня же приказ моему канцеляристу, чтоб он при въезде ее в город, закричал на нее: *караул!* в Ямской! под предлогом яко бы некоего тяжебного дела; следовательно, будет она проведена прямо в государеву квартиру; а как, по новости ее в городе, она порук по себе не найдет, да я и не допущу, то может она сидеть в тюрьме до тех пор, пока согласится, не выезжая никуда, отправиться во-свои. Будь уверен, мой приятель, что пока я боярин, по тех пор для всех Бедняковых Петербург будет тюрьма, а тюрьма Петербург.

На 4. Рекомендательное письмо к NN об употреблении советника Криводушина к рекрутским наборам, охотно при сем прилагаю; а притом прошу внушить ему яко бы от себя, чтоб он не сильно налегал на помещичьих, а прижимал бы плотнее тех, за которых некому вступиться. Сего последнего правила держусь я и сам в знатном моем состоянии, кольми паче маленький человек наблюдать оное должен.

На 5. Ассесор Простофилин сам виноват, для чего потерял место. Я его за простоту любил, и, как теперь помню, накануне допроса, учиненного ему о казенной краже, я призывал его к себе и сколько раз, увещевая дружески, говорил ему: „Эй, отойди, отойди!“—Нет, сударь, таки признался, повинился; вот за то и топчи теперь площадь. Скажи ему однако, что я об нем стараюсь; но что если он еще раз украдет мало, то навсегда от него отступлюсь.

При сем же прилагаю рекомендательное письмо по поводу данной тебе, приятелю моему, пощечины. Будучи в малых чинах, я и сам пользовался безумною горячностью челобитчиков и с таким успехом, что поистине целый годовой оклад мой выбирал иногда на одних оплеухах. Но с тех пор, как я сделался боярином, сия ветвь моих доходов совершенно истребилась. Когда я, будучи в маленьких чинах, обращался с мелким дворянством, бывало, за всякую безделицу: выдеру ль лист из дела, почищу ль да приправлю, того и смотрю, что обиженный мною, без дальних извинений, шлеп меня по роже. Но в настоящем положении, что ни творю, никто не дерзает меня в очи избранить, не только заушить. Истинно, мой достойный приятель, жалко видеть, как в большом свете души мелки и робки!

Учinia тебе, мой государь и нелицемерный приятель, ответ на твое дружеское писание, прилагаю при сем вкратце тебе наставление, или краткую инструкцию, какие в настоящем моем положении потребны мне твои приятельские услуги:

1. В откровенности тебе скажу, моему государю, что здесь слово *откуп* в крайнем презрении и поношении и называется *монополия*. Мое мнение то, чтоб сего слова никогда не употреблять, а все откупать, что возможно; ибо иногда одну вещь под разными именами не распознают вовсе. Я положил откуп называть *законтрактованием*, и прошу тебя прискаты в Москве из старых откупщиков к новому законтрактованию каких вещей они сами пожелают, лишь бы меня самого взяли в половицу, дабы я имел причину дать им надлежащую протекцию и покровительство.

ПИСЬМО ОТ СТАРОДУМА.

Москва, февраля 1788 года.

Мне случилось на сих днях быть в здешнем обществе, довольно многочисленном, а особливо дам было великое множество. В одной комнате был разведен камин, около которого стояли человек пять, шесть молодых людей. Они, не взирая на присутствие сидевших в той же комнате знатных и состаревшихся в делах государственных особ, разговаривали между собою непристойно громко, и со всею невежескою дерзостью. Я поразведал, кто они таковы. Мне сказано было, что они молодые писатели. Я подошел к ним поближе послушать их беседы и нашел, что беседовали они о литературе. Мнения свои сказывали за решения, никакому пересуду не подверженные. Один из них весьма язвительно шпынял над творениями первых наших писателей и изъяснялся, что он сам упражняется в стихотворстве, но во французском, а не в российском; „ибо,—сказал он с насмешкою,—я боюсь войти в соперничество с великими людьми“. Молодой человек, с нетерпением насмешки его слушавший, отвечал ему: „Вы напрасно боитесь войти в соперничество с нашими великими людьми; французское ваше красноречие доказывает, какой бы вы писатель были и по-русски. Россия имеет ораторов, над которыми шутить не позволяется“. — „Я думаю,—отвечал французский стихотворец,—что Россия красноречия вовсе не имеет; ибо если собрать все русские красноречивые творения, то книга выйдет не весьма огромная“. После сих слов разговор стал у них гораздо горячее и доказывал, что беседующие молодые писатели знание имели весьма малое, а воспитания никакого.

Возвратясь домой, подумал я о сей беседе, и как нельзя не признаться, что наши витийственные сочинения составили бы весьма маленькую книжку, то размышляя я, отчего имеем мы так мало ораторов? Никак нельзя положить, чтоб сие происходило от недостатка национального дарования, которое способно ко всему великому, ниже от недостатка российского языка, которого богатство и красота удобны ко всякому выражению. Истинная причина

мало числа ораторов есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют и где победа красноречия не пусто хвалою, но претурою, архонциями и консульствами¹ награждается. Демосфен и Цицерон в той земле, где дар красноречия в одних похвальных словах ограничен, были бы риторы не лучше Максима Тириянина; а Прокопович, Ломоносов, Елагин и Поповский² в Афинах и Риме были бы Демосфены и Цицероны; по крайней мере церковное наше красноречие доказывает, что россияне при равных случаях никакой нации не уступают. Преосвященные наши митрополиты: Гавриил, Самуил, Платон, суть наши Тиллотсоны и Бурдалу³; а разные мнения и голоса Елагина, составленные по долгу звания его, довольно доказывают, какого рода и силы было бы российское витийство, если бы имели мы где рассуждать о законе и податях и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих.

Но между неисчислимыми благами, коими Россия благодетельствована от Екатерины Вторыя, должно считать и установление Российской Академии⁴. Сие установление, конечно, много споспешествовать будет к образованию и обогащению российского слова. Слыщу я, что Академия упражняется в составлении российского лексикона и грамматики⁵. Без сомнения, сей труд будет весьма полезен; но, кажется мне, как Академия сим занимается, может она, под покровительством председательствующей в ней толь знаменитой просвещенным своим разумом особы⁶, дать упражнение и тем российским писателям, кои не суть члены Академии. Она может, по примеру подобных в Европе установлений, задавать ежегодно материи к витийственным сочинениям, награждая победителя в красноречии и возбуждая тем соревнование между писателями. Россия имела между государями своими великих благодетелей, кои достойны благодарности. Имела она также и между сынами своими истинных отечестволюбцев, которых дела достой-

¹ Претура, архонция, консульство—государственные должности в древнем Риме.

² Максим Тириянин (II в. н. э.),—греческий ритор и философ. Елагин Иван Перфильевич (1725—1794)—приближенный Екатерины II, литератор, видный масон. Поповский Николай Никитич (1730—1760)—поэт, переводчик, профессор философии и элоквенции (красноречия).

³ Гавриил (1730—1801), Самуил (1731—1812)—русские митрополиты, духовные ораторы и богословы. Тиллотсон Джон (1630—1694), английский архиепископ, и Бурдалу (1632—1704), французский иезуит,—известные духовные ораторы.

⁴ Российская академия, занимавшаяся исключительно изучением языка и литературы, была основана по повелению Екатерины II в 1783 г. В 1840 г. слилась с Академией наук, превратившись в Отделение русского языка и словесности Академии наук.

⁵ Словарь русского языка начал составляться Российской академией с самого же ее основания—1783 г. В 1789 г. была издана первая часть его, в 1794 г.—вторая и третья. В 1786 г. академия также занималась рассмотрением трудов акад. Сидоровского и Григорьева по русской грамматике.

⁶ Президентом Российской академии была в ту пору кн. Е. Р. Дашкова (1743—1810).

ны быть преданы потомству. Можно также задавать и материи правоучительные, словом, упражнять писателей во всех родах сочинений и тем возвращать российского слова богатство, красоту и силу. Я есмь и проч.

Стародум.

РАЗГОВОР У КНЯГИНИ ХАЛДИНОЙ.

(Письмо от Стародума.)

Москва, февраля 1788 года.

Сегодня был у меня один из моих приятелей, который сказывал мне, что вчера он зван был обедать к княгине Халдиной, но приехал к ней так рано, что она еще одевалась и его принять не могла; почему введен был в комнату подле уборной ее, так что мог слышать все ее разговоры. Она много шумела с своею девушкою о нарядах; потом взглянула в окошко и, увидев, что подъехали к крыльцу санки. „Это санки Сорванцова,—сказала княгиня с веселым видом.—Пусти его сюда“,—говорила она девушке своей. Через минуту приятель мой увидел вошедшего к княгине мужчину в наместническом мундире. Княгиня, в веселом духе привстав: „А! Сорванцов, голубчик! здравствуй,—сказала ему,—садись возле меня. Откуда?“

Сорванцов. Из присутствия, княгиня. Ты знаешь, что я судья. Я там так заспался, что насилу очнуться могу. Часа четыре читали дело; всю эту пропасть молили при мне; а как законом не запрещено судье спать, когда и где захочет, то я, сидя за судейским столом, предпочел лучше во сне видеть бред, нежели наяву слышать вздор.

Княгиня. Не понимаю, как ты мог с твоим любезным характером сделаться судьей! Знаешь ли что? Пока я за туалетом, расскажи мне всю историю. Девка! румяны!

Сорванцов. Она коротехонька. Я нарисую вам всю картину моей жизни, прежде нежели вы полщеки разрисовать успеете. Мне уже за тридцать лет. Первые восемнадцать, сидя дома, служил я отечеству в гвардии унтер-офицером. Покойник батюшка и покойница матушка выхаживали мне ежегодно паспорт для продолжения наук, которых я, слава богу, никогда не начинал. Как теперь помню, что просительное письмо в Петербург о паспорте посылали они обыкновенно по ямской почте, потому что при письме следовала посылка с куском штофа, адресованного на имя не знаю какой-то тетки полкового секретаря. Как бы то ни было, я не знал, не ведал, как вдруг очутился в отставке капитаном. С тех пор жил я в Москве благополучно, потому что батюшка и матушка скончались, и я остался один господином трех тысяч душ. Недели две спустя после их кончины жестокое несчастье лишило меня вдруг тысячи душ.

Княгиня. Боже мой! Какое же это несчастье?

Сорванцов. Несчастье, которому, я думаю, в свете при-

мера не бывало и не будет. Полтора ста карт убили у меня в один вечер, из которых девяносто семь загнуты были *сетелева*¹.

Княгиня. Ах! это слышать страшно!

Сорванцов. После этого несчастья хватился я за разум: перестал ставить большие куши и маленькими в полгода переставил я еще пятьсот душ в Кашире.

Княгиня. Как! ты проиграл и Каширскую, где лежат твои родители?

Сорванцов. Я им тут лежать не помешал, княгиня! Сверх того, не из подлой корысти продал я деревню, где погребены мои родители. За то, что тела их тут опочивают, мне ни полунки не прибавили.

Княгиня. Так и подлинно, ты пред ними чист в своей совести.

Сорванцов. Итак с полутора тысячько душами принялся я за экономню: вошел в коммерцию; стал продавать людей на службу отечеству, стал заводить в подмосковной псовую охоту, стал покупать бегунов, чтоб сделать себе в Москве некоторую репутацию. Ямской дуг был у меня по Москве из первых; как вдруг поражен я был лютейшим ударом, какой только в жизни мог приключиться моему честолюбию.

Княгиня. Ах, боже мой! Какое это новое несчастье?

Сорванцов. Я не знал, не ведал, как вдруг из моего дуга выпрягли четверню и велели ездить на паре. Этот удар так меня сразил, что я тотчас ускакал в деревню и жил там долго как человек отчаянный. Наконец очнулся. Я дворянин, сказал я сам себе, и не создан терпеть унижения. Я решился или умереть, или по прежнему ездить шестеркой.

Княгиня. Молодые люди! молодые люди! вот как вам всем думать надобно!

Сорванцов. Я кинулся в Петербург, где через шесть недель преобразили меня в надворные советники. Я странный человек! Чтоб найти, чего ищу, ничего не пожалю. Следствием этого образа мыслей было то, что меньше нежели чрез год из надворных советников перебросили меня в коллежские. Теперь я накануне быть статским, а на завтра этого челобитную* в отставку, да и в Москву, в которой, первые визиты сделав шестернею, докажу публике, что я умел удовлетворить честолюбию.

Княгиня. О, если бы все дворяне мыслили так благородно, и лошадям было бы гораздо легче! Ты сделал полезное дело и себе и ближайшим. Твой поступок, мой милый Сорванцов, содержит в себе чистое правоучение.

Сорванцов. Я столько счастлив, что нашел себе подражателей. Я моим примером открыл ту истину, что чин заслуженный, ничем не лучше чина купленного.

Княгиня. Не прогневайся, голубчик! Сия истина не весьма новая, ибо не ты первый купил себе право впрягать шесть лошадей.

¹ *Сетелева*—карточный термин.

Я сама имела жениха обер-офицера, но не позволила ему о браке нашем и думать, пока не будет он иметь право возить меня четвернею. Покойный мой князь принужден был согласиться на мое требование.

Сорванцов. Я удивляюсь, княгиня, как могла ты ограничить свое честолюбие только четвернею! Ты бы могла предписать жениху снискание права на шесть лошадей.

Княгиня. Но, Сорванцов, голубчик! твое честолюбие вышло из меры. Ты хотел из капитанов быть вдруг бригадирского чина. Я недавно читала римскую историю и нахожу, что твое честолюбие есть Катилинское. Берегись, Сорванцов, чтобы и тебя не постиг какой-нибудь бедственный конец!

Сорванцов. Я открою тебе, княгиня, что каждую почту из Петербурга с трепетом писем ожидаю. Судьи, мои товарищи, решили одно дело, или, лучше сказать, смошенничали. Обиженный нашел в Петербурге покровительство и, сказывают, что всем нам беда будет.

Княгиня. Да ты неужели за одно был с бессовестными судьями?

Сорванцов. Нет, княгиня. Я согласился с ними для того, что не понимал дела, и мне пристойнее казалось им не противоречить, нежели признаться, что я не понимаю.

Княгиня. Ты имеешь разум, Сорванцов. Я не постигаю, какого бы дела ты понять не мог.

Сорванцов. Оно писано было таким темным слогом, что без проищания чрезъестественного понять его никак не возможно.

Княгиня. А проpros!¹ (*К своей девушке.*) Ты мне анонсировала г-на Здравомысла; где ж он?

Девка (*указывая на другую комнату.*) Вот здесь дожидается.

Княгиня. Проси его сюда. (*Здравомysl входит.*)

Княгиня. Извините меня, сударь, что глупость людей моих заставила Вас сидеть в скуке. (*К девке.*) Разве ты не знаешь, что я при мужчинах люблю одеваться.

Девка. Да ведь стыдно, ваше сиятельство.

Княгиня. Глупа, радость! Я столько свет знаю, что мне стыдно чего-нибудь стыдиться.

Здравомysl. Я, вошед сюда, помешал вашему разговору, который, сколько я приметил, был довольно серьезен.

Княгиня. Если позволите, мы разговор наш продолжать станем и просим вас не скрывать от нас ваших мыслей. (*Сорванцову.*) Продолжай.

Сорванцов. Поверьте мне, княгиня, что многие дела незаконно решаются сколько от бессовестности судей, столько и от бестолковости, с которою предложено дело.

Здравомysl. Не всегда судьи не понимают дела для того, что оно предложено не ясно; весьма часто не понимают для того, что не сделали привычки к делам и не приобрели способности к

¹ Кстатп.

вниманию. Сия способность приобретается учением и чтением; но сколько у нас людей, которые порядочно учились и имеют навык понимать читаемое? Я не требую судей ученых, но, мне кажется, судья должен быть неотменно просвещен и уметь грамоте, то-есть знать по крайней мере правописание, чему, я сам видел, не многие у нас умеют; хотя и то правда, что запятая, не в своем месте поставленная, иногда переменяет существо самого дела и, следовательно, заставляет судей решить неправильно.

Сорванцов. Но разве всему этому пособить не можно? Разве нельзя завести добрых судей, которые бы имели и знание и дарование понять дело?

Здравомысл. Мы видим, что у нас об этом и помышляют. Когда в российских городах заводят университеты, то, стало, намерение есть готовить к службе людей просвещенных. Я хотел бы только, чтобы в университетах наших преподавалась особенно политическая наука.

Сорванцов. Что вы чрез сию науку разумеете?

Здравомысл. Разумею науку, научающую нас правилам благочиния; науку коммерческую и науку о государственных доходах. Я хотел бы, чтоб у нас по сим предметам сочинены были на каждую часть особенные книжки, по коим бы преподавалась в университетах политическая наука. Сим способом будет Россия иметь во всех частях гражданской службы людей годных и просвещенных. Я о сем размышлял довольно, но боюсь здесь распространиться, дабы не наскучить сим вам и тем, кои разговор наш читать будут.

Сорванцов. Я хотя и могу показаться вам головорезом, однако верьте мне, что я хотел бы сию минуту пойти учеником в тот университет, где мог бы сделаться годным к службе, и, откуда вышел, знал бы я, что получу место не то, где есть только вакансии, но то, для которого я учился и к которому способен.

Здравомысл. Если бы я знал, что моя идея о заведении в университетах класса политической науки найдена была полезною и угодною, я охотно составил бы мое мнение, как к сему приступить удобнее. Находясь в чужих краях, я видел сам таковой класс; имею книжки, по коим политическая наука преподается, и говорил с теми людьми, кои преподают сию науку, но, признаюсь вам, что без особенного побуждения боюсь вместо удовольствия нажить каких-нибудь неприятностей от тех людей, кои сами, пресмыкаясь в невежестве, думают, что для дел ничему учиться не надобно.

Сорванцов. Я слышал пословицу: не учась, в попы не ставят.

Здравомысл. С тех пор как стали следовать сей пословице, попы наши очевидно стали лучше и просвещеннее, и сия часть граждан отправляет свою должность гораздо порядочнее. Я совершенно уверен, что еслиб взято было за правило: не учась, в судьи не определять, то бы между судьями невежество было гораздо реже.

Сорванцов. Я по себе чувствую, что без просвещения человек есть сожаления достойная тварь.

Здравомысл. По разве нельзя унять грабителей и завести добрых адвокатов?

Сорванцов. Сие не невозможно, но трудно и требует большего времени.

Здравомысл. По крайней мере, неужели нет средства пресечь взятки?

Сорванцов. Мудрено, сударь; ибо сверх того, что, кажется, сама природа одарила всякого судью взяточлюбною душою, многие из них с честными правилами принуждены брать взятки. Вообразите судью честного человека. Он дворянин, имеет родню и знакомство, то-есть живет в обществе, имеет детей, требующих воспитания; но нет у него, кроме жалованья, других доходов; а жалованья получает только 450 руб. Скажите мне ради бога: как он может содержать жену, детей и дом такую малую суммою и в такое время, когда нужнейшие для жизни вещи взойшли до цены невероятной? Хотя бы и не хотел, неволею должен сделаться взяточбратель. Ведь не все судьи таковы, как наш г-н *Бескорыст*. Он взятки никогда ни с кого не берет, можно сказать, умирает с голоду. Я скажу о себе: я имею достаток, и если смошенничаю, то заслужу без всякой пощадки виселицу, равно как и все те ее всеконечно заслужили, кои, награбля богатства, не отстают от своего промысла и продают публично правосудие.

Княгиня. Но ты, любезный Сорванцов, имеешь природный ум. Ты ужасть как в обществе ловек!

Сорванцов. К несчастью, мне не дано было воспитания. Родители мои имели о сем слове неправильное понятие. Они внутренно были уверены, что давали мне хорошее воспитание, когда кормили меня белым хлебом, никогда не давая черного; словом, через *воспитание* разумели они одно *питание*. Учить меня ничему не помышляли и природный мой ум не получал никакого просвещения. По-французски выучился я случайно. Г-жа *Лицемера*, моя внучатная тетушка, вздумала детей своих учить по-французски. Тогда приехал в Москву из Петербурга француз, живший до того в Америке. Сей француз назывался, как теперь помню, *Шевалье Какаду*. Тетушка моя получила к нему симпатию и приняла его в свой дом в наставники своим детям. Она взяла от родителей моих и меня учиться вместе с детьми своими. Я думаю, что не лишнее сделаю, если опишу вам характер моей тетушки и ее фаворита, а нашего наставника.

Тетушка моя выдавала себя в свете за чадолубивую мать и верную супругу, за добрую хозяйку и за набожную женщину. Посмотрим, такова ли она была в самом деле.

В учреждении комнат первое внимание обращает она всегда на то, чтоб детская была гораздо далее от ее спальни; ибо крик малолетних детей ей нестерпим, хотя она нимало не скучает лаяньем трех болонских собачонок и болтаньем сороки, коих держит непрестанно подле себя. Вот доказательство ее чадолубия!

Никакой слабости женщинам не прощает; но последний сын ее

как две капли воды походит на Шевалье Какаду. Вот ее супружеская верность.

Княгиня. Сорванцов! у тебя язык злоречивый. Я тебе скажу о себе. Никто из детей моих на отца не походит, а походят на тех друзей, кои к нам вседневно ходили; по крайней мере мне отдадут ту справедливость, что друзья княгини Халдиной были не иные, как друзья мужа ее.

Сорванцов. На стол тратит очень много, а есть нечего. Дети ходят оборванные и почти босые. Добрая хозяйка!

В церкви никогда никто ее не видит, но ни одного клуба, ни спектакля не пропускает. Набожная женщина!

Шевалье Какаду, француз пустоголовый, из побродяг самая негодница, учил нас по-французски, то-есть дал нам выучить назусты несколько вокабулов и начал с нами болтать по-французски. Грамматике нас не учил, считая, что она педанство.

Княгиня. С этой стороны он не вовсе ошибается. Я сама никакой грамматике не училась, а изъясняюсь по-французски изряднохонько. Скажи мне, какие правила и чувства всеял в вас Шевалье?

Сорванцов. Он всеял в сердца наши ненависть к отечеству, презрение ко всему русскому и любовь к французскому. Сей образ наставления есть обыкновенная система большей части чужестранных учителей. Шевалье наш был надменен, хвастлив и неблагодарен. Надменность его состояла в том, что он хозяев и слуг за людей не считал. По его словам, он знал все науки, которые и нам показать обещал. Особливо в телесных экзердициях¹ выдавал себя за мастера. Сии телесные экзердиции, которым и нас он обучал, состояли в том, что заставлял он нас распускать золото.

Княгиня. А в чтении упражнялись ли вы когда?

Сорванцов. Никогда; да я думаю, что наш Шевалье и сам не умел грамоте; ибо я его ни за книгой, ни с пером в руках никогда не видывал. Позволь, княгиня, докончить характер бывшего моего учителя. Он приехал в Москву в самой нищенской бедности. Тетка моя накупила ему белья и взяла в свой дом, обеспечения его во всем шужном. В благодарность за то, когда у нас бывали гости, не пропускал он случая дерзким своим поведением показывать всем, в какой связи находится он с хозяйкою. Вот, княгиня, как провел я первую мою молодость! Вошел в свет, имел я несчастье попасть на весьма худое общество, где меня дурачили и обыгрывали. Но случайно познакомился я в Москве с одним молодым человеком, который имел просвещение и хорошее поведение. Он приучил меня к чтению книг и открыл мне, в каком невежестве я пресмыкаюсь. Рассудок, который природа мне даровала, родил во мне охоту выкарабкаться из кучи тех презрительных невежд, кои ни богу, ни людям не годятся. Я не скажу, чтоб сие мое старание имело успех совершенный. Недостатки воспитания моего часто наружу выказываются. По крайней мере не ставлю

¹ Упражнениях.

я моего невежества, подобно многим, себе в достоинство и за перемену моих мыслей почитаю себя вечно обязанным тому молодому почтенному человеку, который наставил меня на стезю правую.

Княгиня. И мое воспитание было одно питание. Лучшую мою молодость провела я в Москве и такая была пречудная, что многие матери запрещали дочерям своим иметь со мною знакомство. Обожателей было у меня ужасное множество, и чем поведение мое было нескромнее, тем была я славнее. Я не имела никого, кто бы меня остеречь мог и чьи советы умерили бы пылкость моего характера и чувствительность сердца моего. И то и другое сохраняю я до сего дня.

Здравомысл. То-есть, с вашим сиятельством сбудется пословица: *Каков человек в колыбельку, таков и в могилку.*

Вот вам весь разговор, так как я имею его от приятеля моего Здравомысла. Вы можете поместить его в ваше периодическое творение. Характеры княгини и Сорванцова, кажется, списаны с натуры, и идея Здравомысла о заведении класса политической науки достойна того, чтоб не оставить ее без внимания. Я есмь и проч.

Стародум.

НАСТАВЛЕНИЕ ДЯДИ СВОЕМУ ПЛЕМЯННИКУ.

„Философы и правоучители исписали многие стопы бумаги о науке жить счастливо; но видно, что они прямого пути к счастью не знали, ибо сами жили почти в бедности, то-есть несчастно. Правда, что некоторые из них нажили великие богатства, но они в жизни своей поступали совсем иначе, нежели писали. И кто знает, не с умыслу ли они преподавали людям ложные правила к счастью, дабы одним им пользоваться филеофским камнем.

Я почитаю за долг дяди остеречь тебя, мой любезный племянник, от сих правоучительных вралей и преподать тебе тот способ достигнуть до счастья, которым я сам столь благополучен. „Будь добросердечен, благотворителен и трудолюбив“,—говорил мне, умирая, мой покойный родитель. Я и был чистосердечен: говорил правду, обличал порок и невежество, хвалил угнетенное достоинство, имел твердость говорить иногда истину и большим боярам. Был я также и благотворителен: малое имение мое охотно разделял с неимущими; иногда за бедных ручался, когда сам помочь не мог. А дабы последние пункты завещания родительского исполнить, прилепился я к учению и приобрел по возможности некоторые знания, уповаю, что они мне в свете пригодятся. Но, к крайнему сожалению, скоро усмотрел я, что худо разумел моего родителя или что он не знал большого света.

Чистосердечие мое произвело на меня великие гонения; им нажил я многих неприятелей. Благотворение довело меня в долги, а знания мои возбудили ко мне зависть и ненависть одного знатного невежды, который просвещение считал вредным для госу-

дарства. Жестокая болезнь открыла мне наконец глаза, и я увидел неразумие моей системы. Все меня оставили. Неожиданная помощь одной человеколюбивой особы извлекла меня, так сказать, из челюстей смерти. Неприятели мои торжествовали. Друзья мои сами были небогаты; а знатные особы, кои увеселялись забавным моим нравом, когда я был здоров, находили, может быть, настоящее положение мое забавным, ибо они оставили меня без всякой помощи. Как скоро стало мне легче—„перемени свою систему“, сказал я сам себе. И как всякий человек охотно из одной крайности в другую переходит, то решился я делать совсем противное тому, что прежде делал: что бранил, то стал хвалить; всякий знатный человек находил во мне защитника своему жестокосердию или глупости. С самого утра бегал я по передним знатных господ и не стыдился трусить даже и перед их камердинерами. Если кому дадут ленту или знатный чин, то у меня через полчаса поспевала ода, которую тем больше хвалили, чем меньше было в ней смысла. Дабы тем более мною были довольны, чем бесстыднее выхвалял я красоту их и душевное достоинство. „C'est un bon diable“¹,—говорили обо мне знатные. „Он отнюдь не так опасен, как мы его считали“,—говорили обо мне те, кои прежде пера моего боялись. „П а beaucoup d'esprit“²,—отзывались обо мне дамы.

Как скоро слух о перемене системы моей по городу распространился, то решился я идти на поклон к тому самому знатному невеже, который прежде был моим гонителем. Он предложил мне в отдаленной стороне место, к которому не имел я ни малейшей способности. Я ему признался в том. „Привыкнешь, друг мой,—отвечал он мне,—лишь будь скромн и не пиши стихов, которых я терпеть не могу. Станем жить дружно; старайся, чтоб я был тобою доволен, а я о тебе буду иметь попечение“. Скоро я был определен к месту моему, и, не взирая на мое невежество, все удивлялись моему знанию и способности, что и не чудно, ибо предместник мой, по общему всех признанию, был во сто раз меня глупее и неспособнее. Лстивые похвалы мои, которыми бесстыдно осыпал я моих начальников, приобрели мне скоро их доверенность. Они избрали меня к произведению в действо некоторого нового проекта, *относительно до необходимой в жизни потребности.*

Я взял в свои советодатели нашего секретаря и с помощью его нажил в полгода около пяти тысяч рублей, с которыми приехал в столицу. На другой день по прибытии моем поднес я две тысячи рублей супруге нового моего покровителя, а прежнего гонителя. Мои две тысячи рублей произвели весьма полезное для меня действие. Покровитель мой расхвалил мое в делах знание и обещал мне свою милость.

В сие самое время один любимец знатного господина хотел выдать замуж свою любовницу, которая была на его содержании. Супруга прежнего моего гонителя, моя новая покровительница, в

¹ Он славный парень.

² Он очень остроумен.

благодарность за мои две тысячи рублей, вздумала сватать меня на сей честной девушке и обещала мне в столице весьма выгодное место. Наблюдая новую мою систему, я согласился на сие предложение. Свадьба моя была великолепна. Благодетель жены моей сыграл ее на своем иждивении. А как молодая моя супруга была набитая дура, но превеликая красавица, то прежний друг ее не отменил к ней своей дружбы, и у меня исподволь народилось детей великое множество. Весьма выгодно иметь жену красавицу, ибо все знатные друзья так горячо пеклись о моем счастье, как надлежит добрым свойственникам. Все мои неприятели исчезли; достаток мой умножался так, как будто бы было над домом моим благословение божие. Я стал жить гораздо шире, давать обеды, балы и концерты; но звал только тех, от кого надеялся быть награжден щедро, так что пир, который стоил пятисот рублей, приносил мне тысячи две. Скоро купил я каменный дом, а между тем все жаловался на долги, и хотя жаловано мне было довольно награждений, но я разглашал себя в долгу неоплатном. Не довольно того, любезный племянник, что я оставил чистосердечие, но отучил себя и от добросердечия.

Сначала стоило мне труда слышать стон бедных с хладнокровием; но поверь мне, сердце богатого человека скоро каменеет. Теперь я думаю, что мягкосердечный человек весьма богат быть не может.

Наконец я так привык к нечувствительности, что ниже помышлял о бедных людях. С книгами моими, составлявшими мое главное удовольствие, я совсем расстался.

Я потерял приятность в обхождении, вкус к хорошим вещам, и душа моя унизилась; но сие унижение души помогло к моему возвышению. Начальники мои, имевшие подлые душонки, рады были иметь меня подчиненным. Ты видишь, любезный племянник, что пути к богатству, то-есть к счастью, гораздо короче и глаже, нежели как болтают о том правоучающие врали. Но буде ты в оном сомневаешься, то рассмотри своих сограждан и ты найдешь, что большая часть из них одолжена за свое богатство и знатность своему лицемерию, жестокосердию, невежеству и женам“.

Я сожалею (и каждый читатель, без сомнения, со мною сожалеть будет), что во всем сродническом наставлении нет следа доброты, в которой земле жил сей богатомыслящий дядя; надобно однакож думать, что не между нами: ибо где у нас люди, кои бы наживались при исполнении полезного установления, относительно до первых потребностей в жизни? Богачей жестокосердых и глупых красавиц у нас также вовсе нет, как меня уверяют.

„Ты, мой любезный племянник,—продолжал дядя свое наставление,—должен видеть, как я старость мою теперь доживаю и приближаюсь к концу. Как скоро я обогатился и стал жить порядочно домом, то начал чувствовать глас совести. Видя жену мою в беспутстве, должен я, по системе моей, терпеть все ее беспорядки.

Я не мог сам от себя скрыть, что все добрые люди считают меня бездельником. Богатый мой дом стал для меня адом, и я, казалось, слышу стон бедных, кои я разорил злодейски. Наконец, на прошлой неделе был я на зрелище, которое вечно не выйдет из моей головы. Приятель мой Воров, умирая, призвал меня к себе. Я был свидетелем, как мерзкая душа его выходила из скаредного тела. Тут узнал я справедливость сих слов: *смерть грешников лота*. Он в постеле своей терзался душевно гораздо сильнее, нежели иной вор страждет на площади. По исходе души его, на всех лицах видно было удовольствие, смешанное с презрением к покойнику.

Чувствуя, что и мне умирать будет должно так же мучительно, переменил я опять свою систему и, слушая гласа совести, сколько можно, удовлетворяю тех, кои от меня терпели; а тебя, любезный племянник, прошу, будь чистосердечен, но знай, что не всегда и всякую истину говорить надобно. Будь благотворителем, но не расстраивай своего состояния. Будь трудолюбив и прилепляйся к учению, но не возмечтай о своей мудрости. Вот все то, чем я оканчиваю мое наставление“.





ПОЧТА ДУХОВ,

ежемесячное издание,
или ученая, нравственная и крити-
ческая переписка арабского фило-
софа Маликульмулька с водяными,
воздушными и подземными духами.

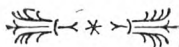
1789 г.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ.

Секретарь недавно приехавшего сюда арабского волшебника Маликульмулька, имеющего великое отвращение к бешеным домам и расположившегося несколько времени прожить здесь *инкогнито*, сим объявляет, что он напечатал переписку сего знатного в своем роде *господина* с водяными, воздушными и подземными духами. Книга сия очень любопытна для тех, кои не путешествовали под водою, под землею и по воздуху. Он уверяет, что сочинители сих писем—все духи очень знающие, и что сам Маликульмульк—человек пресамолюбивый, который всегда говорит хорошо только о себе, отзывается иногда об них не худо и рассказывает, будто многие из них очень добрые духи; но только иные не любят крючкотворцев, ростовщиков и лицемеров, а иные не жалуют щегольства, волокитства и мотовства, и оттого-де они никак не могут и ужиться в нынешнем просвещенном свете видимыми, почему ходят в нем невидимыми и бывают иногда так дерзки, что в самые *критические* часы посещают комнаты щеголих, присутствуют в кабинетах вельмож, снимают очень безбожно маски с лицемеров и выкрадывают иногда очень нахально и против всех правил общежития из записных книжек любовные письма, тайные записки, стихи и проч.,—чем-де многие делают беспокойства в интригах и плутовствах. А потому нет почти ни одной новопроезжей на тот свет тени, которая бы не подавала на них челобитной Плутону или бы через него не пересылала их к Нептуну, не могущим однакож со всею своею властью унять сих шалунов. Итак, г. Маликульмульк бранит только сей их поступок, однакож признается, что он сим похищениям и входам без доклада обязан многими весьма любо-

пытными письмами, которые от них получает и делает благосклонность прочитывать без остатку.

Вот что объявляет Секретарь ученого, премудрого и богатого Маликульмулька, и прибавляет к тому, что как он напечатал сии письма в долг, ибо-де место Секретаря у ученого человека очень бесприбыльно, то просит почтенную публику, чтобы желающие иметь и читать оные благоволили присылать за все четыре части 5 руб. в папке, в Санктпетербург, в книжную лавку Свешникова, под № 3 у Католической церкви.



ПОЧТА ДУХОВ.

ПИСЬМО VI.

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку.

Вчерашнего дня, любезный Маликульмульк, вылетел я из своего жилища на свет для набрания надобных людей и для закупки уборов, о которых, при самом моем отпращивании из ада, препоручено мне было. Имея множество денег, при которых, как сказывают, нет ничего в свете невозможного, ты подумаешь, что я в одну минуту мог исполнить желание Прозерпины¹; но как ты удивишься, когда узнаешь, что ничего нет труднее таких препоручений.

Вылетев на поверхность земли, устремился я прямо к средоточию роскоши, т. е. к большому, великолепному и многолюдному городу Европы². Жители оного могут, по справедливости, почитаться ныне поравнявшимися с самими теми, которые в сей части света издавна почитаются образцами новых изобретений и кои стараются весьма искусно выводить истинную добродетель³. Их-то философии обязан ныне свет многими так называющимися *людьми без предассуждения*, которые за кусок золота в состоянии продать своих друзей, родню или и все свое отечество, для того только, чтоб посредством оного показаться в хороших нарядах и великолепных колесницах. По таковым подлинникам можно судить и о списках, не уступающих образцам своим в свойственной им доброте, и наверное угадать, что я, сыскав столь честные селения, не

¹ В Первом письме „Почты духов“ сообщалось, что Прозерпина, возвратившись в подземное царство модницей, предъявила Плутону следующее требование: „если ты хочешь, чтоб я осталась здесь, то неотменно вышиши мне парикмахера, портного и купца с *галантерейными* вещами; а без того я в сию же минуту еду в Париж“. Выполнение этого было поручено гному Зору.

² Петербургу.

³ Подразумеваются французы.

почел за нужное лететь далее, а избрал сей город лавкою своих покупок.

Чтоб знать вкус в нарядах, надобно непременно хорошее знакомство, а чтоб иметь оное, нужны деньги, почитающиеся всеобщим ключом, которым ныне заводятся большие часы света. Следуя сему правилу, я принял вид молодого и пригожего человека, потому что цветущая молодость, приятности и красота в нынешнее время также в весьма немалом уважении и при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса: а при столь выгодной наружности не позабыл я представить себя в богатом кафтане, в котором, может быть, почли бы меня за какого-нибудь ученого, если б не был он весь в золоте. Не успел я показаться в сем виде в одном из тех трактиров, в которых приезжие находят себе пристанище, как премножество молодых людей кричали мне свои приветствия и каждый из них предлагал мне тысячу услуг. Петиметр¹ обещал меня познакомить со своим портным и парикмахером, пьяница хотел вести в такой трактир, в котором подаются лучшие вина, а картежник шептал мне на ухо, чтобы идти с ним обыгрывать его знакомого на верную, но я проницанием своим узнал, что он такими услугами разорил уже не одну дюжину безумцев. Все вообще спрашивали меня, кто я таков, откуда приехал и какая моя надобность? „Милостивый государь! — сказал мне один из них, находившийся с растрепанными волосами, который был уже вполныяна и допивал шестую порцию пуншу, — не тяжба ли какая причиною вашего сюда приезда? Если так, то я охотно вам предлагаю свои услуги: дядя мой знатный человек, и он за удовольствие себе почтет склонить судей на вашу сторону, были б только худы обстоятельства вашего дела! Вам стоит токмо уступить дядюшке половину иска, и я вас уверяю, что спорная земля ваша. Вы можете узнать от других, что в 15 лет по вступлении его в

П О Ч Т А
Д У Х О В Ъ ,
Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н О Е И З Д А Н И Е ,
И Л И
Ученая, Нравственная, и Критическая переписка Арабскаго Философа *Мланкульмулла* съ водяными, воздушными и подземными Духами.
Ч А С Т Ъ I,
Печатано съ дозволенія указнаго
ВЪ САНКТ ПЕТЕРБУРГѢ 1789 ГОДА.

Титульный лист журнала "Почта духов".

¹ Щеголь.

свою должность, он тысячу дел поворотил на такую сторону, на какую ему захотелось; впрочем, если вам нужда, то я уверяю вас своим и дядошкиным честным словом, что он, за весьма сходную цену, согласится уморить в тюрьме ваших соперников“. Я благодарил сего доброго человека и признавался ему, что мне нет нужды в его услугах; это его несколько рассердило, и он в молчании принялся допивать шестую свою порцию пуншу.

Я не успел еще отблагодарить сего услужливого человека, как вошел в комнату, с опухлыми глазами, с растегнутым камзолом и с обкусанными губами, молодой человек и спросил чашку шоколаду; я бы почел его за какого-нибудь питомца муз, если бы поданная ему в долг чашка шоколаду не опровергла сего мнения, ибо мне известно, от теней, переселяющихся в ад, что в свете все ученые весьма малую имеют доверенность. Я сел подле его в намерении свести с ним знакомство, и, подлинно, мы не долго были с ним в молчании. Он первый начал разговор следующим образом: „По моему мнению, государь мой, нет никакой науки труднее той, которая учит, как жить в свете! Чорт меня возьми!—вскричал он,—если не сущее дурачество делают те, которые предписывают тому правила“.—„Это правда, государь мой!—отвечал я,—ибо правила могут быть неизменными в одной только математике, но в повсечасно переменяющихся случаях их соблюсти неудобно, и правила касательно до общежития так же способно предписать, как удобно шить кафтаны по одной мерке на весь город. Однакож, со всем тем, должно в жизни предполагать главнейшие начала, которым следуя, можно приравливать оные к случающимся обстоятельствам. Например, если кто положит себе правилом быть тем довольну, что имеет, и сносит великодушно случающиеся несчастья, почитая их неизбежными в сей жизни, тот...“—„Эх, государь мой!—перехватил он речь мою,—это то же, как бы кто сказал, что не мудрено познать систему света, нужно только выучить математику, физику! Слово „выучить математику“ произносится очень легко, но в нем замыкается тысяча препятствий, и его не так-то удобно можно исполнить. Многие философы говорили, что надобно быть всем довольну, признавая, что в сем общем положении много заключается, но на самом деле не легко оное исполнить; я сам по себе это знаю. Взяв от отца 1000 рублей на год, я приезжаю сюда в намерении не желать ничего более и, подлинно, думаю так несколько месяцев; но, наконец, нахожу знакомцев, которые твердят мне беспрестанно, что я беден, что граф Беспутов имеет в десять раз лучшее содержание, нежели я, и все это заслужил только тем, что родился от знатного отца; что молодой Бесчетов имеет лучших лошадей в городе и прекрасную любовницу, а сделал важного для отечества только то, что посредством своих денег надел на себя военный мундир довольно порядочной степени и умножил тем число титулярных служивых. После сего говорят мне, чтоб состояние свое поправил картами, и доказывают ясно, что ничего нет легче, как выиграть 10.000 рублей в один вечер; я этому верю, беру карты, меня вводят в один дом,

где указывают мне собрание сих счастливых, из которых большая половина сидела в отчаянии, без кафтанов и без камзолов; это меня несколько утравило, но приятели мои принимаются за убедительные свои доказательства и говорят, что когда двое играют, то неотменно должно, чтоб один из них проиграл, а другой выиграл. Сии самые полунагие служат доказательством, что есть счастливые, которые у них все выиграли, после чего я сажусь и проигрываю свой годовой доход, потом на 3000 даю векселей. Теперь скажите, могу ли я быть довольным моими обстоятельствами? Однако ж, сударь,—продолжал он,—если вам угодно и когда есть у вас деньги, то вы можете сделать и свое и мое счастье; пойдемте только в тот дом, где пополам, конечно, мы отыграем у сих счастливых, чего они меня лишили, а может быть, что и во сто раз более у них у самих выиграем“. Он бы еще далее продолжал свою речь, если бы не вошел тогда один его знакомец, который нечто шепнул ему на ухо, и мой несчастливый картежник бросился стремглав из комнаты, сказав нам, что он идет вновь спорить со счастьем. Лишь только он вышел, то его друг, который на несколько времени оставался с нами, зачал говорить с другими своими знакомцами, и я слышал, как они сговаривались обыграть того молодого человека, за которым тот же час вышли. Вот, ученый Маликульмульк, малая картина людей. Ныне весь свет играет в карты, и всегда двое продают третьего. Я писал о сем к Диогену и заключил, что можно судить по картам и о политике, но он отвечал мне, что в его время не играли в карты и не знали политики, и потому просит от меня другого сравнения; но оставим это и возвратимся к моей повести. Лишь только вышла толпа соединенных сих картежников, то вошел в комнату пребогато одетый человек. „Вот“,—думал я сам в себе,—„тот, кого мне надобно, от него неотменно получу я сведения о модах“. Ветродум, так он назывался, зачинал говорить о тысяче разных предметах и ни об одном не оканчивал; он садился для того, чтобы сделать из себя хорошую фигуру, и с намерением шил, чтобы иметь случай делать приятные ужимки. Между сотнею сделанных им мне вопросов был для меня самый нужный: „за-чем я приехал в город?“ На что я отвечал ему, сколько мог учтиво, сказав, что я богатый дворянин и приехал в сей город затем, чтоб по просьбе моих родственников вывезть им модных уборов и . . . „О! что до этого принадлежит,—вскричал он,—то вы ничего лучше не сделаете, как если адресуетесь ко мне. Я вас в два часа коротко познакомлю с моею тетушкою, которая уже тридцать лет учится науке правиться и почитается здесь во всем городе первою шеголихою. Вы, кроме ее, не получите ни от кого подробные наставления о нарядах. Да, это женщина такая, которая делает честь своему полу и живет прямо шегольски: днем спит, ночное время проводит в забавах; туалет ее занимает 4 часа; обеденный и вечерний стол 5; 9 часов она провождает во сне, а прочее время употребляет для своих веселостей; словом,—это *беспримерная женщина*, и мы завтра у нее обедаем“. После сего

он, схватив мою руку, потряс оную и скрылся от меня, как молния, сказав, чтоб я на другой день дожидался его в том же месте. Итак, любезный Маликульмульк, я остаюсь в нетерпеливости сделать сие знакомство, и в первом письме подробнее уведомлю тебя о сей *беспримерной женщине* и о сем молодом ветренике, которые, может быть, будут служить образцами для всего ада.

Я повстречал своего брата Буристона, он очень невесело ходит и не надеется, чтоб мог скоро исполнить приказания Плутоны¹, так как и я Прозерпиныны.

ПИСЬМО X.

От сильфа Световида.

До сих пор я всегда удивлялся мнениям тех философов, которые душу человеческую уподобляли жизненным силам скотов, но я не знаю, любезный Маликульмульк, случилось ли тебе видеть смешные поступки тех господчиков, которых в свете называют *людьми, любви достойными, веселыми и знающими светское обращение*; взирая на них, ты сам мог бы иметь справедливую причину почесть их в равной степени с обезьянами, и я удивляюсь, что те философы, для лучшего убеждения в своих мнениях, не объяснили, что они говорили то, сравнивая петиметра с обезьяною². Ибо надлежит признаться, что, взирая на петиметра и на обезьяну, можно подумать, что или душа обезьяны духовна, или душа петиметра вещественна, потому что, по примечанию моему, обе сии души имеют одинакие между собою свойства, одинакие движения и одинакие страсти; а посему должны иметь и одинаковую сущность и быть равно или вещественны, или духовны. Итак, ежели полагать, что душа петиметра есть духовна, то надобно думать, что и душа обезьяны есть такова же.

После сего первого предложения, остается теперь доказать сходственность мыслей, чувств и склонностей между обезьяною и петиметром, и нет ничего легче, как сделать сие доказательство. Я поставлю себя на одну минуту на место философа, утверждающего сие мнение. „Не правда ли,—вопрошаю я,—что не должно и не можно иначе судить о естестве души, как по видимым в ней действиям и движениям, ибо существенность ее не может быть видима никакими глазами. Итак, посмотрим, какие суть действия и движения души петиметра? Она, управляя телом, в котором имеет свое пребывание, иногда заставляет его свистать, иногда понуждает его танцовать, прыгать, скакать, вертеться; и все сие заставляет делать

¹ В Третьем письме „Почты духов“ сообщалось, как, глядя на затейный Прозерпиной бал в аду, на танцующих героев древности, три судьи подземного мира, Радамант, Минос и Эак, от смеха—первые два—сошли с ума, третий—оглох. Вследствие этого Плутон гному Буристону „велел... как можно скорее лететь в свет и сыскать трех честных и беспристрастных судей, у которых бы мозг был в хорошем положении и которые бы при том не были глухи“.

² Этому сопоставлению щеголя с обезьяной Крылов потом посвятил басню „Зеркало и Обезьяна“.

без всякой побудительной причины, и столь поспешно, что всякий может заметить, что разум и рассудок нисколько не вмешиваются в сии прыжки и обороты. Подобно сему я вижу и обезьян скачущих, прыгающих и вертящихся, и когда рассматриваю внимательно все сии их движения, то нахожу точное подобие разных кривляний и прыжков молодого вертопраха, находящегося среди женщин“.

Но поступим далее с сим точным и справедливым сравнением. Когда обезьяна смотрится в зеркало, тогда, прельщаясь собою, удваивает она смешные свои коверканья, оказывает всю свою легкость в вертении и прыгании, ворчит сквозь зубы нечто совсем невразумительное, чего бы и подобная ей другая обезьяна никак не могла бы понять. Петиметр точно так же, взирая на себя в большое стенное зеркало, представляет те же самые движения и обороты: он всего вокруг себя осматривает, множество раз на все стороны поворачивается, поднимает и опускает голову, коверкается, кривляется, ломается, говорит не имеющие смысла некоторые невразумительные слова, которые никому другому не могут быть понятны, как разве такому же петиметру; ибо он говорит *о прическе своих волос, о курчавости своего вержета*¹, *о размере своих буклей, о лентошном бантике* и о прочем подобном сему вздоре. Итак, в ком можно найти столь совершеннейшее сходство?

Обезьяна обыкновенно бывает непостоянна, изменчива и злобна; она кусает и раздирает платья на тех людях, кои, засмотревшись на ее скачки и кривлянья, по неосторожности подходят к ней очень близко. Петиметр делает точно то же: забавные и увеселительные зрелища, которые он смешными своими кривляньями представляет другим людям, покупаются от оных весьма дорогою ценою, ибо, вышед из дома, в котором оказывал он все свое искусство в модных прыжках и оборотах, повреждает он честь тех людей, коих он видел, и злословит хозяина и хозяйку того дома. Словом, ничто не может укрыться от его ядовитого языка, который если не больше, то по крайней мере столько же может быть опасен, сколько и зубы самой злейшей обезьяны.

После столь ясного сравнения в чувствах, в поступках и в склонностях, не можно ли по справедливости заключить, что души обезьяны и петиметра суть одинаковой сущности? Признаться, мудрый и ученый Маликульмульк, что я почти убежден сим мнением. Я знаю, что в оном встречается превеликое затруднение, ибо, следуя оному, надлежит признать душу петиметра вещественною, потому что душу обезьяны никак не можно почесть духовною. Итак, взирая на таковые странные и смешные поступки петиметров, не иначе можно их почитать, как совершенными ветряными мельницами или часами, заведенными глупостию и вертопрашеством. Наконец, нет ничего легче, как доказать самыми истинными опытами, что душа разумного и постоянного человека совсем другого свойства, нежели как душа петиметра, ибо известно тебе, мудрый

¹ Часть парика.

Маликульмульк, что не можно полагать нимакого сходства между душою такого философа, каков был Эйлер¹, и между душою обезьяны, заключенной в теле модного вертопраха.

ПИСЬМО XVIII.

От Астарота к волшебнику Маликульмульку.

В последнем моем к тебе письме, мудрый Маликульмульк, упоминал я о некотором молодом человеке, который, имея намерение определиться в какой-нибудь приказ секретарем, требовал в том моего совета. Он столь же был беден и так же умирал с голоду, как и приятель его стихотворец. „Наставь меня,—говорил он мне,—должен ли я вступить в сию должность и могу ли надеяться, что посредством оной поправлю бедное свое состояние“.

„Будущее,—ответствовал я ему,—столь же сокрыто от бесов, как и от людей; однакож, рассматривая подробно настоящие обстоятельства, можем мы несколько предузнавать, что впредь с кем случится. Итак, скажи мне, какие главнейшие причины побуждают тебя вступить в сию должность? Если жадность к прибытку составляет предмет твоих желаний, то надеешься ли ты на свою совесть, что не тронется она воплем бедных сирот, у которых алчный корыстолюбец, посредством твоего старания, отнимет последнее их имущество? Чувствуешь ли ты в себе столько ябеднической твердости, чтоб грабить своих ближних без малейшего угрызения совести? И, наконец, надеешься ли столько на знание свое в крючкотворстве, чтоб нагую истину в глазах безграмотных судей переодевать в различные наряды, по своему благорассуждению? Ежели есть в тебе сии необходимо нужные для коростылюбивого секретаря качества, то, не мешкая нимаго, исполняй свое намерение, и я предсказываю тебе, что, наполняя свои сундуки имуществом ограбленных тобою людей, будешь ты очень богат“.

„Я никогда так подробно не рассуждал,—ответствовал он мне,—однакож признаюсь, что, желая вступить в сию должность, смотрю более всего на прибыль, и уверен, что большая часть будущих моих собраний так же о том думают, как и я. Сыщется ли из них хотя один, который бы пожертвовал неусыпными своими трудами для приобретения той пустой и ничего незначащей славы, которая последователей своих нередко препровождает в богадельню? Собственная польза должна быть гораздо драгоценнее, нежели польза вдов и сирот. Винават ли секретарь, что нет у них денег? В нынешние просвещенные времена даром ничего не делают“.

„Ого!—вскричал я с восхищением,—я предвижу, что, имея такие мысли, ты будешь современем очень счастлив; ты достоин быть не только секретарем, но и судьей. По словам твоим всякий подумает, что ты состарился в приказе и что уже лет сорок упражняешься в крючкотворстве. Принимайся, друг мой, поскорее за

¹ Эйлер Леонард (1707—1783)—великий ученый—математик. Долгое время жил в России, был членом Российской академии наук.

сей промысел; уверяю тебя, что ты ничего лучше сего не сделаешь“.

„Мне кажется,—ответствовал мне нововыпечатанный секретарь,—что ты очень хорошего мнения как обо мне, так и о будущих моих сотоварищах, однакож я многими примерами могу тебе доказать, что и между ими есть множество честных людей, достойных всякого почтения“.

„В этом я не сомневаюсь,—ответствовал я ему,—однако ж сих, упоминаемых тобою, добросовестных секретарей столь мало, что в сравнении со множеством пристрастных к *акциденции*, можно их почесть за совершенную редкость. Когда приходит мне на мысль все те плутни, которые они, для уловления бедных челобитчиков в ябеднические свои сети, употребляют, то не могу удержаться, чтоб не похвалить благоразумных в судопроизводстве обрядов некоторых азийских народов, кои для отправления правосудия не имеют нужды ни в выписках, которые более затмевают дела, ни в справках, которые в конец разоряют бедных челобитчиков; все сии запутывающие и самые справедливейшие дела ябеднические крючки у сих народов, коих просвещенные европейские жители называют *варварами*, совершенно неизвестны. Там жадный стряпчий, бессовестный судья и бездушный секретарь не имеют способов обогащаться имуществом ограбленных ими просителей, и если б, к твоему несчастью, родился ты в каком азийском городе, то сколько бы ни употреблял старания, чтоб одному делу дать два различные вида или чтоб яснейшую истину обратить в сомнительную, однакож все то нимало бы не послужило к твоей пользе. Там умер бы ты с голоду, или, может быть, в награду за твои плутни отвесили бы тебе несколько сотен ударов палкою по пятам.

„Итак, еслиб в европейских присутственных местах поступали с приказными служителями по азийскому обыкновению, то все твои товарищи сделались бы столько же честными, сколько теперь корыстолюбивы. Принимаясь за какое дело, не преминули бы они прежде сами себе сказать: *„Понеже-де плутни наши вознаграждаются здесь ниспадающим на нас палочным дождем, того ради надлежит пешишь елико возможно, дабы честностию и бескорыстием предохранить спины наши от вышереченного за незаконные наши истязания“*. Но к несчастью европейцев, судьи и начальники у сих просвещенных народов не так думают, как азийские *паши* и *кадии*¹. Всякое судебное дело, как бы худо ни было, находит своих защитников, и чем которое несправедливее, тем более искусный секретарь надеется получить от него прибыли; и сии-то ябеднические и запутанные дела составляют главнейшие его доходы“.

„Я вижу,—ответствовал мне молодой человек,—что ты не весьма уважаешь тем промыслом, в который я вступить намереваюсь; однако ж всем довольно известно, сколько нужен он в государстве; конечно, в аде совсем иначе о том думают“.

¹ *Кадий*—судья в мусульманских странах.

„А это происходит от того,—ответствовал я,—что у нас вашу братию лучше знают, нежели здесь. Однако ж я должен тебе признаться, что ничего не может быть почтеннее, как искусный и беспристрастный секретарь; нет такого достоинства, в которое бы он, по заслугам своим, не мог быть возведен. Множество, как прежде было, так и ныне, есть таких людей, которые честностию и бескорыстием из простых писцов произошли в первейшие чины в государстве. Но сие до тебя не касается; ты больше привязан к корыстолюбию, нежели к добродетели. Итак продолжай, как начал; я тебе отвечаю, что в скором времени ты чрезмерно обогатишься. Паче всего помни, чтоб за деньги никому ни в какой просьбе не отказывать; и если случится, что, не взирая на все твои плутни, решится какое дело не так, как бы тебе хотелось, то сие нимало не помрачит твоей славы, а все скажут, что дело, о котором ты старался, было чересчур уж гадко; ежели же плутовство твое получит успех и тебе удастся переворотить по-своему, правого обвинить, а виноватого оправдать, тогда будешь очень щедро награжден и тебя все будут почитать самым хитрым крючкотворцем. Совет, который я тебе даю, может тебе служить вместо философического камня; пользуйся им до тех пор, как увижу я тебя переселившегося в ад и сидящего в объятиях адских демонов“.

ПИСЬМО XX¹.

От сильфа Дальновида² к волшебнику Маликульмульку.

Весьма часто, мудрый Маликульмульк, оплакиваю я злополучие смертных, поработивших себя власти и своенравию таких людей, кои родились для их погибели. Львы и тигры менее причиняли вреда людям, нежели некоторые государи и их министры. Скажи, премудрый Маликульмульк, бросался ли когда лев, возбужденный величайшим голодом, на подобного себе льва и раздирал ли его на части для утоления своего голода? Напротив того, ежегодно почти видим мы людей, которые для удовлетворения своего тщеславия, гордости или корыстолюбия жертвуют подобными себе людьми без малейшего угрызения совести.

Не под владением одних только тиранов видимы были целые государства, поверженные в бездну злополучия; много было таких государей, коим хотя потомство приписывает великие похвалы, однакож они не менее других вреда людям причинили. Перон выжег Рим для удовлетворения своего бесчеловечия; Юлий Кесарь³ на-

¹ В этом письме Крылов выступает против разорительных для народа завоевательных войн Екатерины II.

² Письма Дальновида, как и не приведенные в настоящем издании письма Выспрепара, Световида и некоторых других, отличающиеся философским характером, долгое время большинством исследователей, начиная с Ш. Плетнева, приписывались Рахманинову, Радищеву или другим авторам. Новейший исследователь, Б. Конлан, вполне убедительно доказывает, что автором их является сам Крылов. См. статью Б. Конлана, Философические письма „Почты духов“, в сборн. „А. Н. Радищев, Материалы и исследования“, Л.—М. 1936, стр. 355—399.

³ Юлий Цезарь.

полнил кровью и грабительством всю Римскую империю, дабы чрез то показать свое могущество. Не все ли равно для людей, от какой бы причины они не погибали? Все то, что их истребляет, не может быть им приятно.

Область, опустошенная тщеславным победителем, не должна ли почитать его чудовищем, рожденным для гибели рода человеческого? Кто дал право человеку убивать миллион подобных себе людей для удовлетворения своих пристрастий? В каком установлении естественного закона можно найти, что множество людей должны принесены быть в жертву тщеславию или, лучше сказать, бешенству одного человека? Все сии мнимые герои, которым ослепленные смертные придают пышное название *Великих* и *Победителей*, в глазах истинного философа суть не что иное, как Нероны и Калигулы; разность между ими только та, что сии римские императоры истребляли людей в своих владениях, а те погубляют как своих, так и подданных соседственных государей.

Монарх, предприимлющий войну для защищения своих областей и для поддержания прав и преимуществ своего народа, есть мудрый отец, обремененный великою семьею детей, кои хранит и оберегает он от ненависти их неприятелей; напротив того, государь, пекущийся единственно о удовлетворении своего тщеславия и убегающий мира для пагубного только удовольствия, чтоб вести беспрестанно войну, наносит более вреда людям, нежели язва и голод. Можно предохранить себя от недостатка в пропитании, выписав хлеб из других земель; от заразительной болезни есть также средство избавиться, удалясь в те места, где она еще не свирепствует; но тщеславного государя никак избегнуть не возможно. Подобаясь ниспадающему с крутизны гор источнику, поглощает он все, что в пути своем ни встречает. Александр¹ гнал людей и на конце вселенной; Карл XII, подражая его примеру, столько же бы, может быть, причинил вреда людям, сколько и сей македонский государь, если б небо, для спасения рода человеческого, не ниспослало в свет мудрого и человеколюбивого государя², который, преобразя души своих подданных, обуздал чрез то пагубное стремление сего надменного врага человечества.

Кажется, что люди тех только монархов называют *Великими*, которые во время своего царствования истребили из них несколько миллионов; напротив, тем, кои не погубляли рода человеческого, приписывают они только название *кротких* и *справедливых*. Бедственное и странное обыкновение!.. Государь истинно *Великий*, следуя их предрассудкам, должны уступать в славе тем, кои мщение правосудных небес употребляет для наказания развращенных человеков, вместо язвы и голода.

Не одно только тщеславие победителей причиняет гибель роду человеческому: корыстолюбие столько же иногда бывает пагубно, как и наикровопролитнейшая война. Гораздо бы было лучше для

¹ Александр Македонский.

² Подразумевается Петр I.

некоторых государей, чтоб потеряли они половину своих подданных на сражении или при осаде какого города, нежели, собрав их имущество к себе в сундуки, поморить после с голоду. Смерть воина, сраженного во время битвы скорострелным ударом, не столь мучительна, как смерть бедного земледельца, который истает под бременем тяжкой работы, который в поте лица своего снискивает себе пропитание и который, истощив все свои силы для удобрения земель, видит поля, обещающие вознаградить его обильною жатвою, расхищаемые корыстолюбивым государем; смерть, говорю я, сего бедного земледельца, во сто раз жесточе смерти воина, оканчивающего в одно мгновение жизнь свою на сражении. Тщетно бедные подданные стараются скрыть малые остатки своего стяжания от жадности корыстолюбивого государя; определяемые от него надзиратели, сборщики и поставщики пробегают беспрестанно города и селения, и сии ненасытные шивиды высасывают кровь у бедного народа даже до последней капли.

Ревность государей к распространению своего закона не менее причиняла вреда людям, как и другие их пристрастия. Сколько во Франции несчастных принесено было в жертву злости и ненависти бесчеловечных пустосвятов? Государь, предупреденный сими лицемерами, думали, что, убивая людей, не только что истребляли в них своих неприятелей, но и угождали тем самому богу.

Защитники нетерпимости других вер в государстве, для извещения своих бесчеловечий, говорят: *покоритесь нам; мы, воздвигая на вас временное гонение, устроим чрез то вечное ваше спасение. Вы—заблудшие овцы, коих против воли желаем мы возвратить на пажить господню.* Жестокие пастыри! можно бы было им сказать—в тысячу раз свирепейшие, нежели наилютейшие звери. Неужели думаете вы свирепством и бесчеловечием преклонить к себе сердца человеческие? Почто гоните вы несчастных, которые как вам, так и обществу ни малейшего зла не причинили? Безжалостные веропроповедники! между вами и Мехом нет никакого различия; тот посредством огня и меча хотел, чтоб все люди были язычники, а вы те же самые средства употребляете, чтоб преобратить всех в католиков. Христиане, отступившие от веры, отнюдь не были уверены в тех нелепых идолопоклоннических догматах, которым для избежания смерти они последовали; равным образом протестанты, жида и лютеране, принужденные для избежания ваших гонений переменить свой закон, гнушаются во внутренности своих душ тем, который наружно они исповедуют. Таким образом, темницы, пытки и виселицы принуждают только людей притворно верить тому, чему они не верят. Сметаете ли вы, несмысленные и бесчеловечные богословы, утверждать, чтоб мучить людей повелено было вам милосердным богом? Вы не только не ужасаетесь своих злодеяний, но и всевышнее существо представляете столь же кровожадным, каковы вы сами.

Я чувствую, премудрый Маликульмульк, что, вспоминая пагубные дела некоторых бесчеловечных законопроповедников, не могу удержаться, чтоб не ощутить к ним величайшего омерзения.

Против воли лишаюсь я философической моей твердости; ибо бедствия, причиненные людям суевением, так велики, что, рассуждая об оных, нельзя быть равнодушно; и для того, прекращая сие письмо, я всячески буду впредь стараться, чтоб удалить от себя столь печальные мысли.

ПИСЬМО XXIV.

От сальфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку.

Примечено мною, почтенный Маликульмульк, что в гражданском обществе всего легче дается людям такое название, которое очень немногие из них заслуживают и которое должно бы быть больше уважаемо, если бы люди поприлежнее размышляли о потребных для сего названия достоинствах. Люди всего чаще говорят: *вот честный человек*, а всего реже можно найти в нынешнем свете такого, который бы соответствовал сему названию.

Великая разность между *честным человеком*, почитающимся таковым от философов, и между *честным человеком*, так называемым в обществе. Первый есть человек мудрый, который всегда старается быть добродетельным и честными своими поступками от всех заслуживает почтение; а другой не что иное, как хитрый обманщик, который под притворною наружностью скрывает в себе множество пороков, или человек совсем нечувствительный и беспечный, который хотя не делает никому зла, однакоже и о благодеянии никакого не имеет попечения. Я в том согласен, почтенный Маликульмульк, что приличнее называть *честным человеком* того, кто содержит себя в равновесии между добром и злом, нежели того, который явно предается всем порокам; но оного еще не довольно для получения сего названия, чтоб не делать никому зла и не обесславить себя бесчестными поступками, а истинно *честному человеку* надлежит быть полез-



И. А. Крылов.

но и не делая никому зла и не обесславить себя бесчестными поступками, а истинно *честному человеку* надлежит быть полез-

ным обществу во всех местах и во всяком случае, когда только он в состоянии оказать людям какое благодеяние.

Ежели рассмотреть прилежнее, мудрый Маликульмульк, различные состояния людей и войти в подробное исследование всех человеческих слабостей и пороков, которым люди нынешнего века часто себя поработают и кои причиняют великий вред общественной их пользе, то можно увидеть очень многих, которым щедро дается название *честного человека*, а они нисколько того не заслуживают.

Придворный, который гнусным своим ласкательством угождает страстям своего государя, который, не внемля стенанию народа, без всякой жалости оставляет его претерпевать жесточайшую бедность и который не дерзает представить государю о их жалостном состоянии, страшась притти за то в немилость, может ли назваться *честным человеком*? Хотя бы не имел он нисколько участия в слабостях своего государя, хотя бы не подавал ему никаких злых советов и хотя бы по наружности был тих, скромн и ко всем учтив и снисходителен, но по таковым хорошим качествам он представляет в себе *честного человека* только в обществе, а не в глазах мудрых философов, ибо, по их мнению, не довольно того, чтоб не участвовать в пороках государя, но надлежит к благосостоянию народа изыскивать всевозможные способы и стараться прекращать всякое зло, причиняющее вред отечеству, хотя бы чрез то должен он был лишиться милостей своего государя и быть навсегда от лица его отверженным.

Богач, который неусыпными стараниями, с изнурением своего здоровья, собрал неисчетное богатство и наполнил сундуки свои деньгами, не подавая бедным нисколько помощи, хотя все сии сокровища приобрел дозволенными способами, однакож *честным человеком* назваться может только в обществе, в глазах же философа почитается он скупцом и скрягою, ни малю почтения честных людей недостойным.

Мот, который расточает свое имение с такою же прилежностью, с какою скупой старается его сохранить; который то употребляет на роскошь, что должен бы был употреблять на вспоможение несчастным; который живет в изобилии, не чувствуя ни малю сострадания к бедности многих, от голода страждущих, коим мог бы он сделать немалую помощь,—такой безумный расточитель, ежели на роскошь свою употребляет только свои доходы и не имеет на себе долгов, в обществе называется *честным человеком*, но философы таким его не почитают, а он в глазах их хуже диких варваров, которые и о скотах более имеют соболезнования, нежели он о подобных себе человеках. Надменный вельможа, думающий о себе, что знатное его рождение дало ему право презирать всех людей и что, будучи сиятельным или превосходительным, не обязан он оказывать никому ни малю уважения и благоклонности, если платит хорошо своим заимодавцам, если не поступает мучительно со своими подчиненными, а только их презирает, и если при исполнении возложенной на него должности не при-

тесняет народ, правлению его вверенный, то в обществе называется *честным человеком*, но философы почитают его таким, который поступками своими оскорбляет человечество; который, будучи надут гордостью, забывает и сама малейшие добродетели, не познает самого себя, и его безумное тщеславие столь же порочно и предосудительно, как зверская лютость дикого американца. Многие разумные люди утверждают, что гораздо сноснее быть умерщвлену, нежели презираему, ибо смерть оканчивает все мучения, а к презрению никогда привыкнуть невозможно, и чувствуемое от оного мучительное оскорбление час от часу непрестанно умножается. Чем более кто питает в себе благородных чувств, тем сносимое от других презрение, бывает для него мучительнее. Итак, сего высокомерного и гордого вельможу должно почитать чудовищем, которого небо произвело на свет для испытания добродетели и кроткой терпеливости простых людей, ему подчиненных.

В обществе также называется *честным человеком* тот судья, который, не уважая ничьих просьб, делает скорое решение делам, не входя нисколько в подробное их рассмотрение; но философы не думают, чтоб единого токмо старания о скорейшем решении судебных дел было довольно для названия судьи *честным человеком*; а, по их мнению, надлежит, чтоб он имел знание и способность, нужные для исполнения его должности. Судья хотя бы был праводушен и беспристрастен, но производства судебных дел совсем не знающий, в глазах философа тогда только может почтяться *честным человеком*, когда беспристрастие его заставит его почувствовать, сколько он должен опасаться всякого обмана, чтоб по незнанию не сделать несправедного решения, и побудит его отказаться от своей должности. Ежели бы все судьи захотели заслужить истинное название честного человека, то сколько бы присутственных мест оставалось порожними! и если бы для занятия сих мест допускались только люди совершенно достойные, то число искателей гораздо бы поуменилось.

Чтоб быть совершенно достойным названия *честного человека* и чтоб заслужить истинные похвалы, потребно сохранять все добродетели. И самый низкий хлебопашец, исполняющий рачительно должности своего состояния, более заслуживает быть назван *честным человеком*, нежели гордый вельможа и несмысленный судья. Тот, кого называют *честным человеком*, должен не только стараться делать добро, но и при делании оного приемлет надежнейшие меры: он прилежно себя испытывает, переменяет свои поступки, ежели хотя немного что приметит в них предосудительного, и слагает с себя все знатные и важные должности, сколько бы ни были они для него драгоценны, как скоро приметит, что он не имеет в себе потребных к тому способностей и не может возложенных на него обязанностей исполнять с пользою.

Итак, видя, сколь немногие люди заслуживают истинное название *честного человека*, надлежит не только удивляться, но и соболезновать о всем роде человеческом, который по природе поработен столь великим слабостям. Люди должны бы стыдиться

бедственного своего состояния, что в свете между ними столь мало находится истинно добродетельных и достойных заслужить от философов название *честных людей*. По справедливости надлежит сказать, почтенный Маликульмульк, что гораздо более таковых можно найти в простых людях, не прилепленных ни к придворной, ни к статской, ни к военной службам, ибо, будучи обременены немногими должностями, гораздо менее имеют они затруднения учиниться истинно *честными людьми*. Сколько благополучен тот, кто, подобно тебе, почтенный Маликульмульк, затворясь в своем кабинете, беседует с искренними своими друзьями, коих у него весьма мало; живет доволен своею участью и не завидует знатным чинам, кои редко бывают сопряжены с истинным достоинством и в коих почти невозможно совершенно исполнять всех нужных добродетелей, потому что в знатных чинах требуется оных великое множество.

ПИСЬМО XXVI.

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку.

Третьего дня, любезный Маликульмульк, перелетел я в ближний остров из старого, в котором был прежде. Нетерпеливость удовольствоваться странное желание Плутона принудило меня сделать немалый скачок; но я думаю, что и еще триста таких скачков не наведут меня на желаемую находку.

Со всем тем, не совершенно отчаиваясь, на сих днях утром прохаживаясь я по одной из знатнейших улиц здешнего города и вдруг увидел перед собою великолепный дом, у коего было многочисленное собрание народа, желающего туда войти. Множество изуродованных стариков старались перегнать здоровых, и хромые, припрыгивая на своих костылях, завидовали безруким, которые их выпереживали. Между тем, подюжины сильных лошадей привезли небольшой ящик, в котором, как показалось мне, положена была человеческая фигура из разных цветов мрамора. „Боже мой!—сказал я моему хозяину (он делал мне честь, прохаживаясь со мною),—или ваши лошади очень слабы, или жители здешнего острова безрасчетны, что впрягают шесть таких сильных тварей под одну каменную статую, в которой весу не более двадцати пяти пуд“.—„О какой статуе изволите вы говорить?—спросил у меня хозяин,—здесь не вижу я никакой статуи,—продолжал он,—а этот табун лошадей привез сухощавого человека, в два аршина и два вершка ростом, в коем весу не более сорока шести или восьми фунтов“. После сего еще другие табуны лошадей, подвозя таких же чудных творений, пылили своим топотом глаза нескольким бедным людям, кои ташили на себе превеличайший камень к строению какого-то публичного здания.

„Государь мой!—сказал я моему хозяину,—пожалуйте, растолкуйте мне это странное обыкновение: для чего здесь множество лошадей возят на себе одного человека, который, как я вижу, сам очень изрядно ходит, а, напротив того, тяжелый камень тащат столько людей, сколько числом и лошадей поднять его едва в силах?“

и не лучше ли бы было, чтобы, отпрягну от этих ящиков хотя по несколько бесполезно припряженных лошадей, употребить их на вспоможение этим беднякам везти камень?—„Я не знаю, сударь,—отвечал хозяин,—почему здесь десять человек тянут часто-ста по два пуд и почему шесть лошадей тащат машину с руками и с ногами в шестьдесят фунтов; но то знаю, что всякий из сих надутых тварей почтет себе величайшим оскорблением, если отпрячь хотя одну лошадь от его ящика, и что многие из здешних жителей мучатся по пятидесяти лет и более только для того, чтобы нажить шестерку лошадей¹, которая бы таскала их истощившуюся мумию.“—„Но какая выгода сих господ,—спрашивал я,—перед теми, коих возит одна пара?“—„Та,—отвечал он,—что они нередко, пользуясь своею шестернею, сминают их на дороге; а притом и все пешеходы отдадут всякой шестерне всевозможное уважение и уступают скорее дорогу для того, что она одна, проезжая мимо их, может вдруг десятерых забрызгать грязью с ног до головы. Посмотрите, как все прохожие у этого дома теснятся и мнут друг друга, чтобы не быть задавленными прискакивающими ежеминутно табунами?“—„Вижу,—отвечал я,—но скажите мне, какое здесь собрание и что это за дом?.. не храм ли?“—„Нет.“—„Не театр ли?“—„Нет.“—„Так не аукционная ли комната?“—„И то нет,—отвечал мне хозяин,—а все это вместе. Храмом можно назвать этот дом потому, что всякое утро бывает в нем поклонение живому, но глухому и слепому идолу; театром потому, что здесь нет ни одного лица, которое бы то говорило, что думало, не выключая и самого сего божества; а аукциною комнатою потому, что тут продаются с молотка публичные достоинства. Итак, некоторые из сего народа, бродящего в комнатах и на крыльце, приехали сюда для того, чтобы сделать поклонение сему идолу и потом надуться гордостью, если он хотя нечаянно на них взглянет; другие затем, чтобы с улыбкою уверить его о своей дружбе тогда, когда стараются они ископать для него тысячу погибелей; а третьи прискакали с поспешностию, чтоб набивкою цены перехватывать друг у друга публичные места, которые его секретарь и старшая любовница продают с молотка во внутренних своих комнатах. Теперь вы видите,—продолжал он,—что это дом знатного барина; а правда ли то, что я вам говорил, то если вы туда войдете, вся эта толпа будет вам служить очевидным свидетелем.“—„Но когда можно туда войти?“—спросил я. „Вы еще и теперь успеете,—отвечал он,—на дворе очень рано; сюда только что начали съезжаться; вот еще осьмнадцать скотов притащили трех бесполезных человек. Ступайте скорее, если вы любопытны: там сегодня прекрасное собрание“, и я, не медля нисколько, продрался в покои.

Многочисленное общество здоровых и изуродованных бедняков наполняло переднюю комнату; бледные их лица и изодранные платья показывали, сколь нужна была им помощь; воль-

¹ В карете, запряженной шестеркой лошадей, тогда имели право ездить лишь лица первых шести классов по табели о рангах.

пость и веселие были изгнаны из сих печальных стен; многие женщины плакали, рассказывая о своих несчастьях близ стоящим, но редкие им сострадали, а всякий занимался более своими собственными злополучиями. Отягченные усталостью и летами, старики облакачивались своими седыми головами о холодные стены и в дремоте забывали и о вельможе, и о своих бедствиях, доколе больные несчастливцы не разрушали слабого их забвения своим оханьем. Некоторые женщины приводили туда своих младенцев, конечно, для того, чтобы более возбудить о себе сожаление в вельможе. Бедные матери, чтобы утешить своих детей, которые просились домой, давали им куски черствого и засохлого хлеба, и множество голодных просителей с печальной завистью смотрели на ребенка, который, может быть, доедал последний кусок в своем доме. Словом, приходяжая сего барина походила более на больницу убогого дома¹, нежели на комнату знатного господина; и в самых темницах, любезный Маликульмульк, едва ли можно найти более бедности и уныния.

„Не ошибкою ли я сюда вошел?—спрашивал я близ меня стоявшего старика,—мне сказали, что это комнаты его превосходительства ***“.—„Точно, сударь,—отвечал старик,—это его приходяжая или, лучше сказать, прохожая, ибо он только через нее проходит к своей великолепной карете, не успевая и взглянуть на множество бедных просителей, которых обманчивая надежда не замедливает опять приводить в его дом“.—„Как!—вскричал я,—и его окаменелое сердце не трогается воплем сих несчастных женщин, сих стариков и изуродованных просителей! Он имеет жестокость не внимать их стонам!“.—„Внимать, сударь?!—говорил печально старик,—они ими утешаются: множество просителей составляют великолепные вельмож, и они наперерыв стараются накапливать их большее число, поманивая иногда пустыми обещаниями. Я сам, сударь мой, я сам уже поседел на этой скамейке; целых 20 лет я был зрителем и действующим лицом сего плачевного театра; однакож еще и ныне ничуть не надеюсь скорого решения моего дела, которого со всем тем оставить мне никак не можно. Я вижу,—продолжал он—что вы еще новы в здешнем месте“.—„Это правда,—отвечал я,—и я бы просил вас удовольствоваться в некоторых вопросах мое любопытство... Скажите мне, что это за бумаги, которые друг другу показывают многие находящиеся в сей комнате?“.—„Это бумаги,—говорил старик,—называемые просительными письмами; просители стараются как можно чище и красноречивее их написать; они самыми живыми красками доказывают в них свою бедность или несчастья, которые иногда столь ясно описаны, что могли бы иметь успех и у самого жестокосердого вельможи“.—„Они, конечно, смеяют,—спросил я,—сих бояр?“.—„Нимало,—отвечал старик,—знатные имеют предосторожность не заглядывать в сии письма, и потому-то красноречие самого лучшего писателя остается без действия“. В сие время услышал я позади себя оханье одного

¹ Богадельни.

Безногого, который сидел в углу комнаты, и я осмелился спросить у него о причине столь великой его горести. „Я вздыхаю, сударь, о том,—отвечал он мне,—что у меня оторвали ногу, а не голову: я бы вечно не знал, что такое есть прихожая знатных. Года с четыре назад,—продолжал он,—некоторый знатный господин предложил мне вступить в военную службу. Он описал мне самыми разительными словами, какую могу я сделать пользу своим землякам, сделавшись хорошим воином; сердце мое наполнилось тогда жаркою любовью к отечеству, и я, оставя торговлю, посвятил себя войне. Имея отважный дух, всячески старался я оказывать себя во всех сражениях, покуда пушечное ядро не наказало моего безумного бешенства: оно унесло мою ногу, а с нею вместе и покровительство моего начальника, которому нужны были любимцы с обеими ногами. Мне однакож сказано, что я могу иметь пропитание от отечества, которому жертвовал собою. Наконец, я уволен от службы, нажив в оной 30 ран и деревянную ногу. С таким-то прекрасным доказательством моей храбрости явился я к сему вельможе; он очень учтиво меня принял и обещал мне выходить порядочное пропитание; с такою радостною надеждою таскаюсь я к нему уже четыре года на моей деревяшке; но он иногда позволит меня увещевать, чтоб я пообождал до случая, выхвачая передо мною самыми отборными словами терпение... Я верю, что его похвала прекрасна и красноречива, но верю также и тому, что я современем, к его славе и к чести моего отечества, умру в этой прихожей с голоду...“ Едва закончил он свою повесть, как голосов в шесть закричали: „вот он! вот он!“, и все зачали обступать какого-то толстого человека, который с довольною гордостью отвечал на низкие поклоны заслуженных стариков, которые гнулись перед ним до пояса... Я продирался, как мог, сквозь просителей, и не успел еще прodrаться, как они опять закричали: „он ушел!“ „Кто это был,—спрашивал я у них,—не сам ли его превосходительство?“—„Нет,—отвечал мне какой-то ослеплый голос,—это его комнатный служитель, которого мы просили, чтобы он доложил о нас его превосходительству, но нам сказали, что он сам скоро выдет и что велено уже подавать карету“.

Тогда многие зачали вновь перечитывать и готовить свои письма, а я между тем пошел далее и, прошед комнаты через две, увидел совсем другое зрелище.

Я вошел в комнату, которая вся наполнена была чиновными и богатыми, которые с гордостью смотрели друг на друга. Там богатый откущик стоял нерадиво у окошка и выслушивал повесть у чиновного; надутый гордостью судья зевал в креслах, между тем как перед ним молодой офицер рассказывал о своих двадцати победах: как он переколотил своею рукою с 700 человек неприятелей и выломил городские ворота, не получа ни одной раны, за что, будучи одобрен свидетельством своего дядюшки и под покровительством своей бабушки, приехал просить богатого награждения. В другом месте стихотворец, надув щеки, читал с важностью ничего не значащие свои бредни, которые украсил он

именем его превосходительства, прописывая, что он, не имея в виду никакой корысти, подносит ему свои труды, как покровителю наук, который никогда не оставляет дарования без награждения; или, лучше сказать, он начинал свое письмо хвалою своему некорыстолюбю, а оканчивал тем, что просил за свою книгу хорошей платы.

Сей последний сделал мне честь своими учтивостями и, подошед ко мне, показывал свое приношение. Это была книга о златом веке; я прочел в ней несколько строк, в которых автор, браня изо всей силы нынешние времена, выхвалял те годы, которые были за 30 000 лет до нашего времени. „Я сомневаюсь,—сказал я ему,— понравится ли ваша книга его превосходительству; вы в ней хвалите такой век, в котором не было ни бедных, ни богатых, ни знатных, ни просителей,—и подносите ее знатному вельможе“.— „О! это ничего, сударь,—отвечал мне автор,—наши вельможи держат у себя в библиотеках самые прекрасные правоучения и самые острые критики; но со всем тем никогда не жалуются на авторов, для того что их не читают. Здешнему вельможе можно, не опасаясь нимало, поднести на него на самого три тома сатир, за которые иногда из тщеславия заплатит он деньги и отдаст своему библиотекарю“.— „Как!—просил я,—кто же у вас читает *Платоновы* сочинения *О должностях*, *Наставление политикам*, *О состоянии земледельцев* и *О звании вельмож*?“¹.— „Купцы и мещане,—отвечал автор,—а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шуточные басни“.— „Так поэтому,—сказал я,—вы бы лучше сделали, еслиб поднесли ему какую-нибудь книгу такого содержания“.

— О! как вы мало знаете свет!—вскричал автор,—поверьте мне, что сколько бы ни веселила его такая детская книга, но он заплатил бы за нее одним презрением, и сколько бы, напротив того, ни скучна была книга под правоучительным названием, но я, конечно, бы был изрядно за нее заплачен: наши вельможи совсем не таковы в свете, каковы в своих кабинетах; в публике часто они бранят то, что у себя жалуют, и часто наружно хвалят то, что внутренно ненавидят; спросите у всякого вельможи, каковы для него кажутся *Юстиевы Рассуждения*² и *Примечания Ришелье*?³. Он вам побожит все, чем хотите, что он ничего вечно не читывал основательнее и умнее сих сочинений, но если вздумаете вы спросить о содержании этих книг, то редкого вельможу не приведете таким вопросом в смущение. Вот,—продолжал он,—каковы у нас многие вельможи; со всем тем все почитают их счастливыми, и мелочиновные всячески ищут быть на их месте, которое получа, не один раз в сутки проклинаят; что до меня, то я лучше

¹ Подразумеваются книги Платона „Законы“, „Политика“, „Государство“.

² *Юсти Иоганн* (ум. 1771)—известный в XVIII веке немецкий экономист. В 60—70-х годах XVIII века на русский язык было переведено несколько его работ.

³ *Ришелье Арман* (1585—1642)—известный французский государственный деятель. Здесь, очевидно, имеется в виду вышедшая в свет в 1769 г. книга „Политическое завещание кардинала Ришелье королю французскому“.

хочу доставать от них за подносимые мною книжки деньги, нежели, быть на их месте, платить за то, на что никогда взглянуть мне не удастся“.—„Но скажите мне, знаете ли вы сего вельможу коротко?—спрашивал я моего оратора,—признаюсь вам, что я нахожу великую разницу в вашем письме с тем, что видел собственными моими глазами: вы выхваляете его добродетель, а я в его прихожей заметил несколько человек, которые в двадцать лет не испросили еще от него ни одной милости; вы превозносите его снисхождение, а он ничьих просьб не слушает, почитал уже и то важным, когда мимо своих просителей пробежит к своей карете, да и сего часто не делает, а выезжает со двора совсем с другого подъезда“.—„О! сударь,—вскричал сочинитель,—конечно, вы очень мало обращались между людьми, когда не знаете, что это правило подносительных писем: в них почти всегда одними словами выхваляется тот, кому подносится книга, хотя подноситель не только его подробно, но и имя его мало знает; от того-то вельможи с самого начала своей знатности, читая в письмах, сколь они добродетельны, думают о себе, что и в самом деле публика о них так заключает, и не стараются подтверждать своими делами то, что мы пишем в письмах“.—„Но если каким-нибудь случаем не удастся вам получить от них награждение,—спрашивал я,—что вы тогда делаете?“.—„Мы пишем на них сатиры,—отвечал он,—и хотя они их не читают, но мы делаем так, как маленькие ребятки, которые по привычке плюют на тот столб, о который ушиблись, и думают, что тем ему довольно отместили; мы...“ Вдруг отворилась дверь, и все расступились на две стороны, чтоб дать дорогу.

Вельможа, убранный великолепно, вышел из своего кабинета с веселым видом; он очень учтиво кланялся на все стороны; со многими улыбался, а иным шептал на ухо, и они почитали себя счастливыми. После того принимал он письма, с уверением, что через два дни все их рассмотрит; но я уже имел причину тому не верить.

Я приметил, что многие просительные письма были довольно толсто свернуты, и такие принимались с большею благосклонностью, а наполненные одним красноречием отдавались секретарям. Между тем, продрался мой сочинитель и с нижайшими поклонами поднес ему свою книгу. „Будьте уверены,—сказал ему вельможа,—что дарования ваши не останутся забыты; я не премину награждать вас при первом случае; я уже знаю, что книга ваша прекрасна. Возьмите,—сказал он одному из своих приближенных,—и отнесите ее ко мне в кабинет; я надеюсь заняться ею несколько дней“.

Приближенный взял ее у него из рук и отдал ее секретарю, который, как я приметил, вошед в кабинет, бросил ее под стол, наполненный старыми бумагами. Между тем, вельможа продолжал степенно шествовать к прихожей, кланяясь на обе стороны всем и ни на кого не смотря; он делал внимательное лицо ко многим словесным просьбам, из которых, однакож, ни одного слова не выслушивал, а был занят, как я приметил, совсем другими рассужде-

ниями. При приближении ж к дверям, пустился он, как молния, чрез прихожую, закутавшись в свой плащ и не внимая тысяче голосов, относящих к нему просьбы несчастных, и едва успел сказать им всем, чтобы побывали они *завтра*, как, севши в карету, пропал из вида и оставил в отчаянии бедных просителей. „Что до меня,—сказал толстый судья,—то я всего вернее надеюсь получить обещанное место: красноречие золота никогда не обманет. Пусть бедные стонут, что их не выслушивают; но мы, у которых кошельки плотны, мы, право, не имеем причины жаловаться на вельмож: правда, что мы дорого им платим, но наши челобитчики после заплатят нам то с выгодой, что мы отдаем вельможе за то, чтобы высасывать из кошельков у просителей“.—„И я,—сказал молодой повеса, который хвалился, что побил 700 человек,—не меньше вашего надеюсь получить награждение: бабушка моя родня комнатной девушке его любовницы, а предстательство сей нимфы дороже всяких свидетельств: если бы я, и совсем не показываясь к сражению, всклепал¹ на себя, что перебил три тысячи человек, то и тогда бы мне поверили и наградили бы мою храбрость. Пускай трудятся бедняки, не имеющие предстательств; нашу братью нередко более награждают за храбрый язык, нежели их за храбрые дела“.

Вот, любезный Маликульмульк! какого я нашел вельможу; говорят, что здесь есть много из них добродетельных, но и один порочный делает пятно правительству, лишая счастья многих достойнейших себя людей.

ПИСЬМО XXXIV.

От гнома Вестодава к волшебнику Маликульмульку.

Наконец, любезный Маликульмульк, и наш двор² не уступает многим европейским дворам, а всему этому причиною Фурбиний³, который управляет Прозерпиною, а Прозерпина Плутонном, дозволившим, по просьбе жены, сему италиянцу составить свой штат. Он истощил весь свой разум, чтобы Прозерпина не имела никакой причины завидовать Европе. Угадывая, что ты любопытен слышать, каким образом происходил сей странный набор, опишу я тебе все это происшествие.

Прозерпина, желая скорее видеть ад в новом виде, доучала Плутона ежеминутно о пользе, какую в сей перемене может сделать Фурбиний. „Он,—говорила богиня,—плясывал при многих европейских дворах и был вхож ко всем придворным женщинам, которые с ним короткие имели знакомства, а женщины играют в политике немалое лицо: они движут всеми пружинами правления, и чрез них делаются самые большие и малые дела. Хотя ты с первого взгляду и подумаешь, что мужчины всем правят, а жен-

¹ Наговорил.

² Т. е. адский двор.

³ Плут-балетмейстер, о проделках которого рассказывалось в письме XXI.

щины ничего не значат, но очень ошибешься и, посмотря хорошенько, увидишь, что мужчины не иное что, как ходатаи и правители их дел и исполнители их предприятий. Посему ты видишь, что Фурбиний, быв знаком с придворными женщинами, должен наизусть знать политику, что такое есть двор, и уметь его составить; но для исполнения сего он должен иметь полную власть. Итак, душа моя, когда ты хочешь видеть ад в лучшем состоянии, то уполномочь его и объяви по себе и по мне первым начальником ада...“ „Перестань, богиня,—вскричал Плутон,—разве ты забыла, что у нас в аде множество воинов и философов, которые сочтут меня дураком за такое объявление и не захотят признать над собою начальником Фурбиния!“—„Ах, какой ты трус!—сказала богиня,—можно ли тебе бояться кого-нибудь, быв здесь самовластным? Спроси у тех же самых воинов, каковы были Александр, Юлий Кесарь и Дионисий¹ во время их царствования на земле; разве не было в их владениях мудрецов, однако, несмотря на то, делали они по-своему, все, что хотели.“—„Какая разница!—отвечал Плутон,—там своенравный государь имеет тысячу способов усмирять неугомонных мудрецов и в случае нужды сбывать их с рук, отправляя сюда, как то сделано с Цицероном, с Сенекою² и со многими другими; но мне куда их отсюда девать? Бывши всегда с ними, я должен буду терпеть вечные их роптания...“—„Роптания против своего повелителя!—вскричала с негодованием Прозерпина,—перестань, Плутон, ты ужесть как низко мыслишь. Если ты не знаешь, как от сего отвязаться, то заведи только хороший присмотр в аде, и первого, кто хотя одно слово скажет против твоих заведений, отдай на исправление Алектоне³: ты увидишь, после, как весь ад будет доволен, и все тени будут превозносить тебя похвалами. Что нужды, будут ли согласны их мысли с лицом; это такая мелочь, в которую непристойно входить величеству. Отними только свободу и смелость у теней: после того, хотя переодень весь ад в шутовские платья, заставь философов писать негодные песенки, весталок их петь, а героев плясать, и ты увидишь, что они все с таким усердием то будут исполнять, как будто бы родились для сего. Нужно ли, чтобы владетель угождал желанию, хотя бы и очень разумному, нескольких миллионов тварей, и был бы их слугою; не гораздо ли пристойнее, чтобы все его подданные последовали его дурачествам? Тот один, по моему мнению, истинный владетель, кто может по своей воле целый народ философов заставить дурачиться. Будь уверен, что Фурбиний нам в этом поможет.“—„Прозерпина!—сказал Плутон,—положим, что я сделаю Фурбиния по себе здесь первым, но будет

¹ Дионисий (431—367 до н. э.)—тиран Сиракузский. Завоевал почти всю Сицилию. При нем Сиракузы достигли наивысшего расцвета.

² Сенека Луций Анней (4 г. до н. э.—65 г. н. э.)—известный римский философ и драматург, глава философской школы стоиков в Риме, воспитатель императора Нерона. Будучи заподозрен Нероном в заговоре, покончил с собой.

³ Алектона, или Алекта,—одна из трех адских фурий. (Фурии—богини мести.)

ли он столько умен, чтобы поддержать свое достоинство; впрочем, ты знаешь, что глупый вельможа в глазах народа во сто раз смешнее глупого простолюдина, и если тени увидят в числе моих приближенных десять дураков, то большая половина ада сочтет и меня полумумным.— „О! Так ты не знаешь всей обширности твоей власти,—отвечала Прозерпина,—что же может льстить более владетеля, как не то, чтобы заставить весь народ почитать умною такую тварь, в которой нет и золотника мозгу, а плутом человека, посвятившего себя добродетели? Хотя многие потихоньку тому смеются, но те же самые в обществе последуют усердно мнению своего владетеля, и уважают или презируют ту особу, смотря по его объявлению. Калигула сделал свою лошадь сенатором, и все римляне оказывали ей невозможнейшее уважение. Ныне сему смеются, не примечая того, что потомки Калигулина коня, не теряя своей знатности, размножаются по свету. Может быть, будущие века будут так же смеяться нынешнему веку, как сей прошедшему; обыкновенно таким образом новые веки хохочут над дурачествами старых, получая оные от них себе в наследство; последний век только один может похвалиться, что не будет осмеян. Но какая разница, любезный Плутон, между тобою и Калигулою: тот хотя, пользуясь своим правом, мог заставить свой народ молчать и уважать свои дурачества, но он, конечно, знал, что потомки положат истинную цену его делам; а мы с тобою, любезный супруг, не можем опасаться потомков, мы бессмертны и, исполняя маленькие свои прихоти, всегда будем в силах принудить теней почитать наши шалости. Если бы нам вздумалось кого-нибудь взять из бешеного дома и сделать нашим первым министром, то и тогда имели бы мы способ весь ад заставить почитать его первым мудрецом во всей подсолнечной“. После таких убедительных доказательств Плутон не мог более противиться своей жене. Они удалились в кабинет и с помощью Фурбиния сочинили объявление о его новом достоинстве, которое немедленно отдано было Харону, чтобы он объявлял его всем новоприезжающим теням; прибили его подле Цербера, который подкусывал голени всем, кто осмеливался хотя улыбнуться при чтении столь премудрого сочинения, и потом разослали по всему аду. Трем фуриям дали также по одному экземпляру, и вид сих сестриц, вооруженных бичами, не малую придавал силу красноречию Плутона. Ты, я думаю, любопытен узнать, любезный Маликульмульк, сию грамоту; прочти, вот ее список¹:

„По изволению судеб, мы, повелители непобедимого ада, обладатели всех померших и имеющих помереть племен земных, нашему аду спокойствие.

Известно во всем свете, с каким благоволением принимаем и принимаем мы в наше покровительство оставляющих оный свет людей, по разным обстоятельствам. Миллионы храбрых героев,

¹ Вся последующая часть письма—по форме пародия на манифесты Екатерины II.

перерезавших друг друга, здесь нашли себе общее и мирное пристанище; погубившие себя от невоздержания болезнями обрели здравие и не опасаются более врачей; гонимые счастьем не ждут более здесь перемен непостоянной Фортуны; лишенные жизни несправедливо своими государями имеют удовольствие жить с ними здесь в братском согласии; и сами государи не боятся здесь ежедневно возмущений, бунтов и народных роптаний и живут спокойно от нападения зависти, полуученые и безумцы не терзаются досадою видеть свет, почитающий их глупее их сверстников. Смерть сравнивает все умы и познания; здесь нет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни подлых: нет ни зависти, ни презрения.

Радуясь сему и желая еще тверже оградить спокойство наших подданных, благоизволяем мы учредить некоторые перемены в аде, кои произвести поручаем римлянину Фурбинию. А как для произведения сих перемен нужен добросовестный и умный человек, того для во всех обширных пределах нашего пространного владения повелеваем почитать его, Фурбиния, честным и разумным человеком, потребным для адского благосостояния, и признавать его главным надзирателем всех теней.

Повелеваем всему аду верить, что он, Фурбиний, совершеннее других теней и потому имеет неоспоримое право называть безумным всякого, кого будет ему угодно, выключая нашего величества. Ассирийские, египетские и греческие мудрецы должны уступать ему в премудрости. Сверх того, хотя он, Фурбиний, в своей жизни не сделал никакого храброго дела и предпочитал пляску военному искусству, но мы чрез сие объявляемое наше соизволение признаем его, Фурбиния, первым героем из смертных. *Александр*¹, *Кир*², *Ганнибал*³, *Сципион*⁴ и победители света и искусные полководцы да не дерзают с ним спорить в преимуществе военного звания, под опасением за всякий спор по семидесяти ударов бичом Алектоны.

Если же кто из философов дерзнет сказать, что тени все равны и что Фурбиний не умнее Сократа или других мудрецов, таковых возмутителей общей тишины подвергать жесточайшему штрафу, ибо благоугодно нам, дабы всякий, не входя в дальнейшее рассмотрение Фурбиниева ума и храбрости, признавал его храбрее и умнее себя, и чтобы все другие тени повиновались его повелениям; и хотя бы оные возбуждали народный плач, но со всем тем повелеваем признавать их справедливыми; если же они касаться будут до опасности собственной нашей особы, тогда докладывать

¹ Александр Македонский.

² Кир (ум. 529 до н. э.)—основатель мировой древнеперсидской монархии, выдающийся завоеватель и государственный деятель. Еще в античные времена стал образцом грозного, но мудрого идеального государя.

³ Ганнибал, или Аннибал (247—183 до н. э.)—карфагенский полководец; прославился победами над римлянами, к которым, по преданию, еще в детстве поклонялся в вечной ненависти.

⁴ Сципион Африканский (235—ок. 183 до н. э.)—известный римский полководец.

нам, однакож под опасением вечной муки доносчику, если Фурбиниево красноречие победит его доказательства.

В заключение ж сего, повелеваем трем фуриям принять в начальство семьдесят тысяч адских духов и стараться соблюдать народное спокойство. Если же кто дерзнет сим объявлением быть недоволен, такого возмутителя, для общего благосостояния, бросать в Тартар на сто тысяч лет“.

После сего убедительного объявления ни одна тень не осмелилась признавать в Фурбинии бесполезного плясуна, но весь ад принял твердое мнение о его достоинствах, и Фурбиний так был сим доволен, как будто бы получил Плутоновым указом геройство, ум и добродетель.

Пожалованный в мудрецы таким новым для ада образом, не умедлил он пользоваться своею властикою, дал почувствовать ее всему аду и потом начал набирать двор.

Он пошел... Но я слышу шум во всем аде, все бегают и суетятся; конечно, случилась еще какая новая перемена. Прости, любезный Маликульмульк, я скоро уведомяю тебя и о причине сего смятения, и о конце Фурбиниева набора.

ПИСЬМО XXXVI.

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку.

Очень опасно, по моему мнению, любезный Маликульмульк, иметь худого советника; но ничего нет опаснее, как иметь его в своем отце. Есть, однакож, изверги, недостойные почтенного имени родителя, которые, вместо наставления, развращают своих детей. Ты узнаешь из письма, которое я при сем к тебе прилагаю, справедливы ли мои слова; но надобно прежде уведомить тебя, каким образом досталось мне это письмо.

На сих днях, бегая из суда в суд, наконец, отчаивался я сыскать преемников трем нашим судьям¹: в иных местах видел я, что судьи были больны одною болезнью с Заком, т. е. были глухи и не слушали слов своих челобитчиков, а другие, у которых мозг был не в лучшем состоянии, как у Миноса, не понимали, что им читали подьячие, и подписывали все то, что угодно было их секретарям, которые употребляли их, как некоторое орудие, к своему обогащению. Хотя и были между ими разумные, но они более занимались происками, чтоб возвысить себя и унижить своих противников, нежели челобитчиковыми делами, и таким образом бедным челобитчикам не было иного утешения, кроме добрых судей, которым не дают никакой воли и которые столь робки, что, боясь истинною прогневать знатных господ, потакают несправедливости их любимцев.

Прожаживаясь таким образом, остановился я в прихожей одного суда, чтобы несколько отдохнуть, и лишь только присел, как вдруг вошла в комнату некоторая бедная женщина, которая, дожидаясь

¹ См. прим. 1 на стр. 244.

случая увидеть судей, села подле меня. Как я представлял челобитчика, а она действительно в суде имела иск, то и ничего не было легче нам, как разговориться о наших делах: я рассказал ей мнимую повесть о своих, а она открыла мне свои.

„Три рода женщин знаю только я несчастливых, сударь,— сказала она мне,— первые из них—немые спорщицы, которые лишены удовольствия обыкновенным своим орудием отгонять от себя досадчиков; вторые—молодые щеголихи, которые принуждены жить в деревне; а третьи—те женщины, которые, перешед за сорок лет своей жизни, имеют тяжёлые дела. Ах!—продолжала она со слезами,—я претерпела все сии злосчастия. Желая отвязаться от строгих моих родителей, я вышла замуж в молодых годах за одного бедняка. Я была красавица, сударь, и могла сделать его счастливым, но этот негодяй увез меня в свою деревню, где я должна была проводить лучшие мои лета, не видя никого, кроме рогатого скота и нескольких мужиков, которые еще отвратительнее были моего мужа. В такой горести одно утешение оставалось мне, чтоб всякий день перебранить всех, начиная с него и до последнего скотника. Да и подлинно, не проходило ни одной минуты, чтобы кто из них к моему утешению не сделал какого дурачества. Таким-то образом всегда для меня было некоторое упражнение, и мой язык умолкал только тогда, когда я засыпала. Но—о несчастье!—кричавши шесть недель сряду, я охрипла, и мой язычок упал (при сих словах бедная женщина еще больше заплакала). Вообразите, сударь, мое состояние! всякий день открытыми глазами я видела все дурачества моего мужа, моих девок и наших дворовых, и принуждена была все это сносить, не выговоря ни одного слова! Всякий день брюзгливый мой муж делал мне свои вздорные поучения; а я не могла заглушить его своими словами и, вытараща глаза, принуждена была слушать его вранье. Таким мучением наказывал меня бог семь лет. Жестокий муж мой старался как можно отдалять от меня всех лекарей, чтобы продолжить навсегда приятную для него мою болезнь; но, наконец, небо сжалилось на мое мучение: я зацemoгла зубами; призвали лекаря, и он ошибкою, вместо зубов, вылечил мой язычок, который поднялся попрежнему. Я была вне себя от радости, и сколь ни велика была моя боль в зубах, но я в ту ж минуту пошла браниться с моим мужем, и, думаю, точно этим криком прогнала я от себя зубную болезнь; но как бы то ни было, только я твердо вознамерилась наградить несносные для меня семь лет моей немоты. Уже я чувствовала приятнейшее удовольствие слышать, что мой голос раздавался по комнатам; уже ничьих речей в доме, кроме моих, не было слышно, как дьявол позавидовал моему счастью. Спустя три недели после моего выздоровления, после обеда, вошла я в комнату, где муж мой имел привычку в это время спать. Я нашла его закутанного в одеяле, хотя уже на дворе было семь часов пополудни. Скажите, приличен ли был этот час чтоб спать? Вы можете догадаться, что я в ту ж минуту начала браниться: по крайней мере на сей раз я была справедлива. Я села против его у окошка и кричала ему, что

хозяйство требовало, чтоб не быть так сонливым. „Разве позабыла ты,—говорила я ему,—что мы еще сегодня не были в придильной и не бранили баб? разве ты не вспомнишь, что уже скоро будет время идти ко всеобщей, а тебе прежде еще этого надобно мужиков пересечь за то, что они сегодня не успели до ненастья в огород съездить и убраться с поля? и разве вышло у тебя из головы, негодяй,—продолжала я,—что у тебя есть жена, от которой ты и так всегда бегаешь и делаешь ее пустынною? Ведь здесь не город, где бы я могла найти тысячу человек, кем и без тебя заняться!“ Словом, кричала я ему, сколько могла, и, наконец, скуча его терпением, сдернула с него одеяло,—но, о небо! он уже был холоден,—мой муж умер! Представьте, каково было мое мучение! Он не слышал ни одного слова, что я ему ни говорила (бедная женщина опять заплакала). Уже этого-то перенести не было у меня сил: я зарыдала как могла громче, но уже ничто не помогло. Одним словом сказать, я его похоронила, проживши с ним только три недели после моей немоты.

Как покойник меня любил и был, впрочем, добрый человек—царство ему небесное!—то он еще за-живо укрепил мне свою деревнюшку. Я нашла его крепость и, вступив во владение сего поместья, думала спокойно провести остаток своей жизни; но проклятой ябедник, мой сосед, узнавши, что мой муж умер, сыскивает какое-то право на мою деревню и зачинает со мною тяжбу, когда я еще не успела оглядеться. Как он богатый человек, то с самого начала выгоняет меня из деревни и после того подает прошение, чтобы судьи подписали приговор, который он прежде уже рассмотрел и исполнил.

Это принудило меня приехать сюда, в город, но уже судьи подписали то, что он сделал. Я их просила и доказывала мою справедливость. Они обо мне сожалели, но не переделали моего дела, может быть, для того, что уже издержали деньги, которые им заплачены за сей приговор, а мне нечем было надбавить цену моего соперника. Итак, я осталась в проигрыше. После сего перенесла я мое дело в другой суд и услышала, что тут судья не любил брать взятки. Это несколько меня обнадежило, но, к несчастью, узнала, что он любил пить с своими челобитчиками. Мой соперник напивался с ним всякой день допьяна, и я опять потеряла свой иск. Наконец, я перенесла дело в сей суд, и везде с радостью слышала, что здесь главный судья не пьет и не берет взятков; но несчастье не перестает меня гнать. Вчера с уведомила я, что хотя он действительно правосуден, но что один взгляд молодой женщины в состоянии испортить его весы; а у моего соперника жена жеманница двадцати двух лет. Не несчастливая ли я женщина! еслиб за двадцать лет назад была эта проклятая тяжба, то я, нимало не заботясь, надеялась бы на свою справедливость; но, быв обременена сорока двумя годами, могу ли я надеяться победить соперника, женатого на двадцатилетней красавице? Ах, сударь, пригожая женщина всякую ложь может сделать истиной! У нашего судьи конечно, есть глаза и сердце.—„Но, сударыня,—

отвечал я,—если бы не было у него глаз, то он не рассмотрел бы истины; а ежели бы не было сердца, то бы он не трогался ею“.

„Ах, сударь!—вскричала огорченная вдова,—я не на то жалуясь, что у него есть сердце и глаза, но на то, для чего эта проклятая тяжба не за двадцать лет пред сим случилась“.

Едва окончила она свою речь, как вдруг вышел судья, человек весьма набожного вида. „Кто здесь госпожа Безумолкова, урожденная Златоискова?“ спросил он. „Я, сударь!“—отвечала вдова. „А! сударыня, я читал ваше дело, и, несмотря на решение двух судов, вижу вашу справедливость; итак, будьте уверены, что оно кончится в вашу пользу в самом скором времени; а между тем, чтоб узнать решительный приговор, вы можете пожаловать ко мне сегодня в четвертом часу по полудни“. После сего он поговорил еще с несколькими челобитчиками и пошел в судейскую, оставив вдову и меня в величайшем удивлении о столь редком его добродушии.

„Видите ли, сударыня,—сказал я вдове,—как вы прежде времени несправедливо жаловались на сего судью; он, не брав с вас денег, не напиваясь с вами пьян и не из уважения к вашим прелестям, коих, конечно, рассмотреть ему было некогда, хочет решить дело в вашу пользу“.—„Это меня восхищает,—отвечала она,—и я ныне же отпущу о сем старшей моей сестре Златоисковой“.—„Как, сударыня,—спросил я,—у вас есть старшая сестрица, которая еще не замужем?“—„Чему же вы дивитесь,—отвечала ветреная вдова,—ей еще не более двадцати семи лет: она может еще иметь в свое время женихов!“ После сего ветреная Безумолкова пошла от меня в восхищении, позабыв о том, что она за две минуты пред тем проболталась мне, в своей печали, что ей сорок два года, а я отправился домой.

„Вот, наконец, нашел я хотя одного честного судью!—думал я сам в себе,—теперь мне есть чем обрадовать Плутона, который, уже, думаю, на меня сердится, что я до сих пор не сыщу для него доброго блюстителя законов и приписывает, может быть, моему нерадению то, что должно приписывать нерадению больших господ; докажем же адским жителям, что и здесь есть судьи, которых перо свободно и не управляется ни деньгами, ни вином, ни женщинами, и поспешим похитить у света человека, который, конечно, или развратится, или будет гоним“.

Узнавши дом сего судьи, в три часа по полудни, торопился я к нему, чтоб уговорить его заступить место Жака. Дом его не показывал в себе ничего великолепного и тем более уверял меня в некорыстолюбии хозяина. Я не видал ни одной бутылки во всем доме, почему имел причину думать, что он очень воздержен; также не сыскал я там ни одной женщины, кроме семидесятилетней старухи, которая перемывала посуду и ворчала, что она достальные зубы переломала о черствые корки хлеба, не находя ничего другого к столу,—и это подтвердило мои мысли, что у него женщины не много выпиграют своею несправедливою просьбою. Я позабыл тебе сказать, что, желая его посмотреть, я сделался невидимым.

Таким образом прошел я до самой той комнаты, в которой он писал письма. Между прочими изготовленными лежало одно к его сыну. Я его тихонько взял и читал с великим удивлением. Думаю, что и ты не меньше моего удивишься, когда его рассмотрим. Вот оно.

Любезный сын!

Приятное твое мне письмо я в сем месяце получил, и радуюсь, что ты в приказе набил руку так твердо, что своим четким письмом и самому слепому судье можешь понравиться. Только заметил я, что ты ять пишешь очень часто и ставишь двоеточии, запятые и точки. Пожалуй, повоздержись, Лентулушка, а то еще скажут, что ты некстати умничаешь. Заметь, мой друг, что судья, который не употребляет ятей и запятых, никогда не бывает дружен с секретарем, который пишет по фородрафии¹. Да мне и еще есть нуждица кое о чем с тобою поизъясниться.

Ты пишешь, что тебе несносна приказная служба, и просишь дозволения ее оставить. С чего ты это забрал себе в голову, друг мой! Да знаешь ли ты, что твой дед нажил в этой службе больше сорока тысяч рублей, твой отец приобрел большой каменный дом в четыре этажа, да и ты, мой свет, доколе не наживешь хотя посредственной деревнишки, дотеле я тебя из этой службы не выпущу, или не будь над тобою мое благословение, а ты знаешь, что этим шутить дурно.

„Низко ходить на поклон к своему судье!“—Вот какой вздор! да я, брат, и вырос в прихожей у своих командиров, зато ныне и у себя в прихожей людей выращиваю. Учтивость, друг мой, шеи не вывихнет, а гордым и бог противится. Будто велика беда в праздник сходить к судье на поклон! Ведь нечего же делать! „К обедни“, скажешь ты мне. К обедни, друг мой, успеешь и от начальника, а если и некогда будет, то бог не взыщет. Он до нас милостив и не прогневается, если иногда прогуляешь обедню, а советник станет сердиться, если не придешь к нему в праздник по утру, и может за это отомстить. Бог по великой своей благости, конечно, простит, когда покаешься, а бояре ведь и покаяния не принимают.

Я здесь знаю одного молодого упрянца, который так же, как и ты, определяясь в штатскую службу, думал, что совсем не нужно ходить на поклон, и хотел лучше угодить своему начальнику прилежностью к своей должности, но он тем сделался несчастлив. Лучше бы было, если бы он прогулял, не бывши в приказе сто дней, нежели пропустить шесть воскресеньев, не постояв в передней у своего покровителя, который за то лишил его места и принял к себе в прихожую на жалованье другого, который и доньше за триста рублей в год и за два чина в три года ходит к нему в прихожую исправно по всем табельным праздникам. Берегись, чтоб и с тобою не случилось такого же изгнания: ведь и пенять не

¹ Т. е. согласно орфографии, правильно.

на кого будет; ты тем не мало себя в людях обесчестишь, для того что с стороны не всякий догадается, голова или ноги твои были причиною, что тебя отставили.

Еще ты пишешь, что он тебе иногда несправедливые делает выговоры и что ты при первом случае сам скажешь ему, что он неправильно тебе выговаривает; берегись этого делать, сынок! Командир долго помнит, если ему подчиненный скажет, что он соврал, а это может иметь очень худые следствия. Впрочем, ты хотя человек благородный, но еще очень молод; для чего бы не вытерпеть тебе от начальника грубого слова? я слышал, как вашу братью благородных дураками и скотами называют, а иногда и палкою по лбу заедут; да кто больше сносит, того больше и жалуют, и для того-то многие благородные терпеливо сносят от своих командиров название глупца, разини и проч., помня пословицу: *где гнев, тут и милость.*

А если ты вздумашь ему идти вопреки, то тебе же будет хуже: я тебе пророчествую, что он хотя и перестанет тебя бранить, но зато подкопает под тобою такую вину, что ты и места не сыщешь. Ты опять мне скажешь, что ты постарайся быть исправным в должности, следственно, и будешь безопасен от всех подысков. Пустое, друг мой! да знаешь ли ты пословицу: *„господин сыщет вину, если захочет ударить палкою свою собаку“.* При том ты должен знать и то, что всякий начальник представляет в себе особу государя, и мы так же его слуги, как и государевы; а слугу-то, ты ведь знаешь, что можно бить, как собаку. Итак, все мы собаки, Лентулушка, и всех нас можно бить палками. Хотя ныне и запрещено это делать, но всякий ли подчиненный имеет случай и предстательство, чтоб получить удовольствие на своего начальника? Довольно нам и того утешения, что и у наших-то командиров есть свои командиры, у которых они такими же бывають слугами, как мы у них.

Итак, оставь, пожалуй, твой строптивый нрав и покорись лучше необходимости. Как ты в твои лета и с твоим умом не можешь сыскать счастья в начальнике! Сколько раз учил я тебя, как надобно поступать в таком случае; а ты все позабываешь мои наставления, и одно утямил себе в голову, что ты *благородный! благородный!* В службе, друг мой, надобно только это помнить перед своими подчиненными, а перед командирами должно совсем это из головы выкинуть. Каков бы глуп командир ни был, но кто захочет к нему подбиться, тот позабывает свое *благородство*, старается подражать всем его дурачествам, хвалит его поступки, потакает его словам и чрез то хочет сделаться первым его любимцем, а часто и получает в том успех, хотя в прочем совсем не смыслит своей должности. Приметь, любезный сын, что это не в одном вашем суде наблюдается; неужели ты хочешь быть выродком из приказных?

Но если ты так ленив, то ищи хотя другою дорогою своего счастья. Ты знаешь у твоего судьи ключницу Златоискову. Постарайся к ней подбиться, избегая, однакож, всяких греховных по-

мышлений. Впрочем, любезный Лентул, если бы ты так счастлив был, чтобы сыскал в ней благополучие, то бы чинка два верных схватил, для того что у этих ключниц и от чинов часто бывают ключи; а ежели бы хотя и греховное что случилось, то бы ты еще в свой век умел покаяться, а чинов-то бы с тебя не сняли. Я сам грешный человек, Лентулушка! У моего советника была кухарка, то, правда, хотя я от нее чинов и не получал, но раза два от солдатчины избавлялся. Да полно, я и не ленив был, не так как ты, Лентулушка!.. Только слушай, Лентул, я тебе шутя это пишу, а в самом деле, что ты ни сделаешь, я греха на себя не принимаю, по пословице: „ты в грехе, ты и в ответе“, но ежели ты не боишься эпитимии, то, пожалуй, себе залезь этой дорогой в чинок-другой, я же, с своей стороны, любезный друг, никогда не оставлю тебя своими отцовскими молитвами.

Я так о тебе более думаю, нежели ты сам. Мне недавно попался случай, который может послужить к твоему благополучию, и я за него ухватился обеими руками.

У меня недавно случилось дело какого-то богача по прозванию Кривопросова со вдовою Безумолковою, которая по отце Златоисковых. Я тотчас представил, что она сестра ключницы твоего судьи, и, несмотря на богатые подарки Кривопросова, решил дело в ее пользу. Я хочу с нею свести знакомство, чтобы посредством ее упросить ключницу о ее за тебя предстательстве. Видишь ли, друг мой, чем я тебе пожертвовал! По крайней мере тремя тысячами рублями! Да еслиб только ты был порачительнее, то я бы был в состоянии сделать и еще более: я бы женился на этой вдове, чтобы тем породниться с ключницею твоего начальника и привести тебя у него в милость; но сердце мое слышит, что ты не поддержишь моего намерения, и для того на старости я намерен только за нею примахнуть¹.

Что же ты пишешь об отставке, то еще повторяю, что это совсем пустое, друг мой! Чем ты жить станешь? разве с своим секретарским чином по миру пойдешь. Что принадлежит до меня, то ты сам знаешь, что я человек не слишком достаточный и прежде смерти ничего дать тебе не в состоянии; если же ты, как говоришь, надеешься на своих приятелей, то, любезный сын, „не надейся ни на князи, ни на сыны человеческия“, а лучше наживи сам тысяч пятьдесят, да тогда с божьей помощию и ступай в отставку. Тогда, если тебе приказная служба не будет нравиться, то с такими большими деньгами можешь и в военной службе сыскать себе счастье. Хотя ты не будешь греметь храбростию и не напечатывают тебя во всех европейских ведомостях, но что до этого нужды? И без того наживешь хороших покровителей и будешь получать чины: ведь ведомости не животная книга², в них не одни праведные вписываются.

¹ Приволокнуться.

² Книга живота, в которую записывались грехи и добродетели людей.

Я заглянул еще в твое письмо; ты пишешь, чтобы прислать к тебе хотя несколько денег, только, право, мой друг Лентулушка, у меня нет ни копейки, а посылаю к тебе мое родительское благословение, и остаюсь навсегда

Отец твой
Авдей Частобралов.

ПИСЬМО ХLI.

От ондина¹ Борейда к волшебнику Маликульмульку.

Уже давно, любезный Маликульмульк, не имел я удовольствия беседовать с тобою письменно; и с того времени, как ты оставил свой кабинет редкостей, находящийся под Харибдою², и захотел несколько времени провести между жителями земными, непостоянными более, нежели морская вода; с того времени, как тебя, любезный мой сосед, не стало в нашей стихии, я также оставил свой дом, который мне одним только с тобою соседством нравился, и ныне путешествую по разным странам, покрытым морскими водами, занимаясь собраниями редкостей, коими умножаю твою кунсткамеру; иногда любопыствую видеть различные наши селения и морских людей, из коих с некоторыми хочется мне и тебя в свое время познакомиться: право, они очень добрые люди, и от жителей земной поверхности тем только разнятся, что не умеют обманывать и убивать друг друга.

Путешествуя таким образом, иногда встречаюсь я с двором Нептуна; а ты знаешь, что все дворы очень любопытно видеть, особливо двор такого бога, которого владения обширнее всех земных владений, и в котором по его многолюдству никогда без новостей не бывает.

Наш водяной двор ныне в немалом беспокойстве и не знает, где сыскать себе для утверждения место; недавно Нептун выбрал было очень выгодное, близ берегов древней Тавриды³, и Фетида⁴ приготовила для новоселья превеликолепный пир. Все наши водяные жители были на оный приглашены и расположились на нескольких столах праздновать сие новоселье. Кораллы и жемчужные раковины украшали сосуды и умножали великолепие; гости пировали спокойно, и морской бог накатил уже изрядно лоб нектаром, который ему отпускается посуточно с Юпитерова двора.

„Вот, наконец, я выбрал себе очень спокойное жилище, сказал он с восхищением,—теперь уже ничто меня более не потревожит, и неутомонные смертные перестанут, плавая над моею головою, сбрасывать ко мне всякий сор, как то они донныне дельвали. Вообразите,—продолжал он,—что некогда я должен был от них перенести свой двор к берегам Америки! Что ж вы думаете, оставили ли они меня там спокойно? совсем нет: в день празднования моего

¹ Ондин—водяной дух.

² Харибда (мифолог.). Сцилла и Харибда—чудовища, олицетворения опасного водоворота в Мессинском проливе.

³ Таврида—древнегреческое название Крыма.

⁴ Фетида (мифолог.)—морская нимфа.

брака с Фетидою, когда я меньше всего ожидал, вдруг ударили меня по голове якорем: это был Колумб, которому вздумалось искать Нового света, богатства и славы. Представьте мое удивление, когда получил я шишку на лбу от якоря в таких местах, где меньше всего ожидал приезде корыстолюбивых смертных. Перевязав свою разбитую голову морскою травою, пустился я кочевать далее к северу, не оставляя однакож берегов Америки, и после того был несколько времени спокоен, как вдруг упало на меня пушек с восемь, и если б я не был бог, то переломало бы мне все кости. „Проклятые смертные!—вскричал я,—вы нигде мне не дадите покою!“ С превеликим трудом вытащили меня всего изуродованного из-под пушек, и я узнал, что эти пушки, которыми меня чуть было не задавило, упали с корабля, потонувшего с многими другими кораблями серебряного флота, отправлявшегося в Гишпанию из Америки. Опасаясь, чтоб не быть опять таким образом когда-нибудь задавлену мореплавателями, решился я перенести свой двор под который-нибудь полюс, и в тот же час бросился к северному, где едва было не замерз со всем своим двором, и уже собирался в скором времени оттуда выбраться, как вдруг побудила меня поспешить тем самая важная причина.

Одним днем, очень спокойно сидя, вышивал я для обогрения себя двадцать шестую бутылку нектара, как в ту самую минуту—о ужасное зрелище!—увидел, что мою любезную Фетиду волокли мимо меня, зацепив за шею веревкою с привязанною на одной гирею. Бедная моя жена хрипела и барахталась руками и ногами, но не могла никак освободиться от проклятой петли, в которую судьба ее всунула. „Кто такой дерзновецный,—вскричал я,—который осмеливается так бесчестно поступать с моею женою?“ Мне донесли, что это были англичане, которые искали прохода к полюсу на своих кораблях, из коих с одного опущенный лот опутался около шеи моей дорогой Фетиды, чем давно бы ее удавило, если бы она не была бессмертна. Мы кое-как ее отпутали, и я побежал опростеться из этих проклятых мест, в которых думал было совсем избавиться от людей и где они чуть не удавили мою любезную супругу.

Шествуя оттуда со всем моим двором по морским степям, озлился я на всех мореплавателей и вздумал одним разом отправить их к Плутону. Утвердясь в сем намерении, взволновал я море столь сильно, что надеялся потопить все корабли без изъятия; но вместо желанного успеха наделал только тем более себе беспокойства: волны, пронося мимо меня корабли, нередко задевали меня за голову и перепрокидывали вверх ногами; с иных кораблей бросали наполненные золотом ящики и подбивали ими глаза моим придворным; две любимые мои кобылицы окривели от срубленных мачт, которых концами повыкололо им по одному глазу; четверым из моих любимых Тритонов¹ переломало руки сброшенными с тех же кораблей пушками. Видя это, я опасался, чтобы, желая нанести

¹ Тритоны (мифолог.)—низшие морские божества.

беды мореплавателям, не претерпеть более их мне самому и не превратить бы свой двор в больницу; ибо большая уже половина нежных моих придворных была переиятнана носящимися по морю обломками кораблей. Итак, в предосторожность для себя и для оставшейся половины моего двора, утишил я погоду и оставил людей на произвол самим себе, проклиная их жадность к богатству и к пустой славе.

Но не думаете ли вы, что эта буря их устрашила и заставила убежать моря?—Совсем нет; тотчас по утишении ее увидел я проезжающие полубломанные корабли, на которых пьяные матросы были так же спокойны, как будто бы они были на твердой земле, и бранили друг друга для препровождения времени, а те, которые во время прошедшей бури принуждены были сбросить с корабля часть своих сокровищ, не столько радовались тому, что утишилась буря, сколько сожалели о потереии оных, и желали сердечно удвоить свои опасности на сей жидкой стихии, надеясь возратить потерянное.

После сего не мог я уже нигде найти себе спокойное жилище: куда я ни уходил, везде, кажется, нарочно за мною гонялись земные жители и старались меня беспокоить; украшения дворца моего, уборы мои и моих придворных—ничего от них не оставалось в целости. Хотя многих из них буря наказывает за их дерзость и хотя многие низвергаются с водяной поверхности на дно морское, со всем тем оставшиеся думают, что морские ветры вредить их не могут и продолжают спокойно свое плавание, ожидая, что природа из уважения к ним переменит свои законы и удержит в недвижности моря. Итак, я, видя со всех сторон непрестанно проходящие над моею головою корабли, перестал уже стараться искать мест, неизвестных смертным, и решил здесь основать свой двор как для ясности погоды, так и для теплоты, которую я по своей старости очень жалею. Сверх чаяния, нашел я здесь себе спокойствие, которого столь давно желал; правда, хотя и здесь вижу я много кораблей, но это мне придает более осторожности и я учредил часовых, чтобы они отводили от моего лба якори, которые сверху иногда бросают. Здесь во время непогоды корабли не задевают за мою голову, для того что отсюда очень близки берега, в которых они себе находят убежище, не кидая на мой двор своих пушек и сундуков¹.

В самое то время, как он таким образом любовался своим спокойствием, вдруг осветило все собрание, и раздался гром над нашими головами; Фетида, как нежная богиня, упала в обморок, а у Нептуна выпала из рук бутылка с нектаром, которая была уже пуста, а иначе он, конечно, держал бы ее крепче в своих божеских руках. Все собрание устремило кверху глаза и увидело над собою целый плавающий город, который перестреливался с другим таким же городом¹.

¹ В последующей части письма Крылов имеет в виду русско-турецкую войну 1778—1791 гг., морские битвы около берегов Крыма.

„Хорошее место выбрали они для драки!“—вскричал Нептун. „Ваше величество,—сказал один из придворных,—конечно, они не знали, что вашему божескому произволению угодно было сделать пир на сем месте, ибо если бы смертные о сем знали, то никак не осмелились бы над вашею головою драться, и тем беспокоить вас и все почетное наше собрание...“—„Ах!“—вскричала Фетида, которая лишь только что опомнилась,—я занемому, если эта ужасная драка еще будет продолжаться! Любезный Нептун!—говорила она, обратясь к своему мужу,—отведи отсюда скорее сии корабли.“—„Ах, Фетида,—вскричал Нептун,—ныне уже не старые времена, когда я, как хотел, так ворочал всеми морями и всеми плавателями; ныне ни одна живая душа из обоих флотов меня не слушает, и если бы мне вздумалось самому вытти их унимать, то, конечно, с обеих сторон ничего бы я не получил, кроме нескольких ударов веслами или, еще и того хуже, расквасили бы мне нос пушечным ядром, а вместе с носом я был бы в опасности потерять и твою любовь, ибо, не в огорчение сказать вам, женщинам, всякий мужчина, потеряв нос, всегда бывает в великой опасности лишиться обожания самой страстной своей любовницы. Итак, пускай они дерутся, мы здесь так глубоко, что нас мало должна трогать их ссора. Желал бы я только знать, какая причина понуждает их драться на воде, а не на земле? Со всем тем выпьем, однако, за здоровье будущих победителей, ибо политика требует, чтобы всегда приставать к сильной стороне, чему всегда последовали мои товарищи Олимпа как под Троею, так и в других сражениях“.

В самую ту минуту, когда владетель океана подносил ко рту рюмку и лишь только растворил было рот, вдруг расшибло ее вдребезги упавшим пушечным ядром, за коим последовал град других ядер, которые стучали в самые маковки всем присутствующим на сем почтенном собрании и перебили всю на столе посуду.

Такие гостинцы могли бы отправить к Плутону большую половину нашего собрания, если бы все мы были не бессмертны; однакож, со всем нашим бессмертием, такие щелчки ни одному из пирующих не понравились. Сам Нептун, вышед из терпения, хотел взволновать все море и разнять воюющих так, как разнимают в некотором месте кулачных бойцов заливными трубами¹.

„Провал их побери,—вскричал Нептун,—отобедаем поскорее и оставим здешние места. Господа!—кричал он,—прошу отведать из этого блюда, приготовленного из плеска² самого жирного кита.“ Мы протянули было руки, как вдруг изуродованный чалмоносец³ упал в сие блюдо. Гости, видя такую дурную приправу, оставили охоту отведать китова плеску и проклинали всех чалмоносцев на свете, которые мешают пировать на новоселье и прыгают так некстати в божеские соусы.

Не успели мы очистить блюдо от магометанца, как целые груды сверху попадали его одноземцев и на нас и на наш стол. Фетида

¹ Т. е. при помощи пожарных труб.

² Из хвоста.

³ Магометанин.

вновь упала в обморок со страху от покойников, хотя Нептун доказывал ей, как возможно красноречивее, что от мертвого тела так же непристойно лишаться чувств, как от каменной статуи. „Ах!—кричала она Нептуну,—ты никогда меня не перестанешь мучить, и я вечно принуждена буду видеть здесь мертвецов и пискарей, которые всегда наводят мне обмороки“.

Ты видишь, любезный Маликульмульк, что не одни ваши женщины от мышей и от пауков лишаются чувств, и наша богиня так же пискарей боится.

Когда все находились в таком замешательстве, вдруг упало к нам несколько опаленных и половина еще живых рыцарей луны¹, и один из них попал прямо на колени к Нептуну. „О Магомед!—вскричал он,—теперь я верю, что лыччару очень трудна дорога к твоим гуриям; пошли же ко мне из них поскорее хотя одну, чтоб я мог видеть, не по-пустому ли я лишился своих ног и своей головы“.—„Дерзновенный!—вскричал Нептун,—ты не у Магомеда в раю, но в недрах моря у обладателя жидкой стихии, и я скоро накажу тебя за твою дерзость, что ты осмелился обеспокоить мое величество“.—„Как!—вскричал музульманин,—так я напрасно дрался и проливал кровь свою за Магомеда, который не печется теперь избавить меня из воды и вместо послания ко мне прекрасных гурий оставляет, может быть, на съедение морским чудовищам! Увы! еслиб я это знал, не оставил бы мою любезную Зюлиму и не променял бы ее на гурий, которых, как видно, и на свете не бывало; я не стал бы драться с людьми, которые мне никакого зла не сделали, и не дал бы себя изуродовать и опалить, во ожидании за то себе награждения в третьем небе“.—„Но скажи мне,—сказал Нептун,—какую причину имели вы драться и что понудило тебя, оставя спокойную жизнь, итти искать своей гибели на море“.—„Увы!—отвечал обожатель Магомеда,—мне сказано было от муфтия и от имана², что люди, живущие от меня за несколько тысяч верст, которых я отроду в глаза не видывал, ужасно обидели и меня и пророка Магомеда, которой уже несколько сот лет лежит спокойно в Мекке, и что я непременно должен итти драться с этими людьми, если не захочу быть лишен на бесчисленное множество веков райских гурий. Услыша это, оставил я жену и поехал посмотреть тех людей, которые обидели меня и давно уже умершего Магомеда, будучи в твердой надежде всех их перебить, ибо в Алкоране³ нашем именно сказано, что нас никто не победит до последнего века; но наши неприятели, несмотря на такие сильные обещания Алкорана, в другой уже раз сожигают наш флот, и меня сего дня со всем моим усердием отмщать Магомедову обиду, с доброю надеждою будущего рая и с моею галерою взорвало на воздух и бросило не на небеса, как бы должно было мне того ожидать, но на морское дно, где я вижу ясно, что наши муфтий и иманы обещают нам селения в таких местах, куда они

¹ Магометан. Символ магометанства—полумесяц.

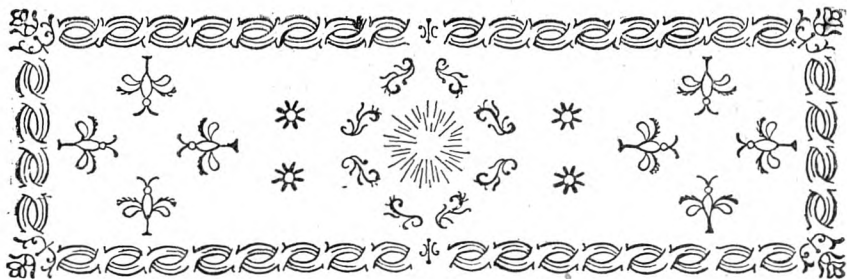
² *Муфтий* и *иман*—религиозные звания у магометан.

³ Коран.

сами никогда прибыть не надеются, и для того, не полагаясь на будущую жизнь, собирают с нас деньги, чтобы было им чем райски жить на земле“.—„Но скоро ли, по крайней мере,—спросил Нептун,—кончится ваша драка?“—„Может быть, тогда, когда нас всех перебьют, ибо некоторые товарищи мои обнадежены, что всех, кого подымет на воздух, прямо порохом взбрасывает на небеса, и думают тем угодить пророку, своему защитнику, которого и самого так же бы взорвало, как и других, еслиб он между нами случился. Однакож большая часть из моих земляков мало верят сим пустым уверениям и, видя, как повсюду бывают они поражаемы своими храбрыми неприятелями, имени их страшатся, и как на море, так и на земле не долго выдерживают с ними сражение, но всегда принуждены бывают или от них бежать без памяти, или, положа оружие, отдаваться в их волю“.

Нептун, видя между тем умножающиеся кучи музульманов, поспешил со всем своим двором и с любезною своею супругою выбраться из столь беспокойного места; а я продолжал мой путь, оставя глухих музульманов делать скачки по воздуху в честь своего Магомеда, который у Плутона вместе с ними посмеется, может быть, над их дурачеством.





ЗРИТЕЛЬ.

Ежемесячное издание

1792 года.

РЕЧЬ, ГОВОРЕННАЯ ПОВЕСОЮ В СОБРАНИИ ДУРАКОВ.

Милостивые государи!

Когда, простой памяти, предки наши оставили нам в наследство приятную способность делить время с лошадьми и собаками, воображали ли они, что сие дарование, которое одно мешало им зевать во всю их жизнь не зажимая рта, будет осмеяно некоторыми беспокойными головами, и что их прилипчивая система жить поджав руки, или, если позволят мне употребить такое смелое изображение, система их жить поджав умы, найдет дерзких сатириков, которые осмелятся доказывать, наперекор модному рассудку, что человеку большого света нужно иметь разум не для злословия, вкус не для кафтана и сердце не для волокитства. Но, государи мои! к стыду нашего века это делается, и когда ж? Тогда, как просвещение взошло у нас на высшую степень; когда почувствовали мы, что природа, сотворяя человека, не могла избежать некоторых погрешностей; когда, желая заменить ее недостатки, обрезали мы стап его целою четвертью, привязывали к нему под шею жабот¹, причесали голову его анкрошет²; словом, показали, каков бы он должен быть создан, если бы из рук природы вышел по совету премудрых французов. Но приступим подробнее к истории нашего модного просвещения, дабы тем яснее доказать грубость сатиры и возбудить в сердцах ваших благородную ревность переломать сатирикам руки и ноги.

Мода уже давно со справедливою завистью видела, что науки обращали к себе внимание наших одноземцев и угрожали изо всего

¹ *Жабот*, жабо—сборчатая, кружевная обшивка вокруг воротника и на груди мужской сорочки.

² Название модной прически.

государства сделать одну Академию. Сожалея о погибающем человечестве и более всего сожалея о бедных женщинах, которые бы должны были зазеваться до смерти подле своих мужей или любовников, слушая ученые их рассуждения, она принуждена была войти к нам украдкою и ввести сюда своих первых рачителей французов, которые, делая нам честь, для нас оставляли в своем отечестве достоинство французских водоносов и разносчиков, чтобы образовать наши нравы и обычаи. Они-то из медведей сделали нас людьми; они-то показали нам необходимость переменять в год по пятидесяти кафтанов; открыли нам ключ, что удачнее можно искать счастья с помощью портного, парикмахера и каретника, нежели с помощью профессора философии; они то, наконец, науча нас танцевать, открыли нам нужную для светского человека тайну, что ученые ноги в большом свете полезнее ученой головы.

Не подумайте, милостивые государи, что пристрастие управляет моим языком; нет, без самолюбия скажу, что я в сем случае философ и все наши люблю, выключая моего отечества. Итак, говоря о просвещении, нельзя умолчать мне об агличанах. Им-то обязаны мы искусством изъясняться с агличскими лошадьми и превращать грубых наших крестьян в стальные пуговицы и пряжки; их-то скромный кафтан и французская ветреность составляют нечто неподражаемое из наших модных господчиков, которые одни имеют великое дарование соединять в себе благородную ветреность французских парикмахеров и философскую важность агличских конюхов.

С каким ужасом, государи мои, воспоминаю я то время, когда у нас молодой человек при первом слове был виден, как далек он в невежестве; должно было или учиться, или опасаться посмеяния и самого презрения. Должно было проводить время в кабинете, вместо того чтобы с удовольствием убивать его в кофейных домах; должно было читать книги полезные... Но, любезные слушатели! я примечаю, что от одного напоминания о таком варварском времени вы зеваете, и многие чувствительнейшие из вас патриоты зазевались бы до слез, если бы продолжал я такое жалкое описание. Но оставим его. Сие время уже прошло; ныне молодой человек, желающий слыть ученым, не имеет большой нужды в грамоте; за недостатком своего ума, можно иметь у себя на полках тысячи чужих умов, переплетенных в сафьян и в золотом обресе, а этого уже и довольно, чтобы перещеголять своею славою лучшего академика.

Но чем не обязаны мы счастливому нашему просвещению! Еслиб вздумал я описывать все в нем выгоды, то бы речь моя была длиннее всех предисловий Т... вместе¹; она бы показала

¹ Крылов, очевидно, осмеивает тут драматурга В. Лукина, предисловия которого к собственным его произведениям были и в самом деле чрезвычайно длинны. Лукин, за то что дерзнул восстать против авторитета Сумарокова, осмеивался еще в журналах 1769—1772 гг., в том числе и в новиковских. Его же имеет в виду Крылов и несколько ниже, говоря о „мнимом Детуше“. *Детуш Филипп* (1680—1754)—популярный французский драматург.

пространнее комедии *Многого Дедуша*, которая в своем пространстве столько неизмерима, что в ней ученый свет не находит ни начала ни конца; она бы показалась протяжнее романа *Антирихардсона*¹, которого долготерпеливейшие читатели не дочитывались до половины.

Но мне ли, государи мои, с слабыми моими силами, прилично говорить о пользах модного просвещения? Сия материя так неисчерпаема, как древние авторы, которые под рукою молодых наших писателей перерождаются, как Протей², в тысячи разных видов, один одного хуже. Довольно и того, когда доказал я, что модное просвещение возшло у нас на высшую степень; и в подтверждение этого стоит только вам взглянуть друг на друга, чтоб видеть истину моих доказательств и почувствовать выгоду вашего состояния, приманчивого для человека, которое одно только можно поддержать, не имея ни ума, ни сердца.

Были дерзкие писатели, которые утверждали, что петиметры ниже человека, и полагали их в числе животных. Безумные! они не приметили, что таким заключением делали нашу славу. Так, государи мои, согласимся, что петиметр не человек; но если он скот, то, конечно, умнее всякой скотины, не выключая и самой обезьяны. Итак, не лучше ли быть первым между скотами, нежели последним между людьми? А сие-то лестное первенство получили мы в нынешний век, и оно посеяло яд зависти в беспокойных сердцах и вооружило на нас сатиру, или, лучше сказать, пасквиль, покушающийся сделать жал-

¹ Под *Антирихардсоном* подразумевается П. Львов, автор пухлого романа „Российская Памела, или история Марии, добродетельной поселянки“ (СПб 1789) и ряда других произведений. Этот выспренне написанный, слезливый и скучный роман, как ясно даже из заглавия,—подражание сентиментальному роману „Памела“ (1741) английского писателя Ричардсона (1689—1761).

² *Протей* (мифолог.)—морское божество. Обладал способностью принимать, по своему желанию, любой вид, перевоплощаться в зверей, рыб и т. д. Здесь—олицетворение изворотливости.

З Р И Т Е Л Ь

ежемѣсячное изданіе

1792 года.

ВЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ, 1792 го.
въ типографіи Г. Крылова съ товарищц.

Титульный лист журнала „Зритель“.

кям щеголя в большом свете, где играет он первое забавное лицо. Сей пасквиль желает разрушить наши труды тогда, как мы в разборчивости платья и в щегольстве превосходим самих женщин; дерзкий сей пасквиль, кажется, осмеливается отнимать наше первенство и доказывает, что будто из человеческого головы можно сделать лучшее употребление, нежели то, чтобы давать ее французу всчесывать анкрошет, и будто голова не для того нам дана, чтобы носить на ней аглинскую шляпку.

Вот, государи мои, причина, для которой собралось теперь наше почтенное общество. Надобно подавить в самом начале дерзость; надобно доказать нашим противникам, что без хорошего парикмахера и портного нельзя ни заслужить уважения публики, ни подружиться со счастьем; что истинное достоинство состоит только в том, чтобы уметь одеваться по погоде и подделывать свой тупей¹ под крымские овчинки так же искусно, как французы подделывают медь под золото.

Почему ж, возразят мне, может быть, некоторые, вооружаетесь вы на сатиру за то, что она нападает на порок, не указывая ни на чье лицо?.. Будто рассказывать дурачества разных особ не есть то же, что выставлять их лица на осмеяние. Так, государи мои, не выставлены наши имена, но дела наши обнаружены.

Когда описываю я сочинителя, который своими романами перебивает у аптекарей торг сонными порошками и который отважно передразнивает славного сочинителя „Клариссы“² или „Новой Элоизы“³, нужно ли тогда долго задумываться, чтобы в неутомимом этом дразнильщике угадать неустрашимого Антирихардсона? Члена, который делает собою украшение нашему обществу, стремится подражать авторам, не читая их, и который всегда выигрывает у своего подлинника большинство томами? Нужно ли долго отыскивать его имя? Конечно, нет, и он имеет неоспоримое право называть на себя личностью всякую сатиру, где осмеивается усыпляющий автор, хотя бы такое описание было сделано и за сто лет до его рождения. Не имеет ли право вступиться за себя сياته-льный Юла, как скоро описывают щеголя, который, как состарившаяся в невестах девушка, проводит перед туалетом две трети своего века, старается всем понравиться и думает, что о красоте его твердит весь город, между тем как едва примечают, что он двигается в большом свете? И много ли надобно трудов Одохвату⁴ на то, что бы доказать оскорбление стихотворной своей особы

¹ Тупей—взбитый хохол на голове.

² „Кларисса Гарлоу“ (1748)—известный сентиментальный роман Ричардсона.

³ „Новая Элоиза“ (1756—1758)—прославленный роман Ж. Ж. Руссо, наиболее выдающееся произведение радикального сентиментализма.

⁴ Под Одохватом Крылов, вероятно, подразумевает своего литературного противника Княжнина. Недаром в прощеском письме к Княжнину Крылов, осмеявший его в комедии „Проказники“ под именем Рифмокрада, рисует отношение Княжнина к этой комедии примерно так же, как и в данном эпизоде с Одохватом. См. письмо Крылова к Княжнину (И. А. Крылов, Полное собрание сочинений, под ред. Калаша, т. III, стр. 408—411).

там, где ругаются оды без стихотворства, стихи без остроты и без смысла, и когда упоминается стихотворец, который похвалами своими мучит героев более, нежели Буало мучил своими сатирами Прадона и Котина¹, где говорится про оды, в которых не только красот, но и смысла все академии вместе в триста лет не отыщут; трудно ли, говорю я, Одохвату доказать, что тут разругана его особа? Нет, государи мои! стоит только ему вынуть первую свою оду, и самый скромный читатель согласится, что сатира метила на него.

Взгляните на описание Тарантула, который разжился женою, поставя себе прекрасным правилом, что нет вреднее двух случаев: если у купца деньги, а у него жена назаперти, и который хочет переломать руки и ноги сочинителю за то, что тот издал описание его по-русски, которое покойник Ле Саж еще до рождения его написал прекрасно по-французски. Кто не узнает в нем нашего милого Тарантула; кто, имеющий сердце и палку, не вооружится за его особу, как скоро увидит сочинителя, осмеивающего золотые рога? Если вам надобно подтверждение, что эта сатира на него, то сам Тарантул выставит до двадцати доказательств, что, не обижая его, нельзя бранить рогатых, хотя и он еще не все доказательства знает; что ж если вступится в это дело его жена? Какой бездны доказательств тогда ожидать мы должны! О! тогда-то, если только приговорят в наказание пасквильнту рвать у него по волоску за всякое доказательство Тарантуловой жены, то в два месяца останется у него менее волос, нежели у усерднейшего музульманина.

Итак, не ясно ли видны ваши имена, когда дела ваши выставлены? И не достойно ли такое ругательство явного мщения? Вооружимся же, государи мои, и поищем способов унижить дерзких сатириков. Отстим и докажем, что если мы не в силах отбраниваться пером, то кулаки, палки и брани словесные суть такие в наших руках орудия, которыми можем мы прогнать армию Цицеронов.

При слове мщение нельзя не обратить мне моей речи к любезному нашему Тарантулу и не отдать справедливости, что он под французским кафтаном носит итальянское сердце и ни на чем не остановится, лишь бы отмстить тому, кто ему не мил. Он в состоянии сатирика своего вызвать на аглинский бой головами и не задумается прибавить сучка четыре к своим рогам только для того, чтобы раскроить ему череп надвое. Вот пример, которому если мы будем расчительно последовать, то или наши неприятели смирятся, или нас принудят смириться... Станем подражать Тарантулу, и пусть похвала, которую я к нему обращаю, послужит нам поощрением, а ему наградою.

Он не подражал некоторым слабым душам, которые, увидя в сатире свое лицо, или стараются исправить свои слабости, или

¹ Прадон Никола (1630—1698)—французский драматург, ярый противник Буало, доходивший часто в полемике с ним до ругательств. Трагедии Прадона были весьма посредственны и малохудожественны. Котань Шарль (1604—1682)—тоже противник Буало.

возвышают пирамиды печатной бумаги и ищут сатиру на сатиру. Нет; едва ощуяю по рогам узнал он свой портрет, как дал клятву, сломить голову сатирику, его типографщику и даже мастеровому, у которого покупает он чернил, и если б страх кончить свою историю в смиренном доме не удержал его, то бы доказал, что и маленькое тело может сделать великое зло. Со всем тем это не привело его в отчаяние; он стал рассевать, как Бомаршев Базиль¹, зловредные на сатиру толки, и там, где говорят о пуговицах, он доказывает, что обижается чье-нибудь лицо; там, где бранят пьянство, он силится доказать, что оскорбляют честь, а там, где осмеивают податливого мужа, торгующего рогами, он силится уверить, что оскорбляют добродетель и человечество. Словом, сидя в своей конуре, выдумывает он всевозможные кривые толки и ищет поспорить сатиру со всеми честными людьми, когда она ссорится с одним пороками. Он не смеет явно выдавать таких толков, но, как скромный автор, не ставит имя у своих творений, и читатель, здремав над его стихами, уже проснувшись угадывает, что это должен быть Мнимый Детуш; подобно и Тарантул наш по делам своим заставляет угадывать свою особу. Так точно рассерженный клоп, едва приметный в океане веществ, забивается в маленькую скважину, пускает вонь на своего неприятеля, которого телом он питается, и имеет дарование беспокоить нос, не опасаясь быть увидим. Он знает, что его не иначе лези отыскивать, как носом, и хотя всякий нос может до него довести, но что и самый терпеливый нос в две минуты отступится от таких мучительных поисков и оставит ему поле сражения.

Вот, государи мои, пример, которому должны мы последовать, если хотим избавиться от ига сатиры. Дадим же себе слово переломать сильною рукою перья наших неприятелей, и если уже воображение наше слабо сравнится в выдумках с воображением маленького Тарантула, то будем хотя пользоваться его советами, которыми он в своем роде перешеголяет Генлея.

Итак вы, почтенные собратия, которые ощупаете себя в сатире, не будьте так слабы, чтобы признавать свои погрешности и стараться их поправить. Но подражая Тарантулу, старайтесь мстить сатирикам. Нет, ничего, хотя бы автор и не думал о вас; уже он ваш открытый неприятель, когда бранит дурачества, и вы получаете право злословить его особу, намерения и побить самого его, если вам удастся. Одним словом, я признаю, что тот не член нашего общества, кто не палкою станет оправдываться и не кулаками доказывает истину; а тот будет нашим украшением, кто ко всему этому прибавит злословие и вредные толки на сатирика. Может быть, не станут нас слушать; но за то какая слава и удовольствие для нас, если выиграем мы поле сражения! Тогда-то мы будем дурачиться, как хотим, и если уже станут хохотать над нами наши современники, то по крайней мере, не будем мы воз-

¹ Базиль—персонаж из комедии Бомарше „Севильский цирюльник“ и „Женитьба Фигаро“, образ продажного клеветника.

держаны страхом, чтоб над нами смеялись позднейшие наши потомки... Тогда-то... Но восторг меня объемлет и понуждает хотя кратко изобразить то золотое время. Последую движению моего духа и сим изображением, как самым приятным для вас местом, кончу мою речь.

Тогда-то, говорю я, кокетка будет спокойно щеголять белыми своими зубами и длинными волосами, не опасаясь, чтоб напечатано было, что зубы ее искусно сделаны из слоновой кости, а волосы проданы ей молодым щеголем, которого тетка, расточа все свое имение, оставила ему в наследство одни только прекрасные свои волосы.

Тогда-то щеголь, не находя о себе ни строки, будет иметь удовольствие мотать до тех пор, пока не заставит его в магистратской тюрьме сличить приход с расходом; тогда-то расчетливый Тарангул, который любит свою жену как рыбака свою удочку, не будет опасаться, чтоб беспокойный сатирик исчислял сучки его рогов и предостерегал бы молодых людей от западни, которая старается ловить сердца, чтобы очистить имение. Тогда-то романы прилежного Антирихардсона будут спокойно лежать на полке, не опасаясь, чтобы кто-нибудь их бранил, выключая малого числа неблагодарных читателей, которые, несмотря на то, что автору своему бываю часто обязаны хорошим сном, имеют безбожную привычку, проснувшись, бранить его первого. Тогда-то, наконец, всякий из нас будет смело дурачиться, не опасаясь, чтоб дурачеству, которое сделал он в Петербурге, стали смеяться даже в московских книжных лавках. Одним словом, мы тогда, читая древних авторов, будем иметь удовольствие смеяться их дуракам и иметь перед ними то преимущество, что нам наши потомки смеяться не станут и не будут нашими именами бранить своих дураков.

МЫСЛИ ФИЛОСОФА ПО МОДЕ, ИЛИ СПОСОБ КАЗАТЬСЯ РАЗУМНЫМ, НЕ ИМЕЯ НИ КАПЛИ РАЗУМА.

„Любезные собратия!—так начинает мой философ:—уважая вашу благородную ревность казаться разумными в большом свете и в то же время сохранять наследственное прилепление к невежеству, предпринял я быть вам полезным и преподать способ, лестный для нынешнего воспитания, способ завидный—*казаться разумным, не имея ни капли разума.*

Намерение такое удивит угрюмых читателей и философов. Может быть, и вы сами почтете его странным, уважая старинную поговорку: *ученье свет, а неученье тьма*“. Но кто учен, друзья мои? И когда сам Сократ сказал, что он ничего не знает, то не лучше ли спокойно пользоваться нам наследственным правом на это признание, нежели доставать его с такими хлопотами, каких стоило оно покойнику афинскому мудрецу. А когда уже быть разумным невозможно, то должно прибегнуть к утешительному способу казаться разумным. Поставим себе в пример женщин; станем

учиться у них: у них нет науки быть пригожею, но пригожею казаться; вот одно искусство, над которым многие лет по семидесяти трудятся, и часто с успехом.

Науки нище в таком же малом уважении, как здоровье; быть дородною, иметь природный румянец на щеках пристойно одной крестьянке; но благородная женщина должна стараться убегать такого недостатка: сухощавость, бледность, томность—вот ее достоинства. В нынешнем просвещенном веке вкус во всем доходит до совершенства, и женщина большого света сравнена с голландским сыром, который тогда только хорош, когда он попорчен... То же можно заключить и о нашей учености: прямая ученость прилична низким людям. Учение, к удовольствию модных господчиков, уравниено с другими ремеслами—и здесь Невтон и Эйлер, конечно, менее уважаемы, нежели Брейтегам и Гек¹; но искусство притворяться учеными—вот одно достоинство, приличное благородному человеку и которое делает его милым в глазах общества; самые женщины, открытые неприятельницы книг, любят слушать его рассуждения, для того что оные не унижают их самолюбия. Женщине очень приятно видеть, когда мужчина лет под сорок рассуждает так забавно, как пятнадцатилетняя девушка, и такую прекрасною уловкою скрадывает у себя лет двадцать,—скажите мне, друзья мои, не первая ли должность мужчины правиться женщине? Но что же для ее разборчивого и расчетистого вкуса может быть приятнее молодого мужчины с разметанным разумом, который бы, не утверждаясь ни на чем, старался о всем говорить, который бы своими рассуждениями о важных делах был так же забавен и основателен, как маленькая девушка за кулами?

И не ужасно ли, когда молодой, благородный человек вздумает от чистого сердца прилепиться к наукам и представлять особу столетнего старика? Один вид такого невежи жить в большом свете заставит зевать самую учтивую женщину. Но вы, друзья мои, не должны опасаться, чтоб к вам относилась эта укоризна: обожая моду, вы не выступаете из ее правил; вы с искусством убегаете наук и с похвальным усердием храните, как талисман щеголих, наследственное невежество; вы не знаете, что такое есть мыслить, и можете служить первым доказательством, что человеку большого света не нужно иметь ни сердца, ни ума, и что тот уже довольно одарен от природы, кто имеет проворный язык и может, не уставая, говорить по десяти часов сряду. Вы, наконец, столь искусно умеете играть лицо маленьких ребяток, что из вас стариков по одним седым волосам узнать можно; вы часто умираете прежде, нежели догадываетесь, что вы живете и зачем вы на свет родились.

Пусть смеются над вами; пусть пишут на вас сатиры, сказки, песни, эпиграммы,—вы все это сноситесь с стоическим терпением, или, лучше сказать, вы ничего этого не видите и доказываете

¹ Брейтегам и Гек—вероятно, какие-нибудь фабриканты, промышленявшие модными товарами.

только тем, что ваши сатирики, желая вас переменить, оставляют вам поле сражения... Так точно старый осел, привыкший к понуканиям и к брани своего хозяина, с терпением слушает его восклицания и ругательства, зная, что это один пустой звук, и продолжает свой путь по-прежнему тихим шагом, оставляя хозяина в надежде, что он когда-нибудь его уговорит. Вот пример, которому вы последуете,—и справедливо делаете, друзья мои: оставьте сатириков кричать и будьте уверены, что, нападая на вас, не вашей пользы, но своей славы они ищут, и вы только служите им богатым оселком, около которого острят они свой разум. Не думает ли свет, чтобы Боало перестал браниться, когда бы Прадон и Котин его исправились? Поверьте, что нет: он бы сыскал кого-нибудь еще глупее для своих насмешек. Сказать ли вам более: перестаньте только дурачиться, вздумайте быть рассудительны, если только это можно,—и сатирики первые огорчатся такою переменою: вы у них отнимите любимую их пищу, и многие из них помрут с отчаяния, что глупее, смешнее и забавнее вас никого побранить не сыщут. Но посудим философски: достойны ли вы даже и насмешек их, и во многом ли они перед вами преимущество имеют?

Говорят строгие правоучители, что первая и труднейшая должность человека есть победить свои страсти. Но вы, вы не имеете страстей, которые бы были для вас опасны или, лучше сказать, вы совсем бесстрастны, и поступаете так же равнодушно, как прекрасные куклы, показываемые в народных игрищах; и которые приписывают вам волю и страсти, так же обманываются, как мужики, которые, увидя разные движения кукол, думают, что оные делают все кривлянья по своему хотению. Поутру, едва проснетесь, комнатные служители обертывают вас и поднимают с постели, после того волосочес вертит вашу голову, потом возят вас по городу, сажают за стол и к вечеру опять укладывают в постель; доказывает ли все это, чтобы в вас были хотя малые порывы страстей?

Тогда как важных ваших противников занимают желания, которые почти выше человека, когда они ищут таинства природы, стараются даже проникнуть в связи миров, когда измеряют, сколько далеко отселе до солнца, как будто бы желая вычислить, как дорог им станет туда проезд, когда занимаются топографиею луны, когда они устремляются еще в важнейшие рассуждения и силятся продолжать далее свой путь, несмотря на то, что перед ними открыта его бесконечность,—вы тогда спокойно занимаетесь игрушками, вас утешают зайчики, кареты, собаки, кафтаны, женщины, не редко случаются у вас и драки; но и дети ведь дерутся за свои безделки; ваши соры не важнее их, и потому-то вы не более их виноваты.

Вы не занимаетесь тем, далеко ли отселе до Сириуса, и довольны, если кучер ваш знает, близко ли от вас первый хороший трактир или клуб; вы не думаете, солнце или земля скорее вертится,—довольно для вас и того труда, что вы вертитесь с ними вместе,—и это важнейшая работа, которая в жизни вас занимает...

Но, завлеченный восторгом вас хвалить, любезные собратия, я не примечаю, сколь много отдалился я от моего виду, и позабываю, что обширностию моего письма я подвергаю себя опасности не быть никогда вами прочтенным; приступим же поскорее к самому делу.

Теперь уже ясно, сколь велики ваши выгоды, которых первая важность состоит в том, чтоб блистать остроумием. Щеголь, который не умеет притворяться разумным, не может играть блистательного лица в большом свете, а к сему-то и нужны некоторые правила, приведенные в порядок... Вот предмет моего труда. Я посвящаю его вам, друзья мои, и буду доволен, если один из тех французов, которые готовят вас в свет и учат трудной науке ничего не думать, если один из тех французов, говорю я, прочтя мои правила, скажет, что они согласны с образцом, по коему он воспитывал благородное наше юношество.

1.

С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человек, что ты дворянин и, следовательно, что ты родился только поесть тот хлеб, который посеют твои крестьяне; словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у коего не обгрызают крыльев, и что деды твои только для того думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать.

2.

Приготовь себя таким прекрасным началом, из коего следуют все другие правила, делающие блестящим человека в большом свете, должен ты отвергнуть некоторые предрассуждения, мешающие иногда блистать остроумием молодому человеку, и для того привыкай заранее шутить над тем, что для предков наших было священно: ничто так не блистательно, как молодой человек, когда он шутит над важными вещами, не понимая их; при всей мелкости своего ума он тогда так мил, как болонская собачка, которая бросается на драгунского рослого капитана и хочет его разорвать, между тем, как он равнодушно курит трубку, не занимаясь ее гневом; как мила и забавна смелость этой собачки, так точно забавна смелость вашего ума, когда огрызается он на вещи, перед коими он менее, нежели болонская собачка перед драгунским капитаном.

3.

Должно быть забавным в обществе, уметь убивать время и делить его весело; а к сему нужна только одна наука—играть в карты; она заменяет в большом свете все другие науки. Бойся не играть в карты! Ничего нет глупее молодого человека, который, не зная карт, лишен способа кстати проиграть деньги барину или его любовнице... Карты суть душа наших собраний: без них четыре человека, съехавшись, по несчастию, вместе, не знали бы,

что делать. И справедливо должно сомневаться, бывали ли, полно, до выдумки карт какие-нибудь собрания.

Французские учителя многие очень хорошо делают, что питомцев своих учат играть в карты, и я бы не советовал родителям принимать для своих детей никакого учителя, если он не знает игор, которые в употреблении. Молодой достаточный человек, вступающий в свет, может спокойно забыть свои науки; имея деньги и дядошек, он уже имеет право на невежество и на счастье, но карты ему необходимы: без них он в лучших домах будет мертвецом, и на него станут указывать пальцами, как на выходца с того света!.. „Вообразите,—скажут женщины,—он невежа до такой степени, что не может сделать партию в виск“¹.

4.

Будь насмешлив, сколь можно. Молодой человек, умеющий осмеять и подшутить, ищется, как клад, в лучшие общества. Злословец не может быть дурак: вот определение модного света. Старайся его заслужить, и ты будешь взыскан; но не будь низок и не шути над тем, что в самом деле достойно осмеяния; это знак слабого воображения; если молодой человек смеется нам смешными только людьми или вещами: остроумник нынешнего века должен бегать такого недостатка и острить свой язык насчет важных и почтенных людей. Никакой нет славы смеяться над Антирихардеоном и над Мнимым Детушем: это значит бить лежачих; и без тебя весь свет знает, что они гадкие писатели; но если ты будешь смеяться над Ломоносовым, или, увиди на театре, станешь бранить славную Ле-Саж и Дельпи², то подашь тем знак о превосходстве твоего вкуса, который и столь великими талантами не мог быть удовлетворен.

5.

Отбери несколько авторов наудачу, затверди их имена, вздумай, что один из них пленил тебя своими красотами, так, как Дон-Кихот вздумал, что его пленила Дульцинея, которой он и в глаза не видывал; таким образом, пожаловав одного какого-нибудь автора (тем больше тебе чести, если он иностранный) в свои любимцы, брани других и занимайся им одним, приписывая тем погрешности, которых в них нет, и придавай ему прелести, коих в нем не бывало. Ничего нет милее, как видеть двух молодых щеголей, когда спорят они за своих авторов,—не читав их, и мне часто случалось быть свидетелем, как Руссовы эпиграммы над Юнговыми Ночами³ одерживали победу, которая всегда оставалась на той стороне, у чьего защитника здоровее горло.

¹ Вист.

² *Ле-Саж* и *Дельпи*—известные французские актеры XVIII века. Дельпи некоторое время играл в Петербурге.

³ Имеется в виду известная поэма английского поэта Эдварда Юнга (1681—1765) „Ночные думы“. В ней поэт оплакивает смерть жены и дочери, предается скорби, сочетающейся с правоучительными сентенциями. „Ночные думы“—одно из крупнейших произведений так называемой „кладбищенской поэзии“.

Маленькие дети ныне очень искусно учатся передразнивать своих родителей, и если им не мешают в таком приятном упражнении, то можно современем ожидать, что из такого ребенка делается презабавный для света повеса; такие дети бывают обыкновенно неустрашимого духу, и на пятнадцатом году они уже в состоянии колотить своих отцов или выталкивать их с двора.

6.

Умей говорить не думая. Думать прилично ученому, а ученье не пристало щеголю, и ты должен остерегаться, чтоб не сказать чего умного. Молодой человек, который говорит умно, очень глуп в большом свете; а ты должен быть забавен. Большая часть женщин любит попугаев; хочешь ли и ты теми самыми женщины так же быть любим, старайся говорить как попугай—и ты прослывешь остряком; выучи поутру несколько чужих острых слов и умей их сказать кстати... Твой разум, как женщина, должен быть прибран за уборным столиком: вот ключ к доброй славе. Умей поутру выкрадывать, что надобно тебе говорить днем, и половина города не приметит, что ты невежа.

Есть и другой способ говорить забавно без ума, буде только язык твой гибок и проворен, как трещотка; но это трудная наука, которой только у женщин учиться можно. Старайся подражать им; старайся, чтоб в словах твоих ни связи, ни смысла не было, чтоб разговор твой переменял в минуту по пяти предметов, чтоб брань, похвала, смех, сожаление, простой рассказ, все бы это смешанное почти вместе пролетало мимо ушей, которые тебя слушают, и, наконец, чтоб ты, как барабан, оставлял по себе один приятный шум в ушах, не оставляя никакого смысла. Молодой человек с такими дарованиями нужен в модном обществе, как литавр в оркестре, который один ничего не значит, но где должно сделать шум, там без него обойтись невозможно.

7.

Остерегайся быть скромн, или ты заставишь думать, что тебе нечего сказывать,—а это великий недостаток. Молодой щеголь нынешнего века должен быть то же, что морская труба: принимая в один конец слова, выдавать их тот час в другой; и чем кто смешнее умеет пересказывать, тем более приписывают ему ума. Не заботься, если от таких пересказов родятся ссоры, драки и бедствия; тем более чести пересказчику, чем более и блистательнее действие произведет его пересказ. Легко станется, что ты и бит будешь, но это есть лавры, составляющие лучшее украшение пересказчиков: чем сильнее тебя побьют, тем яснее доказательство, что память и воображение твое обширны; и чем более тебя бранят, тем виднее, что ты привлекаешь к себе внимание. Многие франты совсем забыты от света, не имея дарования переносить вести; а это жалкая участь щеголя, если о нем помнят одни его заимодавцы.

Вот, любезные мои собратия, маленький опыт правил, столь необходимых тому, кто хочет с успехом блистать в модном свете!

Пользуйтесь ими. Я знаю, что многие французы будут завидовать, для чего другие написали то, чему они словесно учили. Но я не самолюбив и охотно признаюсь, что эти прекрасные пражила не моей выдумки и что мы обязаны оными тем снисходительным французам, которые, кончив на галерах свой курс философии¹, приехали к нам образовать наши нравы.

* * *

Будучи в рынке или в Гостином дворе, купил я несколько нужных мне безделиц, которые купец начал завертывать в печатные листы. Я из любопытства поглядел, чем обернуты купленные мною носовые платки? И к крайнему сожалению моему увидел, что употреблен на то лист *Физической Географии*; батист на манжеты завернут был в лист *Естественной Истории*; табак в *Логике*; шпильки в *Травнике*, или *Ботанике*... Боже мой! на что употребляются здесь преполезные книги, когда кучи прескверных романов красуются в библиотеках в пребогатом переплете!

Купец, улыбнувшись, сказал мне: „напрасно вы беспокоитесь об этих листах; нам книгопродавцы продают их на вес, и они гораздо дешевле нам обходятся заверточной бумаги; а в этом виноваты вы сами, господа благородные! Для чего вы их не читаете? Ведь, лежа на полках, того и гляди, что обломают и полки; так провались они, проклятые; капитал-то в них положенный пропал, да как еще и полки-та починивать или делать вновь... Так заведомо лучше бросить их за что-нибудь... А романы-то, сударь! Не шутите ими... У меня знакомый книгопродавец, где я эти листы беру на обертку, говорит, что это золотые книги; ни один роман еще не залежался, то и знай, что их подпечатывают—„*Тысячу одну ночь*“ то и дело, что раскупают; а у нашего брата купца тот товар и умен, за который больше денег дают и который больше покупают“. В сие время прервал наш разговор вошедший в лавку армейский сержант, у которого на груди было три медали. Он спросил курительного табаку, и ему завернул купец также в печатном листе, на котором приметил я статью о *Ретираде*², из чего и заключил, что сия книга есть *Тактика*.

Я.

Служивый! знаешь ли ты в чем завернут твой табак?

Он.

Нет, ваше благородие! я грамоте не учен, я из даточных³.

Я.

Это лист из книги военной: это *Тактика*, или наука воевать.

¹ Т. е. побывав на каторге.

² Т. е. об отступлении.

³ *Даточный*—сданный в солдаты на основании векрутской повинности.

Он.

И, какой вздор! Шутить, барин! Да на что тут наука? Надо-на только эскерция¹. Когда штык у рядового примкнут,—пускай-ка сунется кто с наукою-то на нас, мы всякую науку насквозь просадим. У нас два слова всю науку составляют.

Я.

Какие, мой друг?

Он.

Первое слово, и самое важное, и важнее всех наук в армейской службе: *слушай!*

Я.

Признаюсь, мой друг, что это слово весьма важно; может быть, россияне, чувствуя всю великость этого слова, привыкли всегда побеждать. А другое, мой друг, какое?

Он.

Так верно вы не служили в армейской службе, когда спрашивают меня? Только не поскучьте, я вам расскажу всему фундамент. У нас, коли капрал кричит: *слушай*, то рядовые ждут, что велит; пришел сержант, закричал: *слушай*, уж и унтер-офицеры и капралы, как рядовые, ждут команды. Офицер пришел, все его слушают, майор—все капитаны и рядовые его слушают, полковника—майоры, а генерала—ну сам рассуди. Чин чина почитает; и кто главный закричит: *слушай*, так от рядового до самого его все его и слушают. Вот, сударь, каково слово-то *слушай!* А там, где надобно закричать *вперед!*, так тут против нас, русских, никто не устоит.

Я.

Вот, мой друг, на что и надобна наука та, чтоб знать, когда закричать *вперед*.

Он.

Да это дело командирское, а не наше. У нас вся наука в том—либо *стой*, либо *вперед*, а *назад*—никогда. Ну вот, я вам растолковал—прочь-ка, барин, мне хоть строчку, что на этой бумаге написано, что за наука?

Я.

Тут написано, мой друг, о *ретираде*.

Он.

О *ретираде*? провались же эта книга к чорту! Ее, конечно, какой-нибудь трус писах—пускай и учатся этой науке трусы же; а я служил, и назад никогда не пылся. Слышал ли ты, господин честный, об *Измаиле*? Нет уж, город крепок да и крепок, да мы

¹ Обучение военному делу, упражнение.

его на штыках взяли¹. Эй, купец! заверни мой табак в другую бумагу, а не то я куплю в другой лавке. Я не хочу, чтоб мой табак был в ретираде.

Слова сержанта мне очень понравились, а тем более, что они прямо вышли из сердца. Я хотел заплатить купцу за табак, но сержант, поглядев на меня, несколько сурово сказал: „У меня есть и свои деньги; стыдно нашему брату служивому брать подарки; кто лаком до подарков, тот в службе верен не будет“. Табак переложили в белую бумагу, и сержант пошел вон из лавки. Между тем я просил купца, чтоб он завернул достальную мою покунку не в печатную бумагу, поколику мне совестно видеть ничего не значущие вещи, завернутые в золоте.

Пришедши домой, я покунку мою развернул, а достальная была завернута в рукописи, которую я, прочитав, нашел, что это переписка Хлыновского купца со здешним. Сии письма показались мне странными, и для того вздумал я послать их к вам, господа издатели „Зрителя“: они стоят быть напечатаны. Я думаю, что вы мне в том поверите и не сочтете их за мое сочинение, чем много обяжете

Вашего искреннего Доброхота.

* * *

Благоприятель мой ***!

Удивительно нам показалось, что милость ваша прислала к нам сукна гораздо хорошего, и не так дорогою ценою. А мы было писали к вам гораздо о середовом товаре. Мы-ста всем Хлыновым вельми тому порадовались, что такая дешевизна стала у вас в Питере. Пожалуй, не поскучь нас уведомить, от чего это стало? Не курс ли денежный поднялся? То-та бы ладно-та было! Пора бы, давно-ста бы пора заморским купцам перестать наши русские деньги ценить. Теперь бы пришла наша чередка и на их оценку накинуть. Мы гораздо радуемся такому делу—и радовались бы еще больше, кабы наши бабы не взбеленились. Не знаю, какой-то дьявол шепнул им в уши бросить подкапки и телогреи, а одеваться по вашей питерской моде? А особливо моя Елизарьевна, слышь ты, проходу мне не дает, только и ладит: „не хочу подкашка, а хочу рожек“. Что делать? Пришло нам, мужьям, уступить женам,—принялись они за рожки. У нас живет отставная секретарша, она нивись как горазда на рожки-та: она их делает, да мужа своего с ними и посылает. А жены наши так-та принялись за секретаршины рожки, что нам, мужьям, они больно не по сердцу, да и убыток не мал. Что ж делать, чему пособить нельзя? Мы было уж начали к рожкам-та и попривыкать, да вдруг, на беду нашу неминуемую, враг занесил какую-то к нам господажу из Питера мимоездом. На моем постоялом дворе и приста-

¹ *Измаил*—крепость, расположенная на Дунае. В 1790 г. была взята Суворовым после кровопролитнейшего штурма. Это и имеет в виду сержант.

вала-та она, окаянная. Сам ты ведаешь, умная голова, что моя полетела к этой барыне летком. О чем же, ты думаешь, она клякала с ней целый денек божий? Все расспрашивала о питерских модах да нарядах. Как эта госпожа из Хлынова провалилась в свою дорогу, а жены наши к нам, кричат до содомят, прости господи! как наше место свято. Эта барыня скажи им, что в Питере посят модницы *окороки*, а на голове—чурбаны, эдакая рамода! Мы толковали женам нашим, что эта госпожа смеялась над их дуростию; так божатся да клянутся, что она уверила их в том всеми клятвами. А они с ума сошли на прищеголье и жить с нами не хотят, ежели мы их не нарядим в *окороки* да в чурбаны.

Помилуй, отец наш, яви нам милость, открой эту хитрость, какую манерою ваши питерские щеголихи цепляют на себя *окороки*? Сзади али спереди, на веревках али на тесемках,—и какие именно *окороки*, провесные али копченые? Наши бабы так взбеленились, что не дают нам ветчинки и в свят день до обеда. Да и подлинно диковинная диковинка! Я чаю, город весь ваш провозил свиным жиром, я чаю, в жаркий день все щеголихи перемараются. Разве уж не от заразы ли какой это делается? Так не подстереги враг лихого слова, по сей час у нас все богом хранимо.

А о чурбанах тех также прошу не замешкать ответом, из какого дерева вырубать их должно и каким побытом оные чурбаны делаются: липовые аль сосновые, аль ольховые? Уму-ста нашему невообразимо. Питерские щеголихи не наши бабы рабочие, чай, ведь всякая щеголиха самый деликатес. Как их головы не повихнулись? Легка ль махина взрютить на голову чурбан? Где, к чорту, иног чурбана и наша мужская голова не снесет; разве нет ли-ста каких подставок? Пожалуй, не оставь нам обо всем доскональнзг дать ведомость.

Как-ста у вас на все эти товары стал великий поход, то не в противность ли милости вашей будет? Мы вам *окороков* поставим самых заздравных и *Скотинина* заводу. А о чурбанах тех: продает здешний помещик целый лес строевой на вырубку, так бы в чурбанах те, что разойдутся подороже, то бы ста и наше: ведь пока мода, то-та и взять рубль за копейку. Пословица говорится же: „*Куй железо, пока горячо...*“ Пожалуй, не оставь нас, и не замедли ответом; пребываем милости вашей ко услугам.

ОТВЕТ.

Друг мой сердечный, Вавила Охреянович!

Письмо ваше я получил, на которое, по моему обыкновению, тотчас вам ответствую, хотя, правду сказать, я едва поверил, что это письмо ваше... Но по дружбе нашей удовольствую тебя уведомлением на каждую твою просьбу.

Сукна я послал к вам хорошие, это правда; но это не от того, что они у нас в Петербурге стали дешевле, а тому совсем другая причина. Завелись у нас магазинны иностранные, куда все, как знатные, полужнатные и мелкопоместные, все ездят за товарами

и покупают там за тройную цену; а у нас, в русских лавках, как бы товар хорош ни был, не только не дают и половинной цены, но и совсем не жалуют в наши лавки; то пришло бы нам весь торг бросить и объявить себя банкротами. Что ж делать! пужда научит калачи есть—мы нашли способ помочь себе. Все то, что в наших лавках *завалью* почитается, или все товары, которые похуже, отдаем мы в модные магазинны, где они продаются очень скоро и весьма дорого, за что платим мы магазинщикам за комиссию также не дешево, от чего получаем великий барыш. У нас вошло в моду не разбирать доброты товаров, а надобно только, чтоб было дорого, да в модном магазине, а без того мы никогда бы заваливших товаров не могли с рук сбыть. Берегитесь об этой моде открывать сожительнице вашей, чтоб и у вас не вошло это в моду. Мне говорил вчера один чужестранец, что у него есть сажен пятьсот дров осиновых да сосновых, и он выдумал средство их скоро и с великим барышом продать: он хочет публиковать, что у него есть сосновые и осиновые дрова *англицкой работы*, и уверяет меня, что будет продавать по сту по двадцати рублей сажень, и что по этой цене расхватят у него сутки в трои. Любопытен я очень дожидаться этой продажи дров и для странности вас уведомить не оставлю. Как выше я сказал, что все худые товары разошлись у нас по магазиннам, то теперь остались лучшие, из которых я к вам сукна и доставил. Магазейщики еще делают у нас над сукнами *поповление* или *инострание*: берут у нас самые худые и завалищие, да разводят сажу на масле и вытискивают на сукнах черные полосы, от чего трехрублевое сукно продавали даже по 25 рублей аршин, называя англицким или французским. Батюшка твой нам рассказывал, что лет тому пятьдесят назад у больших бояр в Москве в полосатом да в пестром ходили. Помнишь ли кто? Да что говорить, это не наше дело.

Изволишь ты писать об окороках. Это совсем не то, и как вам эдакая мысль в голову пришла? Ну допустят ли наши петербургские красавицы, чтоб свиное сало к ним коснулось? Хотя здесь французы, перетопив его да надуша духами, не знаю с какими-то печатными ярлычками на французском языке, продают рублей по пяти маленькую баночку, называя это выписною помадою. Сожительница твоя ослышалась. Это новомодное платье; оно состоит вот чем: прежде сего французские здесь уборщицы делали платье длинные, а ныне вздумали денег брать больше, а товару на платье употреблять меньше, почитая свою выдумку дороже самих себя, и для того они обрезали платье очень коротко, но чтобы это *коротко* не драло уши нежным российским барыням по моде, то они офранцузили слово коротко и стали называть его *короко*. Видишь, любезный друг, то ли дело? Где нашему русскому *коротко* сравняться с *короко*; а при том с совершенно русским названием, как бы платье хорошо ни было, покупать и носить его не станут. А это *коротко*, или *короко*, не что иное есть, как кофта, очень короткая и вся назади так, что без корсета

надеть ее нельзя. А шные выдумали, чтоб и на корсет не тратить товару, пришивать к этому коротку нагрудник. Вот и вся мода! Вы можете смело кушать ветчину, не опасаясь, чтобы она на другое употребление определялась модою, кроме кушанья. У нас заразы нет, как и у вас же; но есть язва к модам, и она так приличива, что в минуту расползается и смертоносна достатку тех, кои хворают охотою к моде.

О чурбанах также ваша сожительница ослышалась. Это называется *турбан*¹, то есть скомканный комок флёру или дымки, или батисту, или подобного сему; тут еще употребляют разных лент множество, и сила вся состоит в том, как бы больше нацуглявкать и того и другого. А турбан слово не русское. А какое, и что оно значит по-русски,—ей, ей! не могу тебе сказать, да едва ли и француженки уборщицы знают этому слову толк. Эти же турбаны, не беспокойся, мой друг, не повихнут головы, а свихивают деревни у бояр, а у наших купецких щеголих—мужние торги. Турбаны так легки, что нет ни одного весом в полфунта, а самый из них плохой стоит многих кулей хлеба.

Еще скажу тебе новенькое о наших модах: ныне те же французские уборщицы перекраивают на свой образец *шуган*² и называют их женскими *сертуками*. И враг их угораздил делать их с высокими стоячими воротниками: посмотришь на женщину в модном сертуке спереди, то лицо ее как будто из-киоточки или из ящичка какого выглядывает; а сзади все женщины в модном сертуке кажутся горбатыми, какой бы стройный и складный стан не имели. Вот, друг мой, ныне какава мода!

Лес покупать вам не советую, как вы говорили. А разве по вашим торговым обстоятельством будет вам сходно, то вы сами знаете, что вам полезнее. А я знаю, что наша дружба продолжится по смерть нашу, и я по гроб мой останусь вам

покорным слугою ***.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ

В ПАМЯТЬ МОЕМУ ДЕДУШКЕ, ГОВОРЕННАЯ ЕГО ДРУГОМ,
В ПРИСУТСТВИИ ЕГО ПРИЯТЕЛЕЙ, ЗА ЧАШЕЮ ПУНША.

Любезные слушатели!

В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучшего своего друга, а здешний округ разумнейшего помещика: год тому назад, в сей точно день, с неустрашимостию гонясь за зайцем, свернулся он в ров и разделил смертную чашу с гнедою своею лошадию прямо по-братски. Судьба, уважая взаимную их привязанность, не хотела, чтоб из них один пережил другого; а мир между тем потерял лучшего дворянина и статнейшую лошадь. О ком из них более должно нам сожалеть? Кого более

¹ Турбан (головной убор).

² Старинная, особого рода кофта; так же назывался и особого шикроя кафтан.

восхвалить? Оба они не уступали друг другу в достоинствах, оба были равно полезны обществу; оба вели равную жизнь и, наконец, умерли одинаково славною смертью.

Со всем тем дружество мое к покойнику склоняет меня на его сторону и обязывает прославить память его; ибо хотя многие говорят, что сердце его было, так сказать, стойлом его гнедой лошади, но я могу похвалиться, что после нее покойник любил меня более всего на свете. Но хотя бы и не был он мне другом, то одни достоинства его не заслуживают ли похвалы и не должно ли возвеличить память его, как память дворянина, который служит примером всему нашему окольному дворянству.

Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставлял его примером в одной охоте; нет, это было одно из последних его дарований; кроме сего, имел он тысячу других приличных и необходимых нашему брату дворянину; он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдинов выработают в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою; он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои, часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью; глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто верст вокруг его деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях; искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего создал великолепные свои пиры. Но я примечаю, что восторг мой отвлекает меня от порядку, который я себе назначил; обратимся же к началу жизни нашего героя: сим средством не потеряем мы ни одной черты из его похвальных дел, коим многие из вас, любезные слушатели, подражают с великим успехом; начнем его происхождением.

Сколько ни бредят философы, что по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой философии, и если уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцом осла, нежели быть равного с ними происхождения. Ничто столь человека не возвышает, как благородное происхождение; это первое его достоинство. Пусть кричат ученые, что вельможа и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Если это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдинов, и что никакими выгодами не отличает нашего брата дворя-

нина: это знак ее лености и нерачения. Так, государи мои, и если бы эта природа была существо, то бы ей очень было стыдно, что тогда, как самому последнему червяку уделяет она выгоды, свойственные его состоянию, когда самое мелкое насекомое получает от нее свой цвет и свои способности, когда, смотря на всех животных, кажется нам, что она неисчерпаема в разновидности и в изобретении, тогда, к стыду ее и к сожалению нашему, на выдумала она ничего, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одного пальца в знак нашего преимущества перед крестьянином. Неужли же она более печется о бабочках, нежели о дворянах? И мы должны привешивать шпагу, с которою бы, кажется, надлежало нам родиться. Но как бы то ни было, благодаря нашей догадке мы нашли средство поправлять ее недостатки и избавились от опасности быть признанными за животных одного рода с крестьянами.

Иметь предка разумного, добродетельного и принесшего пользу отечеству—вот что делает дворянина, вот что отличает его от черни и от простого народа, которого предки не были ни разумны, ни добродетельны и не приносили пользы отечеству. Чем древнее и далее от нас сей предок, тем блистательнее наше благородство; а сим-то и отличается герой, которому дерзаю я соплетать достойные похвалы; ибо более трехсот лет прошло, как в роде его появился добродетельный и разумный человек, который наделал столь много прекрасных дел, что в поколении его не были уже более нужны такие явления, и оно до нынешнего времени пробавлялось без умных и добродетельных людей, не теряя нисколько своего достоинства. Наконец, появился наш герой Звениголов; он еще не знал, что он такое, но уже благородная его душа чувствовала выгоды своего рождения, и он на втором году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице. „В этом ребенке будет путь,—сказал некогда, восхищаясь, его отец,—он еще не знает толком приказать, но учится уже наказывать: можно отгадать, что он благородной крови“. И старик сей часто плакал от радости, когда видел, с какою благородною осянкою отродье его щипало свою кормилицу или слуг; не проходило ни одного дня, чтобы маленький наш герой кого-нибудь не оцарапал. На пятом еще году своего возраста приметил он, что окружен такою толпою, которую может перекусать и перещарапать, когда ему будет угодно.

Премудрый его родитель тотчас смекнул, что сыну его нужен товарищ. Хотя и много было в околотке бедных дворян, но он не хотел себя унижить до того, чтоб его единородный сын разделял с ними время, а холопского сына дать ему в товарищи казалось еще несноснее. Иной бы не знал, что делать, но родитель нашего героя тотчас помог такому горю и дал сыну своему в товарищи прекрасную болонскую собачку. Вот, может быть, первая причина, отчего герой наш во всю свою жизнь любил более собак, нежели людей, и с первыми провождал время веселее, нежели с последними. Звениголов, привыкший повелевать, принял нового своего товарища довольно грубо и на первых часах вце-

пилился ему в уши, но Задорка (так звали маленькую собачку) доказала ему, как вредно иногда шутить, надеясь слишком много на свою силу: она укусила его за руку до крови. Герой наш остолбенел, увидя в первый раз такой суровой ответ на обыкновенные свои обхождения: это был первый щипок, за который его наказали. Сколь сердцу в нем ни кипело, со всем тем боялся отведать сразиться с Задоркою и бросился к отцу своему жаловаться на смертельную обиду, причиненную ему новым товарищем. „Друг мой!—сказал беспримерный его родитель,—разве мало вокруг тебя холопей, кого тебе щипать? На что было трогать тебе Задорку? Собака ведь не слуга: с нею надобно осторожнее обходиться, если не хочешь быть укушен. Она глупа: ее нельзя унять и принудить терпеть, не разевая рта, как разумную тварь“.

Такое наставление сильно тронуло сердце молодого героя и не выходило у него из памяти. Возрастая, часто занимался он глубокими рассуждениями, к коим подавало оно ему повод: изыскивал способы бить домашних своих животных, не подвергаясь опасности, и сделать их столь же безмолвными, как своих крестьян; по крайней мере искал причин, отчего первые имеют дерзости более огрызаться, нежели последние, и заключил, что его крестьяне ниже его дворовых животных.

Чадолубивый отец, приметя, что дитя его начинает думать, заключил, что время начать его воспитание, и сам посадил его за грамоту. В пять месяцев ученик сделался сильнее учителя и с ним взапуски складывал гражданскую печать. Такие успехи утрашили его родителя. Он боялся, чтобы сын его не выучился бегло читать по толкам¹ и не вздумал бы сделаться когда-нибудь академиком, а потому-то последнюю страницу букваря кончил его курс словесных наук. „Этой грамоты для тебя полно,—говорил он ему,—стыдись знать более: ты у меня будешь барин знатный, так не пристойно тебе читать книги“.

Герой наш пользовался таким прекрасным рассуждением и привык все книги любить, как моровую язву. Ни одна книга не имела до него доступа. Я не включаю тут рассуждения Руссо о вредности наук: вот одно творение, которое снискало его благосклонность по своей привлекательной надписи; правда, он и его не читал, но никогда не спускал с своего каминя. „Прочти только это,—говаривал он, когда кто вздумает хвалить перед ним науки,—прочти это, и ты будешь каяться, что в тебе более ума, нежели в моей гнедой лошади. О, Руссо великий человек“,—продолжал он, и после этого принимался с подобострастием считать листы в его сочинении. Это было величайшее его снисхождение к учености, которое оказывал он только одному сочинителю „Новой Элоизы“.

Время, наконец, наступило записывать его в службу, и редкий родитель его, отпуская, дал сыну своему последнее наставление: „Помни, любезный сын,—говорил он ему,—что у тебя две тысячи

¹ По складам.

душ; помни, что ты старинный дворянин и остался один в своем роде; итак, береги себя, не подражай бедным людям, которые, не имея куска хлеба, принуждены на службу тратить здоровье. Служи так, чтобы не быть разжаловану, а о достальном не пекись. Пусть бедные ищут чинов, а нашу братию, богатых, чины сами должны искать; будь только порядочного поведения, то-есть не выходи из передней знатных, более всего берегись досадить женщине, сколь бы низкого состояния она тебе ни казалась: наружное состояние женщины бывает сходно с молодым деревом, которое сколь ни кажется слабо и презренно, но часто корень его глубоко под землю сплетен с корнем великого дуба, который может задавить тебя своею тяжестью. Короче, вот тебе в двух словах мое завещание: я не требую, что бы ты возвратился заслуженным, по чиновным". И после сего наградил он его своим родительским благословением и двумя тысячами рублей на дорогу. Спусти же три дня после его отъезда кончил свою знаменитую жизнь.

Сколь ни жаден был наш герой пользоваться наставлениями, со всем тем благородная его душа неохотно приняла сии последние, или, лучше сказать, он из них одобрил половину, то-есть, последую отцу своему, не хотел он служить, но не хотел также состариться в передних. Эти два правила поссорили его с двумя его дядюшками, со службою и сделали филозофом; суеты большего света скоро ему наскучили; он видел, что куда он ни приходил, то или он зевал, или над ним зевали, и взял миролюбивое намерение расстаться со светом, видя по всему, что они друг другу не надобны.

Редкое великодушие, неподражаемая скромность—сии два любезные качества видны в нем были с самого приезда его в столицу. Честолюбивый на его месте, имея столь знатную родню, как он, не отстал бы от больших обществ и искал бы въезду в первые дома. Но герой наш просиживал целые ночи в трактирах. Он убегал пышности и часто под вечерок из толпы завидливых игроков возвращался домой смиренно без кафтана. Он не был злопамятен и очень спокойно обедал там, где накануне били его за ужином! Терпелив был до крайности: я сам, государи мои, был свидетелем, с какою умильною кротостию принимал он побои от своих приятелей и после с ними вместе зашивал свое горе. Иной бы честолюбивый на его месте, повторяю я, был соблазнен примерами большего света и увлечен его суетами, но он равнодушно слушал вести, что такой-то его сверстник пожалован, что тому дано место, другому награждение; всем этим не тронута была великая его душа и он, зевая, стоически слушал такие новости. „Может быть, половину этих чиновников мне же кормить доставится,—говаривал он,—полно и того, что у меня есть две тысячи душ: это такой чин, с которым в моем околотке везде дадут мне первое место“. „Все суета сует“,—так заключал он обыкновенно свои рассуждения, и после того, оставясь кругом дожиною бутылки портеру, садился мешать банк.

По сему можете вы заключить, милостивые государи, что общества его были хотя не пышные, но весьма веселые. Правда, замешивались иногда в них люди чиновные, но обыкновенно первые две дюжины бутылок восставляли во всей беседе совершенное равенство и дружество. Но это не было скучное дружество, заведенное лет на пять; нет, это было вольное и благородное дружество—такое, что часто, не конча еще взаимных о нем уверений, вцеплялись друг другу в виски, но без всякой злобы и нередко для одного препровождения времени.

Вот, государи мои, образ городской его жизни; он, не гоняясь за счастьем, искал одних удовольствий; он не ездил по этикету зевать в большие дома, но, любя вольность, часто в своих дружеских беседах засыпал под столом; он не занимался тем, чтоб когда-нибудь привлечь на себя внимание всего света, ему довольно было и того, что имя его знали наизусть во всех трактирах и кофейных домах. Он никогда не намеревался быть политиком, но не для того, чтоб недоставало ему ума; нет, государи мои, он был слишком умен и нередко даже был за это бит от своих приятелей за картами, где более всего щеголял он остроумием. Но как ум гоним в целом свете, то очень скоро наскучил он быть умным и зачал играть в карты с философскою простотою и с благородною доверенностью; друзья его, вместо того чтобы удивляться сим любезным качествам, в два месяца очистили все его мнение и оставили нашего философа полунагим, несмотря на то, что северный климат совсем не удобен к цинической философии¹.

Всякий бы другой изнемог духом в таких стесненных обстоятельствах; всякий бы пришел в отчаяние; но он не поколебался нисколько и, сидя дома, с крайним умилением сердца ожидал, как заимодавцы поведут его в тюрьму. Как Юлий, не бежал он от своего несчастья² и даже не выходил за ворота, хотя тогдашними темными вечерами мог он прогуливаться по улице в одном камзоле и туфлях, не нарушая городской благопристойности. Он не искал даже помочь своему несчастью. „Что будет, то будет“,—говорил он, зевая неустрашимо. И судьба наградила его к ней доверенность. Тогда, как казалось, что он оставлен от всего света; когда все ворота были для него заперты, выключая ворот городской тюрьмы; когда в кухне его, как в Риме, не осталось ни тени древней славы; и, что всего бедственнее, когда последнюю бутылку портеру у него, разбила истощившаяся кошка, искав с таким же усердием черствой корки, с каким Колумб искал Новой земли; когда, говорю я, все сии несчастья собрались вокруг него, тогда родной его дядя, славный своею экономиею, которую храня 20 лет уже

¹ Подразумевается древнегреческая философская школа циников, последователи которой отличались крайней простотою нравов и суровым образом жизни.

² Согласно преданию, известному римскому полководцу и диктатору Юлию Цезарю (100—44 до н. э.) было предсказано, что он вскоре погибнет. Он, однако, не принял никаких мер предосторожности и был убит.

он не ужинал, вздумал, наконец, и не обедать, оставя в наследство герою нашему пять тысяч душ и сто тысяч денег.

Может быть, подумаете вы, что это сделало его надменным? Нимало! В тот же день пошел он к знакомому винному погребщику, напился с ним вместе и очень смиренно провел у него ночь на голом кирпичном полу.

Но уже страсти в нем начали угасать, и он, пользуясь прошедшими своими несчастиями, не захотел более ни в которой масти искать счастья, получил чин, пошел в отставку и намерился удалиться в свои деревни, дабы украсить собою наш уезд; имея же к шумным прощаньям отвращение, уехал из города, не уведомив ни одного своего заимодавца. Может быть, по скромности его, нравился ему также французский обычай уходить, не простясь, ибо, свидетельствуют достовернейшие маркеры, что, когда только мог, уходил он по-французски из трактиров, сколь ни убедительно они ему за то пеняли.

Наконец, удалился он от городского шума и вступил в новое поприще для испытания своих дарований, и вы, государи мои, сами были свидетели, как сильно умел он ими блистать.

Едва появился он здесь, как объявил открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово. Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели полсотни лошадей и вдвое более того собак; но герой наш, умея кстати и к месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания, и продолжал непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам. А чтобы вернее их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое состояние, что им нечем было засеять поля. С каким внутренним удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми, как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие зайцы могли в них искать одной только голодной смерти. „Скажи,—спрашивал у него некто,—не лучше ли на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом, желая выжить из него тараканов?“ „Молчи только,—отвечал наш герой,—я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего; но еще лет пять, и зайцы позабудут мои земли; они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок и изобилне“.

Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь такое великое и смелое предприятие! Нерон зажег великодушный Рим, чтобы истребить небольшую кучку христиан. Юлий

побил множество сограждан своих, желая уронить вредную для них власть Помпея¹. Александр² прошел с мечом чрез многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется, для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять этим дома; но все эти намерения и труды не входят в сравнение с подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множеству других героев, которые, захватив себе дел тысячи на две лет, умирали на первом или на втором году своего предприятия.

Вот, государи мои, подвиги героя, которые... Но что я вижу! Любезные мои слушатели заснули со умилением, почтенные головы их лежат, как прекрасные бухарские дыни вокруг пуншевой чаши. Торжествуй, покойный мой друг! Твои друзья, любя тебя, наследовали твои нравы. Так точно некогда засыпал ты на своих веселых вечеринках, с половиною окунутым в ендову носом. Увернись, если можешь, на одну минуту от Плутона, взгляни из подпола на твоих друзей, потом расскажи торжественно адским жителям, какое приятное действие произвела похвала твоей памяти; и пусть покосятся на тебя завидливые наши писатели, которые думают, что они одни выправили от Аполлона привилегию усыплять здешний свет своими творениями.

КАИБ.

Восточная повесть.

I.

Каиб был один из восточных государей; имя его наполняло вселенную. „Слава твоя,—говорил ему некто из его стихотворцев,—слава твоя была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило“⁴. Каибу нравились хорошие сравнения, и за это, пожаловав его в евнухи, сделал смотрителем над своею сералью. Богатства Каибовы были неисчерпаемы; дворец его, говорит историк, был обнесен тысячами яшмовых столбов, конх капители были изумрудные коринфского ордена, а тумбы из чистого литого золота; дворец сей был сделан из черного мрамора, и стены его были столь гладко вылощены, что лучшие шеголихи смотрелись в них, как в зеркало. Окны были пропорции новейшей итальянской архитектуры, не много более того, как делаются городские ворота, и во всяком окне было только по одному стеклу, но которые были так тверды, что потачливейшие мужья нынешнего времени не в состоянии были бы прошибить их своим лбом. Крышка³ была из листового

¹ Помпей (106—48 до н. э.)—римский полководец, глава враждебной Юлию Цезарю группировки. Во время междоусобной войны, окончившейся поражением и смертью Помпея, погибло много людей.

² Александр Македонский.

³ Крыша.

серебра, но столь чисто отработанного, что часто в ясные дни целый город сбегался ко дворцу, думая, что он горит, когда всю сию тревогу производило одно сие сияние. Заметь, любезный читатель, что все это говорит Каибов историк. Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто туда ни входил; простолюдимов ослепляло золото, жемчуг и каменья, коих было более, нежели орфографических ошибок в наших новых писателях. Знатоков привлекало искусство, блистающее во всех украшениях дворца: там развевали завесы из непроницаемого штофу, который был толще всех четырех частей „Беседующего гражданина“¹, переплетенных вместе; там блистала резьба, отделанная с такою чистотою, что никакой бы автор не пожелал видеть лучшей чистоты на переплете своих сочинений; многие комнаты украшены были живописью, обманывающею зрение, и надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пушал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последнее украшение его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток: Каиб велел рисовать их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки². И подлинно, не было в Каибовом владении ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету. В другом месте, продолжает историк, видны были из драгоценных перьев чучелки, сделанные с таким вкусом, что сколько ни старались придворные дамы подражать им в пестроте своих одежд, но часто с досадою видели, что на прекрасных чучелок любовались более, нежели на них. В иных местах резвились на золотых цепочках забавные обезьяны, которые кривлялись с такою приятностию, что искуснейшие придворные ставили за честь у них перенимать, а нередко, по слабости человеческой, выдумки обезьян выдавали за свои; от чего между тогдашних обезьян и придворных была великая вражда, о коей историю в тридцати шести томах в лист издала тамошняя академия. Там на великолепных пьедесталах блистали Каибовых предков бюсты, которые высокою работою не уступали своим высоким подлинникам. Внутренние комнаты его убраны коврами столько редкой красоты и цены, что величайшие цари, современники Каибовы, приезжали играть на них шемелой³ и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов. Зеркала его хотя были по двенадцати аршин длиною, из чистой стали, но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторою волшебницею; зеркала сии имели дар показывать вещи в тысячу раз прекраснее, нежели они есть: старик видел себя в них молодым красавцем,

¹ „Беседующий гражданин“—журнал, издававшийся в Петербурге в 1789 г. Крылов относился к этому журналу отрицательно, проницательно называя его „Бредящим мешанином“. Подробнее об этом журнале см. в книге В. П. Семенникова „Радищев“, 1923.

² Рисуя взаимоотношения Каиба с стихотворцами, Крылов имеет в виду отношение к писателям Екатерины II, кичившейся своей „дружбой“ с писателями и философами.

³ Шемела—пародная игра (бег взапуски на корточках).

изветшалая кокетка—пятнадцатилетнюю девушкою, урод—пригожим, а разгильдйй—ловким. Со всем тем Каиб никогда в них не смотрелся, а держал для одних своих придворных, и то для того, чтоб забавляться, видя, как отвратительнейшие лица перед сими зеркалами спорят о своей красоте и заводят ссоры, которыми Каиб любовался. Тысячи попугаев говорили в его клетках скоропостижные вирши¹; многие из сих попугаев были красноречивее тогдашних академиков, хотя академия Каибова почиталась первою в свете потому, что ни в какой академии не было такого богатого набора плешивых голов, как у него, и все они бегло читали по толкам, а иногда очень четко писали к приятелям письма. Со всем тем многие уступали в красноречии попугаям, из коих многих Каиб, любя ученость, сделал членами академии только за то, что они умели выговаривать чистенько то, что выдумал другой. Что же до изобилия, то Каибов двор превосходит оным все восточные дворы, и последний ложкомой Каибов ел вкуснее, нежели у Гомера цари. Календарь Каибова двора был составлен из одних праздников, и будни были там реже, нежели именины Касьянов².

Сераль его был наполнен первыми красавицами в свете, из коих не было ни одной старше семнадцати лет. Сколь фабрики ни стараются ныне доходить до совершенства в составлении румян, но лучшие румяны показались бы дикими в сравнении с природным румянцем последней из его султанш. Девушки его не портили своих прелестей излишними жеманствами; они не падали в обморок от пауков и тараканов для того, чтобы разметаться приятным для глаз образом; когда находила на них задумчивость, столь обыкновенная семнадцатилетнему женскому возрасту, то не принимали они чистительного, чтобы иметь лучший цвет лица. Великолепные его конюшни были наполнены редкими лошадьми, которые были статнее наших щегольков и послушнее первых его визирей. Ледники его трещали под тяжестью вкуснейших вин. Сами боги, говорят, с удовольствием напивались в его погребах допьяна и предпочитали вины его нектару, которой опостылел им с тех пор, как стихотворцы начали разливать его своим героям так же небрежно, как бабы льют коровам помой.

Весь свет, взирая на Каиба, почитал его счастливым; типографшики наживались, издавая претолстые книги о его блаженстве. Когда стихотворцы тогдашнего времени хотели описать торжества богов и райские веселия, то не иначе к тому приступали, как доставши через какого-нибудь евнуха случай втереться между музыкантов, чтобы посмотреть придворного великолепия и серальских праздников; однакож и на то несмотря, описания их божеских пиров часто нахли гнилою соломою, на которой они сочинены. Весь свет кричал, что Каиб счастлив, и один только Каиб знал, что это неправда; но он никому этого не говорил, боясь чтобы не сочли его неблагодарным противу благоденствий судьбы, чего он

¹ Т. е. экспромты в стихах.

² Касьяны по церковному календарю считались именинниками 29 февраля, т. е. один раз в 4 года (в високосный год).

всегда остерегался. Он часто в своих стихотворцах читал описания своего счастья и смеялся пустому их воображению или иногда завидывал, для чего не был он так же слеп, как они, чтоб видеть себя только со счастливой стороны. Как бы то ни было, а Каиб не столько был счастлив, сколько о нем кричали: в сердце его оставалась какая-то пустота, которую не могли дополнить окружающие его предметы. Придворные господчики, женщины, обезьяны, попугаи—ничто его не увеселяло; на все это с высокого своего престола смотрел он пожевывая, иногда улыбался на скачки обезьян или на кривлянья придворных; но в сих улыбках видно было более сожаления, нежели удовольствия.

Весь двор примечал, что он был задумчив, но никто не мог выдумать, чем бы его позабавить; и обер-шут его двора, который был шутоватее всех италийских опер вместе, с отчаянием видел, что высочайший его владетель уже два месяца не давал ему щелчков по носу; все это заметили и заключили, что он уже не в такой большой силе у двора, как был за два месяца, когда, к досаде своих завистников, всякий день получал он пинков по двадцати в зад, по столько же щелчков по носу и показывал всем на боках своих знаки Каибовой к себе милости.

Но что была за причина Каибовой скуки? Вот чего никто не знал, а что всего чуднее, то это и самому ему было неизвестно. Он чувствовал, что ему чего-то недостает, но не мог познать, в чем этот недостаток; ему казалось, что он один во всей вселенной, или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одуженных, которые не могли его разуть, ни помочь его скуке.

Сперва подумал он, что сему причиною любовные желания, и бросился искать счастья в серали; но самые скромные девушки показались ему кокетками, которые, желая ему угодить, искали только своей пользы; правда, всякая из них хотела, чтоб на нее брошен был султанский платок, но часто более для того, чтобы тем досадить своей совместнице, нежели сделать его счастливым. Желание ему нравится было смешано во всех сердцах с желанием корысти или с честолюбием; он заметил по повторению, что все приветствия, все ласки выучены были наизусть, и в месяц сераль так ему наскучил, что он перестал в него заглядывать и заключил, что не с этой стороны должен искать счастья.

Каиб вздумал потом, что скорее всего разгонит грусть свою новыми победами; повелел—и вдруг армия, многочисленнее древней Ксерксовой и не уступающая в храбрости грекам, умершим при Термопилах¹, была готова и двинулась собирать лавры. Война загорелась,—открылось поле славы для героев и для стихотворцев; сочинители мелкого разбору зачали заготовлять пирамиды од, надеясь при первом случае сбить их за хорошую цену. Многие

¹ *Термопилы* (Фермопилы)—горный проход в Греции, прославленный благодаря героической защите его в 480 г. до н. э. 7000-ным войском греков во главе со спартанским царем Леонидом против 100 000-ного войска персов во главе с царем Ксерксом.

жены поседелых героев заранее любовались перед зеркалами, сколь пристанет к ним траур, и твердили науку упадать в обморок, чтобы пользоваться ею, когда принесут к ним весть о кончине их мужей; купцы возвысили цену на черные материи, сочинители эпитафий сделались непреступны.

Первые две победы, одержанные Каибовыми войсками, привели его в восхищение, третью новость о победе слушал он равнодушнее, наконец, зачал уже зевать, слушая такие повести, и решился дать свету отдых. Войски возвратились, обремененные славою и корыстями, а Каибова зевота не уменьшилась, и он не без зависти взирал, что полунагие стихотворцы его более ощущали удовольствия, описывая его изобилие, нежели он, его вкушая.

В одну ночь, удивляясь неодолимой своей скуке, ворочался Каиб на своих пышных пуховиках, и сон, как будто не смея войти в царскую спальню, заставлял храпеть в ближней комнате его служителей. Вдруг увидел он, что его любимец кот гонялся за мышью. Она всячески старалась от него увернуться. Так точно часто челобитчик желает увернуться от подарка своему судье; но напрасно заговаривает он с ним о дурной погоде и о хорошей, о старых временах и о нынешних; хотя бы заговорил он с ним о Емпедокловых туфлях¹, взяткобратель и от них искусно склонит речь на то, что ему надобны деньги. То же происходило и у мыши с котом: стараясь его обманывать, металась она в разные стороны, искала спасения по всем углам... и вдруг вскочила к султану на кровать. Какая бы красавица утерпела при сем прекрасном случае, чтобы не броситься с постели стремглав, не поднять содому, не скликать весь свет, ежели можно, и, наконец, чтобы потом не упасть раза два-три в обморок. Но Каиб был неустрашим: он не боялся мышей, пауков, тараканов и с радостию бедную мышку принял под свое покровительство; при том же начитался,—ибо он любил учености и „Тысячу одну ночь“ всю знал наизусть,—он начитался, что в таких случаях делаются великие чудеса, как прекрасная Шехеразада, сей неподражаемый историк его предков, свидетельствует; а Каиб верил сказкам более, нежели Алкорану, для того что они обманывали несравненно приятнее.

Дело и подлинно кончилось чудом: менее нежели в минуту гонимая мышь превратилась в прекрасную женщину. „Какой вздор!“—скажет любезный мой читатель; но прошу не удивиться: в Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю по крайней мере два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты.

„Каиб,—сказала ему превращенная женщина,—ты спас мне жизнь. Должно, чтоб я усладила твою: благоденствие рождает благоденность. Проси от меня, чего ты хочешь, и я в минуту исполню

¹ *Эмпедокл* (прибл. 490—430 до н. э.)—древнегреческий философ. По преданию, бросился в вулкан Этну, который будто бы извергнул назад эмпедокловы туфли.

твое желание, хотя бы оно целило на богатства всего света“.— „Великодушная фея!—вскричал удивленный Каиб,—не имею я нужды в сокровищах; они столь велики, что сколь визири меня не обворовывают, но ущерб в них так же мало приметен, как ущерб в Езоповой реке, которую хотели выпить жадные собаки; и я надеюсь, что мои собаки так же перелопаются прежде, нежели вылакают море моих сокровищ; из сего можешь ты заключить, нужно ли мне желать их более. Сколь ни бесценною великий наш муфтий почитает свою бороду, но если бы захотел я соблазнить честного этого старца, то бы всю ее мог скупить по волоску, нимало не расстроив своих богатств. У меня нет также недостатка в красавицах: природа меня не обидела, и мой взгляд еще не находил ни одной спорщицы в любви, столько-то одарен я способностью нравиться; впрочем, состояние мое столь блестяще, что спустя еще семьдесят лет не будет при моем дворе ни одной Венеры, которая бы не захотела меня иметь своих Адонисом, и хотя природа станет им противоречить, но воображение, конечно, ее победит. Может быть, пожелал бы я славы, но стихотворцы мои, хотя и спят сами на открытом воздухе, а мне настроили столько храмов славы, что если бы можно было их составить вместе на земле, то бы вышел из них город пространнее Пекина и великолепнее древнего Рима. Итак, ты видишь, что мне ни в чем нет недостатка; со всем тем я зеваю и поэтому-то одному догадываюсь, что мне чего-нибудь недостает; но что это такое, того ученейшие из моих подданных отгадать не могут“.—

„Каиб,—сказала ему волшебница,—желание твое исполнится: я знаю, что нужно к твоему блаженству. Исполни, что написано на этом перстне (при сем подала она ему перстень). Завтра поутру начни свой труд; но берегись его оставить; как же скоро успех увенчает его, то не будет человека на земле, который бы мог с тобою сравняться блаженством; прости и помни, что я всегда готова к тебе на помощь; как же скоро буду я тебе нужна для какого-нибудь совета, то вот тебе целый том од одного из бесприютных строителей храмов славы; едва прочтешь ты одну строфу, как на тебя найдет беспамятство; в сие-то время буду я тебе являться и давать нужные наставления. Прости, государь“.—повторила волшебница и вмиг исчезла. Каиб, отворотясь к стене, захрапел, оставя до утра исследование дела; он даже—подивись, прекрасный и любопытный пол!—он даже не посмотрел, что написано на перстне.

На другой день нашел он на нем вырезанные сии слова: „Ступай не медля и ищи человека, который бы назывался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назывался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит; тот, в котором увидишь ты сии противоречия, один может излечить тебя от твоей зевоты“.—„Вот довольно огромная для перстня надпись“,—скажет критик... „может ли она уместиться на перстне; это невероятность!“ ...Очень сожалею, когда свет ныне так испортился, что не верит сказкам; впрочем, вообрази, милостивый

государь мой, такой перстень, на котором бы вся эта надпись поместилась, и критика исчезнет. „Но где же взять такую руку, которой бы впору был этот перстень“—спросят опять меня. О! кто знает Голиафа¹ и Атланта², тот поверит, что на их перстнях можно было уписать более, нежели на надгробных досках людей нынешних веков.

„Милостивейший государь!—сказал Каибу шут, увидя сию надпись,—перстень этот есть явное на меня гонение моих неприятелей“.—„Почему ты это думаешь?“—спрашивал его Каиб. „Повелитель правочерных,—продолжал шут,—тебе советуют лечиться от скуки и не прописывают меня лекарством; не явное ли это желание унижить мой сан и силу? Как будто бы моя священная должность смешить ваше величество ничего не значила“.—„Не опасайся,—отвечал калиф,—изо всех моих визирей никто так хорошо, как ты, сорокою не скачет; итак, мои милости к тебе непоколебимы“.—„Еще слово, государь,—вскричал шут, целуя его полу,—время, пожирающее все, может и меня лишит моих способностей служить вашему величеству, и я потеряю свою легкость; опасаясь, чтоб враги мои тогда не восторжествовали, предпринял я заранее оставить двор“.—„Пустое, пустое!—кричал Каиб,—разве не можешь ты при моем дворе сыскать дела; выучись к тому времени ползать черепахою“. Шут еще раз поцеловал полу его одежды, а Каиб, не сказав истинного происшествия своего перстня, зачал в самом деле заниматься своим предприятием.

II.

На другой день Каиб созвал свой диван³, чтобы подумать обстоятельнее о своем важном предприятии. Надобно заметить, что Каиб ничего не начинал без согласия своего дивана; но как он был миролюбив, то для избежания споров начинал так свои речи: „Господа! Я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить; в сию же минуту получит он пятьсот ударов воловьею жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос“. Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное согласие между собою и советом и придавал своим мнениям такую вероятность, что разумнейшие из дивана удивлялись его премудрости. И для того-то, хотя иногда терпел он визирей с крепкою головою, но не мог терпеть тех, у коих крепки были подошвы. „Такие люди,—говаривал он,—всегда думают, что они умнее других, и они для меня не годятся. Мне надобны визири, которых бы разум, без согласия их пяток, ничего не начинал“. Тенерь, любезный читатель, можем мы продолжать нашу повесть.

¹ *Голиаф*—по библейскому рассказу, филистимский богатырь-великан, убитый на поединке юным царем Давидом.

² *Атлант*, или *Атлас* (мифолог.)—титан; за участие в восстании против Зевса был осужден поддерживать небесный свод.

³ *Диван*—совет при государе в восточных странах.

Каиб представил, что ему нужно выехать из города тайно месяцев на восемь или более; что от этого зависит его спокойствие, а следовательно, благополучие целого государства; что в это время не может он управлять никакими делами; что более всего нужно скрыть его путешествие от народа и, следовательно, не оставлять никаких дел; что, наконец, во всем этом полагается он на их рассуждение.

Диван разделился на две стороны: одни говорили из учтивости, что калиф нужен государству и что оно не может обойтись без его высокой особы так долгое время; другие говорили, из учтивости же, что он может исполнить свое предприятие и что государство ничего не потеряет, если он отлучится на несколько месяцев. Каиб дал им волю спорить и между тем занимался будущим своим путешествием; наконец, наскуча шумом, сказал: „Господа! Я так хочу“. Визирь первого мнения, вспомя, что у них есть пятки, согласился с визирями последнего мнения; путешествие было определено.

„Друзья мои,—сказал калиф,—я признателен к вашей сговорчивости, и хотя ни у какого калифа люди за слово *так* не получают столь большого жалованья, как у меня; хотя никакой султан не содержит такого числа полезных государству людей, при важной должности выговаривать чисто *так*, но вы столь усердно исполняете свое почтенное звание, что я охотнее издерживаю деньги на вас, нежели на лучших арапских¹ лошадей и китайских кукол. Из сего вы можете заключить, как приятно мне всегда видеть у двора своего разумных людей, коих премудрые советы полезны государству столько же, сколько скотные дворы полезны хлебопашеству“. Чувствительные визирь были тронуты до слез такою похвалою, а Каиб, улыбаясь, продолжал: „Итак, когда вы согласны, то ничто уже не остановит моего путешествия; но мне еще нужен благоразумный ваш совет; я уже сказал, что отъезд мой должно скрыть от народа и что нужно не оставлять государственных дел; а к сему-то я еще никаких способов не выдумал и, если б не надеялся на ваше остроумие, то бы отчаялся согласить эти две вещи. Итак, любезные визирь, присоветуйте мне, кто из вас как думает; тому же, кто лучшее подаст мнение в сих важных обстоятельствах, обещаю я подарить полное собрание арапских сказок в богатом сафьяновом переплете и перевод Конфуция², писанный в лист на такой твердой бумаге, из которой можно сделать прекрасные летучие змеи“. Визирь все видали перевод Конфуция, были охотники спускать змеи и не менее любили арапские сказки. Богатое обещание щедрого Каиба воспламенило их воображение, и они все пошли на голоса³.

Первый был Дурсан, человек больших достоинств: главное

¹ Арапских.

² *Конфуций* (примерно 551—479 до н. э.)—древнекитайский философ и моралист, основатель конфуцианства—религиозно-политической системы, до сих пор имеющей в Китае многочисленных последователей.

³ Стали высказываться.

из них было то, что борода его доставала до колен и важностию походила на бунчук. Калиф сам хотя не имел большой бороды, но он знал, что такие осанистые бороды придают важность дивану, и потому-то возвышал Дурсана по мере как вырастала его борода, а когда, наконец, достала она до пояса, тогда допустил он его в свой диван. Дурсан с своей стороны не был беспечен: видя, что судьба назначила его служить отечеству бороною, ходил он за нею более, нежели садовник за огурцами, и до последнего волоска держал на счету. Впрочем, делал он много важных услуг отечеству: когда бывал при дворе праздник, тогда наряжался он пышнее всех женщин; и когда у калифа случалась бессонница, тогда сказывал он ему сказки. Сей-то знаменитый муж начал таким образом: „Великий обладатель океана, самовластный повелитель известных и неизвестных земель и законный наследник всех монархий, какие только будут открыты! Для такой мелкой словесной твари, как я, велико уже и то снисхождение, что ты попускаешь ей думать; но с чем могу сравнить мое блаженство, когда ты, великий монарх, позволяешь мне объяснить пред тобою мысли мои и, что еще более, требуешь моего совета! Но солнце может ли от земли заимствовать свет? Нет, великий обладатель правозверных! Подобно я не рожден ни думать, ни говорить пред тобою, ниже знать, что ты думаешь! Голова твоя так же непостижима, как священный наш Коран, а голова моя пред тобою то же, что подушка, на которой я сижу; оба мы счастливы твоею щедростию, и лизать прах ног твоих есть святейшая и важнейшая моя должность, коею наградил ты слабые мои способности. Велико уже и то мое счастье, когда употребляешь ты меня вместо морской трубы, чтобы объявить мною рабам свои повеления“.

„Это все правда, любезный Дурсан,—отвечал калиф,—я радуюсь, видя, что ты помнишь свои права... Но иногда философ видит перед собою пылинку, которую пренебрегает; потом, всматриваясь, познает, что пылинка эта двигается; наконец, разбирая дальше, узнает в ней тварь чувствующую и находит, что сколь ни мало сие насекомое, но оно может приносить ему пользу. Мы, калифы, обязаны вам, людям, такую же справедливостью. Часто, смотря на вас, пресмыкающихся, сомневаемся мы, можете ли вы думать; но, рассматривая далее, находим, что и вы иногда удобны рассуждать; и хотя неоспоримо, что мозг ваш не может быть такой же доброты, как мозг потомков великого Магомета, избираемых управлять вселенною, со всем тем и ваши рассуждения можно иногда употреблять с пользою, и они бывают довольно изрядны; а особливо в сравнении с рассуждениями черни; так что, под нашим смотрением, действительно можно позволять вам мыслить. Итак, любезные визири, скажите мне ваши мнения. Не опасайтесь, если и глупо вздумаете: я знаю, что вы люди; природа не создала вас калифами“.

После такой скромной речи Каиб обратился к Дурсану, чтобы его дослушать.

„Когда обладатель земли повелевает мне объявить мои мнения,—говорил Дурсан,—то, волю его ставя своим законом, скажу

устами, что чувствую сердцем: итак, государь, нет больших препятств ни скрыть путешествия твоего от народа, ни продолжать государственных дел. Для первого нужно немедленно выдать повеление, чтобы подданные твои падали ниц на землю, когда мимо их будешь проезжать, и, под опасением смертной казни, страшились бы на тебя взирать. Если повелитель правоверных дозволит, то я беру на себя сочинить сие повеление, в котором докажу ясно, как непростительно дерзновение знать в лицо обладателя подлунного света и сколь велико оскорбление священной его особы, если черты ее впечатлеваются на грязном мозгу простолюдима; сколь, напротив того, спасительно валяться на земле, уткнувшись носом в грязь, когда проезжает мимо великий повелитель морей и суши. Потом, государь, дабы приучить к сему твоих подданных, можешь ты сделать несколько выездов по городу, и стоит только повесить первую дюжицу любопытных, чтобы достальному числу верных рабов твоих отбить охоту подымать взоры до священного чела твоего. После сего можешь ты спокойно ехать; мы же, одевши пышно куклу, будем привязывать ее к твоей верховой лошади и возить всякий день по городу, возвещая народу, что это ты сам... Все упадут ниц; и тот будет великий чародей, кто затылком узнает разницу между куклою и твоею священной особою. Сие можем мы продолжать до твоего возвращения; если же к кукле сей приделать такие величественные усы, какими ты удивляешь вселенную и превосходишь всех монархов, то тайна будет еще непостижимее. Что ж до правления дел, то можешь ты до возвращения своего поручить их тому, кому более всего доверяешь; и не излишнее бы было, если б выбор твой в таком важном случае пал на человека достойного, с почтенною бородою, коея длина была бы мерою его глубокомыслия и опытности. Ибо, великий государь, непокорнейшие сердца смотрят на длинную бороду, как на хороший атестат, данный природою. Такой человек пусть именем твоим производит дела и дает повеления, коих вся добрая слава упадет на тебя, и никто из народа не приметит твоего отсутствия". После сего Дурсан замолчал и начал разглаживать длинную свою бороду.

„У тебя довольно пылкое воображение,—сказал калиф,—и если б я был более горд, то бы употребил твои советы; но, любезный Дурсан, мне не правится, чтобы мои народы валялись по грязи во время моих выездов. Мне приятнее, когда подданные мои продираются друг сквозь друга меня смотреть и после спорят, из какого вещества я создан; мне очень мило слышать, как одни говорят, что я весь вылит из серебра, другие—что я скован из золота; что я за тысячу миль вижу блоху так же свободно, как будто бы сидела она у меня на носу, и что я один в день столько же могу съесть, сколько целая армия в неделю, не опасаясь ни малого отягощения в желудке. Такие прекрасные рассуждения и заключения меня забавляют, и мне жаль отнять у народа свободу меня смотреть, когда он с таким успехом в меня глядывается и смешит меня иногда до слез своими догадками. Нет, нет, вы-

думайте другое средство, а это столь сурово, что я по любви своей к моим музульманам никогда его не употреблю“. Тогда Ослашид, первый по Дурсане, разгладил по обе стороны свои усы, растворил рот и начал... Но, любезный читатель! позволь мне познакомиться тебя и с этим визирем. Речь сильнее действует, если оратор нам известен.

Ослашид еще за триста лет до своего рождения предназначен был играть не последнее лицо в диване, ибо он был из потомков Магомета, и белая чалма, которую надели на него при рождении, давала ему право на большие степени и почести. Правда, что голова его не знает, как она попала в белую чалму, дающую право на такие выгоды; а душа его не знает, как она попала в голову, имеющую право на белую чалму; но Ослашид был верный музульманин: он, не исследывая своих прав, старался только ими пользоваться и сохранял теплую веру, что судьба имела свои расчеты надеть на него белую чалму и произвести на свет обладателем великих сокровищ. Не вмешиваясь в виды ее, он ставил правилом проживать сии сокровища как истинный музульманин. Ослашид имел у себя прекрасный сераль, множество евнухов, еще более невольников-христиан, которых прилежно секал за то, что они не принимают его закона и не могут понять того, чего он сам никогда не понимал. Он дивился, как люди могут не верить, что в обыкновенный рукав можно запрятать луну, которая в диаметре имеет не более 473 немецких миль, и говорил, что для верного музульманина очень легко вообразить, как в одну почь лезя проехать более, нежели сколько пушечное ядро может со всею своею скоростью пролететь в 500 000 лет, и иметь еще довольно досугу понадевать на все исторические замечания. Словом, Ослашид верил всему с удивительною способностью, и это было первое его достоинство у двора, которое заставляло в нем терпеть множество других недостатков. Сей-то достойный визирь начал так свою речь:

„Истинный потомок великого пророка, блистательный калиф, снисходящий по прямой линии от просветителя вселенной Магомета; ибо я несомненно верю, что, начиная от его жен, жены всех предков твоих были столь же верны, каковыми обещаются нам райские гурии, и что твое родословное дерево не покривлено ни одною женою твоих предшественников; и потому-то право твое повелевать нами столь же священно, как право самого Магомета, для рабства коему создан весь мир. Повелитель правоверных, имеющий власть связывать и разрешать руки и мысли, власть неоспоримую, которая с помощью благословения пророка поддерживается 500 000 вооруженных музульман, почитающих счастьем перерезать горло тому, кто вздумает отымать у тебя право их перевешать; обладатель самовластный великого быка, на рогах которого взоткнуты твои пространные владения,—великий калиф! удостою выслушать мнение последнего из твоих рабов.

Сколь ни премудр совет Дурсана, но, мне кажется, нет пужды заводить таких больших обрядов с народом, а особливо, когда

человеколюбие твое признает их суровыми. Всего лучше, великий калиф, выехать тебе в путь сколь можно великолепнее; но при самом выезде за ворота объявить своим подданным, что ты, любя свою столицу, никуда не намерен от нее отлучаться. И тогда, хотя весь город будет видеть, что ты удаляешься, но рабы твои, конечно, поверят тебе более, нежели своим глазам, и будут твердо уверены, что ты здесь, тогда, как ты будешь очастливливать своим присутствием другую половину земного шара. При том же, отъезжая, можешь им сказать, что ты всякую неделю один раз будешь проезжаться по городу, и назначить день, в который после мы можем водить по улицам под узды верховую твою лошадь. Хотя тебя на ней не будет, но рабы твои согласятся скорее поверить, что они все вдруг ослепли, нежели подумать, что ты не сам, высочайшею своею особою, сидишь на лошади, которую почтут они счастливейшею из всех чувствующих тварей, для того, что она носит на себе величайшего в свете калифа. Что же до дел, то так же можешь ты сказать, что все дела, которые решатся в такое-то время, будут непосредственно рассматриваемы и решены тобою. Словом, можешь ты заключить, что всякий тот преступник, кто в сие время осмелится, поверя пяти своим чувствам, усумниться в твоих словах. Такая речь, величайший калиф, произведет чудеса, и выезд твой для всего государства останется тайною...“ „Способ изрядно выдуманный,—отвечал калиф,—но он хорош для моих только музульман, а над иностранцами, не думаю, чтоб произвел подобное действие, и что еще досаднее, могут разгласить, что я калиф над слепыми народами. А это мало принесет мне чести. Нет, друзья мои, я хочу, чтобы подданные мои верили иногда свои глазам, или мне должно современем терпеть величайший труд сказывать всякому, что он видит и что чувствует. Выдумайте какое-нибудь другое средство; я столько люблю моих подданных, что мне жаль сделать вдруг бесполезными несколько миллионов глаз. Итак, любезный Дурсан и почтенный Ослашид, вы не получите от меня арапских сказок в сафьянном переплете и не будете иметь удовольствия спускать змеев из конфуциева перевода. Посмотрим, любезный Грабилей, будет ли счастливее твоя выдумка“.

Грабилей не имел ни долгой бороды, ни счастья родиться в белой чалме; он был сын чеботаря, который в свое время обувал со вкусом целый город. Грабилей, прискуча видеть с младенчества трудную работу отца, задумал блистать в свете иною славою и искал способов, как бы современем разувать тот народ, который отец его обувал с таким успехом. Для сего-то вступил он в приказную службу. Грабилей был умен; он тотчас понял систему своего звания и начал драть с одних, дабы передавать другим. С таким прекрасным правилом не долго засиделся в нижних званиях и тотчас сделан кадием. На сем-то месте почел он нужным развернуть все свои способности и пользоваться всею уловчивостию, коею природа его одарила. Он тотчас понял трудную науку обнимать ласково того, кого хотел удавить; плакать о тех

несчастиях, коим сам был причиною; умел кстати злословить тех, коих никогда не видал; приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки. Знал, когда нужно кланяться в землю и когда в пояс; умел кстати зажмуриваться на своей судейской подушке; но, что всего важнее, знал кстати обирать и кстати одаривать. С такими-то блестящими дарованиями пролагал он себе путь к дивану и не долго медлил на сем пути. Калиф уважал способности... Грабилей стал одним из числа знаменитейших людей, снабженных способами утеснять бедных и освященных важным преимуществом получать удавку из рук самого султана¹. Грабилей так начал речь свою:

„Законный наследник всех имений, неоспоримый владетель сердец и помышлений, повелитель стихий и причина всех бывших и впредь будущих благ человеческого рода! Прости, что я осмеливаюсь шевелить языком моим в присутствии священной твоей особы. Я бы никогда не дерзал при тебе и мыслить, если б не было сие во исполнение верховной твоей воли, которая управляет всеми моими чувствами и делами, подобно как солнечное движение управляет движением тени.

Мне кажется, самый лучший способ для удержания в тайне путешествия есть тот, чтоб сделать запрещение говорить, каким бы то образом ни было, о твоей высокой особе и даже выговаривать священное твое имя, под опасением лишения живота и имений. Издав такое повеление, можешь ты спокойно отправиться в свой путь; и хотя некоторое число рабов твоих будет догадываться, что тебя здесь нет, но, в силу запрещения говорить о тебе, они не возмугт никому сообщить своих догадок, ниже протирать вопросами свое любопытство далее. Известно, что молчание есть единственный способ хранения тайностей; так не самое ли лучшее средство—наложить его на языки болтливых рассказчиков и выспрашивателей, которых двумя или тремя примерными наказаниями можно уверить, что язык им дан только для того, чтобы с помощью его было легче глотать пищу“.

Калиф не был доволен и сим мнением; он сам, любя говорить, знал, как тяжело честному человеку хотя на два часа лишиться этого прекрасного упражнения; при том же, хотя и мог он надеяться унять мужчин, но где, думал он, взять столько силы, чтобы унять говорить женщин? Калиф был премудр: он знал, что выдать закон на удержание говорливости женщин есть то же, что выдать закон для удержания прилива и отлива морского. Он требовал так же совета у достальных визирей, наполняющих диван, но их не слушал, не ожидая от них ничего доброго. Калиф был расчетист: обыкновенно одного мудреца сажал между десяти дураков; умных людей сравнивал он со свечами, которых умеренное число производит приятный свет, а слишком большое может причинить пожар; и часто говаривал, что ему, для сохранения

¹ Приближенные турецких султанов пользовались преимуществом, в случае их осуждения, погибать не от руки палача, а самим вешаться на шелковом шнурке, присылаемом им султаном.

добрého порядка, дураки по крайней мере столько же нужны, как и умные люди. Вот причина, что и диван калифов был ими изобилен.

Все они пошли на голоса. Приметить должно, что они охотнее всего расточали свои советы, хотя часто могли видеть, что оные ни на что не надобны; но чем глупее голова, тем щедрее на советы. Наконец, калиф вышел из дивана, распустя своих визирей, не быв доволен ни одним голосом, удалился во внутренние свои чертоги и надеялся в уединении найти то, чего не мог сыскать в многолюдстве.

Первый предмет, встретившийся его глазам у него в комнате, была книга, данная ему волшебницею. Хотя Каиб никогда не советовал с книгами, потому что они по большей части писаны не калифами, но, вспомня, что этой книге приписано важное свойство—усыплять, взял он ее в руки в надежде увидеть во сне добрую свою покровительницу. Калиф развернул—видит оду визирю, недавно повешенному им за взятки... Добродетели его были воспеты с таким восторгом, что калиф зачал уже опасаться, не святого ли он повесил. Это привлекло его к важному рассуждению, сколь должно великому калифу быть осторожну в награждениях и в наказаниях... „Фей,—ворчал он тихонько,—фей, конечно, ошибкою дала мне эту книгу; она обещала мне с нею приятный сон, а книга эта, напротив того, подает мне причину к важным рассуждениям, приличным моему сану и полезным моему народу...“ Но калиф не примечал, что он уже дремал, выговаривая последние слова... И действительно, в одну минуту погрузился он в глубокий сон и позабыл награждения, наказания, повешенного визиря, стихотворца и свою книгу, которую из рук выпустил к себе на колени.

Едва заснул калиф, едва увесистое собрание тяжелых стихов, обременявших за минуту руки его, сползло с коленей на богатый ковер, как покровительствующая фей явилась ему во сне; она была прелестна, как... как то, что тебе всего милее, любезный читатель... Скупой, ты можешь ее сравнить с твоим рублем; если ты автор, то вообрази, что она была так прекрасна, как твои стихи; или вообрази, что она прекрасна, как твоя любовница, если ты читаешь это накануне своей свадьбы; если же на другой день, то признаюсь, что сравнение мое никуда не годится.

„Каиб,—сказала она калифу,—я выдумала способ сокрыть путешествие твое от народа и от самих визирей твоих. Проснувшись, ступай из дворца твоего, не говоря никому ни слова. Я приготовила куклу и дала ей такие способности, что она, до возвращения твоего, заменит с успехом твое место; так некогда Аполлон на Троянской брани подменил Энея¹ подделанною под его вид статуею, и между тем как Эней отдыхал дома, то статуя храбро сража-

¹ Эней—второй, после Гектора, троянский герой. Во главе троянцев, оставшихся в живых после взятия Трои, переселился в Италию. От Энея вела свой род знаменитая римская фамилия Юлиев. Эней воспет Вергилием в поэме „Энеида“.

лась с греками; хотя Гомер ничего не говорит, но я знаю точно, что тогда многие славные ее дела приписаны самому Энею, чему он, по сговорчивости своей, никогда не противоречил. То же точно намерена я с тобою сделать; иди и старайся только исполнить волю оракула; достальное я беру на себя. Поверь: ни одна душа не узнает, как изрядно подмену я тебя статуею из слоновой кости, которая в твое отсутствие наделает много славных дел; все они умножат в народе к тебе благодарность. Прости, калиф, ступай немедленно, сложи с себя на время всю пышность, приличную твоему сану, и ты увидишь то, чего бы никогда не видал ни в какую зрительную трубку с высокого твоего престола; а наконец найдешь награждение, обещанное тебе оракулом". Фея исчезла.

Как бедный стихотворец, увидя во сне, что сочинения его вдруг разошлись четырьмя тиснениями и что он осыпан золотом, просыпается, и хотя не видит вокруг себя ничего, кроме огромных своих рукописей и разломанных стульев и стола, но, полагаясь на сновидение, наполняется надеждою, засвечает свечу и, не сходя с постели, гоняется за Пегасом по белой бумаге, которую покрывает следами своей скорости; так Каиб, просыпаясь, утешается, что во сне он выдумал более, нежели на яву, и, надеясь на обещание волшебницы, скидает пышные свои одежды, одевается так скромно, как сторож академической библиотеки, берет несколько мелких денег... сколь ни верил он волшебствам, но знал очень, что есть много таких случаев, где и самое сильное чародейство наличных денег заменить не может,—потом оставляет великолепный свой дворец и начинает поиск, предписанный ему оракулом.

Это было ночью; погода была довольно худа; дождь лил столь сильно, что, казалось, грозил смыть до основания все дома; молнии, как будто на смех, блистая изредка, показывала только великому калифу, что он был по колено в грязи и отовсюду окружен лужами, как Англия океаном; гром оглушал его своими порывистыми ударами. Тогда-то калиф в первый раз усумнился, столь ли самовластный он повелитель стихий, как то говаривали ему визири. Желая укрыться от негодной погоды, искал он при свете молнии какой-нибудь хижины; скоро, проходя далее, увидел в стороне огонь и пошел прямо на него, надеясь у хозяина выпросить позволения осушить платье.

Калиф подходит к хижине, отворяет дверь, видит большую комнату. В одном углу стоит кровать, в другом стул, который, опираясь о стену шитом, стоял довольно гордо на остальных двух ножках; на полу набросано несколько старых книг и порядочный запас белой бумаги. Не мудрено калифу догадаться, что тут живет автор. Он всегда любопытствовал побеседовать с людьми этого рода; хотя прежде сияние его сана не позволяло унижать ему себя до такой степени, но теперь не мог он не радоваться, нашед к тому удобный случай... Я было позабыл, описывая комнату, упомянуть о самом важном приборе: на кровати лежала сухощавая особа; с великою важностью рассматривала она старые рукописи и, казалось, с обгрызленным половиною пером в руке, определяла

судьбу целого света. „Милостивый государь,—начал Каиб,—я лишь пришел в сей город и никого в нем не знаю; позволите ли вы страннику пользоваться гостеприимством?“—„Очень рад дорогому гостю; и если, не обижая вас, можно сделать заключение по скромному вашему платью, то позволите спросить, не ученый ли вы?“—„Да, это правда, что я читаю книги“.—„Читаете? ... По вашему разодранному кафтану я подумал, что вы их пишете. Но тем лучше; я написал теперь оду Ослашиду и хотел бы знать ваше мнение“.—„А! вы пишете оды?“—„Да, это самое безопасное ремесло, но не всегда прибыльно. Недавно написал я оду одному вельможе, он восхищался ею и обещал мне щедро заплатить: но, как знатный человек, позабыв данное слово, умер на другой день. После этого я написал оду другому визирю; этот был не менее доволен, обещал меня наградить и верно бы не обманул, но его на третий день повесили за взятки“.—„Как! вы писали оду недавно повешенному визирю? Я ее читал“.—„Признайтесь, что она не дурна. Теперь я пишу оду Ослашиду, неприятелю повешенного визиря. Можно сказать, что она мне труда стоит: в этом добром человеке нет ни ума, ни добродетели; такие люди ужасно трудные содержания для лирической поэзии. Я же, не хвастаясь, скажу, что я более пишу для славы, нежели для денег; доказательство—мне хуже платят за оды, нежели за битые стекла, которые иногда покупают у меня разносчики. Со всем тем я не оставлю лирического стихотворства“.—„Мне удивительна способность ваша хвалить тех, в коих, по вашему же признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам“.—„О! это ничего; поверьте, что это безделица; мы даем нашему воображению волю в похвалах, с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить можно было; ода—как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, коему он более подвержен, но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал. Что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно; и нет визиря, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы“.—„Но если свет знает, что ваше описание ложно? Что герои ваши—пустые пузыри, надутые вами?“—„Что же до того нужды? Аристотель негде очень премудро говорит, что действия героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны, и мы подражаем сему благоразумному правилу в наших одах, иначе бы здесь оды превратились в пасквили; итак, вы видите, сколь нужно читать правила древних“.—„Я всегда думал, что стихотворцы приступают к одам, восплаенные добродетелями и совершенствами своих героев“.—„Как вы ошибались! Они воспаляются одним воображением и выбирают первого, кто попадется, как художник выбирает кусок мрамору: чем грубее и несовершеннее отломок, тем более славы и искусства дать ему нежный вид“.—„Ах!—

сказал, вздохнувши, калиф,—как же мало людей должны гордиться такими похвалами, которые нередко их ослепляют“.—„Вольно им дурачиться,—отвечал стихотворец,—если бы они приписывали похвалы не своим достоинствам, но случаю и нашей необходимости кого-нибудь ими украшать, то бы не столь были горды. Не хотите ли я вам скажу на этот случай короткую басню, которую скоро намерен переложить в стихи.

„Славный живописец, пленясь новою мыслью, вздумал написать Венеру, натянул кусок полотна и с великим успехом исполнил свое намерение; картина была драгоценна и современем стала украшением чертогов славнейшего императора. Множество зрителей стекалось ее смотреть. Полотно, на коем была написана Венера, вздумало, что оно причиною всех восторгов, примечаемых в зрителях. Паук, раскидывая на нем сети для мух, вывел его из заблуждения. „Ты напрасно гордишься, полотно,—сказал он,—если б не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то бы ты давно истлело, быв употреблено на отирку посуды“¹.

Стихотворцы то же делают с людьми, и последние такую же имеют причину гордиться, как рисованная холстина, которая думала, что живописец старался прославить ее, когда заботился он только о своем имени. Когда я читаю Гомера, то признаюсь вместо того, что бы удивляться его героям, я удивляюсь ему, а на них смотрю, как на людей, которых великий этот муж сделал вьючными ослами славы; итак, не ясно ли видно... но вы дремлете, вам нужен покой; не хотите ли чего поужинать?“—„Охотно бы: признаюсь, что я очень проголодался“.—„Жаль же очень, что вы не пришли ко мне ранее только пятью минутами, мы бы прекрасно отужинали. По крайней мере, на чем вы охотнее спите, на тюфяках или на пуховике?“—„На пуховиках“,—сказал, вздохнувши, калиф. „Ложитесь же на эти кны печатных бумаг,—отвечал стихотворец, указывая в угол,—ложитесь на них; если они и не так мягки, как пуховики, по крайней мере толще всякого пуховика на свете. Мои друзья ночуют у меня на них спокойнее, нежели калиф наш на лучших своих пуховиках“. Каиб лег, положил в голову стопу бумаги и в минуту захрапел так крепко, что соблазнил стихотворца себе последовать.

На другой день рано Каиб собрался в путь. „Вы, конечно, хотите странствовать?“—спрашивал его стихотворец. „Это правда, и хотя нет двух дней, как я начал свое путешествие, по мне столь это понравилось, что, может быть, несколько лет употреблю я на то, чтобы видеть вещи, которые, сидя дома, видел я через десятые глаза“.—„Вы ничего нового не увидите; где есть люди, там всегда найдете добродетели и пороки; где есть деньги, там найдете роскошь и скупость, богатство и нищету; в городах увидите равнодушие к несчастью ближнего, в деревнях сострадание и

¹ Этот сюжет, в несколько измененном виде, Крылов впоследствии использует в басне „Мешок“.

гостеприимство; ибо сельский житель, подражая природе, учится у ней быть податливым; а городской житель, гоняясь за счастьем, учится у него быть слепым и несправедливым“. После сего они расстались, и Каиб продолжал свой путь.

Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостью посмотреть сельских жителей. Давно уже, читая идиллии и эклоги, желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях, давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: „если бы я не был калифом, то бы хотел быть пастушком“.

Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел рассеянное по полю стадо. „Великий Магомет!—вскричал он,—я нашел то, чего давно искал“,—и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастья передние знатных; и действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усомнился: человек ли это? но по босым ногам и по бороде скоро в том уверился. Вид его был столько же глуп, сколь прибор его беден.

„Скажи, мой друг,—спрашивал его калиф,—где здесь счастливый пастух этого стада?“—„Это я“,—отвечало творение и в то же время размачивал в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать.—„Ты пастух?“—вскричал с удивлением Каиб.—„О! ты должен прекрасно играть на свирели“,—„Может быть; но голодный не охотник я до песен“,—„По крайней мере, у тебя есть пастушка: любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?“—„Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников“,—„Но поэтому жизнь ваша очень не завидна?“—„О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас“,—„Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям,—сказал калиф.—Фей! Слова твои сбываются: я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною. Но такую гадкую холстину,—продолжал он, смотря на пастуха,—такую негодную холстину разрисовать так пышно, это, право, безбожно. О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда, по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных мусульман“. И калиф пошел далее.

Некогда под вечер шел он по большей дороге, и хотя уже начинало смеркаться, но никакого города не видно было вдаль. Это его смущало. „Волшебница шутит надо мною,—говорил он сам себе,—она, кажется, хочет, чтоб я подобно календеру¹ состарился

¹ Календер—странствующий нищенствующий монах у мусульман.

на больших дорогах. Вот уже более трех месяцев странствую я, но и тени нет счастья, обещанного мне феею; а что еще досаднее, то сегодня едва ль не в поле должен я почевать; я верю, конечно, что пророк любит своего потомка, но сказать правду, медведю из лесу до меня ближе, нежели Магомету с седьмого неба". Такие мысли возмущали Каиба; владетель морей и суши не на шутку боался быть заеден голодным волком.

В самое то время, когда занимался он такими заманчивыми размышлениями, встретился ему крестьянин. „Друг мой, далеко ли до города?“—спросил у него калиф. „Часов восемь; к утру можешь ты там быть“.—„Но нет ли где переночевать, не попадется ли мне на пути деревня?“—„Ни двора; а если хочешь, то, прошед немного, можешь свернуть по тропинке вправо—и лесом через старое кладбище пройти до деревеньки, где можешь найти ночлег“.

Прошед немного, и действительно Каиб увидел вправо тропинку, проложенную в лес; он пошел по ней и в четверть часа выбрался на маленькую площадку, украшенную развалившимися гробницами. Каиб некогда было любопытствовать: страх и приближающаяся ночь понуждали его итти далее, как вдруг, прошед площадку, увидел он, что тропинка разделилась надвое. „Боже мой!—вскричал Каиб,—по которой должен я итти? Ну, если я выберу самую трудную и долгую, тогда всего вернее, что мне должно будет спать на земле без всякого защищения от зверей; но если я ворочусь—а до города еще восемь часов!.. Это ужасно! Нет,—продолжал он, окидывая глазами кладбище,—нет, я лучше соглашусь как-нибудь провести ночь здесь“,—и тогда ж, увидя высокий надгробный камень, решил он выбрать его своим ночлегом. Каиб подошел ближе к камню и увидел на нем высеченные сии слова: „Кто бы ты ни был, не приближайся, взирай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой и познай, что я... (имя так изгладилось временем, что Каиб никак не мог разобрать)... победитель вселенной, коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли: оружием моим покорил я множество народов, одержал 729 побед и не имел сражения, на коем бы побито было менее 15 000 неприятелей. Свет сей оставляю в законное наследство сыну моему и его потомкам. Умираю доволен, что основал племени моему твердое и непоколебимое наследие, сокровища неисчерпаемые, славу бессмертную и страх имени моего столь великий, что не будет смертного, который бы осмелился коснуться до моего надгробного камня“.

„Какая прекрасная надпись!“—сказал Каиб и вскарабкался с великим трудом на камень. „Здесь точно безопасно,—ворчал он тихонько,—камень этот и высок и неприступен для зверей... Только желал бы я очень знать, чья это гробница,—это ужасно, что такие славные имена стираются с надгробных камней! Как же после этого можно полагаться на историю, ибо я твердо верю, что тысячи славных людей, понаделавших столько же знаменитых дел, как и нынешний мой хозяин, не внесены в историю только

для того, что надгробные их камни были рыхлы и удобно размывались дождем. Какой это для меня прекрасный урок! о, я, конечно, выберу для моего надгробия камень potvrже и ручаюсь, что слава моя будет продолжительнее славы моего хозяина". Потом вынул Каиб из кармана хлеб и кусок сыру; в минуту отправил он по походному ужин.—„Как мало нужно для человека!—сказал калиф,—на день два фунта хлеба и три аршина земли на постелю при жизни и по смерти! Я бы желал знать, отчего за четыре месяца перед сим вся вселенная казалась для меня тесна, а теперь и камень этот очень для меня просторен? И слово „мое“, на которое право стояло мне, может быть, 300 000 добрых музульман, слово это теперь меня не восхищает. О! гордость, сколь ужасно тебе воздание! При жизни тебя ненавидят, по смерти презирают или забывают. Ах! может быть, и я современем буду служить постелею какому-нибудь страннику, который, несмотря на гордую мою надгробную надпись, спокойно выпитися на том, на кого предки его не смели взглянуть без ужаса“.

Каиб заснул. Вдруг видит он, что камень отодвигается и из-под него выходит величественная тень некоего древнего героя.

Рост его возвышался дотоле, доколь в тихое летнее время может возвышаться тонкий дым. Каков цвет облак, окружающих луну, таково было бледно лицо его. Глаза его были подобны солнцу, когда при закате своем опускается оно в густые туманы и, изменяясь, покрывается кровавым цветом. Главу его покрывал огромный шлем, который, казалось, мог противостоять громовым ударам. Руку его обременял щит, испускающий тусклый свет, подобный тому, какой издает ночью зыблущаяся вода; отражая мертвые лучи бледных звезд. Калиф тотчас догадался, что герой его из числа тех знаменитых особ, которые называются победителями народов и на земном шаре с великим успехом заменяют собою всемирный потоп. Он молчал и ожидал, что будет далее.

„Каиб,—сказало ему видение,—ты зришь пред собою тень того, коего прах покоится под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедлива; я победил весь свет; ничто не смею вооружиться против меня, кроме моей совести, которая одна могла мучить того, кто мучил вселенную. По смерти моей небо истребило память мою в людях, а меня осудило мучиться дотоль, доколь не буду я причиною хотя одного доброго дела. 20 000 лет уж гробница моя стоит здесь, и во все это время не был я причиною ни одного доброго дела. Доколе память моя еще не затмилась, дотоле возбуждал я себе последователей, столько же вредных свету, как был вреден ему я сам; память моя погибла, но мои последователи имели также своих подражателей, и всем бедствиям, угнетавшим после того землю, был причиною я, дав первый пример любочестия¹. Наконец, небо избрало тебя быть моим избавителем; ты, делая последнее унижение моей гордости, надгробие мое сделал своим почлегом. Высокий камень мой спас

¹ Честолюбия.

тебя от хищных зверей, коим бы ты был непременно добычею в сем диком лесу,—и вот первая польза, которая в 20 000 лет от меня произошла.

Гробница моя и надпись на ней внушили тебе благоразумные размышления: сердце твое удобно ими пользоваться; а сии размышления в толь великом калифе, каков ты, будут причиною счастья миллионов людей; вот благо, происшедшее также от меня. Судьба исполнила меру своего правосудия, в сей день кончились мои мучения. Небо, разрешая меня, позволило, чтоб я принес тебе благодарность; позволило оно, чтобы я тебе подтвердил истину надписи, запрета только сказывать свое имя, осужденное к вечному забвению на лице земли; позволило оно также сказать тебе, что ты близок от вещи, для которой путешествуешь: счастье тебя ожидает. Но, калиф, да не развратит нега его твое сердце—не забывая никогда того, что ты видел теперь. Помни, что любочестие наказывается чрезмерным унижением; помни, что право твоей власти состоит только в том, чтобы делать людей счастливыми; сие право дают тебе небеса, право же удручать несчастиями похищаешь ты у ада“. Изрекши сие, измениться стала тень; подобно тускнеет серебристое облако, когда луна от него удаляется, и, развеваемое по лазуревому небу, становится невидимо взорам смертных.

На утро калиф проснулся рано и, дивясь странному сновидению своему, продолжал свой путь по одной из двух тропинок. Три часа шел он дремучим лесом и, наконец, вышел на прекрасный дуг, через который лежала дорога к маленькой хижине. Каиб любовался местоположением и, осматривая окрестности, удивлялся природе—как вдруг, оборотись направо, увидел прекрасную 14-летнюю девушку. Она с великою прилежностью искала чего-то в траве; прекрасные глаза ее орошены были слезами—знак, сколь дорого она ценила потерянную вещь. Каиб подошел к ней, она его не примечала; он не спускал с нее глаз; всякая черта, всякое движение, всякий шаг ее воспаменяли в нем кровь. Каиб обладал многими женщинами, он чувствовал иногда сильные желания, но теперь в первый раз узнал, что такое любовь.

„Иностранец,—сказала ему красавица, увидя его,—не находил ли ты здесь портрета? Ах! Если он у тебя, так возврати Роксане то, что ей дороже жизни“.—„Нет, прекрасная Роксана,—отвечал калиф,—судьба не хотела наградить меня счастьем быть тебе полезным...“ Калиф бы далее продолжал свои учтивости, но прекрасная его незнакомка, не выслушав и сих, отошла от него искать портрета. Калиф, не говоря ни слова более, сам стал шарить в траве. Надобно было посмотреть тогда величайшего калифа, который, почти ползая, искал в траве, может быть, какой-нибудь игрушки, чтобы угодить 14-летнему ребенку. Он был так счастлив, что в минуту нашел потерю. „Роксана! Роксана! Портрет!“—кричал он, показывая ей издали портрет. Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы. Радость, торопливость и нетерпение сделали то, что она

запуталась в траве и упала бы, если бы не поддержал ее Каиб. Какое приятное бремя почувствовал он, когда грудь Роксаны коснулась его груди! Какой жар разлился по всем его жилам, когда невинная Роксана, удерживаясь от падения, обхватила его своими руками, а он, своими поддерживая легкий и тонкий стан ее, чувствовал сильный трепет ее сердца. „Возьми, прелестная Роксана, сей портрет,—говорил ей Каиб,—и вспоминай иногда сей день, который возвратил тебе драгоценную потерю, а меня навсегда лишил вольности“. Роксана ничего не говорила, но прелестный румянец, украсивший ее лицо, изъяснял более, нежели бы она могла сказать... „Незнакомец,—сказала она Каибу,—посети нашу хижину и дозвожь, чтоб я отцу моему показала того, кто возвратил мне потерянный мною портрет моей матери“.

Они вошли в дом, и Каиб увидел почтенного старца, читающего книгу. Роксана рассказала ему приключение, и старик не знал, как отблагодарить Каиба. Его просили остаться у них на день,—можно догадаться, что он не отказал; этого мало: чтобы пробыть долее, он притворился больным и имел удовольствие видеть, сколь Роксана о нем сожалела и как старалась оказывать ему угождения... Может ли любовь долго скрываться? Оба они узнали, что они любимы взаимно; старик усмотрел их страсть; множество на этот случай наказывал он прекрасных правоучений, но чувствовал, сколь они бесплодны; и сам Каиб, который с восхищением видал, как прекрасная Роксана чувствительна была ко правоучениям и как нежное сердце ее уважало добродетели,—сам Каиб не хотел бы, чтобы теперь слушала она правоучения противу любви. Старик, любя свою дочь и пленясь добросердечием, скромностию и благоразумием Каиба, решился отговорить его от охоты к странствию и умножить его семейство. Роксана просила его нежно, чтобы предпочел он спокойную жизнь и любовь ее желанию скитаться. „Ах! Гасан,—сказала она ему некогда,—если б знал ты, как ты мне мил, то бы никогда не оставил нашей хижины, ни для великопейших чертогов в свете... Я люблю тебя столько, сколько ненавижу Каиба нашего“. „Что я слышу?“—вскричал калиф,—ты ненавидишь Каиба?“—„Да, да, я его ненавижу столько же, сколько тебя люблю, Гасан. Он причину наших несчастий. Отец мой был кадием в одном богатом городе; он исполнял со всею честностию свое звание; некогда, судя родню одного даредворца с бедным ремесленником, решил он дело, как требовала справедливость, в пользу последнего. Обвиненный искал мщения; он имел при дворе знатную родню. Отец мой был оклеветан; повелено отнять у него имение, разорить до основания дом и лишить жизни; он успел убежать, подхватить меня на руки. Мать моя, не перенеся сего несчастья, умерла в третий месяц после нашего сюда переселения; а мы остались, чтобы докончать здесь жизнь в бедности и в забвении от всего света“.

„Оракул, ты исполнился!—вскричал калиф,—Роксана, ты меня ненавидишь!“—„Что с тобой сделалось, Гасан?“—прервала смущенная Роксана,—не тысячу ли раз говорила я тебе, что ты

мне дороже моей жизни. Ах! Во всем свете я ненавижу одного только Каиба.—„Каиба! Каиба! Ты его любишь, Роксана, и возводишь свою любовь на вышнюю степень блаженства!“—„Дорогой мой Гасан сошел с ума,—говорила тихонько Роксана,—надобно уведомить батюшку“. Она бросилась к своему отцу. „Батюшка! батюшка!—кричала она,—помогите! Бедный наш Гасан помешался в уме“,—и слезы навертывались на ее глазах. Она бросилась к нему на помощь, но уже было поздно: Гасан их скрылся, оставя их хижину.

Старик сожалел о нем, а Роксана была неутешна. „Небо!—говорил старик,—доколе не престанешь ты гнать меня? Прoisками клеветы лишился я достоинств, имения, потерял жену и затворился в пустыне. Уже начинал я привыкать к моему несчастью; уже городскую пышность воспоминал равнодушно; сельское состояние начинало пленять меня; как вдруг судьба посылает ко мне странника; он возмущает уединенную нашу жизнь, становится любезен мне, становится душою моей дочери, делается для нас необходимым и потом убегает, оставя по себе слезы и сокрушение“.

Роксана и отец ее проводили таким образом плачевные дни, как вдруг увидели огромную свиту въезжающую в их пустынь. „Мы погибли!—вскричал отец,—убежище наше узвано! Спасемся, любезная дочь!..“ Роксана упала в обморок,—старик лучше хотел погибнуть, нежели ее оставить. Между тем начальник свиты к нему подходит и подает ему бумагу. „О небо! Не сон ли это?—вопиет старик,—верить ли глазам моим! мне возвращается честь моя, дается достоинство визиря; меня требуют ко двору!“ Между тем Роксана опомнилась и слушала с удивлением речи своего отца. Она радовалась, видя его счастливым, но воспоминание о Гасане отравляло ее радость; без него и в самом блаженстве видела она одно несчастье.

Они собрались в путь, приехали в столицу. Повеление дано представить отца и дочь калифу во внутренних комнатах. Их вводят. Они падают на колени. Роксана не смеет возвести глаз на монарха, и он с удовольствием видит ее печаль, зная причину оной и зная, как легко может он ее прекратить.

„Почтенный старец,—сказал он важным голосом,—прости, что, ослепленный моими визирями, погрешил я противу тебя, погрешил против самой добродетели. Но благодеяниями моими надеюсь загладить мою несправедливость; надеюсь, что ты простишь меня; но ты, Роксана,—продолжал он нежным голосом,—ты простишь ли меня, и будет ли ненавидимый Каиб столь счастлив, как был счастлив любимый Гасан?“

Тут только Роксана и отец ее в величайшем калифе узнали странника Гасана; Роксана не могла ни слова выговорить: страх, восхищение, радость, любовь делили ее сердце. Вдруг явилась в великолепном уборе Фея.

„Каиб,—сказала она, взяв за руку Роксану и подводя к нему,—вот то, чего недоставало к твоему счастью; вот предмет путешествия твоего и дар, посылаемый тебе небом за твои добродетели.“

Умей уважать его драгоценность, умей пользоваться тем, что видел ты в своем путешествии,—и тебе более никакой нужды в волшебствах не будет. Прости!“ При сем слове взяла она у него очарованное собрание од и исчезла.

Калиф возвел Роксану на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их сумасшедшими и стали бы на них указывать пальцами.

СОН, НАЙДЕННЫЙ В СТАРЫХ БУМАГАХ МОЕГО ДЕДУШКИ.

Некогда пленен я был красою одной девицы, которая клялась мне, что ни за кого, кроме меня, не выйдет; но я узнал после, что не должно верить подобным клятвам... Увы! Я презрен, мне не велено казаться на глаза... я рвался... метался, упал, помнится, на постелю и заснул крепко... Я видел во сне: будто я на корабле чужестранном, плывущем отыскивать проход чрез Ледовитое море... Капитан сего корабля рассказывал мне, что многие академии задавали задачи и предлагали великое награждение, каким образом сыскать сей проход? И что профессора, падкие к деньгам, сидя в своих кабинетах, летом утирая пот белым платком, а зимою греясь у камина, сочиняли рассуждения о Ледовитом море. В таковых рассказах плыли мы, куда и сами не знали, только я чувствовал, что час от часу становилось холоднее, начали показываться нам льдинки и час от часу становились крупнее. Капитан и матросы то дрожали от страха, то показывали отважность, готовую преодолеть все препятства... Вдруг попали мы между двух льдин чрезмерной величины... Все, кроме меня, оторопели, видя приближающуюся смерть... Надобно знать, что я, перед сном моим, с досады хотел умереть,—а кто умирать хочет, тот смерти не боится... А может быть, я и от того не пугался, что я спал, или от того, что смерть нимало не думала прервать сонного моего мечтания... Льдины разошлись и кораблю оставили свободу плавать... Мы плыли потом благополучно... Стало так туманно, что нельзя ничего было видеть; корабль остановился, хотя ветер был очень велик; однакож и не мель была тому причиною. Все не знали, что делать? Был совет у нас, на котором и я довольно ломал голову; и присоветовали все единодушно дожидаться, пока туман пройдет. Мало-по-малу начал он пропадать и открыл превеличайшие льдистые горы, от коих отражающийся луч солнца едва не ослепил глаз наших. Корабль наш был прикован к ним цепями, сделанными изо льда... Лед был так крепок, что не уступал в твердости самим металлам, если их не крепче. Мы хотели обрубить сии цепи, но железо не в состоянии было разрушить их связи.

В самое то время, как матросы старались разрубить их, увидели мы нечто вдаль, идущее к нам по сим льдистым горам: то был человек непомерной величины; он был весь покрыт замерзлыми сосульками, свирепое чело его покрыто снегом. При виде

сем я затрепетал, а товарищи мои оцепенели. Он закричал грозным голосом: „Дерзкие смертные! Почто вы стремитесь проникнуть во владения *Зимы* и познать то, что от вас сокрыто? Судьба поставила здесь преграду вашим испытаниям. Я, *Мороз*, страж матери моей *Зимы*; она охраняет вход смертным в места, где обитает племя людей, всему свету неизвестное. Кто хочет познать его, тот должен пройти наг владычество зимы“. Потом ударил он ногою в горы и потряс их основание, от чего ужасные громады льда, оторвавшись, предалися стремлению волн. Корабль наш разбился вдребезги, и мы все искали спасения на сих льдинах. Капитан и я попали на превеликую льдину, которую мороз силою своею приковал к горе, а нам велел взойти на оную; мы ему повиновались. Он раздел нас обоих и сперва дунул на капитана, который тотчас пал мертв. Я ожидал такой же участи... Но, о чудо!... или волнения пламенной моей любви... или... да полно, во сне такие ли видятся чудеса!.. Я устоял против его дуновения... Старик ужаснулся, видя мою твердость, потряс головою, откуда столько посыпалось снегу, что все места, представляющиеся взору, им покрылись... После сказал... ты *русский*... В нынешнем веке вас ни огонь, ни стужа не берет; оденься и ступай за мной. Я в минуту сне исполнил и вдруг почувствовал такую в себе легкость, что в несколько часов пробежал невероятное пространство и очутился на другом берегу. Я сошел по льдистой лестнице к воде и увидел привязанную лодку, на которую посадив меня, старик пихнул ее от берега с такой силою, что я растянулся в лодке без чувств. А как опомнился, то увидел себя лежащего на прекрасной долине и окруженного многими людьми, которые все удивлялись мне нараспев, а иные подлаживали им на разных музыкальных инструментах.

Я тотчас встал!¹... Что могло тогда сравниться с моим удивлением!.. На сей земле, вместо дерев и трав, все растут *ноты*... Люди, окружающие меня, одеты были с ног до головы нотами... Я хотел им приносить мою благодарность, но они, услышав меня, оставили с презрением: у них кто не поет, или, по крайней мере не изъясняет своих мыслей на каком-нибудь музыкальном инструменте, тот почитается хуже скота. Нужда заставила меня с ними разговаривать посредством длинного гагаканья. Я по крайней мере получил ту выгоду, что один взял меня в свой дом, который, хотя построен и из нот, но в великолепии своем не уступал боярскому московскому дому... Я имел нужду в пище, стол был накрыт... Но какое это кушанье! Подали на стол холодные ноты, вареные ноты, жареные ноты, печеные ноты, сладкие ноты, кис-

¹ Начиная с этого абзаца и до конца, „Сон“ напоминает описание летающего острова Лапуты в „Путешествиях Гулливера“ Свифта. В обоих произведениях—передвигающийся с места на место остров; обитатели его у Свифта увлечены математикой, говорят и думают только о ней, и даже кушанья подаются им в виде кубов, призм и т. п.; одежда их также украшена геометрическими фигурами. В „Сне“ люди интересуются музыкой и говорят только о ней, одеты в ноты, едят ноты и т. п.

лые ноты, горькие ноты и все сии ноты, хотя и были похожи иные на русскую ланшу, а иные на итальянские макароны, однакож русскому желудку были не вкусны.

Я узнал после обеда, что сия земля называется *Иоа*. Воздух в ней приятный, а ветры издают гармонические тоны; жители в ней и весьма горды и чрезмерно низки, но все пронырливы; а при том такие охотники разговаривать. Да и не трудно тому узнать причину: говоря нараспев, им недостает времени изъяснить свои мысли; они вообще мало заботятся о здоровом рассудке, а стараются только, как бы попротяжнее или пофигурнее выделывать тоны. Кроме сего, царствует между ними совершенное невежество. Зависть нигде столько жертв себе не видит, сколько здесь, хотя и наяву нередко случается видеть, что сие чудовище истребляет людей, достойных торжествовать. Но что всего удивительнее, хотя все достоинство у *иоайцов* заключается в одних нотах, они думают, однакож, что за каждую их ноту должно платить пудами золота... О, золото! Где ты не находишь своих обожателей!

Я рассматривал на сем острове женщин: они мне показались довольно пригожи и чрез меру горды; а иные весьма склонны к любовным делам, не зная, что есть любовь, а желают, чтобы их любили; науку правиться полагают они в белилах и румянах и не щадят их даже до того, что подумать можно, будто они в масках; а некоторые из них столь постоянны, как троевязанные их ноты.

Странно мне показалось, что *иоаец*, который искуснее другого, ни для чего не покажет своего красноречья перед тем, кто слабее его понимает гагаканье... Всякая просьба останется тщетною. Если же его искусенько доведут и он начнет, то рад до смерти замучить своим разглагольствием по нотам; а особливо, если приметит в слушателях немое удивление, тогда, как ни проси, чтобы перестал, так не перестанет.

Здесь есть доктора и лекари, и во многих местах по дорогам небольшие клочки земли заселены лекарственными нотами. Нигде в свете не доведена до такого совершенства наука морить людей, как на острове *Иоа*: ибо врачи или больных запевают до смерти, или сами, запевшись, оставляют их без призрения... Один *иоаец* занемог сильно горячкою, а лекарь, в часы перелома его болезни, твердил одну руладу, нужную ему для разговора с одной ветреной дамой, и для того не успел больному крови пустить, а тот отправился в царство мертвых.

Здесьние жители так распелись, что устали не знают. До приятного им нет нужды; они все занимаются одним мудренным, и тот только у них считается совершенным, кто может сверхъестественными переменами голоса удивить слушателей... Дух их столько крепок, что есть такие удалцы, которые слишком на полчаса пускают трели.

Я почувствовал смертельную скуку от их визжания... хотел бежать... Но куда? Земля их окружена со всех сторон морем; с острова

па остров пешком не ходят; а тут нет не только лодки, ниже плота... Тут я горько плакал, что я не в Петербурге... О, блаженный город! Ты всем изобилуешь, что может удовлетворить нужды человеческие и усладить прихоти веселого права! Разумеется, у кого денег довольно. Оставя уже прочее, что привлекает жителей со всего света, в Петербурге есть шлопки, и стоит только заплатить, а то будешь на острове, на котором захочешь, о чем больше всего знают купцы, у коих есть молодые сидельцы.

Во время горьких слез моих я увидел, что иоайцы бегут, как сумасшедшие, иные поют во все горло, другие играют. Я хотел узнать тому причину, но в ответ слышал от пробегающих такую нескладницу, каковой не слыхал и тогда, как играли какое-то *музыкабесие*... Любопытство принудило меня бежать за ними; тут я заметил, что с жителями все растения и самая земля была в движении. Я было подумал, что это землетрясение, однакож совсем не то: остров Иоа плыл к другому острову, называемому *Топастона*, отколе иоайцы получают то, что нам не годится, то есть стихи, кои поплосе, и растягивают их по нотам.

Если верить зрению, то казалось, будто Топастона плывет к нам; но кто ездил на кораблях, тот знает, что зрение нас обманывает в сем случае; но, как бы то ни было, острова сии так сближались, что можно было с одного на другой ходить пешком. Радость моя была так велика, что я до тех пор не поверил, пока не увидел, перешед на Топастона, что Иоа отплыл назад.

После плача я утешался, смотря, как потные жители имели свидание с стихотворными: тут было столько лукавства и лести с обеих сторон, что я не постигал, как можно обходиться злейшим врагам между собою, как будто искренним друзьям в глаза; а заочно иоаец презирал топастоната и едва ли достаивал его милостиво считать своим невольником; а топастонат мыслит, что, кроме его, все смертные недостойны и названия человека. Я их оставил и пошел рассматривать новое мое жилище. И тут все произрастания суть стихи, на коих, вместо плодов, висят рифмы. Ими-то жители питаются, ими одеваются и из них строят себе жилища.

На сем острове видны повсюду маленькие кустарнички, называемые каждый своим именем... Видны также рощи и прегустые темные леса, называемые *эпическими*; но чудны мне показались рощи, кои чрезмерно густы и кои по местам гораздо темнее эпических лесов; деревья же, хотя и толсты, но пониже эпических; сии места именуются *одами*.

Все жители мне показались до сумасшествия прилепленными к славе, и хотя и показывают вид, что богатства презирают; однакож внутренне очень и преочень деньги жалуют. Они все дворяне, но ни один из них не знает, где его поместье, отчего всяк присваивает себе все земли и всегда находит соперника... И все здесь тягнутся; но как тут нет ни приказов, ни судей, то каждый как себе, так и другим, судья, и вместо тяжб видны престрашные сражения... Правда, не кровопролитные; топастонаты не пулями

и картежами стреляют, но рифмами, а раны рифменные несмертельны...

Прошед несколько, я увидел таковое сражение, в котором предводительствовали не герои, но какие-то стряпчие или подьячие, вооруженные крапивными рифмами; и сии-то предводители присвоили себе право за каждого топаstopата стряпать и каждого осуждать...

Два такие предводителя стояли один против другого; а за каждым из них по немалой толпе кукушек, которые, как и все топаstopаты, называются людьми, то-есть повесами или безграмотными мудрецами... Все они держали в руках своих дреколия из колючих рифм... Вместо лат были они вооружены ядовитостью; а вместо шишаков скверною рожею. С обеих сторон страшное шиканье предвещало мне начало их сражения. Но я увидел, что оба предводителя и с челядью своей бросились на одного топаstopата, дабы его труды обратить в ничто; я думал, что они все перетеребят, перековеркают и переломают; но только лишь слышалось имя того топаstopата, то вооруженные на него неучи в миг рассыпались и, вместо остервенившихся шикалов стали его кукушками. Они, как жидаы, всегда кричат: „Дай бог, чтобы наша взяла!“ Спроси у них: „кто ж ваша-то сторона?“—„А которая победит“.

Я пошел в дом победителя, который принял меня весьма ласково, почти меня за свою кукушку, ибо их у него довольно набралось; и мы все были потчиваны отменно щедро рифмами хозяйского стряпанья, от которых иногда можно подавиться; но все гости выхваляли до небес сию пищу, и я ничего другого не слышал в этой беседе, кроме похвалы хозяину и ругательства всем другим топаstopатам. Хозяин представлял пренадменную особу; а гости все его слова почитали вместо оракула; и если и промелькивала тут похвала кому другому, а не хозяину, то верно уже умершему топаstopату... Вот странность, свойственная сей только земле... Здесь кто чем лучше, тот более иногда бывает презираем; все ему злодействуют; а когда он умрет, то ставят ему алтари! О, чудо, коего никто не понимает!

Я взошел в разговор с одним гостем, который мне рассказал нечто, касающееся до нравов сей земли; но рассказ его был на стихах, то я не очень ему верю.

„Первый наш предмет есть угождать славе; а как никто не знает, чем может снискать ее к себе милости, то непременно должно нам разгорячать наше воображение. Мы почерпаем к сему возбуждающее питье из двух кладезей; но зачастую не успеем опомниться, как забывчивость и нечувствительность членов наших уверит нас, что мы через край хватили... А пока еще не дойдем до сего предела, то бывает у нас веселая схватка нашими рифмами, которая иногда до того нас доводит, что мы падаем замертво на землю и считаем всякий себя победителем.

Женщины наши редко нам в том помогают; зато они пользуются совершенною вольностью, и не редко у нас случается,

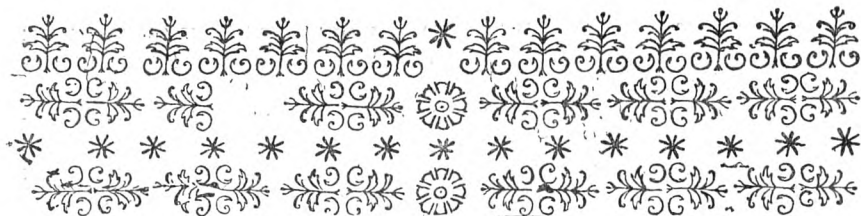
что причиною славы топаstopата бывает прекрасная его жена; наши женщины не мотовки, ибо женам стихотворцевым проматывать нечего...

Вместо десерта подали на стол превеликие груды новосостряпанных хозяином рифм; а перед тем все вышли по несколько стаканов разговоров; как только начал хозяин потчивать своим десертом, то вся беседа смолкла, и чем сильнее и громогласнее хозяин стремился угощать нас, тем стремительнее сон нападал на всех гостей; наконец, все начали падать замертво, а я, боясь подобного с собою происшествия, выскочил в окошко. От сего падения я проснулся, ибо действительно я упал с кровати на пол.

Я кликнул слугу, и спросил: „долго ли я спал?“ Слуга отвечал: „не более часа“.—„Как же это“,—рассуждал я сам в себе,—час я спал, а видел столько, что едва в месяц видеть можно“. А при том и то мне странно показалось, что я во сне мог рассуждать и делать замечания.

Теперь пусть господа метафизики говорят, что сон есть бродящие мысли о том, что человек чаще всего воображает; я ни музыкантом, ни стихотворцем никогда не бывал. Отчего же я видел такой сон, который должен только сниться, если не музыкантам и стихотворцам, то по крайней мере охотникам и до того и до другого; а я музыки не люблю, а стихов от роду не читал.





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕРКУРИЙ.

Ежемесячное издание

1793 года.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ.

НАУКЕ УБИВАТЬ ВРЕМЯ, ГОВОРЕННАЯ В НОВЫЙ ГОД.

Любезные слушатели!

Наконец сбыли мы с рук еще один год, убили триста шестьдесят шесть дней и можем сказать торжественно: не видали, как прошло время!

Строгие философы! вы, которые жалеете утратить минуту, как скупой—полушку, и плачете о потерянии дня, проведенного без пользы! Придите и позавидуйте нашей способности радоваться о том, что мы целый год провели, не сделав ни одного такого дела, коим, по вашему мнению, человек отличается. Зарывшись в книгах, вы почитаете невероятностию, что тот может радоваться, прощаясь с старым годом, кто три четверти его проспал, а достальную прозевал; вам покажется баснею, чтобы человек, который целый год одевался и раздевался, причесывался и растрепывался, чтобы сей человек не плакал, утратив таким образом время; вы никогда не поверите, чтобы тот, кто пропрыгал и прошаркал триста шестьдесят шесть дней, хотя бы в конце года заметил, что он целые двенадцать месяцев таскал попустому свою голову. Но Сократы, Платоны, Пифагоры прошедших веков! воскресните на одну минуту, выбрейте себе бороды, причешитесь анкрошед, чтобы вас не стыдно было принять в большом свете: войдите в него, и вы увидите, сколь справедливо мое описание; увидите, как много филозофия ваша наделала успехов. Воскресните и проповедуйте, если хотите, сколь нужно соблюдать время. Вы увидите, что люди большого света лучше вас знают, к чему оно дается; и что наука убивать время есть одна наука, прямо достойная благородного человека, который умеет чувствовать, что небо дало ему голову только для того, чтобы она пересказывала, когда желудку его нужна пища.

Вот, милостивые государи, что бы я сказал философам, употребившим все силы свои на то, чтобы научить нас скучному упражнению размышлять. Они бы взглянули на вас и признались бы, что человек может обойтись без размышления, если только имеет проворный язык, и что мы, имея дарование не думать, по крайней мере столько ж счастливы, как люди золотого века.

Недоверчивый, глядя на нас, на образ нашей жизни, конечно, усомнится: ему покажемся мы игрушками мод, мучениками суетных желаний; или, что еще более, сочтет он нас безумными, а потому-то и несчастливыми,—как будто бы дурак, любезные слушатели, должен быть непременно несчастливее мудрецов, коих самолюбие заставляет признавать счастливыми только себя и коих дикий ум не понимает, какое счастье заключено в том, чтобы делить по-братски время свое с обезьянами, с попугаями, посвятить себя блестящей службе четырех мастей¹,—словом, они не чувствуют прелестей науки убивать время; науки, впрочем, столь неисчерпаемой, что свет наш несколько тысяч лет в ней трудится и всегда открывает новые поля столь же обширные, какие приписывают математике.

О сей-то прелестной науке, милостивые государи, хочу я ныне распространить свою речь; не для того, чтобы желал я вас в ней осовершенствовать! Нет, вам уже не нужны учителя: природных способностей ваших к тому довольно, и вы, подражая предкам вашим, понимаете сие искусство самоучкою; притом же, когда протцы наши убили семь тысяч лет², то стыдно бы нам было, имея величайшие примеры в истории и в глазах, требовать наставников, как убить несколько десятков лет, которые на нашу часть достались. Итак, я намерен соплести только достойную похвалу сей завидной науке, в которой обращается целый свет, и которой имя столь же редко слышно, сколь часто ее употребление; ибо,

¹ Карточной игре.

² По христианскому церковному летоисчислению мир был сотворен за 5508 лет до рождения христового. Таким образом мир будто бы существует седьмую тысячу лет.

С: ПЕТЕРБУРГСКІЙ

МЕРКУРІЙ,

ежемесячное изданіе

1793 года.

Часть Первая.



ВЪ САНКТ-ПЕТЕРБУРГѢ,

въ типографіи И. Крылова съ товарищи,

1793 года.

*Титульный лист журнала
„Санкт-Петербургский Меркурий“.*

к стыду нашему, любезные слушатели, мы обладаем сим сокровищем почти не чувствуя, что им наслаждаемся. Но да не смущает вас сия укоризна: недостаток ваш требует только исправления. Мы найдем в свете довольно примеров, что человек часто обладает сокровищем, пренебрегая его по незнанию. Так некогда американцы ходили по золоту и, не умея его обдѣлывать, с радостью отдавали за европейские игрушки¹.

Может быть, критики скажут мне в возражение, что слово мое бесполезно; что доселе убивали мы время без всякого поощрения ораторов; что молодые люди наши, воспитанные в глазах французских гувернеров и в виду гончих и борзых собак, наполняются с младенчества благородною страстию расточать время; что по прошествии юношества учителя отдают их с рук на руки французским ростовщикам, иностранным магазейнам и театральным сборщикам сердец; что в сем новом свете получают они новые способы убивать время, и иногда в одной переписке векселей не видят, как проходит целые годы, или, не имея наследственного достатка, трутся около глухих Мидасов², побужденные благородною ревностию истреблять монополию в деньгах, и таким образом, в приятной надежде обмануть удачно, сбывают неприметно с рук последнюю половину своего века; что все это делается без помощи убеждений; что, наконец, нужно только человеку броситься один раз в большие общества, и он будет иметь удовольствие умереть, прежде нежели приметить, что он жил на свете.

Не противоречу многому. В самом здешнем собрании вижу я примеры природных способностей; вижу с восхищением прелестниц наших праотцев, которые, пережив три поколения, и доныне не могут догадаться, что они не ровесницы шестнадцатилетним девушкам. С набожностью взираю я на сих долговечных Венер, на коих глядя, кажется, что они одногодки Римской Капитолии³, или по крайней мере Августовым медалям⁴, и которые при всем том не досчитываются у себя пяти шестых доль своего века. Какой резкий знак, что это время мастерски убито! В другом месте вижу я почтенных старичков, которые с таким же просвещением входят в могилу, с каким вошли в колыбель, и еще кажутся младенцами. Они примечают глубокую свою старость только потому, что им нельзя грызть орехов. Какая скромность! Проносить семьдесят лет голову и не сделать из нее никакого употребления! Прожить век на скотном дворе и ограничить отличие свое от животных только тем, чтоб ходить на двух ногах! Иметь душу и не дать

¹ Подразумеваются индейцы. В первое время после открытия Америки европейцами, они, не зная истинной ценности золота, отдавали его европейцам в обмен за безделушки, бусы и т. п.

² Согласно античной легенде, фригийский царь Мидас получил от бога Диониса дар обращаться в золото все то, к чему он прикасался. Здесь Мидас означает богача.

³ *Римский Капитолий*—храм Юпитера в древнем Риме, находившийся на Капитолийском холме, отчего он и получил название Капитолия.

⁴ *Августовы медали*—медали, выбитые при первом римском императоре Цезаре Октавиане Августе (63 до н. э.—14 н. э.).

никому приметить, что ее имеешь; или, что еще более, самому этого не заметить! Вот чрезвычайная умеренность, которой не понимают тщеславные философы, хотя умеренность они и проповедают. Мы одни, милостивые государи, мы одни способны к сей блистательной добродетели, украшающей общества большого света, и между тем, как малая кучка самолюбивых мудрецов старается только о том, чтоб целый мир перед нею стыдился, между тем вы, милостивые государи, такую скромностию обуздываете свои умы, что и лошади бы ваши не краснели, на вас глядя, хотя бы они и имели способность краснеться, способность вредную, которой остатки и в нашем просвещенном веке наносят иногда тягость прелестному полу.

Признаюсь, что все завидные сии подлинники образовались без всякой помощи ораторов. Но следует ли из того, чтобы словесные возбуждения были излишни? Нет, любезные слушатели, красноречие всегда умножало рвение умов, и если иногда не было поощрением, то служило награждением отличных дарований, которые уже поздно было поощрять, ибо, милостивые государи, премудрого человека весьма трудно заметить, прежде нежели пройдет триста лет после его смерти; и потому-то многие благоразумные народы сперва убивали своих мудрецов, а после делали им статуи; когда же вывелось это из употребления, тогда сыскали лучший способ: допускали их умирать в нуждах, в гонении и в презрении, а спустя после их смерти лет сто говорили им похвальные речи. Такой поступок умножил полки ученых, которые добровольно терпели первое и не получали последнего. Но благородная жадность к похвале не есть ли общая всему человеческому роду? Не она ли причиною, что многие великие души, подобные душе Сезостриса¹ и Александра Великого, ожидая величания от будущих веков, сносят терпеливо проклятие настоящего? Когда же похвала столь лестна, то для чего же не возвеличить ею божественную нашу науку убивать время? Все науки имели своих защитников, своих хвалителей; ужли она одна останется в молчании? Как будто бы наше веселое общество, блистая ее выгодами, стыдилось признать-ся, до какого довело оно ее совершенства.

Другая причина, еще важнейшая, понуждает подать о ней полнейшее понятие: все науки, выключая математики, подвержены расколам, наша также избежать их не может. Я сам бывал свидетель, что многие молодые люди сажались за книги только для того, чтобы убить время и, пристрастясь к постыдной для благородного человека жадности обогащаться познаниями, зачали скупиться временем, вздумали быть нас умнее; вздумали узнать свою голову короче, нежели сколько знали ее их волосочосы; и потом—жестокая неблагодарность!—сверх того, что сделались отступниками от нашего общества, первые стали на нас вооружаться и соблазнительным своим примером увлекли за собою последовате-

¹ Сезострис—полулегендарный древнеегипетский царь-завоеватель, которому приписывают завоевание всей Азии и Европы до Фракии.

лей, которые вместо того, чтобы блистать на балах и в больших собраниях, свели скучное знакомство с мудрецами. Такие-то развратительные примеры, происшедшие, может быть, от одного любопытства заглянуть в книгу, не должно ли прекратить и предостеречь наших молодых людей, чтобы они опасались всякой книги, выключая только полезных книг, заклеянных печатью Воспитательного дома¹?

Дадим же, сколько можно, ясное понятие о сей науке. А вы, любезные юноши, которые под покровительством проворной гребенки и верных ножниц назначены, может быть, играть великие лица на театре света; вы, прелестные грации, которые будете некогда требовать от наших правнуков такой же нежности, какой ныне мы ищем от вас, выслушайте меня и умножьте свои силы победить наступающий год, и если уж необходимо должно, чтоб в физике вашей произвел он перемены, то оградитесь роскошью и ленью; и пусть хотя на морали вашей время не оставит никаких следов.

Время убивается двояким образом: или проводится оно в бездействии, или в таких упражнениях, которые на душе нашей никакого по себе следа не оставляют; и от того-то в старых телах видим мы часто молодые души, хотя казалось, что люди, в которых примечается это явление, были во весь их век чрезвычайно заняты. Какой великий предмет для благородного человека! Убивать то, что все убивает! Преодолевать то, чему ничто противустоять не может! Герои, упражняющиеся в таких великих подвигах, не должны ли заслужить хвалу величайших в свете мудрецов, основанную даже на нашем признании, что мы перед ними нищи духом?.. Так, государи мои! Согласимся, что они умнее нас; поверим, что они лучше знают ценить вещи, и послушаем их учения. Тот истинный философ, говорят они, кто умеет презирать мирские сокровища. Потом сказывают, что время драгоценнее золота и лучше всех земных благ. Но когда мудрецы сии тщеславятся достоинством, что они презирают золото, то сколько ж почтеннее мы их, пренебрегая самое время, сие сокровище, коего тратить нет даже и у них довольно твердости духа. Итак, мы-то истинные мудрецы, милостивые государи! Они презирают вещь, которая всегда в их руках быть может; но мы тратим равнодушно время, зная, что воротить его не в силах. Удивляются Сципиону Африканскому, что он сжег свой флот, дабы воспрепятствовать возвращению своему в Рим; редкая вещь! Имея храбрых воинов, он надеялся сожечь Карфаген и возвратиться домой на новых судах; но мы, сожигая, так сказать, наше время, не имеем никакой надежды возвратиться к нашему младенчеству, и, следовательно, всякую минуту превосходим Сципиона мужеством. Великий Тит² плакал, говорят, о том дне, который проводил, не сделав доброго дела; но мы, о пример истинного великодушия! мы проживаем лет по пятидесяти попустому и ни разу о том не поплачем!

¹ Имеются в виду карты.

² Тит—римский император (41—81 п. э.).

Я уже сказал, что первый способ убивать время есть тот, чтобы ничего не делать, или спать; но, к несчастью, человек не может быть столь совершен, чтобы проспать шестьдесят лет, не растворяя глаз и не сходя с постели, ни так же просидеть все это время, поджав руки. Хотя и старались испанцы осовершенствовать сию часть; хотя не редко встретить можно там героев, которые, поддерживая древнее свое благородство, почитают за честь умереть с голоду, поджав руки, но великим подвигам легче удивляться, нежели последовать. Нам нужны другие способы. Притом же, мало ли есть таких прекрасных упражнений в большом свете, которые почти столь же знамениты, как и дарование ничего не делать; а такие-то упражнения и нужны для нашего общества. Делать, ничего не делая, говорить, ничего не сказывая,—вог два сильнейшие способа убить время; с сими двумя правилами человека уважаю я столько же, как и того, кто имеет испанскую твердость духа скорей согласиться дать себе отрубить руки и голову, нежели ими действовать. Рассмотрите хорошенько около себя, и вы найдете тысячу великих душ, которые располагаются проспать будущий год, половину зажмурясь и лежа, а другую половину—ходя и с открытыми глазами, и подают вам пример сбывать с рук время. Нужно ли вам знать имена их? Исполню ваше желание. А вы, почтенные образцы! простите, если, уступая моим восторгам, потревожу я несколько вашу скромность, дабы поощрить юношество подражать вам. И пусть слабая похвала моя послужит вам малым воздаянием, доколь небо не увенчает вас завидною наградою лежать, не переворачиваясь с боку на бок. Повторим, любезные юноши, с благоговением их имена.

Первый встречается мне Подлон; с математическою точностию делит он утренние часы будущего года по числу прихожих, в которых проходит важную науку помрачить достоинства гибкости спины. Уже назначает он там себе самые выгодные места, где бы надежнее было уловить улыбки и благосклонные взгляды вельмож; уже, кажется, слышу я, как гибкий его язык, с беспристрастием историка, перед одним барином пересказывает дурачества другого, а этого едет бранить к третьему. Платя богатую подать новостями, мчится он по всему городу их собирать, чтобы назавтрее позабавить своего покровителя на счет чести ближнего; он держит верный список рогам, выключая только своих; чувствуя, сколь становится он необходим, жалуется, что великих его трудов не может вынести четверня, и покровитель его, умея различать дарования, обещает ему шестерню. Но когда с четырью только товарищами любезный наш Подлон наделал столько подвигов, то согласитесь, почтенные слушатели, что несравненно полезнее отечеству будет он сам-семь, и более получит способов оказать свои достоинства, когда резвое счастье, награждая поворотливость его языка, прибавит ему еще двух товарищей.

Замотов подает вам другого роду образец, как убивать время. Вооружась против него, рассекает он уже мысленно будущий год на тысячу частей, чтобы разбросать их по кофейным домам, по

маскарадам и по вечеринкам; собирается глядеть на все и ничего не видеть, говорить все и ничего не думать. Везде старается он поспеть. Всегда занят и никогда ничего не делает. Беспрестанно хлопочет, чтобы нажить новые долги. Одним словом, вот примерный молодой человек, который добивается мастерски триумфального въезда в полицию. Уже мысленно вижу я великолепный сей въезд; вижу, как торжественно препровождается он толпою портных, сапожников, каретников и волосочосов, которые все, подобно унылым пленникам, следуют за ним, повеся головы и держа в руках огромные реестры знаменитых его дел; дела сии привлекают внимание правительства,—и герой наш, подобно древним атлетам, принимается на казенное содержание.

Но какой новый предмет представляется моему взору! Подборов, вооружая бесчисленными дюжинами карт, выступает против нового года и назначает себя к продолжению благородного ремесла метать неусыпно направо и налево. Наполняя приятною надеждою обмануть ближнего, преодолевает он сон и голод; пренебрегая все науки, погружается он только в одну важную науку—выметать направо все то, чего ждет налево его соперник. Сему-то одному искусству посвящает он все свои дарования, и подобно Александру, не полагая границ своим победам, в героическом восторге грозитя целый свет пустить по миру.

Но до сих пор, любезные слушатели, предлагал я вам в пример особ, которые с возможною ревностью убивают время, достигающееся на их часть; теперь хочу заключить, выставя в пример неподражаемого героя, который силится убить время даже своих потомков. Таков несравненный Скукобред. Он, наводняя своими сочинениями публику, хочет и несколько веков спустя быть орудием убивать время. Какой похвалы не заслуживает он, когда, просиживая насквозь почи, занимается важным предметом усыплять даже десятое наше поколение по нисходящей линии; не покоряется усталости, и хотя часто голову его раскачивает приятная дремота, но мочная рука его никогда не перестает писать—и что всего удивительнее, милостивые государи, то никакая академия не в силах различить, что он написал сквозь сон и что наяву!

Но сей пример, любезные слушатели, не с тем выставляя я, чтоб возбудить в вас охоту ему подражать; довольно уже и того, если возбудит он в вас удивление. Мы уже видели, сколь вредно и опасно благородному человеку заниматься книгами. Но со всем тем, если кто из вас, милостивые государи, чувствует в себе геройскую смелость, никогда не читав, начать писать, тому не советую оставлять такой прекрасной склонности, которая производит пирамиды печатных бумаг в честь парнасским каникулам нынешнего времени.

Но сим ли одним примером можно пользоваться? Другие не менее блистательны и более свойственны для благородного человека, который, и не принимаясь за перо, имеет право не называться безграмотным для того, что прадед его знал читать и писать. Для чего не подражать другим подлинникам, кои число столь

велико, что предел речи моей не позволяет обо всех упомянуть, ибо я не намерен ни искусить терпения вашего, ни перещеголять бесконечности те отборные предисловия, которым книги, как жетя, печатают в приданое.

Теперь, милостивые государи, надеюсь я, что вы можете чувствовать, что есть наука убивать время, можете видеть ее необходимость и силу в большом свете. Главная уловка состоит в том, чтобы никогда не думать. Педанты скажут, что это невозможно; но вы, не вдаваясь в словесные споры, можете им доказать истину на самом деле. Правда, молодым девушкам очень пристало иногда задумываться, но думать—никогда; это ремесло прилично только тем низкорожденным людям, которые не могут обойтись без своей головы и которые имеют бесстыдство не различать нас с обезьянами. Но не занимаясь трудными спорами и розысками по натуральной истории, что совсем не наше дело, встретим лучше, милостивые государи, как можно веселее наступивший год, подобно как храбрая армия встречает весело своего неприятеля. До сих пор часто видал я, что люди встречают новый год в таком восхищении, как молодой супруг свою новобрачную или как мальчик ребенок новую куклу; а на третий день все они скучают своими новостями, зевают и не знают, куда деваться от скуки, то-есть не знают, как убить время; но мы, любезные слушатели, получа теперь несколько подробнее идею, как сживать его с рук, мы, конечно, не будем подвергнуты опасности мучиться зевотою.

Соединим же нашу ревность, милостивые государи! Год уже наступил; уже это время наваливается на наши руки,—но ободритесь, остерегайтесь мыслить, остерегайтесь делать, и год сей будет служить нам оселком, над которым наука убивать время покажет новые опыты, достойные нашего просвещения.

И. Крылов.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ ЕРМАЛАФИДУ, ГОВОРЕННАЯ В СОБРАНИИ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.

„Ужасно видеть, милостивые государи, с какою завистью критика всегда вооружалась на дарования. Тысячу бы примеров нашел я в истории о словесности; но как мы обязались благородною клятвою писать все и не читать ничего, то, не хвастаясь, скажу, что ни одного довода сделать я не в состоянии. Но к чему нам доводы? Мы сами не ясное ли доказательство неблагодарности читателей? Соединенные благородною ревностью просвещать свет, не даем мы отдыха типографщикам; а ослепленная публика на стихи наши жалуется, как египтяне на саранчу, коею небо хотело обратить их на путь истины. Книжные лавки ломаются от нашей прозы и стихов; но когда войдешь и посмотришь на полки, где лежат наши сочинения, то подумаешь, что это зараженные товары, до которых никто не смеет дотронуться; и они остаются в сей неволе, доколе табашники и разносчики не расхватят их по клочкам. А нечувствительная публика смотрит на то равнодушно, оставляя им терзать наши неподражаемые произведения.

Плачевное предчувствие! Скоро, я думаю, надобно будет прежде читать, нежели писать; надобно будет думать,—слезы навертываются у вас на глазах, милостивые государи! Привыкшим писать не думавши, такое порабощение словесности, конечно, для нас будет ужасно. И в чем же неумолимые сии критики полагают свободу словесных наук, если думают они, что писатель должен последовать правилам или читать авторов, дабы подражать их красотам? Нет, любезные слушатели, великий ум никогда ничему не следует. Не нужны ему ни правила древних, ни их творения; и он, не справляясь ни с какими книгами, садится за письменный стол, как скоро почувствует только позыв на письмо. Фразу свою кончит тогда, когда надобно перо обмакнуть в чернильницу, период тогда, когда нужно его перечинить; как же скоро пленяется он новым содержанием, тогда, на первом своем сочинении подписав торжественно: *конец!*, принимается тотчас за другое, которое обрабатывает с такою же благородною вольностью. Таков-то есть почтенный Ермалафид, герой и сотрудник наш, коему дерзаю я соплесть венец, достойный похвалы, в досаду злой критике, взирающей с завистью даже и на то, что в сочинениях его завертываются вруши.

Может быть, удивятся, что, не дождавшись смерти моего героя, говорю я ему похвальную речь? Но должно ли дожидаться смерти, чтобы увенчивать дарования? Если бы последовать сему правилу академий, то, судя по здоровью почтенного Ермалафиды, может быть, должен бы я был прожить еще двадцать лет прежде, нежели испытать мои слабые дарования на сем драгоценном оселке. Нет, любезные слушатели, дарования нашего героя столь блистательны, воспаление мое прославить их столь велико, что я не в силах дожидаться так долго Ермалафидовой смерти и осмеливаюсь нарушить правила академий презирать писателей при жизни и величать их после смерти. При том же можем ли мы надеяться на долговременность нашего собственного века, и не подвержены ли мы все такой же нечаянной смерти, как наши сочинения? Часто, смотря на увесистое новорожденное творение, по толстоте оного заключаем мы, что славе его не будет износу, а оно на другой же день погребается на полках вместе с старыми календарями. Не можем ли и мы все перемереть так же нечаянно и оставить вершину Парнасскую нашим критикам, которые некогда, может быть,—плачевное воображение!—будут показывать нас молодым своим писателям, как спартане показывали своим детям пьяных слуг; и тогдашняя публика, вместо того чтобы завидовать тем, кому удалось быть нашими современниками, станет благодарить небо, что она не в наш век вывелась. Предупредим же такое несчастие, любезные слушатели, и если уже нас никто не хвалит, то станем хвалить себя сами; ополчимся противу критиков и на зло им, отдав справедливую похвалу неподражаемому Ермалафиду, докажем, что и в нашем обществе есть великие люди. Одного такого, каков герой мой, довольно, чтобы озарить славою все наше почтенное собрание. Откроем глаза предубежденной публике, ко-

торая упрямится читать неподражаемые его творения и старается погрузить нашего героя в море забвения, в сие ужасное море для нашего Парнасского легиона, и в то же время посмотрим, как бесценный Ермалафид, поддерживаемый своими сочинениями, подобно как пузырьками, не страшится погрязнуть; посмотрим, как неумолимая критика занимается тем, чтобы прокалывать сии пузыри, и, наконец, с какою неумолимостью надувает он новые, не страшая, что с ними будет равная первым участь.—В сем месте оратор остановился, дабы дать роздых своему воображению и принять справедливые похвалы за прекрасное изобретение *моря забвения* и за счастливое сравнение Ермалафидовых сочинений с пузырями,—потом продолжал далее.

„Я не буду распространяться о родословной нашего героя; да и он сам, как истинный автор, знает тверже, кто был отец Гомера или Ромула, нежели от кого он сам родился. Немного есть чего сказать и о его богатствах: не может похвалиться он большим именем; но зато воображением столь богат, что часто не на что купить ему чернил, дабы сделать сему драгоценному богатству опись для сведения публики, и столь глубокомыслен, что если, спустя десять дней, вздумает прочесть свое сочинение, то уже не понимает, что он хотел сказать. „Для чего,—спросил у него некто,—пишешь ты без разбора и не обдумывая все, что придет тебе в голову?“—„Друг мой!—отвечал несравненный наш Ермалафид,—надобно более знать мою природу и потом уже судить о моих сочинениях. Если я одну только неделю не напишу, то чувствую сильный головной лом; самое ничто бухнет в моей голове, как горох, и я необходимо должен, как можно скорей, выгружать мысли мои на бумагу,—или мою голову так разопрет, что я потеряю равновесие“.

Кто может из нас, милостивые государи, похвалиться таким избытком мыслей? Кто, кроме нашего бесценного Ермалафида, так много раз и в столь разных порядках может раскладывать наши тридцать две литеры¹ на бумаге? Конечно, никто! Он один только в состоянии с такою легкостью, кстати о Гомере, напомнить, что дрова дороги, и, хвала Юнговы „Ночи“, заметить, что немцы обуваются щеголеватее французов; он один только может с таким плодословием волочить надежду читателя через триста листов и на последней странице удивить его приятною печальностью, подписав: *конец!*—Сие non plus ultra² его обширного воображения. Но как, спросят меня, мог он достигнуть до такого богатства? Какими орудиями отрыл такое сокровище? Предмет, поистине достойный вашего любопытства, и который исследовать ставлю я моею должностью.

Если б обратились мы к древности, то бы нашли, может быть, что не герой наш первый изобретатель сего редкого искусства; но судьба, кажется, из зависти прячет от взора смертных лучшие их

¹ Буквы.

² Высшая точка.

сокровища. И потому-то произведения пера, подобного Ермалафидову, столь же редки, как календари прошедших веков. И вот причина, заставляющая меня признавать его изобретателем сего способа. Ибо кому мог он подражать, не читая никого, как то скоро увидите вы из шестивия его ума, коего пути осмелился я следовать в сем слове и представить для подражания молодым нашим собратиям, которые, имея великие способности, ожидают только случая, кому последовать, и, за недостатком резких подлинников, принуждены с великим трудом отыскивать погрешности у Ломоносова и их выкрадывать или занимать их у Сумарокова. Но теперь я намерен для сего указать им неисчерпаемый источник в Ермалафиде и, дабы удовлетворить ваше любопытство, обращаюсь к моему предмету.

Едва минуло от роду пятнадцать лет нашему герою, как отдан он на руки учителям и посажен за российскую азбуку. Пламенный дух его недолго оставался при первых затруднениях, и менее, нежели через два года, зачал он писать *азы*. В сем-то случае творческий дух его оказал первые свои способности! Ермалафид никому не подражал в почерке; умнейшие из учителей не различали у него *аза* от *мыслей*¹; казалось, что он, не читав никакого письма в свете, выдумал свою азбуку; учителя сперва приписывали это тупому его понятию, и вот причина, что редкий ум нашего героя четыре года задержан за российскою азбукою. Наконец, заметили они, что он поставил себе правилом никому не следовать и систематически водить каракули. Тогда-то, сделав безошибочное заключение о его великих способностях к словесности, дали они ему в руки грамматику—и менее нежели в месяц не осталось в ней ни листа живого,—он просил новой книги.—„Разве ты всю грамматику выучил?“—спрашивали у него.—„Нет,—отвечал неодоленный герой,—но поверьте, что я и без грамматики могу пощеголять моим слогом“. У него потребовали опыта, и в один час—в один только час он написал столь красноречивое письмо, что премудрейшие из учителей его не поняли. Это убедило их, и они представили ему логику. „Что это за наука?“—спрашивал восторжествовавший над грамматикою герой. „Наука мыслить,—отвечали ему,—и важная тайна поместить кстати *ergo*“².—„Мне не нужна эта наука,—говорил Ермалафид,—двадцать лет думал я без логики, так неужели достальную половину своего века не возмогу без нее обойтись?“ Возражение сильное, коему никто не осмелился противоречить. Настала очередь риторике явиться на суд героя. Он развернул ее, прочел строк пятнадцать—зевнул, почувствовал сильную склонность ко сну и отложил до завтра решение о сей науке.

На другой день повел он учителей в свою библиотеку и указал им на полку, заваленную романами. Там наслаждались ненарушимым покоем творения *Бредина*, кровенные пылью, равнолетным им самим; там почивали мертвым сном томные произведения *Аппи-*

¹ Так назывались в славянском алфавите буквы *a* и *m*.

² Следовательно. Это латинское слово обычно употребляется в философских сочинениях при переходе от доказательств к выводам.

рихардсона; в другом месте глотали пыль герои, произведенные подражателем Руссовым¹. „Есть ли тут риторика?“—спросил Ермалафид, указывая на все это собрание. Учители читали все эти романы и согласились единодушно, что в них риторики нет. Он сделал им тот же вопрос о гряде журналов; они их знали и принуждены были по совести сказать, что в них имени красноречия нет. После сего показал он им связку од—и они признались, что здесь большею частию пишутся оды без красноречия. „Когда такое множество людей пишут без риторики,—отвечал он гордо,—то неужели думаете вы, что я всех их глупее и не могу без нее обойтись? Поверьте, что мне не нужна эта наука; и я откровенно скажу вам, что я и зная риторик не написал бы ни на волос лучше того, как писал, и стану писать, не зная ее ни строчки“.

После сего несравненный Ермалафид с такою же благородною гордостью отвергал все другие науки одну по одной. „Когда я буду читать, то когда ж писать останется мне время? Нет, я намерен учить, а не учиться. Для меня низко узнавать, что другие думали; я хочу лучше, чтоб целый свет, читая меня, старался отгадать, что я думаю. Довольно долго страдала республика ученых, стесненная правилами; я родился их разрушить, и для того-то хочу развязать своим примером молодые умы; хочу писать без правил и доказать на самом деле, что словесность есть свободная наука, не имеющая никаких законов, кроме воли и воображения“. С таким-то прекрасными правилами герой наш вступил в поприще писателей и, чтобы начать чем-нибудь знаменитым свои подвиги, написал он трагедию.

Доньше, милостивые государи, жалко было видеть, с каким бесчеловечием проливалась кровь в трагедиях; жестокие авторы, кажется, только с тем намерением заманивали в партер, чтобы у всякого из них испортить фунта по три крови. Но какая приятная новость! едва появилась трагедия нашего героя на сцену, то, казалось, что в партере сидит целый народ строгих стоиков²: только-то глубокое спокойствие царствовало во всем партере. Зрители не были возмущены ни страхом, ни жалостью, ни ненавистью; казалось, что герои Ермалафиды превыше всех страстей—ни одной не было в них приметно, и если бы глухому показать столь прекрасное зрелище, то бы, конечно, он подумал, что греческие мудрецы с театра преподают партеру курс математики. Не подумайте однакож, милостивые государи, чтобы трагедия нашего героя не привлекала внимания. Напротив того, нередко партер надрывался от смеха, и Ермалафид, бесценный Ермалафид сам смеялся от радости, видя, что трагедия его производит такое пре-

¹ Крылов, очевидно, имеет в виду пухлый роман Ф. Эмина „Письма Эрнеста и Доравры“ (СПБ 1766, 4 части; второе издание 1792 г.), в котором подражание „Новой Элоизе“ Руссо настолько велико, что известный библиограф Сошков счел его даже за перевод „Новой Элоизы“.

² Стоики, возникшая в древней Греции в IV веке до н. э., философская школа. Стоики отличались строгостью правил, стремлением всегда избегать бурных проявлений страстей и эмоций и т. д.

красное действие. „Начав трагедию,—говорил он,—я хотел утешить, а не встревожить и не опечалить партер“—прекрасное правило, коему последовали многие писатели, и с того-то времени, милостивые государи, у нас начали писать столь же шутливые трагедии, как итальянские оперы *буффо*¹. Сей успех еще ободрил более нашего героя, и он решился продолжать со славою свои подвиги в письменном свете.

Давно уже грозился он прибрать комедию к своим рукам; давно с неудовольствием видел, что гордые комические писатели стараются смешить партер, не заботясь о том, понимает ли их парадис². Такое пренебрежение его тронуло, ибо он сам часто глядывал комедию из райка и чувствовал, сколь обидно честному человеку слушать два часа, не понимать ни слова и платить деньги только за то, чтобы видеть, как другие смеются. „Партер довольно посмеялся,—сказал он некогда,—теперь хочу я утешить парадис“—и начал писать. Менее нежели через две недели объявляют новую комедию; зрителей стекается множество, открывают занавес, и—какое приятное удивление!—на сцене появляется делый народ в лаштах, в зипунах и в шапках с заломом,—в парадисе раздались радостные восклицания. Сапожники, разносчики, каменщики—все узнавали на сцене своих земляков. Тогда-то всеобщее веселье разлилось по театру; на сцене появились фляжки и ендовы; в парадисе зазвенели рюмки и стаканы. На сцене заплясали—и весь парадис зачал прищелкивать; казалось, что сцена и парадис составляет одно семейство. Тогда-то гордый партер в первый раз почувствовал, что он в сей беседе лишний, что он не понимал в свою очередь ни слова изо всего, что переговорено в три часа; и что, наконец, в свою очередь заплатил он деньги за то, чтобы послушать, как хоочет парадис. Но кто же бы, думали вы, милостивые государи, загнал расчесанный партер в растрепанную крестьянскую шайку слушать правоучения? Кому, кроме бесценного нашего Ермалафида! Он один в состоянии высокое правоучение подстроить под балалайку, и под его только разумные рассуждения могут плясать мужики на барках. Завидливая критика не умедлила на сие вооружиться; кричали, что расслабляется вкус, истребляется благопристойность; но вся небритая часть была на стороне нашего героя и, утвердя его славу, включила в число знаменитейших дней тот день, в который для бородатых зрителей выставлены на сцену бородатые актеры.

Теперь подумаете вы, может быть, что уже он, пленясь сими успехами, посвятил себя одному театру? Совсем нет! великий дух его не чувствовал себя отличнее привязанным ни к какому роду писания. Он хотел писать все, и сдержал свое слово. Удивительная способность, милостивые государи! Часто, дописав до половины свое сочинение, он еще не знал, ода или сатира это будет; но всего удивительнее, что и то и другое название было прилично. А может

¹ Т. е. комические оперы.

² Раяк, галерка.

быть, и все его сочинения со временем воздвигнут между академиями войну за споры, к какому роду их причислить. Из сего-то ясно видно, как гнушался великий ум его следовать правилам, предписанным всякому роду писания. Он поставил себе выше всех законов: „одно только правило свято,—говаривал он,—и оно состоит в том, чтобы не следовать никаким правилам“.

С сим-то прекрасным заключением вздумал он свободные часы свои посвятить удовольствию публики; под свободными часами разумею я только то малое время, которое оставалось ему от сна, от обеда и от ужина. Сколь ни мал был сей остаток, но и его не хотел он потерять напрасно и для того-то решился он во всякое *позднее* разгружать на печатном станке грузное судно своего воображения—короче сказать: начал журнал.

Какое поле открылось для его неутомимости! Озабоченный намерением просветить вселенную, не давал он ни дня, ни ночи отдыху своему типографщику. Тут-то увидели бы вы, милостивые государи, с какою удивительною способностью пишет он прямо набело суждения, решения и определения о самых важных предметах! Казалось, что перо в руках его замерло—и наборщик никак не мог сравниться с ним в поспешности. Критика также получила себе новую пищу; одни говорили, что он, проповедуя добродетель, одним своим слогом в состоянии умножить число отступников от добродетели; другие кричали, что ежемесячные его сочинения суть ежемесячные вылазки против бессонницы; но его это не утрашило,—напротив, он имел дарование редкое всякую брань толковать в свою пользу. Сколько писателей оставили в самом своем начале поприще словесности, утрашенные первыми нападениями критики; но герой наш не таков: если над ним смеются, то он восхищается способностью своею смешить и сравнивает себя с Мольером и Боало; если его бранят, он ласкает своему самолюбию, заключая, что брань есть знак зависти—и по крайней мере доволен он уже тем, что им занимаются; а это уже одно и доказывает ему, что публика его не забывает. После сего, милостивые государи, кто может составить для его ума такое крепительное, после которого бы он не чувствовал позыву на письмо?

С сими блистательными качествами соединил он благородное презрение ко всем тем авторам, коих имени не мог твердо выговорить: под сим разумею я всех иностранных писателей. Приятно было смотреть, милостивые государи, с какою непринужденною смелостью бранил он Мольера, Расина и Боало, никогда их не читав, и с каким равнодушием смотрел трагедии Корнелия. „Скажи,—спрашивал у него некто,—для чего не учишься ты языкам иностранным и делаешь такие смелые заключения, не понимая их авторов?“—„Сердце у меня слышит,—отвечал он с благородною простотою,—что в них во всех менее толку, нежели в Бове Королевиче; притом же я знаю склады на многих языках, но российские склады красноречивее всех складов на свете. А как склады служат основанием словесности, то кто может меня уверить, чтоб из дурных припасов можно было воздвигнуть прекрасное здание?“

Какое сильное, какое убедительное доказательство преимущества российской словесности! не нужны ему были ни авторы, ни история, одними складами открыл он сомнительную истину, и доказал, сколь полезно ученому человеку знать склады.

Но только ли его совершенств? Чем более я говорю, тем неисчерпаемое становится мой источник. Язык мой не успевает следовать за моим воображением, воображение мое не находит пределов. Но если уже природа человеческая столь слаба, что ни мне всего того, что бы я хотел сказать, ни вам всего, что бы я сказал, выслушать не станет сил, то дадим ей роздых. Пусть наше согласное молчание увенчает достоинства бесценного Ермалафида, и пусть будет оно служить символом спокойствия, коим некогда будут наслаждаться в ученых анбарах его неподражаемые творения.

И. Крылов.



ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ XVIII ВЕКА.

„Всякая Всячина“. Печаталась с начала января до конца 1769 г. В 1770 г. журнал издавался под названием „Барышок Всякой Всячины“. Выходил еженедельно. В 1892 г. „Всякая Всячина“ была переиздана журналом „Будильник“.

„И то и сio“. Выходил еженедельно, с конца января до конца 1769 г.

„Ни то ни сio в прозе и стихах“. Еженедельное издание. Выходил с 21 февраля до 11 июля 1769 г.

Второе издание—в 1771 г., без всяких изменений.

„С м е с ь“. Еженедельное издание. Выходила с 1 апреля до конца 1769 г.

Второе издание—в 1771 г. Добавлен 1 лист. В остальном без изменений.

„Трутень“. Еженедельное издание. Выходил со 2 мая 1769 г. до 27 апреля 1770 г.

Второе издание—без всяких изменений. Вышло сразу вслед за первым.

Лучшее и наиболее научное издание „Трутня“, под редакцией П. А. Ефремова, вышло в 1865 г. Журнал перепечатан полностью, без пропусков, и сверен со вторым изданием. Немного модернизированы орфография и пунктуация.

„Адская почта, или переписка хромого беса с кривым“. Ежемесячное издание. Выходила с июля до конца 1769 г.

Второе издание—в 1788 г. Журнал издан одновременно под двумя названиями: „Курьер из ада с письмами“ и „Адская почта, или Курьер из ада с письмами“. В этом издании много пропусков, изменений, опечаток.

„Ж и в о п и с е ц“. Еженедельное сочинение. Выходил с 17 апреля 1772 г. до конца июня 1773 г.

Второе издание вышло в 1773 г. Переиздана только первая часть журнала.

Третье издание—в 1775 г. Переиздан полностью. Этому изданию Новиков предпослал предисловие, помещенное им также и в 4-м издании.

Четвертое издание—в 1781 г. в Москве (все предыдущие в СПб). Лучшее из прижизненных изданий: наиболее полное, с наименьшим числом опечаток.

Пятое издание—в 1793 г. в СПб. Перепечатка четвертого издания.

Лучшее, наиболее полное и научное издание „Живописца“, под редакцией П. А. Ефремова, вышло в 1864 г. Перепечатано 1-е издание „Живописца“, с приведением всех вариантов. Дан обзор всех изданий журнала и их особенностей. Принципы издания те же, что и при издании „Трутня“. Из-за отсутствия рукописей и редакционных материалов цензурные пропуски в изданиях Ефремова восстановлены не были. По этим же причинам они не могли быть восстановлены и в настоящем издании.

„Друг честных людей, или Стародум“. Фонвизин предполагал издавать журнал в 1788 г. В дальнейшем материалы, приготовленные им для этого журнала, входили в его собрания сочинений, из которых лучшие: „Сочинения, письма и переводы Дениса Ивановича Фонвизина“ под ред. П. А. Ефремова, СПб 1866 г. „Д. И. Фонвизин, Полное собрание оригинальных произведений“ под ред. А. И. Введенского, СПб 1893 г.

„Почта духов“. „Ежемесячное издание, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными,

воздушными и подземными духами⁴. Выходила с января по август 1789 г.

Второе издание вышло в 1802 г. Журнал переиздан целиком.

„Зритель“. Ежемесячное издание. Выходил с февраля до конца 1792 г.

„С.-Петербургский Меркурий“. Ежемесячное издание. Выходил с января до конца 1793 г.

„Зритель“ и „С.-Петербургский Меркурий“ не переиздавались. Все напечатанные в них произведения Крылова были впервые собраны и переизданы, вместе с „Почтой Духов“, в трехтомном собрании сочинений Крылова под редакцией П. А. Плетнева (СПБ 1847 г.). Второе издание— в 1859 г. Напечатано несправно, с искажениями и опечатками. Лучшее и наиболее полное издание— в четырехтомном собрании сочинений Крылова под редакцией В. В. Калаша (СПБ 1903 г., второе издание— в 1918 г.). Стихи Крылова, в том числе и сатирические, помещенные в этих журналах, собраны во 2-м томе „Полного собрания стихотворений П. А. Крылова“ под редакцией и с примечаниями Г. А. Гуковского, „Библиотека поэта“ (большая серия), 1937.

ВАЖНЕЙШИЕ РАБОТЫ О САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛАХ XVIII ВЕКА (в хронологическом порядке).

Н. Н. Булич, Сумароков и современная ему критика, СПБ 1854.

А. Н. Афанасьев, Русские сатирические журналы 1769—1774 годов, СПБ 1859 (второе издание— Казань, изд. „Молодые силы“, без указания года [1917]).

Н. А. Добролюбов, Русская сатира в век Екатерины, журн. „Современник“ 1859, № 10. Многократно перепечатывалось в собраниях его сочинений.

Д. Л. Мордовцев, Обличительная литература в первых русских журналах и стеснение гласности, журн. „Русское слово“ 1860, № 2, 3.

Я. К. Грот, Сатира Крылова и его „Почта духов“, журн. „Вестник Европы“ 1868, № 3 (перепечатано в его „Трудах“, т. III, СПБ 1901).

А. Н. Пыпин, Крылов и Радищев. Кто писал в „Почте духов“?— Вопрос из истории русской литературы прошлого века, журн. „Вестник Европы“ 1868, № 5.

А. Н. Неустроев, Историческое розыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг., СПБ 1874.

А. И. Незеленов, Н. И. Новиков, издатель журналов 1769—1785 гг., СПБ 1875.

Алекс. Н. Веселовский, Западное влияние в новой русской литературе, М. 1883 (последнее, 5 изд.—1916).

С. М. Бородин, Галлофобия в нашей литературе прошлого века, журн. „Наблюдатель“ 1887, № 10, 11.

Л. Н. Майков, Несколько данных для истории русской журналистики, в его книге „Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий“, СПБ 1889 (впервые в „Журнале мин. нар. просв.“ 1876, № 7).

А. И. Незеленов, Литературные направления в Екатерининскую эпоху, СПБ 1889.

В. Ф. Солидцев, „Всякая всячина“ и „Спектатор“ (к истории русской сатирической журналистики XVIII века), в „Журнале мин. нар. просв.“ 1892, № 1.

Он же, „Смесь“, сатирический журнал 1769 г., журн. „Библиограф“, 1893, вып. 1.

Н. Петровский, Библиографические заметки о русских журналах XVIII века, в „Журнале мин. нар. просв.“ 1898, № 1.

Н. С. Тихомиров, Н. И. Новиков, в „Сочинениях Тихомирова“, т. III, ч. II, М. 1898.

И. И. Иванов, История русской критики, кн. 1, СПБ 1898.

В. В. Калаш, Очерки по истории русской журналистики, „Русская мысль“ 1903, №№ 1—6.

Н. П. Автономов, „Всякая всячина“ (сатирико-правоучительный журнал 1769—1770 гг.). Опыт исследования, М. 1913.

В. П. Семенников, Русские сатирические журналы 1769—1774 гг. Розыскания об издателях их и сотрудниках, СПб 1914.

В. Лазурский, „Le Spectateur“ и „Всякая всячина“, журн. „Русский библиофил“ 1914, № 3.

В. Боголюбов, Н. И. Новиков и его время, М. 1916.

Г. В. Плеханов, История русской общественной мысли, Соч., т. XXII.

В. О. Ключевский, Воспоминания о Новикове и его времени, в его книге „Очерки и речи. Второй сборник статей“, М. 1912.

Б. И. Коплан, Философические письма „Почты духов“, в сборн. „А. Н. Радищев. Материалы и исследования“, Академия наук, Л.—М. 1936.

Г. А. Гукровский, Русская литература XVIII века, учебник для высших учебных заведений, Учгедгиз, М. 1939 (глава „Сатирическая журналистика“).

ТЕМЫ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМИНАРСКИХ РАБОТ.

1. Полемика „Всякой всячины“ с „Трутнем“ и примыкавшими к нему журналами.
2. Журналы Новикова и предшествующие им сатирические произведения в русской литературе (Кантемир, Сумароков, Фонвизин).
3. Антиклерикальные и просветительские мотивы в журналах Новикова.
4. Журналы 1769—1774 гг. и западноевропейская сатирическая журналистика.
5. „Адская почта“ и „Смесь“. Их значение и особенности.
6. Борьба стилей и жанров в журналах 1769—1774 гг.
7. Особенности языка журналов 1769—1774 гг.
8. Значение „Друга честных людей или Стародума“ в творчестве Фонвизина: „Недоросль“ и „Стародум“.
9. Просветительские и радикальные идеи в журналах Крылова.
10. Журнальная сатира Крылова и его басни. Проблема эволюции творчества Крылова.
11. Журналы Крылова и сентиментализм.
12. Иностранцы источники журналов Крылова.
13. Крылов и Вольтер.
14. Журналы Крылова и журналы 1769—1774 гг.
15. Крылов и Лесажа.
16. Русские источники сатиры Крылова.
17. Художественные особенности сатиры Крылова.
18. Язык Крылова в его журнальной сатире.
19. Борьба стилей и жанров в сатире Крылова.
20. Жанр философских писем в „Почте духов“.
21. Пародия в журналах Крылова.
22. Литературная полемика в сатирических журналах XVIII века.
23. Значение сатирической журналистики 1769—1793 гг. в истории русской литературы и общественной мысли.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

А. Лезтблау — Русская сатирическая публицистика XVIII века.

3

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

Поздравление с новым годом	41
Ко читателю	42
«Многие родители не столько любят»	—
«Господин сочинитель, ежели вы во «Всякую Всячину»	43
«Господин сочинитель, читая каждую пятницу...»	44
«Господин сочинитель, будучи охотник до издаваемых в нынешнем годе разных сочинений...»	46
«Писатель письма от 26 марта...»	47
«Государь мой, я весьма веселого нрава...»	—
«Господин сочинитель, думаю, что у такого автора, как вы...»	48
«На ругательства, напечатанные в «Трутне»	49
«Господа сочинители «Всякия Всячины»...»	50
Из письма, писанного к господину сочинителю	51
«Господин писатель, напишите что-нибудь...»	52
«Господин сочинитель, случилось мне слышать...»	53
«Нельзя на всех угодить...»	55

И ТО И СЁ.

Поздравление с новым годом	57
«Кто хорошо начал»	60
«Государь мой А. В.»	62
«Господин сочинитель и Того и Сего»	63
Ответ	64

НИ ТО НИ СЁ.

«Нет такого в свете добра...»	67
«Мне очень досадно, что ваше сочинение хулят...»	68
К Курмамету	70
«Любезная бабушка, вы правду сказали...»	—

СМЕСЬ.

Праздные люди	71
Разговор Леандра с Мизантропом	72
«Недавно принесли мне сие письмо...»	74
«Объявите мне, от чего происходит желание причитаться в родню...»	75
«Пора вам, господа внучата и племянники...»	76
«Еще мне вздумалось описать поступки...»	77
«Прошу вас, господин сочинитель...»	80
«Прошу вас напечатать приложенное письмо к г. издателю Трутня...»	81
«Прочитав вашего издания листы...»	—
«Вы все, г. сочинители, охотники заводить чернильное знакомство...»	82
Речь о существе простого народа	83
«Счастливы те граждане...»	85

ТРУТЕНЬ.

Предисловие	86
«Любезный племянничек...»	88
Притча «Два вора»	90
Ведомости:	
Из некоторого приказа	91
Из гостиного двора	92
«Господин Трутень, второй ваш листок...»	—
Ведомости в Санктпетербурге:	
Из Литейной	94
Из Москвы	—
Из Кронштадта	95
«Молодого российского поросенка...»	—
«Молодой дворянин...»	—
«Старый лицемер, слушаю обедню...»	—
Продажа	96
«Приехав в деревню...»	—
«Издатель Трутня обещался публике...»	98
«Издатель Трутня, во утешение Всякой Всячине...»	—
«Госпожа Всякая Всячина на нас прогневалась...»	—
«Чистосердечное ваше о самом себе описание...»	99
Ведомости:	
Из Коломны	102
Из Твери	—
«Судья некоторого приказа...»	103
«Прокурор Правдулюбов с судьей Криводушным...»	—
«В некотором приказе был судья...»	—
«Ты охотник до ведомостей...»	—
«Пламя войны и между сочинителями возгорелось...»	108
Задача	110
Решение	—
«Племяннику моему Ивану, здравствовать желаю...»	111
Ведомости:	
Из Кронштадта	114
Подряды	—
«Недавно пожалованный прокурор...»	115
Ведомости:	
Из Москвы	—
Отъезжающие	116
«Скажите, за что вы все, господа издатели журналов, брапитесь...»	—
«Несмыслу, богатому, но глупому дворянину...»	117
«Вы все, господа издатели, чудные люди...»	—
Рецепты:	
Для его превосходительства г. Недоума	118
Для г. Безрассуда	119
«Я уверен, что вы ненавистник пороков...»	120
«При нынешнем рекрутском наборе...»	122
Копия с отписки	123
Рецепты:	
г. Злораду	125
Копия с другой отписки	—
Копия с помещичьяго указа	127
Разговор. Я и Трутень	129
«Вчера я по обыкновению моему пришел в трактир обедать...»	132
«Не поверишь, радость, в какой ты у нас моде...»	134
«Государыня моя! Я человек чистосердечный...»	136
«Письмо г. Правдулюбова напечатано не будет...»	137
«Нет средства, чтоб не писать сатир на подьячих...»	—
«Обстоятельства мои не позволили мне...»	138
«Я поражена почти, так сказать, вашим неистовством...»	—

Ответ г. издателя Смеси госпоже Любоправдовой	139
Картина	—
«Кой чорт! что тебе сделалось?..»	140
«Мне кажется, что тебя избаловали похвалами...»	—
«Подобных сим, я получил еще четыре письма...»	141
«Скряжи свое сердце...»	—
«Всякая Всячина простилась...»	142
Расставание или последнее прощание с читателями	143

АДСКАЯ ПОЧТА.

г. Всякая Всячина	145
К читателю	146
Письмо 2	147
Письмо 15	148
г. Всякая Всячина	150
Письмо 23	153
Письмо 36	—
Письмо 37	154
Письмо 81	155
Письмо 82	156

ЖИВОПИСЕЦ.

Неизвестному г. сочинителю комедии «О время!»	158
Автор к самому себе	159
«Приняв название Живописца...»	163
Отрывок путешествия в *** И *** Т***	169
Ведомости в Санктпетербурге:	
Из Гостиного двора	172
Из Миллионной	173
Из Твери	—
Известия	174
Моп Соеиг, Живописец!	—
Опыт модного словаря щегольского паречья	178
«Вы, описав столько различных умоначертаний...»	182
Английская прогулка	—
Продолжение отрывка путешествия в *** И *** Т***	185
Письмо уездного дворянина к его сыну	187
Следствия худого воспитания	190
Ведомости в Санктпетербурге:	
Из Гостиного двора	192
Из Москвы	194
Известия	—
Подряды	—
«Признаюсь, что я на вас весьма роптал...»	195
«Сыну моему Фалалею»	—
«Свет мой Фалалей Трифонович...»	197
«Любезному племяннику моему Фалалею Трифоновичу...»	198
«Я уже ваших листочков не читаю...»	200
«На прошедшей неделе получил я с почтового двора письмо...»	203
«Недавно приедем из Петербурга...»	206
Украинские ведомости, 1772 года	207
«Лишь только уверился я...»	208

ДРУГ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, ИЛИ СТАРОДУМ.

«Вот заглавие, под которым издаваться будет...»	212
Письмо к Стародуму	213
Ответ Стародуму	—
Письмо к Стародуму от Дедиловского помещика Дурыкина	215
Кондиция для учителя дому Дурыкина	—
Ответ Стародума Дурыкину	216

Письмо университетского профессора к Стародуму	216
Письмо Дурькина к Стародуму	217
Письмо к Стародуму от племянницы его Софьи	—
Ответ Стародума Софье	218
Письмо Тараса Скотинина к родной его сестре госпоже Простаковой	219
Письмо Стародума к сочинителю Недоросля	220
Всеобщая придворная грамматика	—
Письмо, найденное по блаженной кончине придворного советника Взяткина, к покойному его превосходительству	223
Ответ	225
Письмо от Стародума	227
Разговор у княгини Халдной	229
Наставление дяди своему племяннику	235

ПОЧТА ДУХОВ.

Предупреждение	239
Письмо VI	240
Письмо X	244
Письмо XVIII	246
Письмо XX	248
Письмо XXIV	251
Письмо XXIV	254
Письмо XXXIV	260
Письмо XXXVI	264
Письмо XLI	271

ЗРИТЕЛЬ.

Речь, говоренная повесою в собрании дураков	277
Мысли философа по моде	283
Будучи в рышке	289
Похвальная речь в память моему дедушке	294
Каиб	301
Соц, найденный в старых бумагах моего дедушки	324

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕРКУРИЙ.

Похвальная речь науке убивать время	330
Похвальная речь Ермалафиду	337
<i>Приложение.</i>	
Основные издания сатирических журналов XVIII века	345
Важнейшие работы о сатирических журналах XVIII века	346
Темы для студенческих семинарских работ	347



Редактор *А. Н. Дубовиков*
Художественный редактор *Б. М. Кисин*
Технический редактор *А. Ф. Федотова*
Корректор *Е. А. Иващенко*
Переплет и титул худ. *Б. Б. Титова*

Для орнаментации книги использованы
подлинные материалы из сатирических
журналов 1769—1774 гг.

* * *

Сдано в набор 5/III 1940 г. Подписано к
печати 20/IX 1940 г. Учетно-издатель-
ских листов 24,12. Печатных листов 22.
Тираж 5000. Формат бумаги 60×92/16.
Учпедгиз № 202. А27726.

* * *

Государственное учебно-педагогическое
издательство Наркомпроса РСФСР.
Москва, Орликов пер., д. 3.

* * *

Отпечатано с матриц в 1-й типографии
Трансжелдориздата, Москва,
Б. Переяславская, 46.
Заказ № 1996.